

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ор-73

Г. ФЛОБЕР

ТОМ ТРЕТИЙ

ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВА



387

ПЕТЕРБУРГ
МСМХІХ



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ФРАНЦИЯ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Г. ФЛОБЕРА

G. FLAUBERT

1821—1880

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А. Я. ЛЕВИНСОНА



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
при Народном Комиссариате по Просвещению

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ф
73 — Г. ФЛОБЕР

ТОМ ТРЕТИЙ

ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВА

ПЕРЕВОД
В. Н. МУРОМЦЕВОЙ



ПЕТЕРБУРГ МСМХІХ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР

ОБЯЗАННАЯ
БИБЛИОТЕКА
И. К. П.

74996



387

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА
L'ÉDUCATION SENTIMENTALE

РОМАН

1869

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Около шести часов утра 15 сентября 1840 года, у набережной Св. Бернарда, из трубы парохода «Город Монтеро», готового к отплытию, валили густые клубы дыма.

То и дело прибывали запыхавшиеся люди; боченки, канаты, корзины с бельем загромождали проходы; магросы не отвечали на вопросы; все толкались; тюки громоздились все выше между кожухами, и всю эту суматоху покрывал шум пара, который, стелясь по железным частям, окутывал палубу беловатым облаком, между тем как на баке, не переставая, звонил колокол.

Наконец, пароход отчалил, и крутые берега, застроенные складами и заводами, потянулись двумя широкими лентами.

Молодой человек, лет восемнадцати, с длинными волосами и альбомом под мышкой, стоял неподвижно близ руля. Он разглядывал сквозь утренний туман колокольни, здания, с неведомыми ему названиями, затем окинул прощальным взглядом остров св. Людовика, Ситэ, Собор Парижской Богоматери—и глубоко вздохнул вслед исчезающему Парижу.

Фредерик Моро новоиспеченный бакалавр, возвращался в Ножан-на-Сене, где ему, до начала изучения права, предстояло томиться целых два месяца. Мать, вручив ему необходимую сумму, послала его в Гавр к дяде, наследие которого она надеялась получить для сына.

От дяди Фредерик вернулся лишь накануне и за невозможностью остаться в столице, вознаградил себя

тем, что отправился домой в провинцию самым длинным путем.

Суэта прекратилась; все разместились по своим местам; некоторые грелись, стоя возле машины, и труба, медленно и мерно хрипя, выбрасывая султан черного дыма; капельки росы стекали по меди; палуба дрожала от легкого внутреннего сотрясения, и колеса, резво крутясь, взбивали воду.

Реку окаймляли песчаные мели. Навстречу попадались плоты, качавшиеся на волнах, расходившихся от парохода, порой—рыболов в плоскодонке. Подвижная дымка, наконец, рассеялась, выглянуло солнце, холм, тянувшийся справа, мало-по-малу понизился и надвинулся другой, слева.

Деревья и низкие домики под итальянскими крышами покрывали его. Глядя на сады, разбитые по скатам, отделявшие их друг от друга новенькие ограды, чугунные решетки, газоны, теплицы, вазы с геранью, заботливо расставленные на террасах, на которые можно было облокотиться, не один мечтал быть обладателем этих нарядных уютных уголков и прожить здесь до конца дней своих, владея хорошим бильярдом, шлюпкой, женщиной или осуществленной грезой. Приятность плавания, познания ощущений развязывали языки. Уже слышались шуточки. Многие затянули песни. Было весело. Рюмки то и дело наполнялись.

Фредерик представлял себе комнату, которую он занял бы там, воображая планы драм, сюжеты картин, грядущие любовные приключения. Он находил, что счастье, достойное его исключительной души, слишком медлило. Он продекламировал про себя меланхолические стихи; быстрыми шагами ходил по палубе, дошел до самого конца бака, где висел колокол; и там, в кругу пассажиров и матросов, увидел господина, который любезничал с какой-то крестьянкой, теребя золотой крестик, висевший у нее на груди. Это был развязный и веселый мужчина лет сорока, с курчавыми волосами. Его плотную фигуру облекала черная бархатная куртка, два изумруда играли на его батистовой сорочке, а широкие белые пан-

талоны ниспадали на весьма странные красные сапоги из юфти, с синими разводами.

Присутствие Фредерика ничуть не смутило его. Он несколько раз обернулся и подмигнул ему; угостил всех окружающих сигарами. Но, конечно, скоро соскучился в этой компании и направился дальше. Фредерик пошел за ним.

Разговор коснулся сначала разных сортов табака, потом, естественно, перешел на женщин. Господин в красных сапогах преподавал несколько советов молодому человеку; он развивал теории, рассказывал анекдоты, приводил в пример самого себя—и все это покровительственным тоном, с потешным простодушием человека распущенного.

Он был республиканец, много путешествовал, знал закулисную жизнь театров, редакций, был знаком со знаменитыми артистами, которых он фамильярно называл по имени. Фредерик доверил ему все свои планы; он их одобрил.

Но вдруг он замолк, уставясь на дымовую трубу, затем быстро пробормотал длинное вычисление, чтобы узнать: «сколько раз во столько-то минут должен поршень...» и, найдя искомое, стал восхищаться пейзажем. Он так счастлив, что вырвался на волю, далеко от дел!

Фредерик почувствовал к нему уважение и не устоял против искушения узнать, кто он такой. Неянакомец ответил единым духом:

— Жак Арну, владелец «Художественной Промышленности», бульвар Монмартр.

Человек в фуражке с золотым галуном подошел к нему:

— Вас просят вниз. Барышня плачет.

Он исчез.

«Художественная Промышленность» состояла из журнала, посвященного живописи, и магазина картин. Фредерик много раз видал в Ножане на окнах книжных лавок широковещательные объявления, где имя Жака Арну так и било в глаза.

Солнце стояло над головой, металлические части мачт, обшивки бортов и поверхность воды сверкали, нос рас-

секал ее, и две волнистые борозды добежали до самых лугов. За каждым поворотом реки тянулись все те же ряды серебристых тополей. Кругом было совершенно пусто. В небе стояли белые облачка—и скука, смутно разлитая всюду, казалось, замедляла движение парохода и придавала пассажирам еще более невзрачный вид.

Кроме нескольких буржуа в первом классе, все это был люд рабочий и торговый, с женами и детьми. Так как в то время был обычай одеваться в дорогу похуже, то почти на всех были старые, круглые колпаки или выгоревшие на солнце шляпы, черные, плохонькие фраки, вытертые за конторками, или сюртуки с оборванными от долгой службы по магазинам пуговицами; там и сям виднелись коленкоровые рубашки под жилетами с отворотами шалю, запачканные кофе, дешевые булавки из накладного золота сдерживали лохмотья галстуков; штрипки, придерживавшие матерчатые туфли; два-три оборванца с бамбуковыми тростями на кожаных ремешках бросали вокруг косые взгляды; отцы семейства таращили глаза, приставая с расспросами. Одни разговаривали стоя или присев на свой багаж; другие спали по углам; многие ели. На палубе было насорено ореховой скорлупой, окурками сигар, грушевой кожурой, обедками свинины, принесенной в бумаге; три столяра в блузах застоялись перед буфетом; арфист в лохмотьях отдыхал, облокотясь на свой инструмент; по временам слышался грохот каменного угля, сыпаемого в машину, громкие возгласы, смех; капитан без остановки ходил по мостику от одного кожаного к другому. Фредерик, возвращаясь к своему месту, толкнул дверцу в первый класс, обеспокоив этим двух охотников с собаками.

И точно видение поразило его.

Она сидела посредине скамьи, совсем одна,—он, по крайней мере, никого более не заметил, ослепленный ее глазами. Она подняла голову, и он невольно согнулся, пройдя немного далее, он пристально взглянул на нее.

На ней была соломенная шляпа с широкими полями, с розовыми лентами, которыми играл ветер за ее спиной. Низко спускались черные волосы, почти касаясь длинных бровей, и как будто любовно сжимали овал ее лица.

Светлое муслиновое платье в горошек падало многочисленными складками. Она вышивала что-то; ее правильный нос, подбородок, вся она выделялась на фоне голубого неба.

Так как она не меняла положения, то он несколько раз прошелся взад и вперед мимо нее, притворяясь гуляющим; потом остановился возле зонтика, прислоненного к скамье, и сделал вид, что следит за лодкой на реке.

Никогда не видал он такой прелестной, смуглой кожи, такого восхитительного стана, таких тонких нежно просвечивающих пальцев. Он рассматривал ее рабочую корзинку с изумлением, как нечто необыкновенное. Кто она, откуда, как живет, каково ее прошлое? Ему хотелось представить обстановку ее комнаты, все платья, которые она носила, людей, с которыми она близка; и даже желание обладать ею было ничто перед этим более глубоким желанием—томным, безграничным любопытством.

Появилась негритянка с косынкой на голове, ведя за руку девочку, только лишь проснувшуюся, из глаз которой катились слезы. Она посадила ее к себе на колени: «Ай, ай, какая непослушная барышня! Скоро семь лет, а плачет; мама ее больше не будет любить, ей слишком много шалостей прощают». И Фредерик с восторгом слушал все это—точно откровение, точно важное приобретение.

Он подумал, что она андалузка, креолка, может быть; не с Островов ли вывезла она эту негритянку?

Длинная шаль с фиолетовыми полосами лежала за ее спиной на медной обшивке борта. Должно быть, много раз, в море, в сырые вечера, закутывалась она ею, укрывала ноги, спала под ней. Бахрома тянула шаль вниз, она понемногу соскальзывала за борт и вот-вот могла упасть в воду. Фредерик бросился и поймал ее.

Она сказала ему:

— Благодарю вас, сударь.

Глаза их встретились.

— Ты готова, жена?—крикнул Арну, появляясь на лестнице.

Марта подбежала к нему и, уцепившись за шею, стала

дергать за усы. Раздались звуки арфы, ей захотелось посмотреть «музыку»; вскоре арфист, за которым послали негрятенку, вошел в первый класс. Арну узнал в нем прежнего натурщика; и, к удивлению всех присутствующих, стал говорить ему «ты». Арфист откинул свои длинные волосы, вытянул руки и заиграл.

Это была восточная песня, где говорилось о кинжалах, цветах и звездах. Человек в лохмотьях пел резким голосом; перебой машины невпопад вторили мелодии; он стал сильнее рвать струны: они дрожали, в их металлических звуках слышались рыдания, точно жалобы любви, гордой и неразделенной. Леса по обоим берегам реки вплотную спускались к воде; проносились свежие струи воздуха; г-жа Арну смотрела вдаль отуманенным взором. Когда музыка смолкла, она несколько раз разомкнула веки, точно отгоняла сон.

Арфист смиренно приблизился к слушателям. Пока Арну шарил по карманам, Фредерик протянул к шляпе руку и опустил в нее золотой: не тщеславие побудило его к такой щедрости, а благоговение перед ней, почти набожное движение сердца.

Арну, указывая ему дорогу, дружелюбно пригласил его в кают-компанию. Фредерик заявил, что он уже позавтракал; на самом деле, он умирал с голоду, но в его кошельке не осталось больше ни сантима.

Однако, он подумал, что быть в кают-компании он имеет право, как и всякий другой.

За круглым столом уже ели; официант сновал от одного столика к другому; Арну расположились в глубине направо, он сел на длинный бархатный диванчик, взяв лежавшую на нем газету.

В Монтеро они должны пересечь в Шалонский дилянс. Их путешествие по Швейцарии продлится месяц. Госпожа Арну пожурела мужа за потворство ребенку. Он что-то шепнул ей на ухо, должно быть, какую-нибудь любезность, ибо она улыбнулась. Потом он приподнялся, чтоб задернуть занавеску за ее спиной.

Потолок, низкий и очень белый, резко отражал свет; Фредерик, сидевший напротив, различал тень ее ресниц. Она пригублила стакан, отламывала кончиками паль-

цев хлебную корку. Медальон из лапис-лазури, висевший на ее браслете в виде золотой цепочки, звенел по временам, ударяясь о тарелку. Окружающие, однако, по-видимому, и не замечали ее.

Иногда в иллюминаторы виден был бок лодки, причаливающей к пароходу, чтобы принять или доставить пассажиров. Сидевшие за столом заглядывали в иллюминаторы и называли прибреговые местности.

Арну бранил кушанья: он не мало возмутился при виде счета, и ему сделали скидку. Потом он увел молодого человека на бак пить трог. Но Фредерик скоро вернулся под тент, где уже опять сидела госпожа Арну. Она читала какую-то тоненькую книжку в серой обложке. Уголки ее рта моментами приподнимались, и лицо озарилось словно молнией удовольствия. Он позавидовал тому, кто выдумал то, что, казалось, так занимало ее. Он созерцал ее и все живее чувствовал, что между ними—целая бездна. Он размышлял о том, что вот-вот придется расстаться с ней навеки, не вырвав у нее ни единого слова, не оставив ей даже воспоминания о себе.

Справа тянулась равнина, пастбище налево незаметно переходило в холм, на котором виднелись виноградники, орешник, мельница, утопающая в зелени, и тропинки, зигзагами бегущие по белой скале, касающейся края неба... Какое счастье подниматься по ним, обняв ее за талию, меж тем как платье ее будет задевать пожелтевшие листья, слышать ее голос, видеть ее лучистые глаза! Пароход может остановиться, им останется только сойти; и, однако, осуществить эту мечту, столь простую, не легче, чем изменить путь солнца!

Немного далее показался замок, с остроконечной крышей, с четырехугольными башенками. Цветник растянулся перед его фасадом; глубины высоких липовых аллей казались черными сводами. Он представил ее себе идущей вдоль грабовых питомников. Как раз в это время показались на крыльце между кадками с апельсинными деревьями молодая дама с молодым человеком. Потом все скрылось.

Девочка играла возле него. Он захотел поцеловать ее; она спряталась за няню: мать побранила ее за нелюбез-

ность с господином, который спас ее шаль. Не давала ли она этим повод вступить с ней в беседу?

— Может быть, она заговорит со мной, наконец?— думал он.

Время летело. Как бы добиться приглашения от Арну? И он не нашел ничего лучшего, как обратить его внимание на осенние краски природы, прибавив:

— Вот скоро и зима, время балов и обедов.

Но Арну был поглощен своим багажом. Показался Сюрвильский берег, мосты приближались; пароход миновал канатный завод, за ним потянулся ряд низких домов; на берегу виднелись котлы с дегтем, щепы, по песку бегали, катаясь колесом, мальчишки.

Фредерик узнал человека в фартуке и закричал ему:

— Живо!

Причалили. Он с трудом отыскал Арну среди пассажиров, и тот сказал, пожимая ему руку:

— Всего хорошего!

На набережной Фредерик обернулся. Она стояла около руля. И вот он послал ей взгляд, стараясь вложить в него всю свою душу; она осталась неподвижной, спокойной. И, не обратив внимания на поклон слуги, он сказал:

— Почему же ты не под'ехал поближе?

Слуга стал извиняться.

— Растапа! Дай мне денег!

И пошел в харчевню закусить на скорую руку.

Через четверть часа ему захотелось зайти, как будто нечаянно, на почтовый двор. Не удастся ли увидеть ее еще раз?

— Но к чему?—сказал он себе.

И, сев в американку, поехал. Из пары лошадей только одна принадлежала его матери. Другую она попросила у Шамбриона, сборщика податей. Исидор, выехавший еще накануне, отдыхал до вечера в Брэ, переночевал в Монтеро, и поэтому лошади бежали шибко.

Живня тянулись без конца. Два ряда деревьев окаймляли дорогу, кучки щебня следовали одна за другой; мелькнуло Вильнев-Сен-Жорж, Аблон, Шатильон, Корбейль и другие местности — все путешествие стало

воскресать в его памяти с такой ясностью, что перед ним возникло много новых мелочей, тонких черточек: из-под нижней оборки ее платья выступала ее ножка в узком шелковом ботинке каштанового цвета; тиковый тент казался широким балдахином над ней, красная бахрома его безостановочно трепетала под ветром.

Она походила на женщин из романтических книг. Он не хотел бы ничего ни убавить, ни прибавить к ее облику. Мир внезапно расширился перед ним. Она стала сияющим центром его, к которому все сходилось; указываемый движением экипажа, с полузакрытыми глазами, устремив взгляд в облака, он предался мечтательной и бесконечной отраде.

В Брэ задали лошадям овса; он не стал дожидаться и один пошел по дороге вперед. Арну называл ее: «Мари». Он очень громко крикнул: «Мари!» Голос его затерялся в пространстве.

Пурпуром пламенело полнеба на западе. Большие скирды ржи на гумнах кидали гигантские тени. Вдалеке на ферме залаяла собака. Он вздрогнул, об'ятый беспричинной тревогой.

Когда Исидор нагнал его, он сел на козлы и взял вожжи в свои руки. Он почувствовал себя твердым, решил во что бы то ни стало проникнуть к Арну и сойтись с ним. У них, должно быть, интересный дом, да и сам Арну ему нравился; наконец, почему знать? Кровь бросилась ему в лицо, в висках застучало, он хлопнул бичем, задергал вожжами и так погнал лошадей, что старый кучер то и дело повторял:

— Тише, тише! Запалите!

Понемногу Фредерик успокоился, стал слушать, что рассказывал ему слуга.

— Барчука ждут с большим нетерпением. Барышня Луиза плакала, ей так хотелось ехать с ним.

— Кто это—барышня Луиза?

— Дочка г. Рока, разве вы не знаете?

— Ах, да, я и забыл!—ответил Фредерик небрежно.

Между тем, лошади выбивались из сил. И та, и другая стали прихрамывать; било уже девять часов на башне св. Лаврентия, когда в'ехали на Оружейную площадь

и остановились перед домом. Этот просторный дом с садом, выходящим в поле, играл некоторую роль в том особом почете, каким пользовалась г-жа Моро во всем округе.

Она происходила из старинного дворянского рода, теперь угасшего. Муж ее, плебей, за которого ее заставили выйти замуж родители, был убит на дуэли, во время ее беременности, и оставил ей запутанное состояние. Она принимала у себя три раза в неделю и время от времени устраивала званые обеды. Но каждая свеча была у нее на счету, и с великим нетерпением ожидала она арендной платы. Недостаток средств, скрываемый как порок, делал ее серьезной. Она проявляла свои добродетели без нарочитого ханжества, без озлобления. Малейшая ее лепта казалась всем благодеянием. С ней советовались о выборе слуг, о воспитании дочерей, о варке варенья, и его преосвященство всегда навещал ее во время своих поездок по епархии.

На счет своего сына г-жа Моро питала честолюбивые мечты и не любила, из чувства своего рода предварительной осторожности, когда при ней порицали правительство. Ведь вначале Фредерику не обойтись без протекции; затем, благодаря своим средствам, он будет в Государственном совете, посланником, министром: не даром она гордилась его успехами,—в Санской коллегии он получил первую награду.

Когда он вошел в гостиную, все с шумом поднялись и стали обнимать его; затем уселись, поставив стулья и кресла полукругом у камина. Г. Гамблен поспешил узнать его мнение о г-же Лафарж. Этот процесс, волновавший всех в то время, не преминул вызвать бурный спор; но г-жа Моро тотчас же прекратила его, к великому, однако, сожалению г. Гамблена; он считал подобные споры полезными для молодого человека, будущего юриста, и вышел из гостиной, надувшись.

Иного и нельзя было ожидать от приятеля старика Рока. От старика Рока перешли к Дамбрезу, который только что приобрел поместье Фортель. Но тут сборщик податей отвел Фредерика в сторону, чтоб узнать, что тот думает о последнем труде г. Гизо. Всем хотелось осведо-

миться о личных делах Фредерика: и г-жа Бенуа весьма ловко завела об этом речь, спросив его о здоровье дяди. Как поживает этот добрый родственник? О нем давно ничего не слышно. У него нет троюродного брата в Америке?

Кухарка доложила, что кушать молодому барину положено. Все из скромности удалились. И как только Моро остались одни, мать вполголоса спросила сына:

— Ну, что?

Старик принял его очень ласково, но о своих намерениях не сказал ни слова.

Г-жа Моро вздохнула.

— Где то теперь она?—думал он.

Дилижанс катится, и она, конечно, дремлет, закутавшись в шаль и прислонясь своей прелестной головкой к суконной обивке.

Когда они поднимались в свои спальни, малый из гостиницы «Лебедь» принес записку.

— Что там такое?

— Это от Дэлорье, я ему зачем-то нужен,—ответил Фредерик.

— А! твой товарищ!—презрительно усмехнулась госпожа Моро.—Выбрал время, нечего сказать!

Фредерик поколебался. Но дружба пересилила. Он взялся за шляпу.

— По крайней мере, не пропадай надолго,—сказала мать.

II.

Отец Шарля Дэлорье, старый армейский капитан, выйдя в отставку в 1818 году и возвратясь в Ножан, женился и, на деньги, взятые в приданое, купил должность судебного пристава, которая и дала ему возможность кое-как перебиваться. Озлобленный длинным рядом несправедливостей, страдавший от старых ран и вечно оплакивавший императора, он изливал душивший его гнев на близких. Немногих детей били так часто, как его сына.

Мальчишка, однако, был упорен. Мать пробовала вступаться за него—и терпела столь же суровое обращение. Наконец, капитан засадил его за дело и с утра до вечера держал согнутым над перепиской актов, отчего правое плечо сделалось у него значительно выше левого.

В 1833 году, по предложению председателя, капитан продал свою контору. Жена его умерла от рака. Он переехал в Дижон; затем открыл посредническую контору для вербовки солдат в Труа, и, выхлопотавши Шарлю половинную стипендию, поместил его в Санскую коллегию, где Фредерик и узнал его. Но одному было двенадцать лет, другому пятнадцать; кроме того, они резко отличались друг от друга и по характеру, и по происхождению.

В комод Фредерика было много всяческих лакомств, изысканных вещей, как, например, туалетный прибор. Он любил долго спать по утрам, следить за полетом ласточек, читать драматические произведения и, тоскуя по дому, находил жизнь в коллегии слишком суровой.

Сыну же судебного пристава она казалась отличной. Он учился так хорошо, что к концу второго года перешел в третий класс. Однако, по вине ли его бедности или сварливого нрава, глухая недоброжелательность окружала его. Раз, когда дядька, среди двора, наполненного учениками средних классов, обозвал его нищим, Шарль схватил его за горло и задушил бы, если бы их не разняли три воспитателя. Восхищенный Фредерик кинулся к нему на шею. С этого дня и установилась их дружба.

Привязанность старшего, без сомнения, льстила тщеславию младшего, а тот считал за счастье его преданность.

Отец на время каникул оставлял Шарля в коллегии. Перевод из Платона, случайно прочтенный им, привел его в восторг. Тогда он принялся за изучение метафизики; занятия пошли очень успешно, ибо приступил он к ним со всей свежестью юных сил и с гордостью обрешшего независимость ума; Жуффруа, Кузен, Ляромигьер, Мальбранш, Шотландцы—все, что только было в библиотеке, прошло через его руки. Ему пришлось даже украсть ключ, чтобы доставать книги.

Фредерик проводил свободное время менее серьезно. В улице Трех Королей он срисовывал родословие Христа, вырезанное на колонне, потом портал собора. После средневековых драм, он взялся за мемуары: Фруассара, Комина, Пьера де-Летуаля, Брантома.

Навождение образов, вызванных в его уме этим чтением, так сильно завладело им, что он чувствовал необходимость их воспроизвести. Он возмечтал стать со временем французским Вальтер-Скоттом. Дэлорье же создавал грандиозную, всеобъемлющую философскую систему, приложимую к самым отдаленным задачам.

Они вели беседы обо всем этом во время перемен во дворе, против нравоучительной надписи под часами! Они шептались в капелле, под статуей св. Людовика; они предавались мечтам в дортуаре, откуда открывался вид на кладбище. На прогулках они становились в последнюю пару и говорили без конца.

Они говорили о том, что они будут делать по выходе из коллегии. Прежде всего они предпримут путешествие на деньги Фредерика, который уделит часть из того, что ему придется по наследству, по достижении совершеннолетия. Потом они возвратятся в Париж, будут вместе работать, никогда не расставаясь; а как отдых от трудов, у них будут любовные свидания с княгинями в атласных будуарах или искрометные оргии с знаменитыми куртизанками. Но сомнениями сменялись вспышки надежд. После приступов веселой болтливости они впадали в глубокое молчание.

В летние вечера, когда они подолгу ходили по каменистым дорожкам вдоль виноградников или по большой дороге в открытом поле, когда волновались хлеба под солнцем, когда в воздухе разливался запах дыгилы, их что-то томило, и, одурманенные, опьяненные, они бросались на землю. Товарищи их, в одних жилетах, играли в бабки или запускали змея. Надзиратель скликал их. Они возвращались вдоль садов, прорезанных ручейками, потом по бульварам, затененным старыми стенами; пустынные улицы звонко откликались на их шаги; решетка от-

кrywалась, они поднимались по лестнице; и предавались грусти, точно после большого кутежа.

Классный наставник утверждал, что они взвинчивают друг друга. Однако, если Фредерик и работал в старших классах, то лишь благодаря увещаниям друга; на каникулы 1837 года он повез его к своей матери.

Молодой человек не понравился г-же Моро. Он необыкновенно много ел. Не ходил по воскресеньям в церковь. Высказывал республиканские убеждения. Наконец, до нее дошло, что он водит ее сына в непристойные места. За ними учредили надзор. Они еще больше привязались друг к другу; когда Дэлорье в следующем году кончил курс в коллегии и отправился в Париж, чтоб изучать право, разлука была тягостна им.

Фредерик рассчитывал соединиться с ним в Париже. Они не видались уже два года; теперь, после долгих обещаний, они пошли к мостам, чтоб наговориться досыта.

Капитан, содержащий ныне бильярдное заведение в Вильнюксе, побаровел, когда сын потребовал отчета по опеке, и даже наотрез отказал в дальнейшей поддержке. Надеясь добиться в будущем профессорской кафедры и не имея ни копейки за душою, Дэлорье принял место старшего клерка у одного адвоката в Труа. Всяческими лишениями он рассчитывал скопить четыре тысячи франков; если ему ничего и не достанется из состояния матери, то в течение трех лет он сможет спокойно работать в ожидании лучшего положения. Итак, нужно отказаться, по крайней мере, в ближайшем будущем, от заветной мечты поселиться в столице вместе.

Фредерик опустил голову. Первая из его грез рушилась.

— Утешься, — сказал сын капитана. — Жизнь длинна; мы молоды. Мы еще будем жить вместе. Не думай больше об этом.

Он потряс его за руки и, чтобы рассеять, стал расспрашивать о его поездке.

Фредерику почти нечего было рассказывать. Но он вспомнил госпожу Арну — и печаль его исчезла. Он не стал говорить о ней, повинувшись чувству стыдливости. Зато распространился о самом Арну, передавая его речи, опи-

сывая его манеры, рассказывая об его связях; Дэлорье стал горячо убеждать его поддержать это знакомство.

Фредерик последнее время ничего не писал. Его литературные вкусы изменились: теперь он выше всего ставил страсть; Вертер, Рене, Франк, Лара, Лелия и другие, менее значительные произведения в мере, почти равной, восхищали его. Иногда ему казалось, что только музыка способна выразить его внутреннее смятение; тогда он грезил симфониями; а порой завладевала им внешность предметов, и ему хотелось писать красками; писал он, однако, только стихи, Дэлорье нашел первое стихотворение прекрасным, однако, другого не попросил.

Что до него, то он покончил с метафизикой. Социальная экономия и французская революция — вот что захватило его. Теперь это был малый двадцати двух лет, худой, большеротый, с решительным видом. В этот вечер на нем было плохонькое ластиковое пальтишко и башмаки, белые от пыли, ибо он пешком отмахал всю дорогу из Вильнюкса, чтобы только повидаться с Фредериком.

Подошел Исидор: барыня просит вернуться домой и, боясь, что он прозябнет, посылает ему плащ.

— Успеется, — сказал Дэлорье.

И они опять стали ходить из конца в конец по мостам, опиравшимся на узкий островок между каналом и рекой.

Когда они сворачивали к Ножану, перед их глазами была тесная куча домов, немного покатаая; направо поднималась церковь — из-за деревянных мельниц с опущенными заторами; налево изгороди из кустарника отделили от реки сады, чуть видные в темноте. А когда они шли по направлению к Парижу, они видели прямую дорогу и луга, терявшиеся в ночных испарениях. Она была безмолвна и смутно белела. Доносился запах влажной листвы; запруженная река падала шагах в ста от них с тем широким и мягким шумом, с которым катятся волны в темноте.

Дэлорье остановился и сказал:

— Забавно, каким мирным сном почивают эти добрые люди. Но терпение! Новый 89 год недалек! Довольно этих конституций, хартий, ухищрений, лганья! О, будь

у меня газета или трибуна, показал бы я им! Но всякое дело требует денег. Вот проклятие — быть сыном кабатчика и растратить молодость в поисках куска хлеба!

Он опустил голову и закусил губы, дрожа от холода в своем легоньком пальтишке.

Фредерик прикрыл его полой своего плаща. Они обнялись и, закутавшись, опять стали ходить взад и вперед.

— Но я не могу представить, как я буду жить там без тебя?—говорил Фредерик. Горькие слова друга опять пробудили его печаль. — Я, пожалуй, еще сделал бы что-нибудь, будь возле меня любящая женщина... Чего ты смеешься? Любовь это пища и как бы атмосфера гения. Исключительные чувства порождают возвышенные творения. Но искать ту, которая нужна мне,—нет, от этого я отказываюсь. Да если бы я и нашел ее, она бы отвергла меня. Я принадлежу к племени обездоленных и угасну, обладая сокровищем и не ведая, был ли то страз или бриллиант.

Чья-то тень вытянулась на мостовой и в то же время они услышали голос:

— Мое почтение, господа!

Тот, кто произнес эти слова, был маленький человек, в широком коричневом сюртуке и в картузе, из-под козырька которого торчал острый нос.

— Г. Рок?—сказал Фредерик.

— Он самый!—был ответ.

Г. Рок объяснил свое появление тем, что он возвращается после осмотра волчьих капканов в своем саду, на берегу реки.

— Итак вы опять в наших краях? Прекрасно! Я узнал об этом от моей дочурки. В добром здравии, надеюсь? Не скоро уезжаете еще?

И он отошел, видимо ошеломленный холодностью Фредерика.

Действительно, г-жа Моро не бывала у него; Рок был в связи со своей служанкой и не пользовался уважением, хотя и был агентом по выборам и управляющим г. Дамбреза.

— Банкир, что живет на улице Анжу? — спросил Дэлорье.—Знаешь ли, что тебе нужно сделать, дружище?

Исидор опять перебил их. Ему было приказано привести Фредерика во что бы то ни стало. Барыню беспокоит его отсутствие.

— Хорошо, хорошо, сейчас!—сказал Дэлорье,—ночевать буду дома!

И, когда слуга удалился, прибавил:

— Ты должен попросить этого старика ввести тебя к Дамбрезам; нет ничего полезнее, как бывать в богатом доме. Пользуйся тем, что у тебя есть черный фрак и белые перчатки. Нужно, чтоб ты вошел в тот круг. Потом ты и меня введешь туда. Миллионер, подумай-ка! Постарайся понравиться ему, ну и жене, конечно. Стань ее любовником.

Фредерик запротестовал:

— Но, ведь, это классический прием! Вспомни Растиньяка в «Человеческой комедии». Ты будешь иметь успех, я в этом убежден!

Фредерик так доверял Дэлорье, что готов был сдать-ся, забывая г-жу Арну или ставя ее на место другой, и не мог удержать улыбки.

Клерк продолжал:

— Теперь последний совет: сдавай экзамены. Диплом никогда не мешает. И брось твоих католических писателей и сатанических поэтов; они ушли в философии немногим дальше двенадцатого века. Твое отчаяние глупо. Самым выдающимся людям начинать было еще труднее твоего. Взять хотя бы Мирабо. Кроме того, разлука наша будет не долга. Я из горла вырву у мошенника отца свою долю. Мне пора, прощай! Нет ли у тебя ста су? Мне нужно заплатить за обед.

Фредерик дал ему 10 франков, все, что осталось от взятого у Исидора.

В двадцати саженьях от мостов, на левом берегу реки, в слуховом окне низкого домика светился огонь.

Дэлорье заметил его. И, сняв шляпу, напыщенно произнес:

— Венера, царица богов, привет тебе! Но Ницета—

мать Целомудрия! Ах, мы и так достаточно были оклеветаны!

Этот намек на их похождения развеселил их. Они громко хохотали, идя по улицам.

Потом, расплатившись в гостинице, Дэлорье проводил Фредерика до Больничного перекрестка; тут, после долгих объятий, друзья расстались.

III.

Два месяца спустя Фредерик, приехав в одно утро на улицу Кок-Херон, решил первым делом сделать свой главный визит.

Случай помог ему. Старик Рок зашел к Моро и принес сверток бумаг, прося его лично передать их г. Дамбрезу; к посылке было приложено незапечатанное письмо, в котором он представлял своего юного земляка.

Г-жа Моро, казалось, удивлена была этим поступком. Фредерик затаил свою радость.

Дамбрез был собственно граф д'Амбрез; но с 1825 года, все более и более пренебрегая своим титулом и своим кругом, он занялся делами промышленности; будучи осведомленным обо всем, что делается в министерствах, и принимая участие во всяких предприятиях, пользуясь малейшим выгодным случаем, юркий как грек и трудолюбивый как овернец, он составил себе состояние и, по слухам, значительное; сверх того, он был кавалером Почетного Легиона, членом Генерального Совета в департаменте Об, депутатом, а в недалеком будущем мог быть и пэром Франции; весьма к тому же услужливый, он надоедал министру своими непрерывными просьбами о пособиях, о крестиках, о табачных лавках; в случае же размовок с властью, он склонялся к левому центру.

Его жена, хорошенькая г-жа Дамбрез, о которой упоминалось в модных журналах, председательствовала в благотворительных обществах. Подлаживаясь к герцогиням, она смягчала раздражение благородного предместья*)

*) Сен-Жерменское предместье, квартал Парижа, населенный аристократией.
Прим. ред.

и заставляла верить, что он может еще раскаяться и вновь быть полезным.

Молодой человек очень волновался по дороге к ним.
— Было бы лучше, если бы я надел фрак. Ведь меня, конечно, пригласят на бал на следующей же неделе. Как-то примут меня?

Но при мысли, что Дамбрез не более, как простой буржуа, к нему вернулась самоуверенность, и он смело выпрыгнул из кабриолета на тротуар улицы Анжу.

Приотворив одну половину ворот, он прошел двор, поднялся на крыльцо и очутился в вестибюле, с выложенным цветным мрамором полом.

Двойная прямая лестница, покрытая красным ковром с медными прутьями, подымалась вдоль высоких, блестящих, оштукатуренных под мрамор стен. У нижних ступеней лестницы стоял банан, широкие листья которого свешивались на бархат перил. С двух бронзовых канделябров спускались на цепочках фарфоровые шары; зияющие отдушины парового отопления испускали тяжелый зной; слышно было тиканье больших часов, стоявших в другом конце вестибюля под развешанным оружием.

Раздался звонок; появился лакей и проводил Фредерика в небольшую комнату, где он увидел два несоразмерных шкафа и полки, набитые папками. Г. Дамбрез по середине комнаты писал за полукруглым бюро.

Он пробежал письмо Рока, разрезал перочинным ножом холст, в который были зашиты бумаги, и просмотрел их.

Худощавый и прямой, он издали мог сойти за человека молодого. Но редкие седые волосы, слабые члены, а в особенности необычайная бледность лица указывали на расшатанное здоровье. Беспощадная сила таила в его серо-зеленых, холодных, стеклянных глазах. Скулы его выдавались, суставы на руках были узловаты.

Наконец, поднявшись, он обратился к молодому человеку с несколькими вопросами об общих знакомых, о Ножане, об его занятиях; потом, поклонившись, отпустил его. Фредерик вышел другим ходом и очутился в той части двора, где находились каретные сараи.

Синяя двухместная карета, запряженная вороною ло-

шадью, стояла у подъезда. Дверца открылась, в нее вошла дама, и экипаж с глухим шумом покатился по песку.

Фредерик в одно время с ней оказался у ворот, подойдя к ним с другой стороны. Пройти было негде, и он принужден был остановиться. Молодая женщина, выгнувшись из окна, тихо говорила с привратником. Он видел лишь ее спину в фиолетовой накидке и устремил взор во внутрь кареты, обтянутой синим репсом с галунами и шелковой бахромой. Всю карету заполнял ее наряд; от этой выстеганной коробочки исходил запах при-са и как бы неуловимый аромат женского изящества. Кучер ослабил вожжи, лошадь задела за тумбу, и все исчезло.

Фредерик возвращался домой пешком по бульварам.

Он жалел, что не смог рассмотреть г-жу Дамбрез.

Немного проходя улицу Монмартр, скопление экипажей побудило его повернуть голову; на противоположной стороне, прямо против себя, он прочитал на мраморной доске: Жак Арну.

Как это он раньше не вспомнил о ней? А все Дэлорье! И он подошел к магазину, но не вошел туда; он ждал, не появится ли она.

В большие зеркальные стекла были видны искусно размещенные статуетки, рисунки, гравюры, каталоги, номера «Художественной Промышленности»; условия подписки были выставлены и на двери, украшенной посредине инициалами издателя. На стенах висели большие картины, блестящие лаком, на заднем плане стояли две горки с фарфором, бронзой и другими редкими вещичками; их разделяла маленькая лестница, закрытая сверху триповой портьерой; люстра старинного саксонского фарфора, а также зеленый ковер на полу и стол из разноцветной мозаики придавали торговому помещению скорее вид салона.

Фредерик сделал вид, что рассматривает рисунки; после бесконечных колебаний он вошел.

Приказчик приподнял портьеру и сказал, что хозяина не будет в магазине до пяти часов, — но если поручение можно передать...

— Нет, я зайду еще раз, — пролепетал Фредерик.

Следующие дни были посвящены поискам квартиры; в конце концов, он нанял номер во втором этаже меблированных комнат на улице Сент-Иасент.

С новеньким бьюаром под мышкой он отправился на первую лекцию. Триста молодых людей с непокрытыми головами наполняли аудиторию, где старик в красной мантии читал монотонным голосом; перья скрипели по бумаге; Фредерик вспомнил классы: тот же запах пыли, той же формы кафедра, та же скука были и в этой зале. В продолжение двух недель он посещал лекции. Но еще не дошли до третьей статьи, как он бросил гражданский кодекс и прекратил слушание институций на *Summa di visio personarum*.

Радости, которых он ждал, не приходили; просмотрев все интересное в читальне, обегав Лувр и несколько раз подряд побывав в театре, он предался полной праздности.

Тысячи мелочей усугубляли его унылое настроение. Нужно было самому считать белье, терпеть привратника, грубого человека с замашками больничного служителя, являвшегося каждое утро оправлять постель, дышавшего алкоголем и вечно ворчавшего. Его комната, украшением которой служили алебастровые часы, ему не нравилась. Перегородки были тонкие, он слышал, как за стенами студенты готовили пунш, пели и хохотали.

Истомленный одиночеством, он разыскал одного из своих прежних товарищей, Балтиста Мартинона; он нашел его в пансионе на улице Сен-Жак, зубрящим у камина курс судопроизводства.

Напротив него женщина в ситцевом платье штопала носки.

Мартинос был, что называется, красавец-мужчина: дородный, круглолицый, с правильными чертами и с синеватыми глазами на выкате; его отец, богатый земледелец, предназначал его для судейской карьеры; и Мартинос, желая уже казаться серьезным, отпустил себе бородку.

Так как разумной причины для скуки у Фредерика не было никакой, и пожаловаться на несчастья он не мог, то Мартинос так и не понял, почему он сетует на

жизнь. Сам он каждое утро отправлялся на лекции, затем прогуливался по Люксембургскому саду, вечером выпивал положенное в кофейной и чувствовал себя совершенно счастливым, имея полторы тысячи франков в год и пользуясь любовью швейки.

— Ну, благополучие!—подумал Фредерик.

В университете он завел еще другое знакомство—с де-Сизи, который происходил из знатного рода и милостью своей повадки напоминал барышню.

Де-Сизи занимался рисованием, ему нравилась готика. Несколько раз они вместе ходили любоваться Святой Капеллой и собором Парижской Богоматери. Но под изысканностью юного патриция скрывался один из самых убогих умов. Все его изумляло; при самой незначительной шутке он долго смеялся и выказывал такое простодушие, что Фредерик принял его сначала за шутника, а потом стал смотреть на него как на глупца.

Раскрыть душу было положительно некому, а приглашение от Дамбрез все еще не приходило.

На Новый Год он послал им визитные карточки, но в ответ не получил ничего.

Он во второй раз отправился в «Художественную Промышленность».

Отправился и в третий, и, наконец, увидел Арну; но в магазине было пять или шесть покупателей и, занятый ими, тот едва ответил ему на поклон. Фредерик обиделся. Но мысль так или иначе увидеть ее не покинула его.

Сперва он придумал почаще приходить в магазин и приторговываться к картинам. Потом решил послать в журнал несколько статей «поисильнее» и, таким образом, завязать знакомство. Но, может быть, лучше всего идти прямо к цели,—просто-напросто высказать ей свою любовь? И он написал целых двенадцать страниц, полных лирики и восклицаний; но, одумавшись, порвал их и не предпринял ничего, даже и не попытался предпринять, боясь неуспеха.

Над магазином Арну было три окна, по вечерам всегда освещенных. Было видно, как по комнате двигались тени, в особенности одна: ее тень; и он делал нема-

лые крюки, чтобы глядеть в эти окна и созерцать эту тень.

Как-то он встретил в Тюльери негритянку, ведущую за ручку девочку, и вспомнил негритянку г-жи Арну. Она, должно быть, как и другие, приходит сюда; в надежде на встречу с ней, сердце его билось, всякий раз, когда он шел по Тюльери. В солнечные дни он доходил до самого конца Елисейских Полей.

Женщины, небрежно откинувшись в колясках, с развешивающимися от ветра вуалями, проезжали мимо, слегка покачиваясь от тряской рыси коней, отчего поскрипывала лакированная кожа экипажей. Число карет все увеличивалось, и, замедляя движение у Круглой площади, они запружали собой улицу—грива к гриве, фонарь к фонарю; стальные стремяна, серебряные цепочки мундштуков, медные пряжки сверкали там и сям среди коротких рейтуз, белых перчаток и мехов, ниспадавших на дверцы с гербами. Он чувствовал себя затерянным среди этого чуждого ему мира. Его глаза блуждали по женским головкам; и всякое, даже малейшее, сходство с г-жей Арну вызывало в памяти ее образ. Он представлял ее в одной из этих двухместных карет, вроде кареты г-жи Дамбрез. Но солнце садилось, и холодный ветер поднимал столбы пыли. Кучера прятали подбородки в воротники, колеса вертелись быстрее, скрежеща по мостовой, экипажи мчались по длинной аллее, задевая, обгоняя и удаляясь друг от друга, а на площади Согласия раз'езжались в разные стороны. За Тюльери небо принимало аспидный оттенок. Деревья сада представляли две огромные сплошные массы, подернутые вверху фиолетовой дымкой. Зажигались газовые рожки; Сена, зеленоватая на всем своем протяжении, разбивалась серебряной рябью о быки мостов.

Обедал он за сорок три су в ресторане на улице Лагарп.

Он с пренебрежением смотрел на старый прилавок красного дерева, на запятнанные салфетки, на потемневшее серебро и на шляпы по стенам. Кругом сидели такие же студенты, как и он. Они болтали о своих профессорах и любовниках. Но профессора трогали его мало. А любов-

ницы у него не было. Чтобы не видеть этого веселья, он стал приходить сколь возможно позднее. На всех столах еще валялись обеды. Два замученных лакея дремали в углах, и запах кухни, лампы и табаку наполнял опустевшую комнату.

Потом он медленно шел по улицам. Колеблющееся пламя фонарей бросало в грязь длинные, желтоватые отблески. Какие-то тени скользили по тротуарам под зонтиками. Мостовая была грязной, спускался туман, и ему казалось, что сырой мрак окутывает его, незаметно закрадывается в его сердце.

Угрызения совести стали мучить его. Он снова стал посещать лекции. Но так как он ничего не знал из уже прочитанного, то самые простые вещи затрудняли его.

Он начал писать роман, под заглавием: «Сильвио, сын рыбака».

Место действия — Венеция. Герой — он сам; героиня — г-жа Арну, названная Антонией; чтоб овладеть ею, он убивает нескольких знатных людей, сжигает часть города и поет под ее балконом, где колеблются от бриза красные штофные занавески... с бульвара Монмартр. Роман был переполнен его собственными воспоминаниями, он это заметил, и это его лишило мужества. Он бросил писать и окончательно перестал чем бы то ни было заниматься.

Он стал умолять Дэлорье приехать, поместиться в его комнате. Они и вдвоем сумели бы устроиться на две тысячи франков, назначенных ему на содержание; он на все готов променять это невыносимое существование. Но Дэлорье еще не мог уехать из Труа. Он убеждал его развлекаться и почаще бывать у Сенекаля.

Сенекаль был репетитор, математик, человек упрямый, с республиканскими убеждениями, будущий Сен-Жюст, как говорил клерк. Фредерик три раза поднимался к нему на пятый этаж, но Сенекаль ни разу не зашел к нему. И он прекратил свои посещения.

Он решил развлечься. Отправился на бал в оперу. Но уже при входе шумное веселье обдало его холодом. Кроме того, его сдерживал страх, что не хватит денег, ибо он воображал, что ужин с маской обойдется очень дорого, поведет к чему-нибудь очень серьезному.

Между тем, ему казалось, что он должен нравиться. Иногда он просыпался с сердцем, полным надежд, тщательно одевался, точно на свидание, и совершал по Парижу бесконечные прогулки. О всякой женщине, идущей впереди него или навстречу ему, он думал: «Вот она!». И всякий раз разочаровывался. Мысль о г-же Арну углубляла его вожделения. Может быть, им еще придется встретиться на жизненном пути; он представлял себе какое-нибудь исключительное стечение обстоятельств, необыкновенные опасности, которые сведут их и от которых он спасет ее.

Так скучно и однообразно, по заведенному порядку, протекали его дни. Он перелистывал брошюры под аркадами Одеона, ходил читать „Revue des deux Mondes“ в кафе, заходил в Collège de France*), прослушивать лекции китайского языка или политической экономии. Каждую неделю он писал длинные письма Дэлорье, время от времени обедал с Мартиноном, иногда видался с де-Сизи.

Он взял напрокат пианино и сочинил несколько немецких вальсов.

Как-то вечером в театре Пале-Рояль он заметил в ложе первого яруса Арну с какой-то дамой. Не с женой ли? Экран из зеленой тафты у барьера ложи закрывал лицо дамы. Наконец, занавес поднялся; экран опустился. Это была долговязая поблекшая особа, лет тридцати, толстые губы которой при смехе обнажали чудесные зубы. Она фамильярно болтала с Арну и била его веером по пальцам. Потом молоденькая блондинка, с покрасневшими щеками после слез веками, поместилась между ними. С этого момента Арну сидел, наклонившись к ее плечу, все что-то говорил ей, а она слушала и молчала. Фредерик старался понять, что это за женщины, скромно одетые в темные платья с гладкими отложными воротниками.

По окончании представления он поспешил к выходу. Коридоры выполняла толпа. Арну впереди него медленно спускался по лестнице, под руки с обеими женщинами.

Вдруг свет от газового рожка упал на Арну. На шляпе его был креп. Быть может, она умерла? Эта мысль так

*) „Французская коллегия“ — высшее учебное заведение. Прим. ред.

взволновала его, что он побежал на другой день в «Художественную Промышленность» и, наскоро расплачиваясь за одну из выставленных гравюр, спросил приказчика, как здоровье г. Арну.

Приказчик ответил:

— Очень хорошо.

— А хозяйки?

— И хозяйки тоже.

Фредерик забыл взять с собой гравюру.

Зима прошла. Весной ему было уже не так скучно, он принялся готовиться к экзаменам и, весьма посредственно выдержав их, уехал тотчас в Ножан.

Он ни разу не с'ездил в Труа, чтоб повидаться с другом, боясь замечаний со стороны матери. Потом, возвратясь в Париж, бросил свою прежнюю квартиру, снял на набережной Наполеона две комнаты и сам обставил их. Надежда на приглашение к Дамбрез пропала; великая страсть к г-же Арну начала угасать.

IV.

В одно декабрьское утро, когда он шел на лекцию процессуального права, Фредерику показалось, что на улице Сен-Жак царит большее оживление, чем обыкновенно. Студенты стремительно выходили из кафе, переговаривались друг с другом через открытые окна своих квартир; лавочники, стоя на тротуаре, озирались с беспокойством; всюду выставались ставни. Дойдя до улицы Суффло, он увидел громадное сборище у Пантеона.

Молодые люди, взявшись под руки, прогуливались небольшими кучками, от пяти до двенадцати человек, примыкали к более многочисленным группам, стоявшим там и сям; в глубине площади, у решетки, произносили речи блузники, между тем как полицейские, в треуголках набекрень и с заложенными за спину руками, шагали вдоль стен, звонко ступая по каменным плитам тяжелыми сапогами. Все имели таинственный и удивленный вид; очевидно, чего-то ждали, каждый сдерживал вертевшийся на языке вопрос.

Фредерик очутился рядом с молодым белокурим человеком приятной наружности, с усами и бородкой, какие носили щеголи времен Людовика XIII. Он спросил его о причине беспорядков.

— Я и сам ничего не знаю, — ответил тот, — да и они не знают. Теперь это в моде. Потеха — да какая!

И он разразился смехом.

В самом деле, петиции о реформах, для которых собирали подписи среди национальной гвардии, в связи с переписью Гуманна и с другими событиями, привели к тому, что в Париже за последние шесть месяцев неизвестно каким образом собирались целые толпы народа; это повторялось так часто, что газеты перестали даже упоминать о них.

— Ни выпуклости, ни красочности, — продолжал сосед Фредерика. — Несомненно, мы выродились. В добрые времена Людовика XI — сошлюсь хоть на Бенжамена Констанана, — среди школяров было куда больше мятежного духа. Теперь они, по моему, смиренны как бараны, глупы, как пробки, способны лишь на то, чтобы стать бакалейными торговцами. Помилуй Бог, это называется теперь учащейся молодежью!

Он широко развел руками, как Фредерик Демерт в «Роберте Макере» *).

— Учащаяся молодежь, благословляю тебя!

И, обращаясь к тряпичнику, который копался в устричных раковинах около тумбы у винного погреба, спросил:

— И ты соучастник этой учащейся молодежи?

Старик обратил к нему свое безобразное лицо, заросшее седыми волосами, с красным носом и с пьяными бессмысленными глазами.

— Нет! Ты мне представляешься скорей одним из тех людей с обликом висельника, что на разных сборищах щедрой рукой сыпят золото... Сыпь, старче, сыпь! Обольщай и меня сокровищами Альбиона. Are you English?)

*) Мелодрама, в которой была коронная роль знаменитого актера (1800—1876).

Прим. ред.

**) Англичанин ли вы?

Флобер, Воспитание чувств

Я не отказываюсь от даров Артаксеркса. Потолкуем-ка немного о таможенном союзе.

Фредерик почувствовал, что кто-то трогает его за плечо; он оглянулся. Сзади стоял Мартинон, страшно бледный.

— Ну, — произнес он с глубоким вздохом, — опять бунт!

Он боялся быть скомпрометированным и выражал крайнее беспокойство. Блузники, как принадлежащие к тайным сообществам, особенно тревожили его.

— А разве существуют тайные сообщества? — сказал молодой человек с усами. — Это старая басня, которой правительство пугает обывателей!

Мартинон посоветовал ему говорить потише, в виду близости полиции.

— Вы, значит, еще верите в полицию? Впрочем, уверены-ли вы, сударь, что я не сыщик?

И он так посмотрел на него, что Мартинон, смутясь, не сразу понял его шутку. Толпа напирала, все трое были принуждены подняться на крылечко, ведущее через коридор в новый амфитеатр.

Вдруг толпа расступилась; многие обнажили головы; то приветствовали знаменитого профессора Самюэля Рондело, который, в своем толстом сюртуке, поднявши на лоб серебряные очки и, как всегда, задыхаясь от астмы, спокойно шел на лекцию. Этот человек был одним из юридических светил 19-го века, соперником Цахария, Рудорфа. Его недавно произвели в пэры Франции, но это не изменило его привычек. Знали, что он беден, и окружали его особым почетом.

Между тем, с площади неслись крики:

— Долой Гизо!

— Долой Придчарда! *).

— Долой продажные души!

— Долой Луи-Филиппа!

Толпа заволновалась, и, притиснувшись к воротам во двор, которые были заперты, не давала профессору про-

*). Английский миссионер, вызвавший своей пропагандой в колониях трения между Англией и Францией, улаженные уступчивостью министра иностранных дел Гизо.

ти. Он остановился у крыльца. И вскоре его увидели на верхней ступеньке. Он заговорил, но шум заглушил его голос. Только что все глядели на него с любовью; теперь его ненавидели, ибо он олицетворял власть. При всякой его попытке заставить себя слушать, крики возобновлялись. Он важным жестом пригласил студентов следовать за ним. Единодушный рев был ему ответом. Он презрительно поднял плечи и скрылся в коридоре. Мартинон воспользовался случаем, чтобы исчезнуть в то же время.

— Какой трус! — сказал Фредерик.

— Он благоразумен, — возразил другой.

Толпа разразилась аплодисментами. Отступление профессора было для нее победой. Из всех окон смотрела любопытные. Кое-кто затынул Марсельезу, некоторые предлагали идти к квартире Берамже.

— К Лаффиту!

— К Шатобриану!

— К Вольтеру! — заорал молодой человек с русыми усами.

Полицейские старались протесниться сквозь толпу, говоря как можно мягче:

— Расходитесь, господа, расходитесь, по домам!

Кто-то крикнул:

— Долой убийц!

После сентябрьских волнений это была обычная брань. Все ее подхватили. Шикали, свистали стражам общественного порядка; те начали бледнеть; один из них не выдержал и, увидев подростка, который подошел слишком близко, смеясь ему прямо в лицо, оттолкнул его так грубо, что тот отлетел шагов на пять и упал навзничь перед винным погребом. Все отступили; но почти в то же мгновение он сам покатился, сбитый с ног каким-то Геркулесом, волосы которого, похожие на паклю, выбились из-под клеенчатой фуражки.

Задержавшись на минуту на углу улицы Сен-Жак, он быстро отбросил в сторону широкий картон, который нес, чтобы кинуться на полицейского, и, подмяв его под себя, стал изо всей силы наносить ему удары по лицу. Сбежались другие сержанты. Но страшный человек был так

дуж, что понадобилось не менее четырех человек, чтобы укротить его. Двое трясли его за воротник, двое тащили за руки, пятый поддавал коленкой в поясницу, и все ругали его разбойником, убийцей, бунтовщиком. С обнаженной грудью, в разорванной в клочья одежде, он доказывал, что он не виноват: не мог же он смотреть хладнокровно на то, как бьют ребенка.

— Имя мое Дюссардье. Я служу у братьев Валенсар: «Кружева и Новости», на улице Клери. Где мой картон?... Дюссардье... Мой картон... Клери...—повторял он.

Однако, успокоился и, с видом стойка, позволил проводить себя в участок на улину Декарта. Толпа народа следовала за ним. Фредерик и молодой человек с усами шествовали за ним по пятам, исполненные восхищения перед этим приказчиком и возмущенные насилием властей.

По мере приближения к участку толпа редела.

Полицейские время от времени яростно оглядывались: буяны, не зная, что им дальше делать, и любопытные, не видя более ничего занимательного, мало-помалу стали расходиться. Встречные рассматривали Дюссардье и громко делали оскорбительные предположения. Какая-то старуха, стоя у своей двери, даже крикнула, что он украл булку; такая несправедливость увеличивала раздражение двух приятелей. Наконец, они дошли до участка. Осталось всего человек двадцать; но при виде солдат, они мгновенно рассеялись.

Фредерик со своим товарищем смело требовали освобождения арестованного. Полицейский грозил им, что, если они будут настаивать, то их засадят туда же. Они вызвали начальника, назвали себя, сказали, что они студенты-юристы, и утверждали, что арестованный их со товарищи.

Их ввели в комнату с голыми, совершенно закопченными стенами, вдоль которых стояли четыре скамьи. У задней стены открылось окошечко: появилось дужее лицо Дюссардье, который, со своими всклокоченными волосами, маленькими доверчивыми глазами, четырехугольным носом, слегка напоминал ласковую собаку.

— Ты не узнаешь нас?—сказал Гюссонэ.

Так звали молодого человека с усами.

— Но...—пробормотал Дюссардье.

— Не прикидывайся дураком,—продолжал другой,—ведь все знают, что ты такой же студент-юрист, как и мы.

Но Дюссардье, несмотря на их подмигиванья, ничего не понимал. Повидимому, он собирался с мыслями, потом вдруг брякнул:

— Нашли-ли мой картон?

Фредерик посмотрел на него растерянно. Гюссонэ ответил:

— Ах! твой картон, куда ты кладешь лекционные записки? Да, да, будь покоен!

Они еще настойчивее принялись делать ему знаки. Дюссардье, наконец, понял, что они пришли помочь ему; и умолк, боясь их скомпрометировать. Сверх того, он ощущал нечто в роде стыда, видя себя возведенным в звание студента и приравненным к этим молодым людям, с такими белыми руками.

— Не нужно-ли что-нибудь передать кому-либо?—спросил Фредерик.

— Нет, спасибо, не надо.

— А семье твоей?

Он молча опустил голову; бедняк был незаконнорожденный.

Оба приятеля были удивлены его молчанием.

— Есть-ли у тебя, что курить?—спросил Фредерик.

Он ощущал карман, вытащил обломки трубки,—чудесной пенковой трубки с чубуком черного дерева, с серебряной крышечкой и с мундштуком из янтаря.

Уже три года он работал над ней, чтоб сделать из нее шедевр. Он держал ее постоянно в замшевом футляре, курил насколько возможно медленнее, никогда не клал ее на мрамор, а на ночь вешал над своим изголовьем. Теперь, потряхивая кусочки в руке, из-под ногтей которой выступила кровь, он опустил голову на грудь и с остановившимися глазами и открытым ртом, невыразимо опечаленный, созерцал остатки своей утехы.

— Дать ему сигар, что-ли?—сказал Гюссонэ, делая движение, словно, чтобы достать их.

Но Фредерик уже положил на окошко полный портсигар.

— Бери, бери! Прощай, мужайся!

Дюссардые схватил протянутые ему руки, неистово сжал их и голосом, прерывающимся от рыданий, заговорил:

— Как?.. Это мне?.. Мне?..

Приятели поспешили избежать его благодарности и отправились завтракать в кафе Табуре, против Люксембурга.

Разрезая бифштекс, Гюссонэ сообщил своему компаньону, что он работает в модных журналах и составляет рекламы для «Художественной Промышленности»

— У Жака Арну?—сказал Фредерик.

— А, вы с ним знакомы?

— Да. Нет... То есть, я видал его, встречался с ним...

И небрежно спросил Гюссонэ, выдается-ли он с женой Арну?

— Время от времени,—ответил тот

Фредерик не решился расспрашивать больше. Этот человек занял вдруг в его жизни необычное место; он заплатил по счету, без всякого протеста со стороны того.

Симпатия была взаимная, они обменялись адресами, и Гюссонэ дружески пригласил его пройти вместе до улицы Флерюс.

По середине сада сотрудник Арну задержал дыхание, сделал ужасную гримасу и крикнул по петушину. Все соседские петухи откликнулись протяжным ку-ка-ре-ку.

— Это сигнал!—заметил Гюссонэ.

Они остановились близ театра Бобино перед домом, с узким входом. На чердаке, в окошечке, между настурцией и душистым горошком, показалась молодая женщина, с непокрытой головой, в корсете, и оперлась на желоб.

— Здравствуй, ангел мой, здравствуй, крошка!—сказал Гюссонэ, посылая ей воздушные поцелуи.

Он открыл ударом ноги калитку и скрылся.

Фредерик поджидал его всю неделю. Сам он не смел пойти к нему, чтобы тот не подумал, что он ждет ответного угощения; но он всюду искал его в Латинском

квартале. Наконец, как-то вечером встретил его и повел к себе, на набережную Наполеона.

Беседа затянулась надолго, они разоткровенничались. Гюссонэ пламенно жаждал славы и театральных доходов. Он участвовал в составлении водевилей, не принимаемых к постановке, «имел массу планов», сочинял куплеты; некоторые из них он тут же исполнил. Затем, увидав на этажерке Гюго и Ламартина, он разразился сарказмами по адресу романтиков. У этих поэтов нет ни здравого смысла, ни правильного стиля, да они и не французы, собственно. Он хвастался знанием родного языка и выискивал ошибки в наиболее красивых фразах, с вздорной академической придирчивостью, какой отличаются все легкомысленные люди, когда касаются истинного искусства.

Фредерик был обижен за своих любимцев; ему хотелось прервать. Почему бы сейчас же не сделать попытки, от которой зависит все его счастье? И он спросил юного литератора, не может-ли он ввести его в дом Арну?

Оказалось, что это было очень легко; и они условились пойти туда на следующий же день.

Гюссонэ не явился в условленное время, и так обманывал трижды. Но раз в субботу, около четырех часов, все-таки пожаловал. Наняли извозчика и, пользуясь этим, остановились сначала у театра, чтобы добыть билеты в ложу, потом заехали к портному, к белошвейке, писали записочки у швейцаров. Наконец, добрались до бульвара Монмартр. Фредерик прошел через магазин и поднялся по лестнице. Арну узнал его, увидав в зеркало, повешенное над конторкой; и, продолжая писать, через плечо протянул ему руку.

Пять или шесть человек стояли, заполняя почти все помещение, освещенное одним окном во двор. У задней стены, в алькове, находилось обитое коричневым шерстяным штофом канапэ, между двумя портьерами из такой же материи. На камине, заваленном бумагами, он увидел бронзовую Венеру; два канделябра с розовыми свечами находились по бокам ее. Направо, у этажерки с картонами, сидел в кресле человек в шляпе и читал газету; стены были сплошь увешаны эстампами и карти-

нами, дорогими гравюрами, эскизами современных художников, с надписями, свидетельствовавшими искреннейшую преданность Жаку Арну.

— Как поживаете? — сказал он, повернувшись к Фредерику.

И, не дожидаясь ответа, тихо спросил Гюссонэ:

— Как зовут вашего приятеля?

И потом громко:

— Не хотите ли сигару? Вон там на этажерке, в ящике!

«Художественная Промышленность», помещавшаяся в центре Парижа, была удобным местом для всяких встреч, нейтральной почвой, на которой запросто сходились художники, соперничавшие друг с другом. В этот день собрались там Антенор Брев, портретист, писавший королей, Жюль Бюррье, который начал популяризировать своими рисунками Алжирские войны, каррикатурист Сомбаз, скульптор Вурда и многие другие, и все они оказались не такими, какими их представлял себе студент. Манеры их были просты, речи вольны. Мистик Ловариас рассказал неприличную историю, а создатель восточного пейзажа, знаменитый Диттмер, носил вязаную кофту под жилетом и поехал домой в омнибусе.

Говорили сначала о некоей Аполлонии, бывшей натурщице, которая, как утверждал Бюррье, катается теперь по бульварам пугом. Гюссонэ объяснил эту метаморфозу участием целого ряда лиц, у которых она была на содержании.

— Как этот ветренник знает женщин Парижа! — сказал Арну.

— После вас, если что останется, государь, — возразил молодой человек по-военному, подражая гренадеру, предложившему Наполеону свою фляжку.

Потом заговорил о нескольких полотнах, для которых служила моделью голова Аполлонии. Отсутствующих собратьев раскритиковали. Удивлялись цене на их картины; и все стали жаловаться, что недостаточно зарабатывают, когда вошел человек среднего роста, во фраке, застегнутом на одну лишь пуговицу, с живыми глазами, немного сумасшедший на вид.

— Ах, буржуа вы такие! — воскликнул он. — Помилуйте, что же это творится! Вот старики, создавшие шедевры, не заботились о миллионах. Корреджио, Мурильо...

— Прибавьте Пеллерена, — вставил Сомбаз.

Но, не обратив внимания на насмешку, тот продолжал разглагольствовать с такой запальчивостью, что Арну был вынужден два раза повторить ему:

— Моя жена ждет вас в четверг! Не забудьте.

Эти слова возвратили Фредерика к мысли о госпоже Арну. Без сомнения, к ней проходят в дверь, что около дивана? Арну, чтобы взять носовой платок, только что отворил ее, и Фредерик заметил в глубине комнаты умывальный прибор. Но тут послышалось из угла, где сидел господин, читавший газету, какое-то урчанье. Он был пяти футов девяти дюймов ростом, с полуопущенными веками, седыми волосами, с величественным видом, — звали его Режембар.

— Что такое, гражданин? — спросил Арну.

— Еще новая мерзость со стороны правительства.

Дело шло об отрешении от должности одного школьного учителя. Пеллерен начал проводить параллель между Микель-Анджело и Шекспиром. Диттмер собирался уходить. Арну задержал его, чтоб вручить ему две ассигнации. Тогда Гюссонэ, считая, что настал благоприятный момент, сказал:

— Не можете ли вы мне дать аванс, дорогой патрон!

Но Арну уже снова уселся и стал отчитывать какого-то старика с отталкивающим видом, в синих очках:

— Нечего сказать, хороши вы, дядюшка Исаак! Эти три негодные картины осрамили меня! Все издеваются надо мной! Теперь это уже всем известно! Ну, что мне с ними делать? Отослать в Калифорнию? К дьяволу... Уж, молчите лучше.

Специальность этого старика заключалась в том, что он подделывал подписи старых мастеров под картинами. Арну отказывался заплатить ему и грубо выпроводил его. И тотчас же изменил выражение лица, кланяясь господину, в орденах, изысканному, с бакенбардами и белом галстуке.

Облокотясь на оконную задвижку, он долго и сладко что-то говорил ему. И под конец разразился:

— Ах, граф, я не имею недостатка в маклерах.

Аристократ сдался. Арну подал ему двадцать пять луидоров и, как только тот скрылся за дверью, крикнул:

— Как несносны все эти большие господа!

— Все мерзавцы! — проворчал Режембар.

По мере того, как время шло, дела у Арну все прибавлялось, он сортировал статьи, распечатывал письма, подводил итоги, выходил на стук молотка в магазин, чтобы наблюдать за упаковкой вещей, потом снова продолжал свои прерванные занятия; и пока его стальное перо бегало по бумаге, быстро отвечал на шутки. Сегодня он должен был обедать у своего адвоката, а на следующий день уехать в Бельгию.

Прочие беседовали на злободневные темы: о портрете Керубини *), о полукруглой зале в Академии Художеств, о предстоящей выставке. Пеллерен обрушился на Институт. Сплетни смешивались со спорами. Комната с низким потолком была так полна, что невозможно было пошевелиться; свет розовых свечей проникал сквозь дым сигар, как солнечные лучи сквозь туман.

Дверь около дивана открылась, и вошла высокая, худая женщина, с такими резкими движениями, что бредлоки ее часов так и звякали на платье из черной шелковой тафты.

Эту самую женщину он видел прошлым летом в Палатой Рояле. Некоторые, называя ее по имени, обменивались с ней рукопожатиями. Гюссонэ удалось, наконец, вырвать полсотни франков. Часы пробили семь; все удалились.

Арну попросил Пеллерена остаться и увел Ватназ в уборную.

Фредерик не слышал их слов; они шептались. Затем раздался женский голос:

— Уже шесть месяцев, как дело сделано, а я все жду!

Наступило долгое молчание; Ватназ вышла. Арну опять что-то пообещал ей.

— Ну, ну, после увидим!

— Прощайте, счастливый человек! — сказала она уходя.

Арну быстро вернулся в уборную, притер помадой усы, подтянул подтяжки, чтобы натянуть штрипки, и, моя руки, сказал:

— Мне нужны две картинки, чтобы вставить над дверями, по двести пятьдесят за каждую, в жанре Бушэ, — согласны?

— Идет, — сказал художник, покраснев.

— Прекрасно! Да не забывайте моей жены!

Фредерик проводил Пеллерена до конца предместья Пуассоньер и попросил позволения как-нибудь зайти к нему, на что и получил любезное разрешение.

Пеллерен прочитывал все работы по эстетике, чтобы открыть истинную теорию Прекрасного, будучи убежден, что когда он найдет ее, то создаст шедевры. Он окружал себя всевозможными пособиями, рисунками, гипсовыми слепками, моделями, гравюрами; искал он мучительно, обвиняя погоду, свои нервы, мастерскую, выходил на улицу за вдохновением, весь дрожал, полагая, что оно осенило его, бросал начатую работу, мечтая о другой, более прекрасной. Терзаемый жаждою славы, проводя дни в спорах, он верил в тысячи пустяков, в системы, в критику, в необходимость какого-то упорядочения искусства или переустройства; он еще не сделал до пятидесяти лет ничего, кроме набросков. Но гордость мешала ему унывать, и всегда был он раздражен, всегда в возбуждении, в одно и то же время искусственным и естественным, как бывает это у актеров.

Прежде всего бросались в глаза, при входе к нему, два большие холста, на которых, по белому, была там и сям сделана подмалевка и положены коричневые, красные и голубые пятна. Начертанные мелом линии спускались сверху, в виде сети с множеством петель — и нельзя было понять, что это такое. Пеллерен объяснял сюжеты этих двух картин, указывая большим пальцем на незарисованные части их. Одна должна была изображать «безумие Навуходоносора», другая — «пожар Рима», произведенный Нероном. Фредерик был в восхищении от них.

*) Произведение Доминика Энгра. Прим. ред.

Он восхищался также этюдами женщин с растрепанными волосами, пейзажами, которые изобиловали деревьями, искривленными бурей, и особенно набросками пером, отражениями Калло, Рембрандта или Гойа, оригиналов которых он не знал. Пеллерен относился теперь без всякого уважения к этим юношеским своим работам; теперь он стоял за высокий стиль: он говорил наставительным тоном о Фидии и Винкельмане. Впечатление от его речи увеличивали окружающие предметы: череп на аналое, ятаганы, монашеское одеяние: Фредерик надевал его на себя.

Когда он приходил рано, то заставлял Пеллерена в жалкой складной кровати, покрытой изорванным ковром; Пеллерен вставал поздно, посещая усердно театры. Ему прислуживала старая женщина в лохмотьях, обедал он в кухмистерской, любовницы не имел. Его знакомые, подобранные как попало, повторяли его забавные парадоксы. Его ненависть ко всему рядовому и мещанскому выливалась в сарказмы пышного лиризма: к старым мастерам он относился с таким благоговейным чувством, что это едва ли не возвышало его до них самих...

Но почему он никогда не говорил о г-же Арну? Что до ее мужа, то он называл его то славным малым, то шарлатаном. Фредерик все ждал с его стороны дружеских признаний.

Однажды, перелистывая одну из его папок, он наткнулся на портрет цыганки, чем-то напоминающий г-жу Ватназ, и так как эта особа интересовала его, то он захотел узнать, кто она такая.

Она была прежде, как полагал Пеллерен, учительницей в провинции; теперь она дает уроки и пробует писать в маленьких газетках.

По ее обращению с Арну, можно, по мнению Фредерика, принять ее за его любовницу.

— Ну, вот еще! У него хватит и других!

Молодой человек отвернул в сторону свое лицо, стыдясь своего гнусного предположения, и прибавил развязным тоном.

— Жена тоже изменяет ему, вероятно?

— Совсем нет! Она честная женщина!

Фредерик почувствовал угрызения совести и усердно стал посещать редакцию.

Большие буквы, составляющие имя Арну на мраморной доске над магазином, казались совершенно особенными, значительными, словно какие-нибудь священные писмена. По широкому, покатоу тротуару ноги его так и неслись, дверь перед ним открывалась, как будто сама собой; гладкая ручка казалась нежной рукой. Незаметно он стал так же пунктуален в своих посещениях, как и Режембар.

Режембар ежедневно садился у камина в свое кресло, брал в руки (*National* *) и, уже не выпуская его, выражал свои мысли восклицаниями или же просто пожатием плеч. Время от времени он вытирал лоб носовым платком, свернутым валиком, который носил он на груди между двумя пуговицами своего зеленого сюртука. Панталоны его были в складках; он носил полусапожки и длинный галстук; по шляпе с загнутыми полями его можно было узнать в толпе издали.

В восемь часов утра он спускался с Монмартрских высот, чтобы выпить белого вина на улице Нотр-Дам-де-Виктуар. Завтрак его, за которым следовало несколько партий на билиарде, затягивался до трех часов дня. После этого он направлялся к пассажи Панорама—хлебнуть абсенту. После сборищ у Арну он заходил в кабачок Борделэ, где выпивал вермута; вместо обеда дома, с женой, он предпочитал ходить в маленькое кафе на Гальонской площади, где требовал, чтобы ему готовили «что-нибудь простое и натуральное». Напоследок он шел в какое-нибудь другое место, играть на билиарде и оставался там до полуночи, до того момента, когда тушится газ и запираются ставни, до тех пор, пока истомленный хозяин не начинал умолять его удалиться.

Не любовь к выпивке тянула Режембара в такие места, а старая привычка поговорить о политике; с годами пылкость пропадала, и у него не оставалось ничего, кроме молчаливой утрюмности. Можно было подумать, видя его серьезное лицо, что он решает мировые вопросы. Но

*) Газета «Националь».

ровно ничего из этого не выходило наружу; и никто, даже его приятели, не знали, чем он занимается, хотя он и говорил, что у него имеется деловая контора.

Арну, казалось, питал к нему бесконечное уважение. Однажды он сказал Фредерику:

— Этот хитер, его не подденешь. Этот — человек знающий!

Как-то Режембар разложил на его конторке бумаги, касающиеся залежей каолина в Бретани... И сразу было видно, что Арну вполне полагался в этом деле на его опытность.

Фредерик ухаживал за Режембаром, иногда угощал его абсентом и, хотя считал его весьма недалеким, по долгу оставался в его обществе, единственно из-за того, что он был другом Арну.

Способствуя при первых шагах современным художникам, продавец картин, человек прогресса, оставался на высоте художественных интересов, но в то же время старался, как можно более извлекать прибыли. Он стремился к раскрепощению искусств, к удешевлению лучших образцов его. Все роды промышленности по изготовлению предметов парижской роскоши подпали под его влияние, которое, будучи благоприятно для мелких произведений, было губительным для крупных. Со свойственным ему пристрастием к лести общественному вкусу, он сбивал с пути хороших художников, развращал сильных, изнурил слабых и прославлял посредственных; он располагал ими как хотел, с помощью своих связей, посредством своего журнала. Плохие живописцы пламенно желали видеть свои картины в витрине его магазина, обойщики брали у него модели для мебелировки. Фредерик смотрел на него как на миллионера, и как на диллетанта и как на человека дела. Однако, многое в нем поражало его, ибо Арну нередко лукавил в своей торговле.

Он нередко получал из Германии или Италии плотно, купленное в Париже за полторы тысячи франков и, предъявляя накладную на четыре тысячи, перепродавал его за три с половиной, как будто из любезности. Одной из его обычных проделок было требовать от художников, в придачу к купленной картине, небольшую

копию ее, под тем предлогом, что он хочет сделать гравюру с нее; затем копия продавалась, а о гравюре и помину не было. Тех, кто начинал жаловаться на эксплуатацию, Арну, вместо ответа, похлопывал по животу. Кроме того, всегда обходительный, он не жалел сигар, быстро переходил на «ты» с мало знакомыми; восхитившись каким-либо произведением искусства или человеком, он упорно, несмотря ни на что, всюду усиленно хлопотал о нем, вел переписку о нем, рекламировал его. Считая себя очень честным, и чувствуя потребность в откровенности, он наивно рассказывал о своих темных делишках.

Однажды, чтобы досадить одному собрату, основавшему другой художественный журнал и устроившему по этому случаю большое пиршество, он просил Фредерика написать у него на глазах за час до назначенного времени письма приглашенным, что обед отменяется.

— Это ведь не затрагивает чести, вы понимаете?

И молодой человек не посмел отказать ему в такой услуге.

На следующий день, входя вместе с Гюссонэ в контору, Фредерик увидел в дверь, выходящую на лестницу, подол мелькнувшего платья.

— Извините, ради Бога! — сказал Гюссонэ. — Если бы я знал, что здесь женщины...

— О, не беспокойтесь, это жена, — возразил Арну. — Она мимоходом зашла нанести мне короткий визит.

— Как? — возразил Фредерик.

— Ну, да, и пошла себе домой.

Вся прелесть окружающего вдруг исчезла. То, что ему казалось неясно разлитым здесь, пропадало бесследно или, вернее, его как бы и не бывало никогда. Он испытывал бесконечное удивление и точно горечь от измены.

Арну, роясь в своем ящике, улыбался. Не насмехается ли он над ним? Приказчик положил на стол кипу серых листов бумаги.

— А, афиши! — воскликнул купец. — Не скоро же удастся мне сегодня пообедать!

Режембар взялся за шляпу.

— Как, вы покидаете меня?

— Семь часов! — сказал Режембар.

Фредерик последовал за ним.

На углу улицы Монмартр он обернулся; посмотрел на окна в первом этаже; и мысленно усмехнулся от жалости к самому себе, вспомнив, с какой любовью он так часто созерцал их. Где же живет она? Как же теперь встретиться с ней? Одиночество вновь овладело им с еще небывалой силой.

— Пойдем, хватим!—сказал Режембар.

— Хватим—чего?

— Полюнной.

И, уступая его неотвизчивым уговорам, Фредерик позволил повести себя в кабачок Борделэ. Пока его собутыльник, облокотясь на стол, внимательно рассматривал графин, он кидал взгляды то направо, то налево. Но вдруг он увидел на тротуаре Пеллерена в профиль и застучал ему в окно. Не успел художник сесть, как Режембар спросил, почему его более не видно в «Художественной Промышленности».

— Пусть я лопну, если вернусь туда!—Это—скотина, буржуа, негодяй, плут.

Эта брань пришлась по сердцу Фредерику. Но в то же время он был ею и оскорблен, ибо ему казалось, что она задевает немного и г-жу Арну.

— Что же он вам такое сделал?—спросил Режембар.

Пеллерен топнул ногой и сильно засопел вместо ответа.

Он брался за разные таинственные работы, например, писал портреты в два цвета, подделывал для мало сведущих любителей картины великих мастеров и, так как эти работы унижали его, то обычно он предпочитал умалчивать о них. Но «низость Арну» вывела его из терпения и он облегчил свое сердце.

По его заказу, свидетелем которого был Фредерик, он принес ему две картины. Торговец позволил себе раскритиковать их. Он порицал композицию, краски и рисунок, особенно рисунок—одним словом, ни за что не соглашался принять их. Вынужденный к тому срочным платежом долга по векселю, Пеллерен уступил их еврею Исааку; через две недели Арну их продал за две тысячи франков одному испанцу.

— Ни одним су не дешевле! Какая низость! Да и сколько их было уже, этих низостей! Гей Богу, мы увидим его в один прекрасный день на скамье подсудимых!

— Как вы все преувеличиваете!—заметил Фредерик робким голосом.

— Преувеличиваю!—вскричал художник, ударив кулаком по столу.

Это вернуло молодому человеку его самоуверенность. Без сомнения, можно было бы поступить деликатнее, однако, если Арну находил эти два полотна...

— Плохими? Говорите уж прямо! Но вы их видели? И, наконец, разве это ваша профессия? Я, голубчик, не признаю любителей.

— Да это и не мое дело!—сказал Фредерик.

— Какой же смысл вам защищать его?—возразил Пеллерен.

Молодой человек пробормотал:

— Да... потому что он мой друг.

— Поцелуйте же его от меня! Прощайте!

И художник выскочил в ярости, не упомянув, само собой разумеется, о счете.

Фредерик, защищая Арну, убедил самого себя в его невинности; и, разогретый собственным красноречием, почувствовал нежность к этому умному и хорошему человеку, оклеветанному друзьями, который теперь оставленный всеми, одиноко работает. Он не устоял против охватившего его желания увидеть его сейчас же. Через десять минут он отворил дверь в магазин.

Арну составлял со своим приказчиком афиши огромных размеров для выставки картин.

— Ба! Что это принесло вас сюда?

Этот простой вопрос смутил Фредерика; и, не зная, что ответить, он спросил, не вабыл ли он случайно здесь своей маленькой записной книжки в синем кожаном переплете.

— Той, куда вы кладете письма женщин?—сказал Арну.

Фредерик, покраснев, стал защищать себя от подобного обвинения.

— Ну, тогда с вашими стихами?

Он перебирал разложенные образцы, обдумывая их форму, цвет, бордюр, и Фредерик чувствовал, что его все более и более раздражает озабоченный вид Арну, и, в особенности, его руки, которыми он водил по афишам, — мясистые, немного влажные, с плоскими ногтями. Наконец, Арну поднялся со словами: «вот и кончено», фамильярно взял его за подбородок. Такая вольность не понравилась Фредерику, и он попытался; потом переступил порог конторы — в последний раз в жизни, как решил он. Сама г-жа Арну как бы упала в его глазах из-за вульгарности мужа.

На этой же неделе он получил письмо, в котором Дэлорье извещал его, что приедет в Париж в будущий четверг. И с новой силой предался этой привязанности, более прочной и возвышенной. Подобный человек стоил всех женщин. Ему не нужны более ни Режембар, ни Пеллерен, ни Гюссонэ, никто. Чтобы лучше устроить своего друга, он купил железную кровать, второе мягкое кресло, разделил на-двое свои постельные принадлежности и уже одевался в четверг утром, чтоб ехать встречать Дэлорье, как вдруг раздался звонок. Вошел Арну.

— На пару слов. Вчера мне прислали из Женевы отличную форель. Мы рассчитываем на вас ровно в семь часов... Улица Шуазель, 24 bis. Не забудьте же!

Фредерик принужден был сесть. У него дрожали колени. Он повторял про себя: «Наконец-то. Наконец!». Затем написал своему портному, шляпочнику, башмачнику и отправил эти записки с тремя разными посыльными. Как вдруг ключ в замке повернулся и появился привратник с деревянным сундуком на плечах.

Фредерик, увидев Дэлорье, начал дрожать, как изменившая жена под взглядом супруга.

— Что с тобой? — сказал Дэлорье. — Ты ведь должен был получить от меня письмо?

Фредерик не в состоянии был лгать.

Он простер объятия и бросился к нему на грудь.

Затем клерк рассказал свою историю. Его отец не захотел дать ему отчета по опеке, он полагал, что его обязанности покрыты десятилетней давностью. Но Дэлорье,

будучи тверд в процессе, все-таки вырвал у него материнское наследство — чистых семь тысяч франков, которые и держал при себе в старом бумажнике.

— Это про черный день. Нужно подумать, куда поместить их и где устроиться мне самому, но это уж завтра. Сегодня же я совершенно свободен и весь принадлежу тебе, старина!

— О! не стесняйся! — сказал Фредерик. — Может, у тебя есть что-нибудь важное на сегодняшний вечер?

— Ну, вот еще! Я был бы большим негодяем...

Этот эпитет, сорвавшийся случайно, задел Фредерика до глубины сердца, как оскорбительный намек.

Привратник поставил на стол у камина котлеты, заливное, лангуст, десерт и две бутылки бордосского вина. Такой прием тронул Дэлорье.

— Ты меня принимаешь по-царски, честное слово!

Они разговаривали о своем прошлом, о будущем; в время от времени протягивали через стол руки, с нежностью смотря друг на друга. Но вошел посыльный с новой шляпой. Дэлорье вслух восхитился блеском тульи.

Потом портной самолично принес фрак, который брал для утюжки.

— Можно подумать, что ты собираешься к венцу, — сказал Дэлорье.

Через час явился сапожник и вытащил из большого, черного мешка великолепную пару лакированных ботинок; и, пока Фредерик примеривал их, насмешливо осматривал обувь провинциала.

— Вам, сударь, ничего не надо?

— Благодарю, — ответил клерк, пряча под стул свои старые со шнурками башмаки.

Эта выходка покорила Фредерика. Он все медлил сделать признание. Наконец, он вскрикнул, как будто вспомнил только что:

— Ах, чорт возьми, я и забыл!

— Что еще?

— Сегодня я приглашен на обед.

— К Дамбрезам? Почему ты никогда не упоминал мне о них в письмах?

— Нет, не к Дамбрезам, а к Арну.

— Ты должен был бы меня предупредить. Я приехал бы днем позже.

— Не было никакой возможности!—резко возразил Фредерик.—Меня только что пригласили, нынче утром.

И чтобы загладить свою вину и отвлечь внимание друга, он развязал сундук, опутанный веревками, уложил в комод все его вещи, хотел отдать ему собственную постель, чтобы самому спать в кладовушке для дров. Потом, с четырех часов, начались заботы о наряде.

— Да у тебя еще много времени,—сказал Дэлорье.

Наконец, Фредерик оделся и отправился.

— Вот они, богатые-то!—подумал Дэлорье.

И пошел обедать на улицу Сан-Жак, в маленький ресторан, с хозяином которого он был знаком.

Фредерик останавливался несколько раз на лестнице, так сильно билось у него сердце. Одна из его перчаток, слишком тесная, лопнула; и в то время, как он старался заправить под манжету разорванное место, Арну, поднимавшийся следом за ним, схватил его за руку и ввел в переднюю.

В передней, отделанной в китайском вкусе, с потолка спускался расписной фонарь, по углам красовались бамбуки. Проходя по гостиной, Фредерик споткнулся о тигровую шкуру. Свечи еще не были зажжены, в глубине будуара горели две лампы.

Марта пришла сказать, что мама одевается. Арну поднял ее до уровня лица и поцеловал; потом желая самолично выбрать в погребке несколько бутылок вина, оставил Фредерика с ребенком.

Она сильно выросла со времени путешествия в Монтеро. Темные волосы ее спускались длинными локонами на голые руки. Из-под короткого, более пышного, чем у таццовщицы, платья, были видны розовые икры, и вся ее миловидная фигурка благоухала свежестью, точно букет цветов. Она слушала комплименты молодого человека с видом кокетки, устремила на него свои глубокие глаза, пробираясь среди мебели, исчезла как котенок.

Он не испытывал больше никакого смущения. Ламповые колпаки, покрытые бумажными кружевами, разли-

вали мягкий молочный свет на стены, обтянутые атласом, цвета мальвы. Сквозь створки экрана, похожего на веер, видны были уголья в камине, на каминной полочке около часов стояла шкатулка с серебряными застешками. Там и сям были разбросаны домашние вещицы; на диванчике кукла, на спинке стула косынка, на рабочем столике вязанье из шерсти, откуда торчали две спицы из слоновой кости остриями вниз. Это был мирный уголок, где все дышало честностью и домовитостью.

Вошел Арну; из-за другой портьеры появилась г-жа Арну. Так как она была в тени, то он сначала увидел только ее голову. Она была в черном бархатном платье, на волосы ее была накинута длинная алжирская сетка из красного шелка, которая, обвив гребень, спадала на левое плечо. Арну представил Фредерика.

— О! я отлично помню вас!—ответила она.

Потом явились приглашенные, почти все в одно и то же время: Диттмер, Ловариас, Бюррье, композитор Розенвальд, поэт Теофиль Лоррис, два художественных критика, коллеги Гюссонэ, какой-то владелец писчебумажной фабрики и, наконец, знаменитый Пьер-Поль Мейнсиус, последний представитель старой, высокой живописи, богато носивший, вместе со своей славой, свои восемьдесят лет и свой большой живот.

Когда направились в столовую, г-жа Арну взяла его под руку. Один прибор был оставлен для Пеллерена. Арну, эксплуатируя, любил его. Кроме того, он боялся его злого языка настолько, что для того, чтобы задобрить, напечатал в «Художественной Промышленности» его портрет, снабженный преувеличенными похвалами; и Пеллерен, более чувствительный к славе, чем к деньгам, явился к восьми часам, совершенно запыхавшись. Фредерик вообразил, что они давно уже помирились.

Общество, кушанье—все нравилось ему. Столовая, похожая на монастырскую приемную в середине века, была обтянута тисненой кожей; голландская этажерка стояла против поставца, для трубок с длинными чубуками: разноцветные стаканы божьего хрусталя, украшавшие угол, похожи были среди цветов и фруктов на плошки для иллюминации в саду.

Ему пришлось выбирать, по крайней мере, из десяти сортов горчицы. Он ел какие-то овощи, кэри, имбирь, корсиканского черного дрозда, крупную римскую лапшу; пил дикий вин, Либ-Фрау-Мильх, токийское. Арну не даром гордился тем, что умеет угостить. Он завязывал сношения с почтовыми проводниками, для получения гастрономических редкостей, у него были связи с поварами богатых домов, сообщавшими ему секреты того или иного соуса.

Но особенно занимательными казались Фредерику разговоры. Его склонность к путешествию была поощрена Дитмером, который говорил о востоке; любознательность свою в отношении театрального быта он насытил, слушая Розенвальда, рассказывающего об Опере; ужасная жизнь богемы казалась ему теперь забавной, благодаря веселости и картинности, с которой Гюссонэ рассказывал, как он провел всю прошлую зиму, питаясь лишь голландским сыром. А из спора между Ловариасом и Бюрре о флорентийской школе он узнал о многих шедеврах искусства; новые горизонты открывались ему, и он едва сдерживал свой энтузиазм, когда Пеллерен вскричал:

— Подите вы с вашим гнусным реализмом! Что значит реальность? Одни видят черное, другие—синее, большинство видит—глупое. Нет ничего менее реального, чем Микель-Анджело, и в то же время ничего более сильного. Забота о внешней точности указывает на современную низменность вкусов: искусство, если так будет продолжаться, станет я не знаю чем, дешевой забавой, менее поэтичной, чем религия, и менее интересной, чем политика. Ваши мелкие вещицы—не искусство, несмотря на всю тонкость их. Никогда им не достигнуть до цели искусства—до ее цели,—закрывающейся в том, чтобы причинить нам сердечный восторг. Вот картины Бассолье, например: красиво, кокетливо, чисто и не тяжело!—можно положить в карман, можно взять с собою в путешествие. Нотариусы покупают их по двадцати тысяч франков за штуку, а идеи в них на три су; но без идеи нет великого! без великого нет прекрасного! Ведь Олимп—гора! Самым великим памятником на всегда останутся пирамиды.

Безмерность ценнее вкуса, пустыня—трогуара, дикий парикмахера!

Фредерик, выслушивая эти мнения, смотрел на г-жу Арну. Они западали в его душу, как металлы в горнило, сливались с его страстью и превращали ее в любовь.

Он сидел через три места от нее на той же стороне стола. Время от времени она немного наклонялась, повертывала к нему голову, чтобы сказать несколько слов своей маленькой дочке; она улыбалась, и на щеке ее появлялась ямочка, которая придавала ее лицу выражение еще более очаровательной доброты.

Когда подали ликеры, она ушла. Разговор сделался очень вольным; Арну особенно блеснул, и Фредерик был удивлен цинизмом этих людей. Однако, то, что они преимущественно толковали о женщинах, как бы уравнило их с ним и подняло его в собственных глазах.

Выйдя в гостиную, он из приличия взял один из разбросанных на столе альбомов. Великие современные художники украсили его рисунками, были там и проза их, и стихи, или просто подписи; среди знаменитых имен он нашел много неизвестных, а интересные мысли лишь мелькали среди потока глупостей. Все заключали прямое или косвенное изъяснение восхищения г-же Арну. Фредерик не решился написать от себя ни строчки.

Она принесла из своего будуара шкатулку с серебряной застегкой, которую он ранее не заметил на камине. Это был подарок мужа, работа времен Возрождения. Друзья Арну расхвалили его, жена благодарила; на него напал прилив нежности, он при всех поцеловал ее.

Затем общество разделилось на группы, и разговор разбился; старик Мейнсиус сидел около г-жи Арну в мягком кресле, у камина; она нагнулась к его уху, их головы соприкасались, и Фредерик желал бы стать глухим, дряхлым и безобразным, лишь бы иметь славное имя, седые волосы, что-нибудь такое, что дало бы ему право пользоваться подобной интимностью. Сердце его сжималось от злобы на свою молодость.

Но она пришла в тот угол, где он сидел, спросила его, знает ли он кого-нибудь из гостей, любит ли он живопись, давно ли учится в Париже. Каждое ее слово казалось Фре-

дерику чем-то новым, свойственным ей одной. Он внимательно рассматривал бахрому ее головного убора, скользившую концом по ее обнаженному плечу, не сводил с нее глаз и всем существом проникал в белизну этого женского тела; однако, он не смел поднять взгляда, чтобы взглянуть ей в лицо.

Розенвальд их прервал, прося г-жу Арну спеть что-нибудь. Он играл прелюдию, она выжидала; глаза ее приоткрылись и чистый, протяжный нарастающий звук огласил воздух.

Фредерик ничего не понял—слова были итальянские.

Начало было величественно, подобно церковному пению, потом звуки оживлялись, нарастали, множились, и вдруг стихали; и возобновлялась страстная мелодия, лившаяся широкой, медленной волной.

Она стояла у рояля с опущенными руками, с отсутствующим взглядом. Иногда, чтобы взглянуть на ноты, она щурила глаза, наклоняя голову. Ее контральто принимало на низких нотах скорбный оттенок, который обдавал холодом, и тогда ее красивая головка с удлиненным лбом и бровями склонялась к плечу; но внезапно она поднимала ее с пламенем в очах, грудь подымалась, руки раздвигались, ее шея, когда неслись рулады, мягко откидывалась, точно от незримых поцелуев; она взяла три высоких ноты, затем спустившись ниже, взяла еще выше, и, после паузы, кончила одной протяжной нотой.

Розенвальд продолжал играть для себя самого. Время от времени, один за другим, исчезали гости. В одиннадцать часов, когда уходили последние, Арну вышел за Пеллереном, под предлогом проводить его. Он принадлежал к числу тех людей, которые говорят, что делаются больными, если они не совершат послеобеденной прогулки.

Г-жа Арну вышла в переднюю; Диттмер и Гюссона откланивались, она протянула им руку; протянула ее и Фредерик; и хотя рука была гибкая, с тающей мягкостью кожи, прикосновение это словно пронзило его.

Он покинул своих приятелей; ему нужно было побыть одному. Сердце его было переполнено. Что значит эта протянутая рука? Был ли это нечаянный жест или поощ-

рение? «Полно! Я с ума схожу!» Главное, теперь можно посещать ее когда угодно, жить в ее атмосфере.

Улицы были пустынные. Иногда проезжала тяжелая телега, сотрясая мостовую. Дома следовали один за другим со своими серыми фасадами и закрытыми окнами; и он с презрением думал о всех этих человеческих существах, спящих за этими стенами, которые прозябают не видя ее, которые даже и не подозревают об ее существовании. Он потерял представление о времени, пространстве,—обо всем; стуча каблуками, постукивая тростью по запертым славным магазинам, он все шел вперед, наугад, сам не зная, куда. Сырость пронизала его; он очнулся на набережной.

Фонари блестели двумя нескончаемыми прямыми линиями, и длинные, красные языки пламени дрожали в глубине воды. Она была аспидного цвета, в то время, как небо, более светлое, как будто опиралось на громадные темные массы, поднимавшиеся по берегам реки. Здания, которых нельзя было различить, усиливали темноту. Светящееся марево колебалось над крышами; все звуки слились в один гул; дул легкий ветер.

Он остановился посередине Нового моста и с обнаженной головой, с открытой грудью вдыхал воздух. Он чувствовал, что из глубины его души катится неиссякаемый, обессиливающий его поток нежности, подобный волнам, движущимся перед его глазами. На колокольне пробило час—медленно, точно какой-то голос призывал его к себе.

Тогда его охватило одно из тех душевных волнений, когда кажется, что вы перенеслись в иной, высший мир. Он почувствовал в себе какой-то необычайный талант, но к чему,—он не знал. Он серьезно спрашивал себя, будет ли он великим художником или великим поэтом, и решил в пользу живописи, ибо эта профессия могла сблизить его с госпожой Арну. Итак он нашел свое призвание! Цель его жизни была теперь ясна! Когда он запер за собою дверь, он услышал, что кто-то храпит в темноте чуланчика рядом со спальней. Это был Дэлорье, о котором он совсем позабыл.

В зеркале он увидел свое лицо. Он нашел его красивым; и на минуту остановился, чтобы посмотреть на себя.

V.

На другой день еще с утра Фредерик купил себе ящик с красками, кисти, мольберт. Пеллерен соглашался давать ему уроки, и Фредерик привел его к себе, чтобы тот посмотрел, не нужно ли еще чего купить из принадлежностей.

Дэлорье был дома. В другом кресле сидел какой-то молодой человек. Увидев вошедших, клерк сказал:

— Вот, это и есть Сенекаль!

Молодой человек не понравился Фредерику. Волосы его были острижены ежиком и от этого лоб его казался больше. В серых глазах было что-то жестокое и холодное; от длинного, черного сюртука, от всего его костюма отдавало педагогом и духовной особой.

Сначала говорили на темы дня, между прочим о «Stabat» Россини. Спрошенный о своем мнении, Сенекаль заявил, что он никогда не бывает в театре. Пеллерен открыл ящик с красками.

— Неужели все это для тебя?—спросил клерк.

— Ну, конечно!

— Вот так идея!

И он наклонился к столу, у которого репетитор перелистывал том Луи-Блана. Он принес его с собой, и в полголоса читал некоторые места, в то время, как Пеллерен и Фредерик рассматривали палитру, ножик, пузырьки с красками, а потом заговорили об обеде у Арну.

— Это продавец картин?—спросил Сенекаль.—Нечего сказать, хорош гусь!

— А что?—спросил Пеллерен

Сенекаль ответил:

— А то, что это—человек, набивающий политическими гадостями свои карманы.

И он начал говорить о знаменитой литографии, изображавшей все королевское семейство за весьма назидательными занятиями: Луи-Филипп держит свод законов, королева—молитвенник, принцессы вышивают, герцог Не-

мурский пристегивает саблю, принц Жуанвильский показывает своим младшим братьям географическую карту; а в глубине виднеется двуспальная кровать. Под картиной надпись: «Доброе семейство». Она восхищала буржуа и вызывала негодование у патриотов. Пеллерен неприязненно, точно он сам был ее автором, возразил, что всякий волен иметь свое мнение, Сенекаль запротестовал. Искусство должно стремиться исключительно к улучшению нравов массы. Нужно брать только те сюжеты, которые побуждают к добродетельным поступкам; все остальные вредны.

— Но все зависит от исполнения! Я могу создать шедевр и в этом роде.

— Тем хуже для вас, вы не имеете в таком случае права...

— Права?

— Да, не имеете права интересовывать меня вещами, которые я отвергаю. Что нам за дело до всех этих тщательно выделанных безделушек, из которых невозможно извлечь никакой пользы, до всех этих Венер, например, до всех ваших пейзажей? Какая в них польза для народа! Покажите нам лучше его нищету. Побудите нас к жертвам. Боже мой, мало ли сюжетов! Фермы, мастерские...

Пеллерен бормотал что-то невнятное от негодования, и, думая, что нашел, наконец, существенное доказательство, спросил:

— Мольера-то вы признаете?

— Допустим,—сказал Сенекаль. — Я восхищаюсь им как предшественником французской революции.

— А, революции! Нечего сказать, хорошо было в то время искусство! Никогда не было более жалкой эпохи!

— Более великой, милостивый государь!

Пеллерен скрестил руки на груди, и, смотря на него в упор, сказал:

— Положительно, вы славный воин национальной гвардии.

Его противник, изощренный в спорах, возразил:

— Ну, нет-с, я ненавижу ее так же, как и вы. Просто подобные принципы развращают толпу. Что ж, это отве-

часть видам правительства, оно никогда не было бы так сильно без соучастия таких господ, как Арну.

Художник взял Арну под свою защиту, ибо мнения Сенекаля раздражали его. Он даже дошел до того, что стал доказывать, что у Арну золотое сердце, что он предан друзьям, обожает жену.

— О, поверьте,—если бы ему предложили хорошую сумму, он не отказался бы сделать из нее натурщицу.

Фредерик пообедал.

— Он, должно быть, очень обидел вас чем-нибудь, г-н Сенекаль?

— Меня? Ничуть. Я видел его один только раз, в кафе, с приятелем. Вот и все.

Сенекаль говорил правду. Но рекламы «Художественной Промышленности» ежедневно возмущали его. Арну был для него представителем того мира, который он считал губительным для демократии. Суровый республиканец, он находил вредным всякое изящество, не чувствуя к тому же никакой потребности в нем и будучи непреклонно честен.

Разговор не клеился. Художник вспомнил вдруг о назначенном свидании, репетитор о своих учениках; когда они ушли, Дэлорье, после долгого молчания, задал несколько вопросов об Арну.

— Ты представишь меня им впоследствии, не правда ли, старина?

— Конечно, — ответил Фредерик.

Потом они обсудили, как устроиться. Дэлорье без труда получил место второго клерка у одного адвоката, записался на юридический факультет, купил необходимые книги,—и жизнь, о которой они столько мечтали, началась.

Она была очаровательна, благодаря их молодости. Так как Дэлорье не заговаривал о деньгах, то и Фредерик молчал о них. Он один платил за все, приводил в порядок шкап, вел хозяйство; если нужно было сделать нагоняй привратнику, клерк брал это на себя, продолжая, как в коллегии, играть роль покровителя и старшего.

Разлученные целый день, они сходились вечером.

Каждый садился на свое место у каминна и приступал к своим занятиям. Вскоре они, однако, прерывались и начинались бесконечные излияния, беспричинная веселость, а порой из-за накопившей лампы или затерянной книги, минутные вспышки, кончавшиеся смехом.

Дверь в темную кладовку оставалась открытой, и они переговаривались, лежа в постелях.

По утрам они прохаживались без сюртуков по террасе; солнце вставало, легкие туманы поднимались над рекой, доносились крики с соседнего цветочного рынка; дым их трубок клубился в чистом воздухе, который освещал их еще заспанные глаза; вдыхая его, они чувствовали, что все вокруг сулит им радость.

В воскресные дни, если не было дождя, они выходили вместе и под-руку шли по улицам. Почти одна и та же мысль сразу приходила им в голову, или же они просто болтали, не видя ничего вокруг себя. Дэлорье страстно желал богатства, как средства властвовать над людьми. Ему хотелось возбуждать массы, производить шум, иметь под своим началом целых трех секретарей и давать раз в неделю большие политические обеды. Фредерик меблировал себе дворец в мавританском вкусе, чтоб проводить время, лежа на диванах, обитых кашемиром, под журчание фонтана: ему служили бы пажи и негры; предметы, о которых он мечтал, делались под конец настолько живыми, что он приходил в отчаяние возвращаясь к действительности, точно он уже владел ими и потерял их.

— К чему все эти разговоры! — восклицал он. — Ведь у нас ничего этого никогда не будет.

— Кто знает! — говорил Дэлорье.

Несмотря на свои демократические взгляды, он убеждал Фредерика проникнуть к Дамбрезам. Тот ссылался на свои бесплодные попытки.

— А ты зайди еще раз. Тебя и пригласят.

В половине марта, среди других довольно крупных счетов, они получили счета от ресторатора, который отпускал им обед. Фредерик, не имея нужной суммы, занял сто экю у Дэлорье; через два дня он опять обратился к нему с такой же просьбой и клерк выбралил его за траты, которые он производит у Арну.

И действительно, он не проявлял в этом умеренности. На трех стенах его комнаты висели: вид Венеции, вид Неаполя, Константинополя; и это, не считая рассеянных здесь и там изображений лошадей Альфреда де-Дре; на камине стояла группа Прадье, на пивзине лежали номера «Художественной Промышленности», а на полу и по углам валялись разные папки, делавшие квартиру столь тесной, что с трудом можно было положить книгу, шевельнуть локтем. Фредерик утверждал, что все это нужно для его живописи.

Он работал у Пеллерена. Пеллерен часто отсутствовал, имея обыкновение бывать на всех похоронах и при всех событиях, о которых в газетах давались отчеты; Фредерик проводил в мастерской целые часы совершенно один. Тишина этой большой комнаты, где слышалось только шуршание мышей, свет, падающий с потолка, и даже гудение в печи, — все вызывало в нем сначала чувство духовного удовлетворения. Потом, прервав работу, он блуждал взором по стенам, по безделушкам на этажерках, по торсам, на которых густая пыль кизлялась лоскутками бархата; как путник, заблудившийся в лесу, возвращается беспрестанно к одному и тому же месту, так и он находил в глубине каждой своей мысли воспоминание о г-же Арну.

Он назначал себе дни, когда пойти к ней; но поднявшись во второй этаж, к ее двери, он долго не решался позвонить. Затем слышались приближающиеся шаги; дверь открывали со словами: «Дома нет барыни», — и он чувствовал себя так, точно какая-то тяжесть свалилась с его сердца.

Но все-таки иногда он вставал ее. Первый раз у нее сидели три дамы, в другой, днем, пришел учитель чистописания Марты. Впрочем, мужчины, бывавшие у г-жи Арну, не делали ей дневных визитов. Из скромности и он прекратил их.

Но, чтобы не упустить приглашения на четверг, он аккуратно являлся каждую среду в «Художественную Промышленность» и оставался там дольше всех, дольше Режембара, до самой последней минуты, притворяясь, что рассматривает гравюры или дочитывает газету. Нако-

нец, Арну говорил ему: «Свободны ли вы завтра вечером?» — И он принимал приглашение, не давая ему кончить фразы. Арну, казалось, полюбил его. Он учил его распознавать вина, варить пунш, готовить сальми из бекаса. Фредерик покорно следовал его советам, любя все, что имело отношение к г-же Арну, — ее мебель, прислугу, дом, улицу.

Он почти не говорил во время обедов; он созерцал ее. У нее на правом виске была маленькая родинка; ее волосы, зачесанные на уши, были более темны, чем остальные, и всегда как будто немного влажны по краям; она приглаживала их время от времени двумя пальцами. Он знал форму каждого ее ногтя, он наслаждался шелестом ее шелкового платья, когда она проходила мимо двери; он втягивал в себя украдкой запах ее носового платка; ее гребень, перчатки, кольца, были для него предметами особенными, значительными, как произведения искусства, почти живыми, имеющими свою душу; все эти вещи причиняли ему сердечные волнения, увеличивали его любовь.

У него не хватило сил скрыть ее от Дэлорье. Когда он возвращался от г-жи Арну, он будил его, как будто нечаянно, чтоб только поговорить о ней.

Дэлорье, спавший в кладовушке для дров около умывальника, продолжительно зевал. Фредерик усаживался у его ног, на постели. Сначала он говорил об обеде, потом рассказывал о тысяче незначительных мелочей, в которых усматривал знаки презрения или симпатии. Один раз, например, она отказалась идти с ним под руку, а взяла руку Дитмера, и Фредерик предался глубокому отчаянию.

— Ах, как это глупо!

А то раз она назвала его своим «другом».

— В таком случае, не робей!

— Но у меня нет никакой решимости, — говорил Фредерик.

— Ну, так и не думай больше о ней, и покойной ночи!

Дэлорье поворачивался на другой бок и засыпал. Он ничего не понимал в этой любви, он на нее смотрел, как

на остатки мальчишества. Близость с Фредериком видимо более уже не удовлетворяла его, и он придумал раз в неделю приглашать общих друзей.

Собирались по субботам около девяти часов. Все три алжирские занавески тщательно задерживались, зажигались лампы и четыре свечки; посредине стола ставились табачница, полная трубок, между бутылок пива—чайник, графинчик с ромом и печенье. Спорили о бессмертии души, проводили параллели между профессорами.

Гюссонэ однажды ввел рослого молодого человека, смущенного, в шюртуке со слишком короткими рукавами. Это был юноша, за которого они хлопотали в прошлом году в участке.

Не будучи в состоянии возвратить своему хозяину картонки с кружевами, потерянной в свалке, он был обвинен в воровстве, хозяин грозил ему судом; теперь он служил приказчиком в транспортной конторе. Гюссонэ утром встретил его на улице и привел его к Фредерику, ибо Дюссардьё, из благодарности, хотел видеть и «другого».

Он протянул Фредерику его портсигар с нетронутым содержимым, который он берег свято, в надежде возвратить. Молодые люди пригласили его заходить. Он не преминул воспользоваться этим.

Все симпатизировали друг другу. Ненависть к правительству была первым и непогрешимым догматом. Один Мартинон защищал Луи-Филиппа. Его заговаривали общими местами, затасканными в газетах,—сооружением фортов вокруг Парижа, сентябрьскими законами, Притчардом, лордом Гизо—и Мартинон умолкал, боясь когонибудь обидеть. За все семь лет в коллегии он ни разу не был наказан, а в университете умел нравиться всем профессорам. Обыкновенно он носил широкий шюртук, цвета мастики и резиновые галоши; но однажды вечером он явился одетый женихом: бархатный жилет шалью, белый галстук, золотая цепочка.

Но удивление всех еще возросло, когда узнали, что он приехал от Дамбреза. Дамбрез купил у отца Мартинона большую партию леса, старик представил ему сына тот пригласил их обоих к обеду.

— А много-ли было трюфелей?—спросил Дэлорье,—и обнял ли ты его супругу за дверью *sicut decet* *).

И начался разговор о женщинах. Пеллерен не признавал, что существуют красивые женщины, он предпочел бы тигриц; кроме того, самка человека—низшее создание в эстетическом отношении.

— То, что вас соблазняет в ней, является именно тем, что принижает ее в идеальном смысле; я хочу сказать: груди, волосы...

— А, между тем, — заметил Фредерик, — длинные черные волосы при больших черных глазах...

— О, старо! — вскричал Гюссонэ. — Довольно этих андалузов, античных созданий! Слуга покорный! Ибо если уж говорить правду, любая лоретка приятнее Венеры Милосской. Будем галлами! И да здравствуют нравы регентства **). «Лейся вино, красотки улыбайтесь!» Надо переходить от брюнетки к блондинке! Что вы скажете на это, отче Дюссардьё?

Дюссардьё ничего не ответил. Тогда все стали приставать к нему, чтобы узнать его вкус.

— Ну, хорошо,—начал он, краснея,—я скажу: я желал бы любить всегда одну и ту же.

Это было сказано таким тоном, что на минуту наступило молчание; одни были удивлены этой чистотой помыслов, другие, быть может, почувствовали в своей душе тайное желание того же самого.

Сенекаль поставил на наливник свою кружку пива и объявил догматически, что проституция—тирания, а брак—безнравственность; а посему лучше всего—воздержание. Дэлорье смотрел на женщин, как на развлечение, и только. Де-Сизи относился к ним с каким-то страхом.

Воспитанный под надзором набожной бабушки, он находил общество этих молодых людей заманчивым, как притон, и поучительным, как Сорбонна. На наставлении не скупился; и он проявлял столько усердия, что стал, несмотря на тошноту, которую неизменно испытывал при

*) Как подобает.

**) Эпоха регентства Филиппа Орлеанского отличалась крайним упадком нравов.

этом, курить. Фредерик окружал его заботами. Он восхищался оттенками его галстуков, мехом его пальто и в особенности его башмаками, тонкими, как перчатки, как-то вызывающе блестящими и изысканными. У под'езда его всегда ждал экипаж.

Однажды после его от'езда в снег, Сенекаль стал жалеть его кучера. Потом восстал против желтых перчаток, против Жокей-Клуба *); он уважал гораздо больше всякого рабочего, чем этих господ!

— Я, по крайней мере, работаю, я—беден!

— Это и видно,—сказал выведенный, наконец, из терпения Фредерик.

Репетитор затаил на него злобу за эти слова.

Но, когда Режембар сказал, что знаком с Сенекалем, то Фредерик, желая сделать приятное другу Арну, стал просить его бывать на субботних собраниях, и эти встречи доставили не малое удовольствие обоим патриотам.

Но во мнениях они все же расходились.

Сенекаль, у которого голова была клином, во всем усматривал только системы. Режембар, напротив, видел в фактах лишь факты. Его главным образом беспокоила Рейнская граница. Он утверждал, что сведущ в артиллерии, и одевался у портного Политехнической школы.

В первый раз, когда ему предложили сладких пирожков, он пожал с презрением плечами, говоря, что такое угощение прилично лишь женщинам, да и в следующие разы был не вежливее. Как только беседа касалась чего-нибудь необыденного, он бормотал:

— Довольно утопий, довольно мечтаний!

По части искусств (хотя он и заходил частенько в мастерские художников, где, из любезности, давал урок фехтования) его взгляды совсем не были возвышенными. Он сравнивал стиль Мараста со стилем Вольтера и стиль Ватназ со стилем г-жи Сталь, ибо в ее оде в честь Польши «была душа». В конце концов, Режембар надоел всем и в особенности Дэлорье тем, что «Гражданин» был близок с Арну. Клерк-же страстно желал бывать у них, надеясь завести там полезные знакомства.

*) Скаковой клуб, доступ в который наиболее затруднен. Прим. ред

«Когда же ты сведешь меня туда?» — говорил он Фредерику, но тот все отнекивался, ссылаясь или на то, что Арну завален делами, или на то, что он уезжает куда-то, или просто говоря, что теперь это уже не к чему, так как обеды скоро прекратятся.

Если нужно было рискнуть жизнью для друга, Фредерик пошел бы на это. Но тут, стараясь показаться у Арну в наиболее выгодном свете и настолько следя за своими выражениями, манерами и костюмом, что являлся в «Художественную Промышленность» всегда в безукоризненных перчатках, он боялся, что Дэлорье в своем старом черном фраке, со своими прокурорскими манерами и дерзкими речами не понравится г-же Арну, скомпрометирует и унизит его самого в ее глазах. Он примирался со многими другими, но именно Дэлорье, как человек, близко его знавший, стеснял бы его там в тысячу раз больше всех. Клерк заметил, что Фредерик не хочет сдерживать своего обещания, и его молчание было для него величайшей обидой.

Да и вообще он хотел руководить им во всем, видеть, как он развивается, согласно идеалу их юности; праздность Фредерика возмущала Дэлорье, как неповиновение, как измена. Кроме того Фредерик, весь поглощенный мыслями о г-же Арну, часто говорил об ее муже; Дэлорье не преминул возненавидеть того и принялся невыносимо донимать друга, повторяя раз сто в день, в конце всякой фразы, с настойчивостью идиота, имя Арну. Когда стучали в дверь, он отвечал: «войдите, Арну!» В ресторане он спрашивал сыр Бри а ля Арну; ночью, притворяясь, что у него кошмар, будил приятеля воплями: «Арну, Арну». Наконец, в один прекрасный день Фредерик, изнуренный всем этим, сказал ему плачущим голосом.

— Да, оставь ты меня в покое с этим Арну.

— Никогда! — возразил клерк.

Всегда и всюду он, пылающий или холодный Арну, Арну...

— Замолчи! — вскричал Фредерик, сжимая кулаки. Потом тихо добавил:

— Ты прекрасно знаешь, что это неприятная для меня тема.

— О, прости, старина, — отвечал Дэлорье, очень низко кланяясь, — мы уважаем ваше первое девичье расстройство! Прости, еще раз прошу! Тысяча извинений!

Тем и кончилась шутка.

Но недели через три, как-то вечером, он сказал ему:

— Ну-с, я видел г-жу Арну.

— Где?

— В суде, с адвокатом Бландаром; не правда ли, — брюнетка, среднего роста?

Фредерик сделал утвердительный знак. Он ожидал, что Дэлорье еще что-нибудь скажет. При малейшем слове восхищения, он излил бы всю свою душу, был бы готов страстно полюбить его, но тот молчал. Наконец, не выдержав, Фредерик спросил с безразличным видом, что же думает он о ней.

Дэлорье нашел ее «недурненькой» и только!

— Ах, вот как! — сказал Фредерик.

Наступил август месяц, время второго экзамена. По общему мнению было достаточно двух недель, чтоб подготовиться. Фредерик, не сомневаясь в своих способностях, проглотил одним духом четыре первые книги устава судопроизводства, первые три книги уложения о наказаниях, несколько отрывков из следственного производства, часть гражданского кодекса с примечаниями Понслэ. Накануне экзамена Дэлорье устроил репетицию, которая и продолжалась до утра; да и в последнюю минуту, уже идя по улице, он не переставал спрашивать Фредерика.

Шло несколько экзаменов сразу; на дворе было много народу, между прочим, Гюссонэ и Сизи: они не преминули придти на испытание, раз дело касалось товарища. Фредерик облекся в традиционную черную мантию; потом он вошел вслед за толпой, вместе с тремя другими студентами, в большую комнату, освещенную окнами без штор и уставленную по стенам скамейками. Посредине комнаты вокруг стола, покрытого зеленым сукном, стояли кожаные кресла. Стол отделил экзаменующихся от

господ экзаминаторов в красном одеянии, с горностаем через плечо, в беретах с золотым галуном.

Фредерик был предпоследним в группе — несчастливое место. При первом вопросе, о разнице между условием и договором, он перепугал определения; профессор, человек добродушный, сказал ему:

— Не волнуйтесь, молодой человек, придите в себя.

Потом, задав два легких вопроса, на которые последовали неясные ответы, он перешел к четвертому. Фредерик потерял бодрость от такого плохого начала. Дэлорье, стоя напротив, в публике, делал ему знаки, что не все еще потеряно, и на второй вопрос по уголовному праву он ответил сносно. Но после третьего, о тайном завещании, экзаминатор, оставаясь бесстрастным, только усилил его беспокойство. Гюссонэ уже сложил руки для аплодисментов, тогда как Дэлорье пожимал плечами. Наконец, наступил грозный момент, когда нужно было отвечать по процессуальному праву. Вопрос шел об участии третьих лиц, и профессор, задетый изложением учения, противоположного его теории, грубо оборвал его.

— Это ваше личное мнение, милостивый государь? Как же вы примирите принцип статьи 1351 гражданского кодекса с этим необычайным путем защиты?

Фредерик чувствовал сильную боль в голове от бессонной ночи. Луч солнца, проникая через жалюзи, ударил ему в лицо. Стоя за столом, он переминался с ноги на ногу, тербил усы.

— Я жду вашего ответа! — сказал человек в золотом берете.

И, так как жесты Фредерика, видимо, раздражали его, то он заметил.

— Этого вы не найдете в вашей бороде!

Его сарказм вызвал смех в аудитории. Польщенный им, профессор смягчился. Он предложил еще два вопроса, о поводах к отложению дел и об ускоренном судопроизводстве, потом опустил голову в знак одобрения; публичное испытание было закончено. Фредерик вышел в вестибюль.

Пока неделю снимал с него парадное одеяние, чтобы тотчас же облечь в него другого, друзья окружили его,

и привели втупик своими противоречивыми мнениями о результатах экзаменов. Но тут звучный голос возвестил из зала, что «третьему назначен вторичный экзамен»:

— Провалили!—сказал Гюссонэ.—Идем!

У каморки привратника они встретили Мартинона, раскрасневшегося, взволнованного, со смеющимися глазами и победно сияющим лицом. Он только что выдержал без сучка, без задоринки свой последний экзамен. Осталась только диссертация. Он сделается лицензиатом ранее, чем через две недели. Его семья знакома с министром, «блестящая карьера» открывается перед ним.

— Даже этот перегнал тебя,—заметил Дэлорье.

Ничего нет унизительнее, как видеть, что глупцы преуспевают в делах, в которых ты терпишь неудачу. Фредерик, уязвленный, возразил, что он презирает все это. Его стремления выше. И, так как Гюссонэ уже уходил, то он отвел его в сторону и сказал:

— Само собой разумеется у них об этом ни слова.

Скрыть это было тем более легко, что Арну на другой день уезжал путешествовать по Германии.

Вечером, возвратясь домой, клерк нашел своего друга странно изменившимся: он скакал, свистал. Дэлорье удивился такому настроению. Фредерик объявил, что он не поедет к матери, а употребит каникулы на работу.

При известии об отъезде Арну он очень обрадовался. Он может являться туда, когда только пожелает, не боясь, что кто-нибудь помешает его визитам. А ведь это то, думал он, и заграждало его уста или делало его речи незначащими. Уверенность в полной безопасности придаст ему храбрости. Наконец, он не будет вдали от нее, не будет разлучен с нею. Что-то более крепкое, чем железная цепь, приковало его к Парижу, внутренний голос твердил ему оставаться.

Те препятствия, которые представились, он преодолел. В письме к матери он прежде всего признался в своем провале, объяснив его тем, что изменили некоторые части программы, случаем, несправедливостью; впрочем, прибавлял он, ведь всех знаменитых адвокатов (он называл их имена) прогоняли с экзаменов. Он рассчитывает опять явиться на экзамен в ноябре месяце. И, так как

у него осталось мало времени, то он не приедет на каникулы домой. Кроме денег, приходящихся ему за три месяца, он просил еще двести пятьдесят франков, так как будет очень полезно пригласить репетитора. Все письмо было разукрашено сожалениями, жалобами, притворными ласками и уверениями в сыновней любви.

Г-жа Моро, ожидавшая его приезда на следующий день, опечалилась вдвойне. Она скрыла ото всех его неудачу и ответила, чтобы он «приезжал во всяком случае». Но все же к концу недели он получил деньги за три месяца вперед и просимую сумму на репетиции, которая и ушла на светло-серые панталоны, белую фетровую шляпу и тросточку с золотым набалдашником.

Когда он во все это облекся, он подумал:

— Может быть, у меня вид парикмахера?

Им овладела крайняя нерешительность.

Чтобы решить, идти ли ему к г-же Арну, он трижды бросал в воздух монеты. Всякий раз предзнаменование оказывалось счастливым. Итак, сама судьба приказывала ему. Он нанял извозчика на улицу Шуазель.

Быстро поднялся он по лестнице, потянул за шнур колокольчика, но звонка не последовало. Он почувствовал, что теряет сознание.

Потом он изо всей силы дернул тяжелую кисть красного шелка. Раздался трезвон, постепенно затихнувший. И опять молчание. Фредерик испугался.

Он приложил ухо к двери: ни звука. Он посмотрел в скважину замка—и ничего не увидел в передней, кроме двух ручек тростей и цветочков на обоях. Он уже собирался было ретироваться. Но одумался и постучал, на этот раз не сильно. Дверь отворилась: на пороге с всклокоченными волосами, малиновым лицом и злым видом стоял Арну.

— Ну? Какого чорта вас принесло? Входите!

Он ввел его не в будуар, не в спальню, а в столовую, где на столе стояли бутылка шампанского и два бокала; резким тоном он спросил:

— У вас ко мне есть какое-нибудь дело, многоуважаемый?

— Нет, ничего, ничего,—забормотал молодой человек, ища предлога для своего прихода.

В конце концов он выдумал, что пришел за весточкой о нем, ибо он думал, что он в Германии, как сообщил ему Гюссонэ.

— Ничего подобного!—ответил Арну.—Что за сонная тетеря этот парень, он все слышит наизусть!

Чтобы скрыть свое волнение, Фредерик ходил взад и вперед по комнате. Задев стул, он уронил зонтик, лежавший на нем; ручка из слоновой кости разбилась.

— Боже мой!—вскричал он,—я в отчаянии, я разбил зонтик г-жи Арну!

При этих словах купец поднял голову и как-то особенно улыбнулся. Фредерик воспользовался представившимся случаем и заговорил о ней, скромно добавив:

— Нельзя ли видеть ее?

— Она у себя на родине, у больной матери.

Он не посмел спросить о том, как долго она пробудет там, спросил только, где ее родина.

— Шартр. Вас удивляет это?

— Меня? Нет, почему-же? Ничуть!

Затем, совершенно не зная, что сказать друг другу, Арну стал вертеть папиросу, отдуваться, ходить вокруг стола, а Фредерик, стоя у печки, смотрел на стены, этажерки, паркет; и чарующие образы проходили в его памяти, вернее, перед его глазами. Наконец, он отклонялся.

Скомканный кусок газеты валялся в передней, Арну поднял его и, встав на цыпочки, засунул его в колокольчик, чтобы продолжать, как сказал он, прерванный послеобеденный сон. Потом, пожимая Фредерику руку, добавил:

— Предупредите, пожалуйста, привратника, что меня нет дома.

И с силою хлопнул за ним дверью.

Фредерик медленно спускался с лестницы. Неудача этой первой попытки отнял у него надежду на следующие. И наступили целых три месяца скуки. Так как у него не было никакой работы, то безделье только усиливало его печаль.

— Он по целым часам глядел со своего балкона на реку,

текущую между сероватыми набережными, местами потемневшими от грязной отрыжки водосточных труб, на плот для прачек, укрепленный у берега, где мальчишки, забавляясь, купали иногда в иле собаченку. Не обращая внимания на каменный мост Собора Богоматери и на три висячих моста, находящиеся слева от него, он неизменно устремлял свой взор на набережную Вязов и густую листву старых деревьев, похожих на липы у пристани Мочтеро. Башня Сен-Жака, городская ратуша, церкви Сен-Жервэ, Сен-Луи, Сен-Поль возвышались напротив, среди громоздящихся крыш, — и Гений на вершине Июльской колонны сверкал на востоке подобно крупной золотой звезде, тогда как в другом конце выпукло круглился в небе купол Тюльери своей тяжелой голубой массой. По ту сторону их должен был находиться дом г-жи Арну.

Потом он входил в свою комнату и, растянувшись на диване, предавался беспорядочным думам: здесь были и планы работ, и проекты о том, как вести себя, и мечты о будущем. Наконец, чтобы избавиться от самого себя, он выходил из дому.

Он брел в Латинский квартал, обычно столь оживленный, но пустынный в это время года, ибо студенты уже разъехались по домам. Большие стены коллегий, казавшиеся более длинными от царившего вокруг безмолвия, имели вид еще более хмурый; кругом были слышны всевозможные звуки: звуки мирной жизни, удары крыльев в клетках, скрип токарного станка, стук сапожного молотка, продавцы платья, шедшие посередине улицы, напрасно заглядывали в каждое окно. В глубине безлюдных кафе буфетчицы зевали перед полными графинчиками; газеты в порядке лежали на столах в читальнях; в прачечной белье развешивалось от порывов теплого ветра. Время от времени он останавливался у лавок букинистов, но каждый омнибус, задевая тротуар, заставлял его оборачиваться; достигнув Люксембурга, он обыкновенно возвращался назад.

Иногда надежда развлечься влекла его к оульварам. После темных переулков, дышавших свежей сыростью, он выходил на большие, пустынные площади, ослепительно освещенные, где монументы бросали на мостовую зубча-

тые тени. Появлялись телеги, вновь оживали магазины, и толпа оглушала его, особенно по воскресеньям; когда от Бастилии до храма Мадлен двигалась по асфальту громадная колеблющаяся волна народа, среди пыли и немолчного грохота; он чувствовал тогда омерзение к этим лошлым лицам, к ничтожным разговорам, бессмысленному довольству, написанному на потных лицах. Только сознание собственного превосходства уменьшало усталость от этого зрелища.

Он ходил ежедневно в «Художественную Промышленность»; чтобы узнать, когда придет г-жа Арну, он очень тщательно справлялся о здоровье ее матери. Ответ Арну бывал неизменно один: «идет на улучшение, жена с девочкой возвратится на будущей неделе». Чем более медлила она приездом, тем более Фредерик выказывал беспокорства, так что Арну, тронутый таким вниманием, водил его пять или шесть раз обедать в ресторан.

Фредерик, за время этих продолжительных свиданий с ним с глазу на глаз, убедился, что продавец картин не отличался большим умом. Он опасался, как бы Арну не заметил его охлаждения к себе, да, кстати, пора было и отплатить ему за любезности.

Желая угостить его на славу, он продал старьевщику все свои новые костюмы за восемнадцать франков, прибавив еще оставшиеся у него сто, и пришел к Арну, чтоб пригласить его на обед.

У него сидел Режембар. Отправились в ресторан «Трех братьев Провансальцев».

Гражданин начал с того, что снял сюртук и, уверенный в уступчивости своих приятелей, составил меню по своему вкусу. Однако, несмотря на то, что он ходил в кухню для переговоров с поваром, спускался в погреб, где ему были известны все закоулки, призывал хозяина, которому «намыливал голову», он не остался доволен ни кушаньями, ни вином, ни сервировкой. При каждом новом блюде, при каждом новом сорте вина, после первого куска, после первого глотка, он бросал вилку или далеко отодвигал свой стакан; потом, навалившись на стол, восклицал, что в Париже невозможно стало пообедать. Наконец, не зная, что придумать, Режембар заказал себе бо-

бов в прованском масле, «попросту», которые и утихомирили его немного, хотя и не удалась, как следует. Потом он завел с официантами разговор о прежних лакеях «Провансальцев»: «Что случилось с Антуаном, с Эженом, с маленьким Теодором, прислуживавшим всегда внизу? В то время все приготавливалось иначе, а бургундское было такое, какого теперь не сыщешь».

Затем возник вопрос о цене на пригородные участки, — это была спекуляция Арну совершенно безошибочная, но пока что он терял на ней; ну, да ничего: так как он не хочет продавать ни под каким видом, Режембар отыщет ему кой-кого. С карандашами в руках они производили бесконечные вычисления до самого конца десерта.

Кофе пошли пить в пассаж Лосося, в кофейню, находящуюся в антресолях. Фредерик все время стоял и следил за бесконечными билльярдными партиями, поливаемыми бесчисленными кружками пива. Пробыл он там до полуночи, сам не зная зачем, — по малодушию, по трусости, смутно надеясь, что случится что-нибудь благоприятное для его любви.

Когда же он увидит ее вновь? Он уже отчаялся в этом. Наконец, однажды вечером, в конце ноября, Арну сказал ему.

— Знаете, вчера вернулась жена.

На другой день, в пять часов, он входил к ней.

Он начал с поздравлений по поводу выздоровления ее матери, хворавшей столь серьезно.

— Хворавшей? Кто это вам сказал?

— Арну!

Она молвила легкое «а», потом прибавила, что точно сначала у нее были серьезные опасения теперь же они исчезли.

Она сидела у камина в вышитом глубоком кресле. Он же присел на диван, держа на коленях шляпу. Разговор был натянутый; она умолкала ежеминутно, он тоже не пахотил ничего подходящего, никакой возможности хоть что-нибудь сказать о своих чувствах. Но, когда он стал жаловаться на то, что ему приходится тратить время на изучение крючкотворства, то она ответила:

— Да... я понимаю... дела...—и, склонив голову, впала в задумчивость.

Он жаждал узнать причину этой задумчивости и даже не думал ни о чем ином. Тени сгущались вокруг них.

Она встала, — ей нужно идти по делам, — и вскоре вышла в бархатной шляпке и в черной накидке, отороченной беличьим мехом. Он осмелился предложить проводить ее.

Ничего не было видно; на дворе стоял холод, густой туман, заволакивая фасады домов, наполнял воздух злобонием. Фредерик вдыхал его с наслаждением; он чувствовал через ватную одежду форму ее локтя; ее ручка в замшевой перчатке на двух пуговицах, ее маленькая ручка, которую ему хотелось осыпать поцелуями, опиралась на его руку. Благодаря гололедице, они немного скользили, и ему казалось, что их обоих укачивает в облаках ветер.

Свет фонарей на бульварах вернул его к действительности. Случай был удобный, но время делело. Он отложил объяснение в любви до улицы Ришелье. Но почти в это же самое время у магазина фарфоровой посуды она остановилась и проговорила:

— Мы пришли, благодарю вас! До четверга, не правда ли, как всегда?

Обеды возобновились, и чем чаще он посещал г-жу Арну, тем более увеличивалось его томление.

Созерцание этой женщины изнуряло его, как слишком сильный аромат. Это состояние проникло в глубину его существа, оно сделалось поглощающей формой его чувств, новым родом бытия.

Проститутки, попадавшиеся ему навстречу при свете газовых фонарей, певицы, выводящие рулады, наездницы на скачущих лошадях, мещанки, шедшие пешком, гризетки в окошках, — все женщины вызывали у него в памяти «ее» или по неуволному сходству, или по сильному контрасту. Он разглядывал на выставках магазинов шали, кружева, подвески из драгоценных камней и воображал, как эта шаль драпирует ее стан, как эти кружева украшают ее корсаж и какими огнями играют драгоценные камни в ее черных волосах. На лотках у про-

дающих распускались цветы для того только, чтобы она выбирала их, мимоходом; выставленные в башмачных магазинах, за стеклом, маленькие атласные туфельки, отороченные лебяжьим пухом, казалось, ждали ее ножек; все улицы вели к ее дому; экипажи стояли на площадях только для того, чтобы можно было скорее доехать к ней; весь Париж был связан с ней, — огромный, со всеми своими шумами, он гудел, как громадный оркестр вокруг нее.

Когда он шел по зоологическому саду, вид пальмы влек его в отдаленные страны. Они путешествовали вместе на спине верблюда, под палаткой на слонах, в каюте яхты по лазурному архипелагу, или рядом на двух мулах с бубенцами, спотыкавшихся в траве о разбитые колонны. Иногда он останавливался в Лувре перед старинными картинами; любовь его переносила ее в глубь веков, и он мысленно заменял ею лица на картинах. Вот она молится на коленях за стеклянной дверью со свинцовыми полосками, с высоким средневековым убором на голове. Владычицей обеих Кастилий или Фландрии, она сидит в накрахмаленном воротнике и в стянутом лифе с пышными буфами. Окруженная сенаторами, в парчевом платье и под балдахином из страусовых перьев, она спускается по большой порфировой лестнице. Иногда она виделась ему лежащая в шелковых желтых шароварах на подушках гарема; все, что было прекрасного в мире — сверкание звезд, известные музыкальные арии, выражение фразы, какое-либо очертание — все внезапно и незаметно наводило его на мысль о ней. Что же касается того, чтобы сделать ее своей любовницей, то он был уверен, что всякая попытка будет напрасной.

Однажды вечером Диттмер, войдя к ней, поцеловал ее в лоб, Ловариас сделал то же самое, говоря:

— Вы позволите, не правда ли, на правах друга?

Фредерик пробормотал:

— Мне кажется, что мы все друзья.

— Но не все старые, — возразила она.

Значит, косвенным образом она отстраняла его.

Что же делать? Сказать ей, что он любит ее? она, без сомнения, вежливо отклонит этот разговор, или же, в

негодовании, откажет ему от дома. Он же предпочитал всевозможные терзания ужасной участи не видеть ее.

Он завидовал таланту пианистов, шрамам солдат. Он желал тяжело заболеть, надеясь таким образом заинтересовать ее собой.

Его удивляло одно,—он не ревновал ее к Арну; он не мог иначе представить ее, как только одетой—в такой мере стыдливость, присущая ей, облекала ее пол в таинственную тень.

Между тем, он мечтал о счастье жить с нею, говорить ей «ты», проводить медленно по ее волосам, стоять на коленях, охватив обеими руками ее талию, упиваться ее взглядом. Но для этого нужно было перевернуть жизнь; а он, неспособный действовать, проклиная Бога и обвиняя себя за малодушие, обуреваемый желаниями, метался, как узник в камере. Постоянная тоска снедала его. По целым часам он оставался неподвижным или же разражался слезами; однажды, когда у него не хватило сил сдержаться, Дэлорье сказал ему:

— Да, что с тобой, чорт возьми?

Фредерик страдал нервами. Дэлорье этому не поверил. Перед таким горем он чувствовал, что у него просыпается нежность, и он стал его утешать. Такой человек, как он, позволяет себе падать духом, какая глупость! Ну, случись это в юности, а теперь — это только потеря времени.

— Ты портишь моего Фредерика. Я требую обратно прежнего. Человек, подать мне того, каким он был всегда! Ну, выкури же трубку, животное! Встряхнись немного, ты огорчаешь меня!

— Это правда,—сказал Фредерик,—я сумасшедший!

Клерк возразил:

— А, старый трубадур! Я хорошо знаю, что сокрушает тебя! Сердечко? Признайся? Э, одну потеряешь, четырех найдешь. Спасаются от добродетельных женщин с другими... Хочешь, я сведу тебя с женщинами? Тебе стоит лишь отправиться в Альгамбру (это были публичные балы, недавно открытые в конце Елисейских полей; предприятие прогорело со второго сезона от роскоши, еще преждевременной тогда для подобного рода

учреждений). Там, говорят, весело. Поедем туда! Возьми с собою своих приятелей, если хочешь; я ничего не буду иметь даже против Режембара.

Фредерик не пригласил Гражданина. Дэлорье лишил себя общества Сенекаля. Они взяли с собой лишь Гюссонэ и Сизи с Дюссардьё, и все впятером подкатили на одном извозчике к под'езду Альгамбры.

Две галлерей в мавританском стиле тянулись направо и налево параллельно одна другой. Стена дома напротив занимала весь задний план, а четвертая сторона (та, где был ресторан) изображала аркады в готическом стиле с цветными стеклами. Род китайского шатра покрывал эстраду, где играли музыканты; площадка была залита асфальтом, венецианские фонарики, привешенные к столбам, производили издали впечатление короны из разноцветных огней над танцующими. Здесь и там на цоколях стояли каменные чаши, откуда поднималась тонкая струя воды, среди зелени виднелись гипсовые статуи Гебы или Купидона, липкие от неуспевшей высохнуть масляной краски; аллеи, посыпанные ярко-желтым песком, были старательно выметены и выравнены, отчего сад казался больше, чем был на самом деле.

Студенты гуляли со своими возлюбленными; приказчики из галантерейных магазинов с тросточками в руках важно прохаживались; гимназисты курили сигары; старые холостяки расчесывали гребешком свои крашенные бороды; тут были англичане, русские, уроженцы Южной Америки, трое восточных людей в фесках. Лоретки, гризетки и девицы пришли сюда в надежде найти покровителя, любовника, получить золотую монету или просто потанцевать; их платья цвета зеленой воды, синие, вишневые и лиловые, проносились и мелькали между раkitником и сиренью. Почти на всех мужчинах были костюмы из клетчатой материи, некоторые надели белые панталоны, несмотря на прохладный вечер.

Зажигались газовые рожки.

Гюссонэ, благодаря связям с редакциями модных журналов и мелкими театрами, знал многих женщин; он посылал им воздушные поцелуи и время от времени бросал своих друзей, чтобы поболтать с ними.

Дэлорье завидовал его повадке. Он грубо пристал к рослой блондинке, одетой в бумажное желтое платье. Осмотрев его скучающим взглядом, она сказала:—нет, не внушаете доверия, голубчик!—и пошла прочь.

Он принялся тогда за толстую брюнетку, которая, вероятно, была сумасшедшей, ибо при первых же словах его взелась на него, пригрозив, что если он не отстанет, то она позовет полицию. Дэлорье силился рассмеяться, потом, отыскав женщину, сидевшую в уголке под фонарем, пригласил ее на кадрили.

Музыканты, разместившись на эстраде в обезьяньих позах, пиликали и дули немилосердно. Капельмейстер, стоя, автоматически отбивал такт. Все веселились в тесноте; развязавшиеся ленты шляпок задевали за галстуки, сапоги путались в юбках; все прыгали в такт; Дэлорье прижимал к себе свою дамочку и, охваченный безумием канкана, бесновался среди танцующих, как огромная марионетка. Сизи и Дюссардье продолжали прогуливаться: молодой аристократ лорнировал девиц и, несмотря на увещевания приказчика, не смел заговорить с ними, воображая, что всегда у подобных женщин находится «спрятанный в шкафу человек с пистолетом, выходящий оттуда для того, чтоб заставить вас подписать вексель».

Они подошли к Фредерику. Дэлорье уже не танцевал. Спрашивали, как закончить вечер. Вдруг Гюссонэ воскликнул:

— А, вот и маркиза Амазги!

То была бледная женщина с вздернутым носиком, в митенках до локтей и с длинными, черными доконами, спадающими на щеки, точно собачьи уши.

Гюссонэ сказал ей:

— Мы должны устроить у тебя маленький праздник, восточный раут! Постарайся собрать из твоих подруг букет для этих французских рыцарей? Что же смущает тебя? Уж не ждешь ли ты своего гidalго?

Андалузка опустила голову; зная неблестящее положение своего приятеля, она боялась, что ей придется потратиться на угощение самой. Но, как только она произнесла слово «деньги», Сизи предложил ей пять золотых,

все, что у него было в кошельке: дело было слажено. Но Фредерик исчез: ему показалось, что он узнал голос Арну, он увидел дамскую шляпку и поспешно нырнул под группу деревьев, стоящих недалеко.

Г-жа Ватназ сидела вдвоем с Арну.

— Извините! Я помешал вам?

— Менее всего на свете!—возразил купец.

Фредерик по последним словам их разговора понял, что он прибегал к Альгамбре для того, чтобы переговорить с г-жей Ватназ о безотлагательном деле; повидимому, Арну был не спокоен, ибо он сказал ей с тревогой:

— И вы вполне уверены?

— Вполне! Вас любят! Ах! Вот человек!

И она надулась, выпятив свои толстые кроваво-красные губы. Но глаза у нее были дивные, карие с золотистыми точками, полные ума, страсти и чувственности. Они озаряли, точно светильники, желтоватый цвет худого лица. Арну, казалось, наслаждался ее раздражением.

Он наклонился к ней со словами:

— Вы прелестны, поцелуйте меня!

Она взяла его за уши и поцеловала в лоб.

В этот момент танцы прекратились; на месте капельмейстера появился статный молодой человек, очень жирный и, как воск, белый. Его черные волосы ниспадали, как у Христа, бархатный жилет лазоревого цвета был украшен большими золотыми пальмовыми ветками, вид у него был гордый, как у павлина, и глупый, как у индейского петуха; раскланявшись публике, он запел шансонетку. В ней поселянин, побывавший в столице, рассказывал о своем путешествии; артист пел на нижне-нормандском наречии, изображая пьяного; после каждого припева «Ах, уж и смеялись мы в этом сволочном Париже»,—публика топала от восторга ногами. Дельмас, «певец с экспрессией», был слишком хитер, чтоб дать остыть энтузиазму. Ему быстро передали гитару, и он запел чувствительный романс под названием «Брат Албанки».

Фредерик вспомнил, что пел человек в лохмотьях на пароходе. Его глаза, помимо воли, устремились на подол юбки, расстилавшейся перед ним. После каждого куплета

следовала длинная пауза, а ветер шелестил листвою, с шумом, подобным плеску воды.

Ватназ, отведя рукой ветку, которая мешала ей видеть эстраду, не отрывала взора от певца, расширив ноздри, сдвинув брови; она, казалось, была подавлена глубоким восхищением.

— Отлично!—сказал Арну.—Я понимаю, почему вы сегодня в Альгамбре. Дельмас правится вам, дорогая.

Она не хотела в этом сознаться.

— Ах, что за стыдливость!

И, указав на Фредерика, Арну прибавил:—Из-за него, что ли? Напрасно. Это скромнейший юноша!

Компания, ища повсюду своего приятеля, зашла в беседку.

Гюссоне всех представил Арну, сейчас же предложил каждому сигару и угостил всю компанию шербетом.

Ватназ покраснела, увидав Дюссардьё. Она тотчас же поднялась и протянула ему руку:

— Вы не узнаете меня, г. Огюст?

— Как, вы и с ней знакомы?—спросил Фредерик.

— Мы служили в одном магазине, — ответил Дюссардьё.

Сизи тянул его за рукав; они вышли; едва он скрылся, Ватназ принялась восхвалять его характер. Она даже прибавила, что у него «гениальное сердце».

Потом заговорили о Дельмассе, который, благодаря своей мимике, может пользоваться большим успехом на сцене; закипел спор; в одну кучу валили Шекспира, цензуру, стиль, народ, сборы театра Порт-Сен-Мартен, Александра Дюма, Виктора Гюго и Дюмерсана. Арну был знаком со многими знаменитыми актрисами; молодые люди наклонились к нему, чтобы не проронить ни слова. Но грохот оркестра заглушал его слова. Как только кадрили или полька кончались, все с хохотом бросались к столикам и подзывали лакеев; бутылки пива, лимонной воды так и хлопали среди зелени, женщины кудахтали точно туры, два господина чуть не подрались; задержали вора.

Во время галопа танцующие хлынули в аллеи. Задыхаясь, смеясь, с покрасневшими лицами, они вихрем

неслись, отчего развевались платья и полы сюртуков; тромбоны ревели все сильнее; ритм ускорялся; у средневековой галереи послышался треск, начался фейерверк: разрывались ракеты; завертелись солнца; свет бенгальских огней изумрудом осыетил на минуту весь фасад, и при последней ракете публика испустила глубокий вздох.

Толпа медленно расходилась. Облако порохового дыма плыло в воздухе. Фредерик и Дэлорье двигались шаг за шагом среди толпы, когда их поразило странное зрелище: Мартинон расплачивался у стойки, где хранятся зонтики: он сопровождал даму лет пятидесяти, некрасивую, великоленно одетую, загадочного общественного положения.

— Этот парень,—сказал Дэлорье,—не так прост, как можно думать. Но где же Сизи?

Дюссардьё указал на курительную комнату, и они увидели потомка рыцарей перед чашей пунша, возле розовой шляпки.

Гюссонэ, пропадавший где то уже минут пять, снова показался в этот момент.

Молоденькая девица опиралась на его руку и громко называла его «мой котеночек».

— Не следует,—сказал он,—не следует называть меня так публично. Зови лучше меня виконтом. Это придает осанку кавалера времен Людовика XIII и мягких сапог, и нравится мне. Да, добрейшие, вот моя прежняя. Не правда ли, она мила?

Он взял ее за подбородок:

— Поклонись этим господам! Все это—сыновья пэров Франции! Я вожусь с ними только для того, чтобы они назначили меня посланником.

— Вот, безумный!—со вздохом произнесла Ватназ.

Она попросила Дюссардьё проводить ее до дому.

Арну посмотрел им вслед и, обратясь к Фредерику, спросил его:

— Нравится ли вам Ватназ? Впрочем, вы в этом отношении неоткровенны, мне думается, что вы скрываете свою любовь.

Фредерик, поблуднев, клялся, что ему нечего скрывать.

— А между тем, никому неизвестно, кто ваша возлюбленная,—возразил Арну.

Фредерик хотел было назвать наобум чью-нибудь фамилию. Но это могло дойти до нее. Он ответил, что так оно и есть—у него нет любовницы.

Торговец побранил его:

— Сегодня вечером представлялся удобный случай. Почему вам было не воспользоваться, не поступить, как другие—вон все уходят отсюда с женщинами.

— Ну, а вы?—сказал Фредерик, выведенный из терпения его настойчивостью.

— Я что, голубчик мой! Я особая статья, я иду к собственной.

Он кликнул пролетку и исчез.

Друзья шли пешком. Дул восточный ветер. Ни один не прерывал молчания. Дэлорье жалел, что не блеснул перед редактором журнала, а Фредерик впал в свою обычную тоску. Наконец, он сказал, что бал в кабаке ему показался глупым.

— Чья же вина? Не бросал бы нас для своего Арну!

— Ну, чтоб я ни делал, все равно...

Но у клерка на этот счет была совсем особая теория: достаточно только чего-нибудь сильно пожелать—и все будет.

— А, между тем, ты сам...

— Меня это не трогает!—сказал Дэлорье, поняв намек.—Стану я навязывать себе на шею женщину!

И он обрушился на них за их жеманство, глупость; короче, они ему противны.

— Не рисуйся, пожалуйста.—сказал Фредерик.

Дэлорье замолчал. Потом, вдруг, сказал:

— Хочешь пари на сто франков, что со мной пойдет первая встреча?

— Хорошо! Идет!

Первая, кто попала им на пути, была отвратительная нищая; они потеряли уже надежду на подходящую встречу, как на улице Риволи увидели высокую девушку с маленькой картонкой в руках. Дэлорье нагнал ее под аркадами.

Она круто повернула по направлению к Тюльери;

быстро достигла Карусельной площади; она кидала взгляды справа налево; побежала за извозчиком; Дэлорье догнал ее. Он пошел рядом с ней и, говоря, выразительно, жестикулировал. Наконец, она взяла его под руку, и они пошли по набережной. Потом свернули на площадь Шатле, где двадцать минут, по крайней мере, прогуливались по тротуару, точно два моряка на вахте. Но вдруг они перешли мост Шанж, пересекли Цветочный рынок, набережную Наполеона. Фредерик шел за ними. Дэлорье дал ему понять, что он их стесняет, и что ему остается только последовать его примеру.

— Сколько у тебя еще осталось?

— Две монеты по сто су.

— Этого вполне достаточно! Покойной ночи!

Фредерика охватило то изумление, которое испытывают люди, при виде удавшейся шутки: «Он издевается надо мной,—подумал он.—Не подняться ли к себе—Дэлорье, может быть, подумает еще, что он завидует его любовной удаче? Как будто у меня нет любви во сто раз более благородной, более редкой, более мощной!» Что-то вроде гнева толкало его вперед. Он очутился у подъезда г-жи Арну.

Ни одно окно ее квартиры не выходило на улицу. Однако, он не сводил глаз с фасада, точно мог взглядом пронизать стены. Теперь, мнилось ему, она лежит спокойно, как уснувший цветок, со своими предестными волосами, утопающими в кружевах подушки, с полуоткрытым ртом, положив голову на руку.

Но вдруг рядом с ней появилась голова Арну. Он пошел прочь, чтобы избавиться от этого видения.

Ему вспомнился совет Дэлорье; но отвращение охватило его; он стал скитаться по улицам.

Когда кто-нибудь приближался к нему, он старался рассмотреть его лицо. По временам луч света падал между его ног, описывая на гладкой мостовой дугу в четверть круга огромных размеров; из темноты выступал человек с корзиной и фонарем. Ветер в некоторых местах потрясал железом дымовых труб; отдаленные звуки поднимались, сливаясь с шумом в его голове, и ему казалось, что

он смутно слышит звуки кадрили. Ходьба поддерживала в нем это опьянение. Он очутился на мосту Согласия.

И ему припомнился вечер в прошлом году, когда, выйдя от нее первый раз, он принужден был остановиться,—так сильно билось его сердце от нахлынувших надежд. Теперь все они умерли.

Темные тучи набегали на лик луны. Он созерцал ее, думая о величии мировых пространств, о жалком даре жизни, тщете всего. Рассветало; зубы его стучали; полусонный, вымокший весь от тумана и слез, он спросил себя, почему не покончить со всем этим? Нужно сделать лишь одно движение. Голова своею тяжестью тянула его вниз, он видел свой труп, плывущий по воде; он нагнулся; перила были широки, и только благодаря усталости он не перескочил через них.

Ужас охватил его. Он добрался до бульвара и упал на скамью. Полицейские разбудили его, убежденные, что он запоздалый кутила.

Он поднялся и пошел. Но так как ему сильно хотелось есть, и так как все рестораны были закрыты, он зашел поужинать в кабачок у Главного рынка, потом, рассудив, что еще слишком рано, прошатался вокруг городской ратуши до четверти девятого.

Дэлорье уже давно отпустил свою Дульцинею; он писал за столом, стоявшим по середине комнаты. Около четырех часов дня явился Сизи.

Благодаря Дюссардье, накануне вечером он заговорил таки с одной дамой, даже проводил ее в экипаже вместе с ее мужем до дверей ее квартиры; она назначила ему свидание; он только что оттуда, но там не знают даже ее фамилии.

— Что же вы хотите от меня?—спросил Фредерик.

Тогда аристократ стал молотить всякий вздор, болтал о Ватназ, об Андалузке и о всех остальных. Наконец, после многих обиняков, он объяснил цель своего прихода: полагаясь на скромность приятеля, он пришел для того, чтобы тот помог ему в одной попытке, после которой он будет смотреть на себя окончательно как на мужчину; Фредерик не отказал ему. Не называя имен, тот рассказывал об этом и Дэлорье.

Клерк нашел, что «все идет теперь прекрасно». Такое уважение к его советам еще улучшило его хорошее настроение.

Им с первого же дня пленилась Клеманс Давиу, вышивальщица золотом военных мундиров, необыкновенно кроткое существо, гибкое, как тростник, с большими глубокими глазами, вечно изумленными. Клерк до того злоупотреблял ее доверчивостью, что уверил ее, будто ему пожаловали орден; он нацеплял на свой сюртук красную ленточку, когда они были наедине, но прятал ее на людях, чтобы, как он говорил, не унижать своего патрона. Впрочем, он держал ее на известном расстоянии, позволял, как папа, ласкать себя и, шутя, называл ее «дочерью народа». Она приносила ему всякий раз по маленькому букетику фиалок. Нет, Фредерик не хотел бы такой любви.

Однако, когда они под-руку уходили обедать в отдельный кабинет к Пинсон или Бариллоту, ему становилось как-то особенно грустно. Он и не предполагал, что вот уже год каждый четверг причинял страдания Дэлорье, когда чистил ногти перед тем, как уйти на улицу Шуазель.

Однажды вечером, проводив их взглядом со своего балкона, Фредерик увидел Гюссонэ, который издали знаками звал его. Фредерик спустился со своего пятого этажа.

— Дело в том, что в следующую субботу, двадцать четвертого, день ангела г-жи Арну.

— Как так, ведь ее зовут Марией?

— Но также и Анжелой. Празднование будет у них на даче, в Сен-Клу; на меня возложена обязанность предупредить вас. В три часа дня вы найдете у редакции колымагу. Итак, дело кончено. Извиняюсь, что побеспокоил вас. Но у меня еще столько дел!

Едва вернулся Фредерик, как привратник принес ему письмо.

«Г-жа и г. Дамбрез просят Фредерика Моро сделать им честь и пожаловать к ним на обед в субботу, 24 сего месяца. Соболаговолите ответить».

— Слишком поздно!—подумал он.

Однако, он показал письмо Дэлорье. Тот воскликнул: — А, наконец! Но у тебя недовольный вид! Почему это?

Фредерик, немного поколебавшись, признался, что на этот день у него другое приглашение.

— Сделай милость, брось ты улицу Шуазель! Не глупи! Я отвечу за тебя, если это затрудняет тебя.

И клерк написал от третьего лица, что приглашение принято.

Думая о светском обществе с лихорадочным воодушевлением, он воображал его себе каким-то искусственным созданием, действующим по математическим законам. Званый обед, встреча с влиятельным лицом, улыбка красивой женщины, — целый ряд поступков, цепляющихся один за другой, дает гигантские результаты. Некоторые парижские салоны являются как бы машинами, принимающими материал в сыром виде и выбрасывающими его, в сто раз увеличив его ценность. Он верил в куртизанок, дающих советы дипломатам, в выгодные браки, в гений каторжан, в покорность случаю в руках сильных. Словом, он считал, что бывать у Дамбрез чрезвычайно полезно и доказывал это так хорошо, что Фредерик не знал, в конце концов, на что решиться.

Не сделать ли ему, по крайней мере, подарок г-же Арну, как имениннице? Само собой разумеется, он вспомнил о зонтике и хотел загладить свою неловкость. Он нашел очень изящный зонтик переливчатого шелка с резной ручкой из слоновой кости, вывезенный из Китая. Но стоил он сто семьдесят пять франков, а у него за душой не было ни гроша, даже жить приходилось в кредит, надеясь на следующую получку. А между тем ему хотелось удержать его за собой и, несмотря на все свое отвращение, он прибег к Дэлорье.

Тот ответил, что у него денег нет.

— Но мне необходимо, — повторил Фредерик, — крайне необходимо.

Но Дэлорье повторил отказ.

Фредерик вспыхнул.

— Ты мог бы иногда...

— Что?

— Ничего!

Клерк понял. Он извлек из своих сбережений просимую сумму и, высыпав ее монета за монетой, произнес:

— Я не требую от тебя расписки, потому что живу на твой счет.

Фредерик бросился ему на шею, осыпая его уверениями дружбы. Дэлорье остался холоден. На следующий день, увидав на пюпитаре зонтик, он сказал:

— А, вот для чего нужны были деньги!

— Я, вероятно, пошлю его, — робко сказал Фредерик.

Но случай пришел ему на помощь, — он получил вечером конверт с черным ободком, — г-жа Дамбрез, извещая его о смерти дяди, выражала сожаление, что приходится отложить удовольствие с ним познакомиться.

Около двух часов он уже был в редакции журнала. Но Арну, вместо того, чтобы ждать его и везти в своем экипаже, уехал еще накануне, не устояв против желания подышать свежим воздухом.

Каждый год ранней весной он удирает из города и в течение нескольких дней сряду совершает большие прогулки, пьет молоко на фермах, заигрывает с поселянками, осведомляется об урожае и уносит с собою в носовом платке пучки салата. Наконец, исполнилась давнишняя его мечта, — он купил себе дачу.

Пока Фредерик разговаривал с приказчиком, пришла Ватназ. Она была очень озадачена, не застав Арну. Кто знает, может быть он проведет там еще дня два? Приказчик советовал «с'ездить туда», но ей ехать туда было невозможно; послать письмо она боялась — письмо может пропасть. Фредерик предложил передать его. Она быстро написала его, но поставила условием, чтобы оно было вручено без свидетелей.

Через сорок минут Фредерик был в Сен-Клу.

Дом находился в ста шагах от моста, на склоне холма. Забора не было видно за двумя рядами лип, лужайка спускалась к самому берегу реки. Калитка была открыта; Фредерик вошел.

Арну, растянувшись на траве, играл с котятками. Эта забава, повидимому, поглотила его совершенно. Письмо Ватназ вывело его из оцепенения.

— Ах, чорт возьми, чорт возьми! Ну и досада: она права, мне пора уезжать!

Потом, сунув послание в карман, он с увлечением стал показывать все свое хозяйство. Он водил Фредерика всюду: в конюшню, сарай, на кухню. Гостиная была награв, окна, в сторону Парижа, выходили на решетчатую террасу, увитую лозоносом. Но вдруг над их головами раздалась рулада; г-жа Арну, думая, что она одна, занималась пением. Она пропела гамму, поупражнялась в трелях, арпеджиях. Были звуки, которые, казалось, то недвижно нависали, то как капельки каскада быстро сыпались; ее голос, проходя сквозь ставни, нарушал глубокую тишину и возносился к голубым небесам.

Вдруг пение прекратилось, — пришли соседи, супруги Удри.

Потом на верхней ступеньке крыльца появилась и она сама; она стала спускаться по лестнице; и он увидел ее ногу. На ней были открытые туфельки бронзово-золотистой кожи с тремя поперечными перекладками, образовавшими на чулке золотую решетку.

Приглашенные прибывали. Кроме мэтра Лефосе, адвоката, все были обычными гостями четвергов. Каждый привез какой-нибудь подарок: Диттмер — сирийский шарф, Розенвальд — альбом романсов, Бюррье — акварель, Сомбаз — собственную карикатуру, а Пеллерен — рисунок углем, изображающий пляску мертвецов, отталкивающих вымысел, к тому же слабо исполненный, Гюссонэ — воздержался от всякого подарка.

Фредерик выждал и после всех преподнес свой зонтик.

Она очень благодарила его. Тогда он сказал:

— Но... Ведь это почти долг. Я был так огорчен.

— Чем? — спросила она. — Я не понимаю.

— К столу! — закричал Арну, схватив его под руку, и шепнул ему: «Вы не очень-то догадливы!»

Нельзя было представить ничего приятнее этой столовой, выкрашенной в цвет зеленой воды. На одном конце ее каменная нимфа окунала кончик ноги в бассейн в форме раковины. Через открытые окна был виден весь сад с продолговатым лужком, на краю которого росла старая шотландская пиния, на три четверти обнаженная; вы-

пукло выделялись цветы на клумбах; а за рекой развевались широким полукругом Булонский лес, Нейли, Севр, Медон. За оградой, на реке скользила парусная лодка.

Сначала шла беседа о виде, расстилающемся перед глазами, затем перешли к пейзажу вообще; начали споры; Арну между тем отдал приказание слуге заложить американку к половине десятого: кассир вызывает его в город.

— Хочешь, и я с тобой поеду? — спросила г-жа Арну.

— Ну, конечно! — И он сделал низкий поклон в ее сторону: — вы знаете, сударыня, что жить без вас я не могу!

Все стали ее поздравлять — у нее такой прекрасный муж.

— Ах, это ведь не из-за меня одной, — возразила она тихо, показывая на дочь.

Потом разговор опять перешел на живопись, заговорили о некоем холсте Рейсдаля, на котором Арну надеялся хорошо пожить, и Пеллерен спросил его: правда ли, что знаменитый Саул Матиас приезжал из Лондона в прошлом месяце и предлагал ему двадцать три тысячи франков?

— Совершенно верно! — и, обратившись к Фредерику, он сказал: — Это тот самый господин, с которым я был в тот раз в Альгамбре, не по своей воле, уверяю вас, ибо эти англичане прескучный народ.

Фредерик подозревал, что письмо Ватназ касалось какой-то истории с женщиной, восхитился той неприужденностью, с какой Арну нашел благовидный предлог, чтобы удрать, но его новая совершенно бесцельная ложь заставила его вытаращить глаза.

Торговец прибавил простым тоном:

— Как фамилия того высокого человека, вашего друга?

— Дэлорье, — ответил Фредерик.

И, чтоб загладить вину, которую он чувствовал перед ним, Фредерик стал его расхваливать, как человека необыкновенно умного.

— Ах, неужели! А он не показался мне таким слав-

ным, как тот юноша, приказчик из транспортной конторы.

Фредерик проклял Дюссардые: она подумает, что он водится лишь с простыми людьми!

Вскоре разговор коснулся украшений столицы, новых кварталов, и старик Удри упомянул среди крупных спекулянтов г. Дамбреза.

Фредерик воспользовался случаем, чтоб выделиться, и сказал, что знаком с ним. Но Пеллерен разразился громовой речью против лавочников: купцы мало чем отличаются друг от друга, торгуют ли они салными свечами или деньгами. Потом Розенвальд и Бюррье разговаривались о фарфоре; Арну болтал с г-жей Удри о садоводстве, Сомбаз, шутник старой школы, подтрунивал над ее супругом. Он то называл его Одри (по фамилии актера), то доказывал, что он должен происходить от Удри, художника, писавшего только собак, ибо на его лбу—шишка четвероногих. Он хотел даже ощупать его череп, но тот воспротивился, так как был в парике; десерт закончился среди общего смеха.

После кофе и куренья под липами вся компания, сделав несколько кругов по саду, отправилась гулять по берегу реки.

Остановились около рыболова, чистившего угрей в рыбном садке. Марте захотелось рассмотреть их. Он вытряс их на траву; девочка, упав на колени, стала ловить их, то смеясь от удовольствия, то вскрикивая от страха. Рыба пропала. Арну заплатил.

Ему пришла мысль покататься на лодке

С одной стороны горизонт начал бледнеть, а в это же время, с противоположной, широкая оранжевая полоса протянулась по небу и перешла в красноватый тон у вершин холмов, которые уже окутались тьмой. Г-жа Арну сидела на большом камне, и это зарево пожара служило ей как бы фоном. Все разбрелись: Гюссонэ, стоя у воды, бросал рикошетом камешки.

Арну вернулся со старой шляпкой, в которую, несмотря на увещевания наиболее благоразумных, усадил всех своих гостей. Лодка стала тонуть, пришлось высидеться.

В гостиной, обитой ситцем, были уже зажжены свечи в хрустальных бра. Старушка Удри сладко спала в кресле, а другие слушали Лефосе, разглагольствующего о светилах адвокатуры. Г-жа Арну была у окна, Фредерик подошел к ней.

Они заговорили о том же, о чем все. Она восхищалась ораторами; он предпочитал славу писателей. Но,—возражала она,—разве не испытываешь самую высшую радость, если непосредственно действуешь на толпу и видишь, как вся твоя душа, все твои чувства передаются ей. Но такая слава нисколько не манила Фредерика,—у него не было честолюбия.

—Ах, почему-же!—заметила она.—Его нужно иметь, хотя бы немного.

Они стояли друг подле друга у открытого окна. Ночь раскинула перед ними словно огромную фату в серебряных блестках. Впервые, они вели беседу не о пустяках. Он узнал даже ее антипатии и вкусы: некоторых арматов она не переносила, исторические книги интересовали ее, она верила снам.

Он затронул вопрос о чувствах. Она говорила с состраданием о тех невзгодах, которые несет за собою всякая страсть, но возмущалась лицемерной пошлостью, и эта прямота души так хорошо отвечала классической красоте ее лица, что, казалось, она находилась в зависимости от нее.

Иногда она с улыбкой останавливала свой взор на нем. В эти моменты он чувствовал, что ее взгляд пронизывает его душу, как могучие лучи солнца, проникающие через воду до самого дна. Он любил ее безо всякой надежды на взаимность; в своих немых порывах, подобных восторгам благодарности, он хотел бы покрывать все ее чело дождем поцелуев. Под влиянием какой-то внутренней силы, он воспарил душой; явилась жажда жертвовать собою, потребность немедленно доказать свою самоотверженность, тем более сильная, что он не мог осуществить ее.

Он не уехал вместе с другими, Гюссонэ тоже. Они должны были возвращаться в экипаже. Американка уже стояла у крыльца, когда Арну спустился в сад, чтобы

нарвать букет роз. Потом он связал цветы ниткой, и, так как стебли торчали в разные стороны, то он, порывшись в кармане, наполненном бумажками, взял первую попавшуюся и завернул ею букет, скрепив очень толстой булавкой, и с чувством преподнес его жене:

— Простите, дорогая, что я не подумал об этом раньше.

Она слегка вскрикнула; булавка, неловко воткнутая, уколола ее, и она пошла в спальню. Четверть часа ждали ее. Наконец, она появилась, схватила Марту и вскочила в экипаж.

— А твой букет!—сказал Арну.

— Нет! Нет! Не стоит он того.

Фредерик побежал за ним, она крикнула ему вслед:

— Мне его не надо!

Но он все-таки принес его, говоря, что ему пришлось завертывать его снова, ибо цветы валялись на полу. Она сунула его под кожаный фартук экипажа, и они поехали.

Фредерик, сидевший с ней рядом, заметил, что она сильно дрожала. Проехав мост, Арну повернул налево.

— Да нет же! Не туда, ты ошибаешься, направо!

Она казалась раздраженной, все сердило ее. Наконец, Марта закрыла глазки. Она вытащила букет, вышвырнула его, потом схватила за руку Фредерика и сделала знак, чтобы он об этом не заводил больше речи.

Она приложила носовой платок к губам и более уже не шевелилась.

Сидевшие на козлах разговаривали о типографском деле, о подписке. Арну, правивший без должного внимания,—сбил с пути в Булонском лесу, и они попали на какие-то лесные дороги. Лошадь шла шагом; ветви деревьев били по верху экипажа. Фредерик ничего не видел в темноте кроме двух глаз г-жи Арну; Марта лежала на ее коленях, он поддерживал ее головку.

— Она беспокоит вас?—спросила мать

Он ответил:

— Нет! О, нет!

За ними медленно поднимались столбы пыли; проезжали через Отейль, все дома были закрыты; ивредка фо-

нарь освещал угол стены, потом они попадали в темноту; раз он увидел, что она плачет.

Что это? угрызения совести? желания? Что это такое? Эта печаль, которую он не мог объяснить, интересовала его как нечто личное; теперь между ними—новая связь, нечто в роде сообщничества; он сказал тоном на столько ласковым, на сколько он был способен:

— Вам нехорошо?

— Да, немного,—ответила она.

Экипаж все катился, жимолость и сирень, окаймлявшие заборы, распространяли одуряющие ночные ароматы. Складками ее платья были покрыты ноги Фредерика. Ему казалось, что он общается со всей ее особой через тело ребенка. Он наклонился к девочке и, отстранив ее красивые темные волосы, нежно поцеловал ее в лоб.

— Вы добрый!—сказала г-жа Арну.

— Почему?

— Потому что вы любите детей.

— Не всех!

Он ничего более не сказал, но протянул левую руку ладонью вверх, воображая, что и она, быть может, поступит также, и руки их встретятся. Потом он устыдился и отдернул ее.

Выехали на мостовую. Экипаж покатился быстрее, число газовых рожков все увеличивалось, — это был Париж. Гюссонэ спрыгнул с козел у здания Гард-Мебль. Фредерик ждал, куда в'едут во двор; потом он постоял за углом улицы Шуазель, и увидал Арну, медленно направляющегося к бульварам.

Со следующего дня Фредерик принялся изо всех сил работать.

Он воображал себя в зале суда в зимний день, заканчивающим защитительную речь, когда присяжные уже бледны от усталости, а публика, притаив дыхание, напирает на потрескивающие перегородки суда; он говорит уже четыре часа, подводя итоги всем своим доводам, подыскивая новые, и чувствуя при каждой фразе, при каждом жесте, как нож гильотины, висящий над его защитным, поднимается все выше и выше; потом он ви-

дел себя на трибуне в палате депутатов, оратором, несущим на своих устах спасение целому народу; он топил противников своими уподоблениями, уничтожает их быстрыми ответами, пронзает громовыми стрелами, побеждает музыкальными интонациями голоса, то проницательно, то патетически, то неистово, то величественно; «она» сидит в публике, скрывая под вуалью слезы энтузиазма; затем они встречаются; ни разочарования, ни клеветы, ни несправедливости не тронут его, если она скажет: — ах, как прекрасно! — и проведет по его лицу легкими ручками.

Эти видения сверкали подобно маякам на горизонте его жизни. Его возбужденный ум делался все более быстрым и крепким. До августа месяца он заперся и выдержал последние экзамены.

Дэлорье, натаскивавший его с большим трудом на второй экзамен в конце декабря и на третий в феврале, удивлялся его рвению. Стали воскресать прежние надежды. Через десять лет Фредерик должен быть депутатом; через пятнадцать — министром; почему бы и нет? При помощи отцовского состояния, которое в скором времени попадет в его руки, он может на первых порах основать газету, а что потом, будет видно. Что касается его, то он по-прежнему страстно жаждет кафедры на юридическом факультете; он защищал свою докторскую диссертацию так хорошо, что заслужил похвалы от профессоров.

Фредерик защищал свою черев три дня. Перед отъездом на vacation у него явилась мысль устроить вечеринку, чтоб завершить субботние собрания.

Фредерик был весел. Г-жа Арну постила у своей матери в Шартре. Но он скоро увидится с ней и кончит тем, что сделается ее любовником.

Дэлорье, допущенный в этот самый день в говорильню на набережной Орсе, произнес речь, вызвавшую гром аплодисментов. Хотя он вообще был воздержанным, но тут напился и за десертом сказал Дюссардые:

— Ты честны малый! Когда я буду богатым, то сделаю тебя своим управляющим!

Все были счастливы; Сизи не стал кончать курса. Мартинон уезжал в провинцию продолжать стаж, его на-

значили туда товарищем прокурора. Пеллеген готовился приступить к картине: «Гений Революции», Гюссонэ на следующей неделе должен был прочесть директору одного маленького театра план своей пьесы и не сомневался в ее успехе:

— За мной все признают умение строить драму. Страсти! Я достаточно потерся среди людей! А что до остроумия, то это моя специальность.

Он сделал прыжок, упал на обе руки и прошелся несколько раз вокруг стола вверх ногами.

Эта мальчишеская выходка не развеселила Сенекаля. Ему только что отказали от места в пансионе за то, что он побил сына аристократа. Бедность увеличилась, он во всем винил социальный строй, проклинал богатых и все это изливал Режембару, делавшемуся все разочарованнее, недовольнее и брюзгливее. Гражданин принялся теперь изучать бюджетный вопрос и обвинял камарилью в том, что растрачиваются миллионы на Алжир.

Так как он не мог никогда заснуть, не побывав в кофейне Александр, то к одиннадцати часам он исчез. Другие разошлись позднее. Фредерик, прощаясь с Гюссонэ, узнал, что г-жа Арну должна была вернуться накануне.

Он пошел в контору дилижансов и обменял взятый билет на другой. Около шести часов вечера, он был у ее квартиры. Привратник сказал, что возвращение ее отложено еще на неделю. Фредерик пообедал один, потом слонялся по бульварам.

Розовые облака в виде шарфов тянулись над крышами домов; над окнами магазинов начали подниматься маркизы; оросительные бочки дождем прибавляли пыль, и свежесть смешивалась с запахом кафе, в открытые двери которых можно было видеть среди серебра и позолоты огромные букеты цветов, отражавшиеся в больших зеркалах. Толпа медленно двигалась. Мужчины, стоя группами по середине тротуара, разговаривали, женщины проходили с особенной негой в глазах и с тем оттенком камелий, который придает женской коже утомление от сильной жары. Что то необыкновенное чувствовалось в воздухе и окутывало дома. Никогда Париж не казался

ему столь прекрасным. Будущее рисовалось ему бесконечной вереницей лет, полных любви.

Он остановился перед театром Порт-Сен-Мартен, чтоб посмотреть афишу, и от нечего делать взял билет.

Давали старинную феерию. Зрителей было мало; в слуховые окошки райка были видны маленькие голубые квадратики, а рампа образовывала сплошную полосу желтого цвета. На сцене был рынок рабов в Пекине, с колокольчиками, тамтамами, султаншами, остроконечными шапками и каламбурами. После первого действия он одиноко бродил по фойе и любовался стоящим у под'езда на бульваре большим ландо, запряженным парой белых лошадей; кучер был в коротких панталонах.

Фредерик уже снова сел на свое место, когда в бельэтаж, в первую ложу вошли дама и господин. Муж с бледным, обрамленным полоской седой бороды, лицом, имел орден и то выражение холодности, какое присуще дипломатам. Жена была лет на двадцать по крайней мере моложе его, ни высокая, ни маленькая, ни дурная, ни хорошенькая, блондинка в английских локонах, в платье с гладким лифом, с большим веером из черного кружева. Для того, чтобы люди их круга поехали в театр в это время года, нужно было предположить какую-нибудь случайность или скуку при мысли провести вечер вдвоем. Дама покусывала веер, господин сдерживал зевок. Фредерик никак не мог вспомнить, где он видел это лицо.

В следующем антракте, когда он шел по корридору, он встретил их обоих; на полу-поклон, отвешенный им, г. Дамбрез, узнав его, подошел и стал извиняться за непростительную небрежность. Это был намек на многочисленные визитные карточки, посылаемые Фредериком по совету клерка. Однако, он перепутал года, думая, что Фредерик был лишь второй год в университете. Потом г. Дамбрез стал завидовать ему, что он едет в деревню. Ему и самому необходимо отдохнуть, но дела удерживали его в Париже.

Г-жа Дамбрез, опираясь на его руку, слегка наклоняла голову; оживленная любезность не соответствовала грустному выражению, только что бывшему на ее лице.

— Однако, здесь много приятных развлечений!—воз-

разила она на последние слова мужа.—Как глупа эта пьеса! Не правда ли, сударь?

И все трое продолжали стоять, разговаривая о театре, о новых пьесах.

Фредерик, привыкший к ломанью провинциалок, не видал еще ни у одной женщины такой непринужденности, такой простоты, которая есть ни что иное, как извешная утонченность в обращении и в которой наивные люди усматривают проявление к себе внезапной симпатии.

Они рассчитывают на него, когда он вернется в Париж; г. Дамбрез поручал передать поклон старику Року.

Фредерик, возвратясь домой, рассказал Дэлорье об этой встрече.

— Славно!—воскликнул клерк.—И не позволяй своей мамаше забрать себя в руки! Возвращайся-ка назад поскорее!

На другой день по его приезде домой, г-жа Моро после завтрака повела его в сад.

Она сказала, что счастлива видеть его на ногах, ибо они не так богаты, как думают; земля приносит мало дохода; фермеры платят неаккуратно; она принуждена была продать свой экипаж. Она изложила положение дел так. Когда она овдовела, один ловкий человек, а именно Рок, одолжил ей денег, и без всяких просьб с ее стороны, все возобновлял и отсрочивал векселя. И вдруг он пред'явил их ко взысканию. Ей пришлось пойти на все, уступить за бесценок Прэльскую ферму. Через десять лет она потеряла капитал, вследствие краха банка в Мелене. Боясь заложить недвижимость и в то же время желая сохранить прежний образ жизни ради будущности сына, она еще раз согласилась на предложение со стороны Рока. Теперь долги покрыты. Короче, у них осталось около десяти тысяч франков годового дохода, из которых две тысячи триста его,—проценты с отцовского наследства.

— Не может быть!—вскричал Фредерик.

Она сделала движение головой, означавшее, что это очень и очень может быть.

— Но, ведь, дядя же оставит ему что-нибудь?

— В этом нельзя быть уверенным.

И они молча обошли весь сад. Она привлекла его к своей груди и сдавленным от слез голосом сказала:

— Ах, бедный мой мальчик! От скольких мечтаний приходится мне отказываться!

Она советовала ему поступить клерком к г. Пруарам, адвокату, который в будущем передаст ему свою контору. Поставив ее на более широкую ногу, можно будет перепродать ее и найти богатую невесту.

Фредерик не слушал. Он бессознательно смотрел в соседний сад, как раз напротив. Девочка лет двенадцати с рыжими волосами совершенно одна находилась там. Она привесила себе серьги из ягод рябины, на ней был полотноный лифчик серого цвета, открытый на плечиках, золотившихся на солнце; ее белая юбочка была кое-где запачкана вареньем, во всей ее нервной и тонкой фигурке чувствовалась грация дикого зверька. Присутствие незнакомца, понятно, удивило ее; с лейкой в руках она остановилась, как вкопанная, устремив на него свои светлые, зелено-голубые глаза.

— Это дочь Рока,—сказала г-жа Моро,—он недавно повенчался со служанкою и узаконил своего ребенка.

VI.

Разорен, ограблен, погублен!

Он сидел на скамейке, ошеломленный, потрясенный. Он проклинал судьбу, у него явилось желание побить кого-нибудь; отчаяние его усиливалось от сознания, что ему предстоит как бы унижение, позор; ибо Фредерик, вообразив, что отцовское состояние будет приносить ему доходу до пятнадцати тысяч франков в год, косвенно дал понять это супругам Арну. Теперь его сочтут за хвастуна, негодяя, темную личность, которая проникла к ним, надеясь тем или иным способом извлечь из них пользу. А она, г-жа Арну,—как встретиться с ней теперь?

Да это и вообще совершенно невозможно, имея лишь три тысячи франков ренты! Не может же он постоянно

ютиться в четвертом этаже, иметь вместо собственного слуги—привратника, и круглый год появляться в одних и тех же жалких черных перчатках, посиневших на кончиках, в просаленной шляпе, в одном и том же сюртуке. Нет, нет, никогда! А между тем жизнь без нее невыносима. Ведь живут же многие недурно и без состояния. Делорье, например. Не малодушие-ли—придавать такое значение столь маловажным событиям! Бедность, быть может, в сто раз разовьет его способности. И он воспрянул духом при мысли о великих людях, работавших в мансардах. Такая душа, как у г-жи Арну, должна быть тронута этим, она придет в умиление. Итак, эта катастрофа, в конце-концов,—счастье; подобно тем землетрясениям, которые обнаруживают сокровища, она пробудит к жизни скрытые богатства его натуры. Но на земле есть лишь одно место, где можно использовать их,—Париж! По его понятиям, искусство, наука и любовь (эти три lika Божества, как бы сказал Пеллерен) зависели исключительно от столицы.

Он объявил вечером матери, что возвращается туда. Г-жа Моро была изумлена и возмущена. Это безумие, нелепость! Он сделает гораздо лучше, если последует ее советам, то-есть останется около нее и поступит в контору адвоката. Фредерик пожал плечами: «В контору!». Он находил оскорбительным подобное предложение.

Тогда добрая женщина прибегла к другому способу воздействия. Нежным голосом и тихо всхлипывая, она стала говорить ему о своем одиночестве, старости, жертвах, ею принесенных. Теперь, в несчастии, он оставляет ее! Потом, намекая на свою близкую кончину, она произнесла:

— Боже мой, потерпи немного! Скоро ты будешь свободен!

Эти жалобы повторялись раз двадцать в день в течение трех месяцев; подкупали и удобства домашней жизни; он радовался мягкой постели, салфеткам без дыр; наконец, обесиленный, обезволенный, побежденный неодолимой силой кротости, Фредерик позволил отвести себя к мэтру Пруарам.

Там он не обнаружил ни знаний, ни способностей. До

сих пор на него смотрели, как на молодого человека с большими задатками, который будет гордостью своего департамента. Теперь все были разочарованы им.

Сначала он говорил себе:—нужно уведомить г-жу Арну,—и целую неделю обдумывал то целые дифирамбы, то коротенькие записочки, в сжатом и возвышенном стиле. Его удерживала боязнь сознаться в своем положении. Потом он подумал, что было бы гораздо лучше написать мужу. Арну знает жизнь и сумеет понять все. Через недели две его сомнения разрешились.

— Э! встречаю наших все равно конец. Пусть забудут обо мне. Тогда, по крайней мере, я не упаду в ее глазах. Она подумает, что я умер, и пожалеет меня... может быть.

Склонный к крайним решениям, он и на этот раз дал себе клятву никогда не возвращаться в Париж и даже не спрашивать о г-же Арну.

А между тем он грустил даже о запахе газа и о грохоте омнибусов. Он размышлял о каждом, сказанном ею слове, представлял себе тембр ее голоса, блеск ее глаз,—и смотря на себя, как на мертвеца, ровно ничего не делал больше.

Он вставал очень поздно и смотрел в окно на тянувшиеся мимо возы. Особенно дурно он провел первые полгода. Иногда он испытывал негодование на самого себя. Тогда он выходил из дому, шел за город, прямо по лугам, на половину затопленным зимним разливом Сены. Ряды тополей отделяли их один от другого. Кое-где возвышались мостики. Он скитался до самого вечера, шурша опавшими листьями, вдыхая туман, перепрыгивая через канавы; по мере того, как кровь начинала в нем обращаться быстрее, у него являлось желание какой-нибудь неистовой деятельности; то он хотел сделаться северо-американским охотником, то слугой у паши на Востоке, то поступить на службу матросом; и изливал свою печаль в длинных письмах к Дэлорье.

А тот изо всех сил старался пробиться. Малодушное поведение друга и его вечные иеремиады казались ему глупыми. Скоро их переписка свелась почти на нет. Фредерик подарил всю свою обстановку Дэлорье,

который оставил их квартиру за собою. Время от времени мать заговаривала об этом, и в один прекрасный день он наконец сознался в том, что сделал. В тот момент, когда она начала бранить его, ему подали письмо.

— Что с тобой?—сказала мать.—Ты дрожишь?

— Со мной? Ничего!—ответил Фредерик.

Дэлорье сообщал ему, что он дал у себя пристанище Сенекалю; они, вот уже две недели, живут вместе. Итак, Сенекаль поселился теперь среди вещей, купленных у Арну. Он может их продавать, делать по их поводу замечания, отпускать шуточки. Фредерик почувствовал себя уязвленным до глубины души. Он поднялся к себе в комнату. Ему хотелось умереть.

Мать позвала его. Ей нужно было посоветоваться относительно какой-то посадки в саду.

Сад, на подобие английского парка, разделялся по средине частоклом: одна половина принадлежала старику Року, у которого был еще огород на берегу реки. Поссорившиеся соседи избегали выходить в сад в одно и то же время.

Но с приездом Фредерика, старик прогуливался там чаще и не скупился на любезности по адресу сына г-жи Моро. Он высказывал сожаление, что тому приходится жить в маленьком городишке. Как-то он сообщил, что г. Дамбрез спрашивался о нем. В другой раз Рок распространялся на счет того, что в Шампаньи существует обычай, по которому землевладельцу легко можно было сделаться дворянином.

— В те времена вы были бы важным господином, ибо девичья фамилия вашей матушки де-Фуван. А что там ни говори, фамилия кое-что да значит! Впрочем, — прибавил он с лукавым видом, — все зависит от министра.

Аристократические претензии особенно не шли к его особе. Он был мал ростом, длинный сюртук каштанового цвета еще больше удлинял его талию. Когда он снимал свою фуражку, лицо его с остроконечным носом становилось почти женским; желтые волосы его были похожи на парик; при встрече со знакомыми он низко кланялся, прижимаясь к стене.

До пятидесяти лет он довольствовался услугами Ка-

терины, женщины с лицом, изрытым оспою, его ровесницы, родом из Лотарингии. Но в 1834 году он вывез из Парижа прекрасную блондинку с овеющим лицом, но с «царственной осанкой». Скоро увидели ее важно расхаживающей в огромных серьгах, а после рождения девочки, записанной под именем Елисаветы-Олимпиады-Луизы Рок, дело стало и совсем понятным.

Катерина ожидала, что, из-за ревности, она возненавидит девочку. Но, наоборот, полюбила ее. Она окружила ее заботами, вниманием и ласками, чтобы занять место матери и выставить последнюю в дурном свете; это было тем легче сделать, что г-жа Элеонора совершенно забросила малютку, предпочитая болтать в лавках у своих поставщиков. На следующий день после венчания, она поехала с визитом к жене суб-префекта, перестала говорить прислуге «ты» и решила, что хороший тон обязывает ее быть строгой к дочери. Она присутствовала на уроках; учитель, старый чиновник из мэрии, не знал, как взяться за дело. Ученица оказалась строптивой, получала оплеухи, шла плакать, уткнувшись в колени Катерины, которая неизменно находила ее правой, женщины бранились, а Рок приказывал им молчать. Он женился из-за любви к дочери и не хотел, чтоб ее мучили.

Нередко она ходила в изодранном платице, в панталонах, обшитых кружевами; по большим праздникам ее выводили на улицу, разодетую, как принцессу, в пику местным обывателям, не позволявшим своим ребятишкам водиться с нею, незаконнорожденной.

Она росла одиноко в своем саду, качалась на качелях, гонялась за бабочками, замирала, наблюдая за жуком, падающим на розовый куст. Подобный образ жизни, видимо, и придавал ее лицу выражение смелости и мечтательности. Ростом она была с Марту, поэтому Фредерик сказал ей при встрече:

— Позвольте поцеловать вас, барышня?

Маленькая особа подняла головку и ответила:

— Хорошо, пожалуйста!

Но частокोल разделял их друг от друга.

— Надо лезть, — сказал Фредерик.

— Нет, ты лучше подыми меня.

Он перегнулся через ограду и схватил ее под мышки, поцеловал ее в обе щеки и снова поставил ее на прежнее место. С этих пор это вошло у них в обычай.

Заслышав его шаги, она всякий раз без обиняков, точно четырехлетний ребенок, бросалась ему навстречу, или же, спрятавшись за дерево, начинала лаять, желая испугать его.

Однажды, когда г-жи Моро не было дома, Фредерик привел Луизу в свою комнату. Она открыла все флаконы с духами и сильно напмадила себе волосы; потом, без малейшего стеснения легла на его постель и растянулась на ней.

— Я воображаю, что я—твоя жена,—сказала она.

На следующий день он застал ее всю в слезах. Она призналась, «что оплакивает свои грехи», и так как он допытывался о них, то она сказала, опустив глаза:

— Не расспрашивай меня.

Наступил день первого причастия. Утром ее водили к исповеди.

После принятия Святых Тайн, она не сделалась благоразумней; иногда ею овладевало настоящее бешенство, и чтобы успокоить ее, прибегали к помощи Фредерика.

Часто он брал ее на прогулку. И в то время, как он, шагая, мечтал, она на опушке хлебов рвала мак, а если замечала, что он грустнее обыкновенного, старалась утешить его ласковыми словами. Его сердце, лишенное взаимной любви, откликнулось на эту детскую привязанность; он рисовал ей разных человечков, рассказывал сказки, стал читать ей вслух.

Он начал с «Романтической летописи», сборника стихов и рассказов, тогда напумевшего. Потом, забывая ее возраст, плененный ее сообразительностью, прочел ей «Аталу», «Сен-Марса», «Осенние листья». Но один раз ночью (вечером она прослушала «Макбета» в прозаическом переводе Летурнера), она проснулась с криком. «Пятно! пятно!» Зубы ее стучали, она дрожала и, устремив испуганные глаза на правую руку, вытирала ее, крича: «Пятно! пятно!» Наконец, явился врач, предписавший ей избегать всяких волнений.

Обыватели усмотрели в этом лишь плохое предзнаме-

нование для ее нравственности. Пошел слух, что «Моро-сын» хочет сделать из нее в будущем актрису.

Вскоре все занялись другим событием, именно приездом дяди Бартелеми. Г-жа Моро уступила ему свою спальню и довела свою угодливость до того, что готовила скромное в постные дни.

Старик был не очень то любезен. Шли бесконечные сравнения Гавра и Ножана, в котором он находил и воздух тяжелым, и хлеб плохим, и улицы дурно вымощенными, и провизию посредственной, и жителей лентяями.

— Что за жалкая у вас торговля!

Он порицал за сумасбродство покойного брата; сам-то он сколотил капитал, приносящий двадцать семь тысяч ливров в год! Наконец, прогостив неделю, он уехал и поднимаясь на подножку экипажа, кинул мало утешительные слова:

— Очень был рад видеть вас в достатке.

— Тебе ничего не достанется! — сказала г-жа Моро, входя в столовую.

Дядя приезжал, уступив лишь ее неотступным просьбам; всю неделю она добивалась узнать что-либо об его намерениях, может быть, даже слишком явно. Теперь она раскаивалась в этом и сидела в своем кресле с опущенной головой, с поджатыми губами. Фредерик, сидя напротив, наблюдал за ней; оба хранили глубокое молчание, как пять лет тому назад, когда он приехал из Монтеро. Такое совпадение невольно вызвало в нем воспоминание о г-же Арну.

В этот момент под окнами раздалось щелканье бича, и чей-то голос окликнул его.

То был старик Рок в своей повозке. Он ехал на целый день в Фортэль к Дамбрезам и радушно приглашал Фредерика сопутствовать ему.

— Вам нет надобности иметь особое приглашение, раз вы со мной.

Фредерик хотел согласиться. Но чем он объяснит им свое окончательное переселение в Ножан? Не было у него и приличного летнего костюма; наконец, что скажет мать? Он отказался. С этих пор сосед стал менее дружелюбен. Луиза подрастала. Элеонора вдруг опасно заболела;

ла; к великому удовольствию г-жи Моро, дружеская связь с ними ослабела: она боялась, что близость с подобными людьми может дурно отозваться на карьере сына.

Она мечтала купить для него место судебного писца; Фредерик не очень восставал против этого. Теперь он сопровождал ее к обедне, по вечерам играл с нею в империал. Он привыкал к провинции, погрязал в ней; даже любовь его приняла какую-то мрачную нежность, какое-то усыпляющее очарование. В письмах он изливал свою печаль, примешивал ее и ко всякому чтению; не оставляла она его и во время загородных прогулок и, разливаясь повсюду, почти иссякла в нем самом, так что г-жа Арну казалась ему умершей, могилу которой, к своему удивлению, он даже не знал, — такой тихой и безропотной стала его страсть.

Однажды, 12 декабря 1845 года, около девяти часов утра, кухарка принесла ему письмо в спальню. Адрес был написан крупным почерком, незнакомой рукой; Фредерик, еще не совсем очнувшись, не спешил распечатать его.

Наконец, он прочел: «Гаврский Мировой Суд III округа». «Милостивый Государь, Г. Моро, Ваш дядя, умер ab intestat *).

Он — наследник!

Как будто за стеной случился пожар, он вскочил с постели босыми ногами, в одной рубашке: провел рукой по лицу, не веря глазам, думая, что он еще грезит, и, чтоб утвердиться в действительности, настежь распахнул окно.

Выпал снег; крыши были белы; он узнал даже лохань для стирки белья, на которую наткнулся накануне вечером.

Он перечитал письмо три раза кряду: неужели это правда? Все состояние дяди? Двадцать семь тысяч франков ежегодного дохода? И бешеная радость охватила его при мысли, что он снова увидит г-жу Арну. С четкостью галлюцинирующего он увидел себя возле нее с подарком, завернутым в шелковую бумагу; у под'езда его ждет тильбюри... или нет, лучше двухместная черная карета со слугою в коричневой ливрее; он слышит, как лошадь бьет копытом о мостовую, и позвякивание металлической уздечкой сливается со звуком их поцелуев. И так будет еже-

*) Не оставив завещания.

дневно и без конца! Он станет их принимать у себя; столовая будет обита красным сафьяном, будуар — желтым шелком и всюду диваны, диваны! А какие этажерки! Какие китайские вазы! Что за ковры будут у него! Образы сменялись столь беспорядочно, что он ощущал головокружение. Он вспомнил о матери и сошел вниз, держа письмо в руках.

Г-жа Моро старалась сдерживать свое волнение, но ей едва не сделалось дурно. Фредерик обнял ее и поцеловал в лоб.

— Добрая мать, ты теперь снова будешь иметь выезд! Смейся же, не плачь больше! радуйся!

Через десять минут новость долетела до самого предместья. Мэтр Бенуа, г-да Гамблен, Шамблон, все сбежались. Фредерик урвал минутку, чтобы написать Дэлорье. Посещения следовали за посещениями. Весь день от самого обеда прошел в приеме поздравлений. За ними позабыли и о жене Рока, которая, между тем, была «очень плоха»!

Вечером, когда Моро остались одни, мать сказала Фредерику, что она советует ему поселиться в Труа и сделаться адвокатом: на родине гораздо легче получать выгодные дела.

— Ну, это уж слишком!—вскричал Фредерик.

Едва он почувствовал счастье в своих руках, как хотят его отнять! Он объявил о своем непреложном решении—жить в Париже.

— Что ж ты там будешь делать?

— Ничего!

Г-жа Моро, удивленная его тоном, спросила, кем же, на самом деле, он хочет быть?

— Министром!—ответил Фредерик.

Он утверждал, что он несколько не шутит,—он имеет намерение пойти по дипломатической части, — знания и склонности влекут его именно на это поприще. Он поступит сначала в Государственный Совет по протекции г. Дамбреза.

— Разве ты знаком с ним?

— Ну да! Через Рока!

— Странно!—проговорила г-жа Моро.

Он пробудил в ее душе прежние честолюбивые мечты. Она мысленно предавалась им и не заговаривала более о других планах.

Если бы Фредерик поддавался чувству нетерпения, то он тотчас же и уехал бы. Но на другой день все места в дилижансе были взяты; приходилось скрепя сердце остаться до семи часов вечера, еще на день.

Они сажались обедать, когда церковный колокол протяжно прозвучал три раза; вошла служанка и объявила, что г-жа Элеонора скончалась.

Эта смерть, впрочем, ни для кого не была горем, даже для ее собственной дочери. В будущем для молодой девушки это могло быть даже к лучшему.

Благодаря соседству домов, было слышно, как приходили и уходили; доносились звуки голосов; мысль, что так близко от них находится покойница, внесла что-то сумрачное в их расставание. Г-жа Моро раза два-три вытирала глаза. У Фредерика сжималось сердце.

После обеда Катерина остановила его в дверях. Батришня хочет непременно его повидать. Она ждет его в саду. Он вышел, перелез через забор и, наткнувшись на деревья, направился к дому Рока. Одно из окон во втором этаже было ярко освещено; в темноте он увидел тень, потом послышался шепот:

— Это я!

Луиза показала ему выше обыкновенного, верно, благодаря черному платью. Не зная, что сказать, он ограничился тем, что взял ее за руки и со вздохом произнес:

— Ах, моя бедная Луиза!

Она молчала, внимательно всматриваясь в него. Фредерик боялся пропустить дилижанс; ему чудился вдали грохот колес и, чтоб покончить, он сказал:

— Катерина передала мне, что ты хочешь что-то...

— Да. Я хотела сказать вам...

Это «вы» удивило его.

— Что же именно?—прервал он ее молчание.

— Я не знаю... Я забыла... Правда ли, что вы уезжаете?

— Да, сейчас.

Она повторила:

— Ах! Сейчас? Навсегда? Мы больше не увидимся?

Рыдания душили ее.

— Прощай, прощай, обними же меня!

И она горячо обняла его.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Когда Фредерик занял свое место в глубине, и дилижанс, уносимый дружной рысью пяти лошадей, тронулся, он почувствовал, что он точно без меры опьянел. Как архитектор чертит план дворца, так и он обдумывал заранее свою жизнь. Он наполнил ее утонченностью и великолепием; она возносила его на небеса; в ней царило несказанное изобилие; это созерцание было столь глубоко, что окружавшие его предметы исчезли.

Под Сурденским косогором он опомнился и понял, где ехали. Самое большее сделали пять километров. Он был возмущен. Он опустил окно, чтобы лучше видеть дорогу. Много раз он обращался к кондуктору с вопросом, в котором в точности часу они приедут. В конце концов, он успокоился и сидел в своем углу с открытыми глазами.

Фонарь, привешанный к козлам, освещал крупы коренников. Сверх того можно было различить лишь гривы остальных лошадей, колеблющиеся подобно белым волнам; от лошадиного дыхания сгущался пар по обеим сторонам упряжи; железные цепочки звенели, стекла дрожали в рамах; тяжелая карета ровным ходом катилась по шоссе. То там, то сям мелькнет стена сарая или одинокая гостиница. Когда приходилось проезжать по деревням, хлебная печь в булочной отбрасывала зарево пожара, и чудовищно увеличенный силуэт лошадей бежал по противостоящему дому. На станциях, пока пере-

прягали лошадей, на минуту воцарилось глубокое молчание, кто-то топал наверху, под брезентом, на пороге двери стояла женщина, защищая свечу рукой. Затем проводник вскакивал на подножку, и дилижанс снова пускался в путь.

В Мормане пробило час с четвертью.

— Это ведь сегодня,—подумал он,—сегодня, скоро.

Но понемногу его надежды и воспоминания, Ножан, улица Шуазель, г-жа Арну, мать, смешались.

Глухой стук подков по доскам разбудил его, ехали по Шарантонскому мосту. Уже Париж! Тогда оба его спутника сняли один картуз, другой фуляр, надели шляпы и разговорились. Первый толстый человек с красным лицом, в бархатном сюртуке, был негоциантом; другой ехал в столицу, чтобы посоветоваться с врачом; Фредерик, вдруг испугавшись, что ночью причинял ему беспокойство, стал ни с того ни с сего извиняться; так размягчилась от счастья душа его.

Вокзальная набережная оказалась, повидимому, затопленной, поэтому продолжали ехать напрямик, и снова потянулись поля. Вдали дымились высокие трубы заводов. Потом повернули на Иври. В'ехали на мостовую—и вдруг он увидел купол Пантеона.

Взрытая равнина напоминала сравнявшиеся с землей развалины. Крепостной вал образовывал горизонтальную выпуклость; на пешеходных дорожках, тянувшихся вдоль шоссе, росли деревца без веток, защищенные планками, унизанными гвоздями. Химические заводы чередовались с лесными складами. Через полуотворенные дверцы высоких ворот, какие бывают на фермах, можно было видеть внутренность отвратительных дворов, полных всяких нечистот, с грязными лужами посередине. На длинных зданиях кабаков, окрашенных в цвет бычьей крови, красовались на высоте первого этажа между окнами вывески: два скрещенных кия в венке из цветов; здесь и там попадались на половину отстроенные и оштукатуренные, заброшенные лачужки. Потом потянулись сплошные двойные линии домов; а время от времени бросалась в глаза гигантская сигара из жести, что означало продажу табака. На вывесках

повивальных бабок изображалась женщина в чепце, укачивающая ребенка в стеганом одеяле, отделанном кружевами. Углы стен были покрыты афишами, на три четверти изодранными, и их лоскутья дрожали от ветра. Навстречу попадались рабочие в блузах, дроги пивоваров, прачечные фургоны, тележки с мясом; шел мелкий дождик, было холодно, небо было бледным, но из-за этого тумана блестели для Фредерика два глаза, которые заменяли ему солнце.

Долго стояли у заставы, ибо курятники, ломовики и стадо баранов загромождали проезд. Караульный в шинели с капюшоном, ходил перед своей будкой взад и вперед, чтоб согреться. Акцизный чиновник вскарабкался на империял, и раздались звуки рожка. По бульвару поехали рысью, вальки стучали, постромки болтались. Длинный бич щелкал в сыром воздухе, Кондуктор звучно выкрикивал: «берегись! берегись! эй!» и мегельщики сторонились, прохожие отскакивали, брызги грязи хлестали в окна дилижанса, возы, кабриолеты, омнибусы пересекали дорогу. Наконец, показалась решетка зоологического сада.

Желтоватая Сена почти достигала перекрестных мостов. Оттуда несло свежестью. Фредерик жадно вдыхал ее, наслаждаясь этим милым парижским воздухом, который, казалось, был насыщен любовью и мыслью; его охватила нежность при виде первого извозчика. Ему нравилось все—от порога виноторговца, устланного соломой, до чистильщика сапог с ящиком и приказчика из бакалейной лавки, вытряхивавшего жаровню для кофе. Женщины семенили под зонтиками; он высунулся, чтоб разглядывать их лица,—ведь и г-жа Арну случайно могла выйти.

Магазины мелькали, толпа увеличивалась, шум становился все сильнее. После набережных св. Бернарда Латурнель и Монтебелло, проехали набережную Наполеона; ему хотелось увидеть свои окна, но они были далеко. Затем опять переехали Сену по Новому Мосту и направились к Лувру; по улицам Сент-Онорэ, Круа-де-Пети-

шан и Булуа достигли улицы Кок-Эрон и в'ехали во двор гостиницы.

Чтоб продлить удовольствие, Фредерик одевался на сколько возможно медленно и даже пошел пешком до бульвара Монмартр; он улыбался при мысли, что снова увидит на мраморной доске дорогое имя; он поднял глаза: не было ни витрин, ни картин, ничего.

Он бросился на улицу Шуазель. Арну более не жила там; вместо привратника сидела соседка. Фредерик стал дожидаться его; наконец, он явился, но это был новичек; он не знал адреса Арну.

Фредерик зашел в кафэ и за завтраком все время просматривал Торговый Альманах. Там было триста Арну, но ни одного Жака Арну. Где же они поселились? Пеллерен должен знать это. Он отправился в самый конец предместья Пуассоньер, в его мастерскую. У двери не было ни звонка, ни молотка, он стал сильно стучать кулаком, звал, кричал. Но ответом была лишь гробовая тишина.

Затем он вспомнил о Гюссонэ. Но как отыскать такого человека? Как-то он провожал его до дома его возлюбленной, на улицу Флерюс. Дойдя до улицы Флерюс, Фредерик вспомнил, что не знает фамилии этой девицы.

Он кинулся в полицию. Блуждал с лестницы на лестницу, из канцелярии в канцелярию. Адресный стол как раз в этот час был закрыт. Сказали прийти на следующий день.

Потом он заходил ко всем торговцам картинами, какие только попадались на пути, чтоб узнать, не известно ли там что-нибудь об Арну. Нет, г. Арну не занимается больше торговлей.

Наконец, обескураженный, измученный, разбитый, он вернулся к себе в отель и лег спать. В тот момент, когда он уже вытягивался под простыней, его осенила мысль, от которой он радостно подпрыгнул.

— Режембар! Какой я дурак, что не вспомнил о нем!

На следующий день, к семи часам утра, он был уже перед винным погребком на улице Нотр-Дам-де-Виктуар, где Режембар имел обыкновение пить белое вино. Но погребок был еще заперт; Фредерик пошел пройтись немно-

го и через полчаса вернулся. Но Режембар уже вышел! Фредерик бросился по улице. Ему даже показалось однажды, что видит издали его шляпу, но его задержали похороны. Процессия прошла, шляпа исчезла.

К счастью, он вспомнил, что Гражданин завтракает ежедневно ровно в одиннадцать часов в маленьком ресторанчике на Гальонской площади. Приходилось потерпеть; после бесконечных скитаний от Биржи до собора Мадлен и от Мадлен к театру Жимназ, Фредерик ровно в одиннадцать вошел в ресторан на Гальонской площади, уверенный, что застанет там Режембара.

— Не знаю такого,—сказал хозяин высокомерным тоном.

Фредерик настаивал; он снова повторил:

— Я не знаком с ним более, милостивый государь!

И величественно подняв брови, покачал головой, что указывало на какую-то тайну.

При последнем их свидании Гражданин упоминал о кофейне «Александр». Фредерик проглотил кусок сдобной булки и, прыгнув в кабриолет, спросил у извозчика, не знает ли он на улице Сен-Женевьев кафэ «Александр». Извозчик привез на улицу Фран-Буржуа-Сен-Мишель к заведению того же названия, и там на вопрос: «здесь ли г. Режембар?»—хозяин ответил с наилюбезнейшей улыбкой:

— Нет, еще не был,—и бросил на сидевшую за конторкой супругу многозначительный взгляд.

Затем посмотрел на часы:

— Но он будет, я думаю, минут через десять, самое большее через четверть часа.—Селестен, живей газеты!—Что прикажете?

Хотя Фредерику ничего не хотелось, он, однако, проглотил рюмку рома, потом кирша, потом кюрасо, потом пробовал различные гроги, и холодные, и горячие. Он прочел весь номер „Siècle“, еще раз перечитал его, изучил его до мельчайших подробностей; внимательно пересмотрел карикатуры в журнале „Charivari“, выучил наизусть все объявления... Время от времени раздавались шаги на тротуаре—не он ли?

Чей-то профиль мелькал в оконном стекле — и скрывался.

Чтобы развлечь себя хоть чем-нибудь, Фредерик переменил места: сначала он поместился у задней стены, потом перешел направо; наконец, уселся налево; сидел по середине диванчика с вытянутыми руками. Кошка, мягко ступая по бархатной спинке, пугала его, прыгая на стол, чтоб слизать капли сиропа с подноса; хозяйский ребенок, несносный карапуз лет четырех, играл с трещоткой на ступеньках конторки. Его мамаша, маленькая бледная женщина с испорченными зубами, глупо улыбалась. Что могло случиться с Режембаром? Фредерик ждал его, погруженный в бесконечную беспомощность.

Дождь, точно град, барабанил по поднятому верху кабриолета. Через просветы кисейных занавесок он видел на улице стоящую неподвижнее, чем деревянная, несчастную лошаденку своего извозчика. Ручей, превратившийся в поток, бежал между колесами, а извозчик, закутавшись одеялом, дремал; однако, боясь, чтобы его седок не улизнул, он время от времени приотворял дверь кафэ, и вода струилась с него. Если бы можно было взглядом портить вещи, то Фредерик давно бы уже сломал стенные часы, пронизывая их своими взорами. А между тем они все были да шли. Г. Александр ходил взад и вперед, все повторяя:

— Он придет, подождите! Он придет! — и, чтоб развлечь Фредерика заводил с ним разговоры на политические темы. Его угодливость простерлась до того, что он предложил сыграть партию в домино.

Наконец, в половине пятого, Фредерик, сидевший с двенадцати часов, сразу поднялся, объявляя, что ждать он более не намерен.

— Я сам ничего не понимаю! — с простодушием заметил хозяин. — Это в первый раз г. Леду так запаздывает.

— Как, г. Леду?

— Ну да, Леду!

— Я сказал—Режембар! — отчаянно вскрикнул Фредерик.

— Ах, извините, пожалуйста! Но вы ошибаетесь! Не правда ли, жена, господин спрашивал г. Леду?

И он обратился к официанту.

— Ведь, вы тоже слышали, что и я?

Официант, вероятно, желая отомстить своему хозяину, ограничился улыбкой.

Фредерик велел везти себя к бульварам, сильно раздраженный потерей времени, взбешенный на Гражданина, и моля судьбу о встрече с ним, как о встрече с самим Богом. Он твердо решил добыть его со дна какого бы то ни было погребка, хотя бы самого дальнего. Экипаж раздражал его, он отпустил извозчика; мысли кипели в его голове; потом вдруг все названия кафэ, которые он слышал от этого дурака, как-то сразу блеснули в его памяти точно фейерверк: кафэ Гаскара, кафэ Грембера, кафэ Гальбу, заведение Бордо, «Гаванна», «Гаврский», «Беф-а-ла-Мод», Немецкая пивная, «Мамаша Морель». Он носился от одного к другому. Но из одного Режембар только что вышел, в другое придет — и то не наверное; в третьем его не видали уже с полгода; в одном месте он заказал накануне бараний окорок на субботу. Наконец, у Вогье, торговца прохладительными напитками, Фредерик, открыв дверь, столкнулся с официантом.

— Вы знаете г. Режембара?

— Как же мне не знать его? Я имею честь всегда прислуживать им. Они кончают обедать наверху.

Сам хозяин ресторана, с салфеткой под мышкой, подошел к нему:

— Вы спрашиваете г. Режембара? Он только сейчас ушел.

Фредерик выругался, но хозяин уверил его, что он непременно найдет его у Бутвиллена.

— Даю вам честное слово! Он ушел сегодня немного ранее обыкновенного, ибо у него деловое свидание с какими-то господами. Но вы застанете его, повторяю вам, у Бутвиллена, улица Сен-Мартен, 92, второй подъезд, налево во дворе, в антресолях, дверь направо.

Наконец, он увидел Режембара среди табачного дыма, сидящего в одиночестве в задней комнате распичной, около бильярда; перед ним стояла кружка пива; опустив голову, он сидел в раздумьи.

— Ах, если бы вы знали, как давно я вас ищу!

Не меняя позы, Режембар протянул ему два пальца, как-будто они расстались только накануне, и сказал несколько незначительных фраз по поводу открытия парламентской сессии.

Фредерик прервал его, говоря насколько было возможно непринужденно:

— Ну, а как поживает Арну?

Ответа долго не было—Режембар полоскал рот пивом.

— Да ничего себе.

— Где же он теперь живет?

— Да... на улице Паради-Пуассоньер,—ответил удивленный Гражданин.

— А какой номер?

— Тридцать семь... Да вы, право, чужак!

Фредерик поднялся.

— Как, вы уходите?

— Да, да, мне еще предстоит большой конец, есть дело, о котором я и забыл! Прощайте!

И Фредерик полетел к Арну, точно подгоняемый теплым ветром, с той необыкновенной легкостью, какую испытывают лишь во сне.

Он быстро очутился на втором этаже, перед дверью; раздался звонок, появилась служанка; отворилась и вторая дверь; г-жа Арну сидела у камина. Сам Арну бросился ему в объятия. У г-жи Арну на коленях сидел мальчик лет трех; дочка, теперь уже с нее ростом, стояла по другую сторону камина.

— Позвольте представить вам этого господина,—сказал Арну, схватив своего сына под мышки.

И он несколько минут забавлялся,—высоко подбрасывал и на лету подхватывал его.

— Ты убьешь его! Ах, Боже мой! Да перестань же!—вскрикивала г-жа Арну.

Но Арну, клянясь, что не убьет, продолжал свое дело и ласково зюзиюкал на марсельском говоре, своем родном наречии: «ах, мой цыпочка! мой соловушка!»

Потом он спросил Фредерика, почему он так долго им не писал, что его так долго удерживало на родине, что привело его опять сюда.

— Я теперь, дорогой друг, занимаюсь фаянсовым производством... Но поговорим о вас!

Фредерик сослался на какой-то затяжной судебный процесс, на здоровье матери, нарочно подробно остановился на этом, чтоб казаться интересным. Короче, он оснуется в Париже, и на этот раз окончательно; о наследстве он не сказал ничего, боясь унизить свое прошлое.

Драпировки, как и обивка мебели, были из каштанового шерстяного штофа; на постели рядышком возвышались две подушки; на угольях лежала грелка с водой, абажур на лампе, поставленной на край комода, затемнял комнату. На г-же Арну был синий мериносовый капот. Устремив взгляд на пепел и положив руку на плечико мальчика, она развязывала другой рукой тесемку на детской кофточке; карапуз в своей рубашонке ревел и чесал голову так же, как сыннишка хозяина кафе «Александр».

Фредерик ожидал, что его охватит судорожная радость; но страсти в разлуке всегда увядают; г-жа Арну представала перед ним в изменившейся обстановке—и ему казалось, что она что-то утратила, словно спустилась с былой высоты, стала как-будто другой. Его спокойствие изумило его самого. Он осведомился о старых приятелях, между прочим, о Пеллерене.

— Я не часто его вижу,—сказал Арну.

Она прибавила:

— У нас больше не собираются, как прежде.

Не был ли это намек на то, что и он не получит приглашения? Но Арну радушно упрекнул его, что он не пришел к ним прямо к обеду, и стал объяснять, почему он изменил своему прежнему делу.

— Что прикажете делать в такое упадочное время, как наше? Настоящая живопись вышла из моды. Кроме того, можно проявить искусство всюду. Вы знаете, как я люблю красоту. Нужно будет на-днях повезти вас ко мне на фабрику.

И он захотел сейчас же показать ему кое-что из своего производства, на складе в антресолях.

Блюда, миски, тарелки и тазы загромождали пол. У стен стояли плиты для настилки полов в ванных и туалетных комнатах с мифологическими рисунками в стиле

Возрождения, а по середине комнаты возвышалась до самого потолка двойная этажерка. Она была уставлена вазами для льда, цветочными горшками, канделябрами, маленькими жардиньерками, большими разнообразными статуэтками, изображающими то негра, то пастушку в стиле Помпадур. Осмотр всего этого скоро надоел Фредерику: он продрог, ему хотелось есть.

Он побежал в Английское кафе, там великолепно поужинал и все говорил себе:

— Хорош я был там со своими печальми! А она едва узнала меня! Вот мешанка!

И чувствуя внезапный прилив сил, он принял многие эгоистические решения. Сердце его было твердо, как стол, на который он облокотился. Он мог теперь кинуться без страху в вихрь света. Ему пришли на ум Дамбрек; их он использует; потом он вспомнил о Дэлорье. «А, да ну его к Богу!»—Однако, он послал ему с посыльным записку, назначив свидание на завтра в Пале-Рояль, чтобы вместе позавтракать.

Судьба Дэлорье была не столь благоприятна.

Он представил на соискание кафедры диссертацию о праве делать завещания, где доказывал, что это право необходимо возможно больше ограничить; оппонент, искусно подзадоривая его, заставлял его говорить глупости; и он наговорил их достаточно, а экзаминаторы все не останавливали его. Потом случая было угодно, чтобы он вынул билет по вопросу о давности. И Дэлорье стал развивать самые предосудительные теории: старые претензии должны пользоваться одинаковыми правами с новыми; почему же лишать человека собственности, если он смог достать нужные документы лишь на тридцать второй год? Разве не ставило это в положение честного человека наследника разбогатевшего вора? Все несправедливости были ограждены расширенным толкованием этого права, оно было тиранией, злоупотреблением силой. Он даже вскричал:

— Отменим этот закон, и франки не будут больше теснить галлов, англичане—ирландцев, янки—краснокожих, турки—арабов, белые—негров, Польша...

Председатель прервал его:

— Отлично, милостивый государь, вы напрасно сообщаете нам свои политические убеждения! Вам придется прийти еще раз!

Но Дэлорье не пожелал явиться. Этот злополучный XX раздел III тома гражданского кодекса сделался для него камнем преткновения. Он принялся за большой труд о «давности, как основе права гражданского и естественного права народов» и запутался среди Дюно, Рожериуса, Бальбуса, Мерлина, Вазеля, Савиньи, Тролона и других об'емистых источников. Для того, чтобы отдавать этому труду как можно больше времени, он бросил место старшего клерка. Он существовал на уроки и тем, что фабриковал отчетные сочинения для других; в заседаниях Говорильни он путал своей ядовитостью консервативную партию, всех этих молодых людей, доктринеров, последователей Гизо,—так что в известном кругу он был в некотором роде знаменитостью, но вместе с тем к его особе относились с какой-то недоверчивостью.

Он явился на свидание в толстом пальто на красной фланелевой подкладке, какое было некогда у Сенекаля.

Стесняясь публики, они не обнялись и направились к Веффуру, взявшись под руку, улыбаясь от удовольствия, со слезами на глазах. Потом, как только они остались одни, Дэлорье вскричал:

— Ах, чорт возьми! Хорошо ж мы теперь заживем!

Фредерику совсем не понравилась такая манера—сейчас же связывать свою судьбу с его собственным состоянием. Его друг слишком радовался за них обоих и не достаточно за него одного.

Затем Дэлорье рассказал о своем провале, о своих работах, о своем житие; о себе он говорил стоически, о других с озлоблением. Все ему не нравилось. Не было ни одного должностного лица, которое не было бы у него кретином или негодяем. За плохо вымытый стакан он обрушился на официанта, а на мягкий упрек Фредерика возразил:

— Ну, еще стесняться с подобными каналами, которые имеют с вас дохода до шести-восьми тысяч в год и являются выборщиками, могут быть даже избранными. Оставь, пожалуйста!

Затем прибавил веселым тоном:

— Да, я и забыл, что разговариваю с капиталистом, с золотым мешком!

И опять вернувшись к наследству, высказал тот взгляд, что наследования по боковой линии (вещь несправедливая сама по себе, хотя в данном случае она и приятная), будут отменены грядущей революцией.

— Ты веришь в это?—сказал Фредерик.

— Да посуди сам,—ответил он.—Может-ли так продолжаться! Уж слишком много страданий! Когда я вижу в нищете людей, подобных Сенекалю...

— Все Сенекаль!—подумал Фредерик.

— Что новенького, впрочем? Неужто ты все еще влюблен в г-жу Арну? Или это прошло?

Фредерик, не зная, что ответить, закрыл глаза и опустил голову.

Кстати об Арну: Дэлорье сообщил, что его газета принадлежит теперь Гюссонэ, который преобразовал ее. Она теперь называется «Искусство»; это—литературное предприятие, товарищество на паях по сто франков каждый; складочный капитал составляет сорок тысяч франков, каждый пайщик имеет право печатать свои рукописи, ибо «общество поставило себе целью выдвигать произведения начинающих и таким образом избавить талант или гений от мучительных кризисов, которыми томятся»... и так далее. Понял, в чем тут соль? Но между тем и тут можно кое-что сделать, поднять тон этого листка, потом, не меняя состава редакции и печатая продолжение фельетона, вдруг преподнести подписчикам политическую газету. Затраты будут не велики.

— Что ты думаешь об этом? Не хочешь ли ты вступить?

Фредерик не отклонил предложения. Но нужно подождать, пока дела его будут приведены в порядок.

— Тогда, если нужно...

— Спасибо, голубчик!—сказал Дэлорье.

Затем они закурили дорогие сигары, облокотясь на бархатный подоконник. Солнце сияло, воздух был мягкий, стаи птиц опускались в сад; бронзовые статуи, вымытые дождем, блестели; няньки в передниках болтали.

сидя на стульях; детский смех смешивался с безостановочным журчанием фонтана.

Фредерик сперва чувствовал себя смущенным извительностью Дэлорье; теперь под влиянием вина, разлившегося по жилам, полусонный, томный, обратясь лицом к солнцу, он не испытывал ничего кроме тупой неги, как растение, насыщенное теплом и влагой. Дэлорье с полужакрытыми глазами неопределенно смотрел вдаль; грудь его вздымалась, и он начал:

— Ах! Как прекрасно было, когда Камилл Дэмулен, стоя вон там на столе, двинул народ к Бастилии. В то время жили, могли проявлять свою личность, испытывать свою силу. Простые адвокаты отдавали приказания генералам, босяки били королей, тогда как теперь...

Он умолк, потом вдруг воскликнул:

— Ба! Будущее чревато великими событиями.

И, барабанив по стеклу, он начал декламировать стихи Бартеlemi: «Оно восстанет вновь, то грозное собрание, от которого спустя сорок лет кружатся ваши головы; этот колосс, бесстрашно ступающий могучим шагом».

— Не помню, как дальше! Но уж поздно! Не пора ли домой?

Теории свои он продолжал развивать и на улице.

Фредерик, не слушая его, рассматривал выставленные в витринах магазинов материи и мебель: какие подойдут к его будущей обстановке? Быть может, мысль о г-же Арну заставила его остановиться у магазина старинных вещей, перед окном, где находились три фаянсовые тарелочки. На них были желтые арабески с металлическим отблеском; каждая стоила по сто экю. Он велел отложить их.

— Я на твоём месте покупал бы лучше серебро,—заметил Дэлорье, обнаруживая этим пристрастием к основательному свое низкое происхождение.

Как только Фредерик остался один, он отправился к знаменитому Помадеру и заказал себе три пары панталон, два фрака, меховую шубу и пять жилетов; потом отправился к сапожнику, в магазин белья и, наконец, в шляпный магазин, при чем везде приказывал на сколько возможно поторопить заказ.

Три дня спустя, вечером, по возвращении из Гавра, он нашел у себя полный гардероб; и от нетерпения поскорее воспользоваться им, решил нанести сейчас же визит Дамбрезам. Но было слишком рано, только восемь часов.

— Не пойти ли к тем?—подумал он.

Арну брился перед зеркалом. Он предложил ему поехать с ним в одно веселое место, а при имени Дамбрез, воскликнул:

— Ах, вот и отлично! Вы встретитесь там сего друзьями; едем! Вот будет забавно!

Фредерик стал отнекиваться, г-жа Арну узнала его по голосу и поздоровалась с ним через перегородку: ее дочка была нездорова, да и она сама чувствовала себя нехорошо; слышен был стук ложечки о стакан, передвижение чего-то, такое осторожное, как всегда бывает в комнате больного. Потом Арну исчез, чтоб попрощаться с женой. Он говорил ей:

— Ты ведь отлично знаешь, что это очень важно! Мне необходимо туда поехать, я должен быть там, меня ждут.

— Поезжай, друг мой! Развлекись.

Арну кликнул извозчика:

— Палэ-Рояль, галерея Монпансье, 7.

И, развалившись в экипаже, сказал:

— Ах, как я устал, мой дорогой! Я издохну так! Впрочем, вам я могу сказать, в чем дело.

Он наклонился к его уху и таинственно шепнул:

— Я все стараюсь отыскать китайскую окраску—цвета красной меди.

И объяснил, что такое глазурь и медленный огонь.

Приехав к Шевэ, он велел упаковать громадную корзину с фруктами и вынести ее на извозчика. Потом выбрал для «своей бедной жены» винограду, ананасов, различных лакомств и приказал все это доставить ей завтра, рано утром.

Затем они отправились к костюмеру; так как ехали на костюмированный вечер, то Арну выбрал для себя голубые бархатные панталоны, такой же камзол и краснорыжий парик; Фредерик взял домино; на улице Лаваль они остановились у дома, второй этаж которого был иллюминирован разноцветными фонариками.

При входе на лестницу они услышали звуки скрипок.

— Куда к дьяволу вы ведете меня?—спросил Фредерик.

— К одной очень хорошенькой девочке! Не бойтесь!

Грум отворил дверь, и они вошли в переднюю, где грудами лежали на стульях пальто, манто и пледы. Молодая женщина, в костюме драгуна времен Людовика XV, проходила в этот момент через переднюю. Это была г-жа Роза-Анна Брон, хозяйка дома.

— Ну, что?—спросил Арну.

— Сделано!—ответила она.

— Ах! Вот спасибо, ангел мой!

И он хотел ее поцеловать.

— Осторожней, дурень, ты испортишь мне грим.

Арну представил Фредерика.

— Руку, товарищ! Милости просим, входите!

Она приподняла портьеру позади себя и напыщенно прокричала:

— Г. Арну-поваренок и князь, его друг!

Фредерика прежде всего ослепил яркий свет; он не видел ничего, кроме шелка, бархата, голых плеч, разноцветной толпы, которая покачивалась под звуки оркестра, скрытого в зелени, между обтянутыми желтым шелком стенами с портретами пастелью, висевшими здесь и там, и хрустальными бра в стиле Людовика XVI. По углам и над корзинами цветов, стоящими на консолях, поднимались высокие лампы, матовые шары которых были похожи на снежные комья; а прямо за второй, немного меньшей, комнатой, виднелась кровать с витыми колонками и венецианским зеркалом у изголовья.

Танцы были прерваны и раздался рукоплескание и крики радости при виде Арну, вошедшего с корзиной на голове, из которой яства возвышались горбом. «Осторожней, люстра!». Фредерик поднял глаза—это была та самая люстра старинного саксонского фарфора, которая украшала прежде магазин «Художественной Промышленности»: воспоминания прежних дней воскресли в его памяти; но тут перед ним вырос армейский пехотинец с тем глуповатым видом, который по шаблону приписывается рекрутам; он с удив-

лением разводил руками, и несмотря на ужасные черные усы, необычайно заостренные и изменившие его, Фредерик узнал в нем своего старого приятеля Гюссона. В тарабарщине, на половину эльзасской, на половину негритянской, журналист рассыпался в поздравлениях, называя его своим полковником. Фредерик, оробевший ото всех этих лиц, не знал, что отвечать. Постучали смычком по пюпитру, танцующие заняли свои места. Их было около шестидесяти, женщины—по большей части поселанки или маркизы, а мужчины, почти все, пожилые,—в костюмах извозчиков, грузчиков или матросов.

Фредерик, прислонившись к стене, смотрел на кадрили.

Старый красавец в длинном одеянии венецианского дожа из пурпурового шелка, танцевал с Розанетой, на которой был зеленый мундир, обтянутые штаны и мягкие сапоги с золотыми шпорами. Их визави были арнаут с ятаганом и швейцарка с голубыми глазами, белая, как молоко, налитая, как перепелка, в красном, без рукавов корсаже. Рослая блондинка, статистка в Опере, желая похвастаться своими волосами, доходящими до колен, нарядилась дикаркой; сверх коричневого трико, на ней были только кожаный запон, браслеты из стеклянных бус и мишурная диадема с целым снопом павлиньих перьев. Рядом с ней Притчард, в нелепо-широком черном фраке, отбивал локтем такт на своей табакерке. Пастушок Ватто, лазоревый и серебряный, как лунный свет, ударял посохом по торсу Вакханки, увенчанной виноградом, с леопардовой шкурой на левом плече, в котурнах с золотыми завязками. Напротив полька, в бархатном спенсере алого цвета, колыхала газовой юбочкой над шелковыми жемчужного цвета чулками, обутая в розовые ботинки, опущенные белым мехом. Она улыбалась сорокалетнему пухатому господину, наряженному церковным певчим, который очень высоко подпрыгивал, приподнимая одной рукой стихарь, а другой придерживая красную скуфью.

Но царицей бала, звездой, была Лулу, знаменитая танцовщица публичных балов. Так как она была как раз богата, то на ее гладком черном камзоле был широкий кружевной воротник, а ее широкие шаровары из пунцового шелка, обтянутые сзади и охваченные вокруг

тали и кашемировым шарфом, были по всей длине швов усажены белыми камелиями. Ее бледное лицо, немного одутловатое, с вздернутым носиком казалось еще более дерзким, благодаря растрепанному парикку, на котором держалась серая мужская фетровая шляпа, сбитая ударом кулака на правое ухо; бальными туфлями с бриллиантовыми пряжками она почти задевала по носу своего кавалера, высокого средневекового барона, очень стесненного железными доспехами. Был там также и Ангел с золотым мечом в руке, с двумя лебяжьими крыльями за спиной, который ходил взад и вперед, ежеминутно теряя своего кавалера, Людовика XIV, и, не имея понятия ни о каких фигурах, все путал кадрили.

Фредерик, рассматривая этих людей, испытывал чувство заброшенности; ему стало не по себе. Он опять думал о г-же Арну, и ему казалось, что он участвует в чем-то враждебном, затеваемом против нее.

Когда кончилась кадрили, Розанета подошла к нему. Она немного задыхалась, и офицерский нагрудник, отполированный как зеркало, слегка приподнимался на ее груди под подбородком.

— А вы? — сказала она, — вы не танцуете?

Фредерик извинился, он не умел танцевать.

— В самом деле! Ну, а со мной?

И, немного отставив ногу, подбоченясь одной рукой, и проводя другой по перламутровой рукоятке шпаги, она внимательно разглядывала его в продолжение минуты, с выражением полу-умоляющим, полу-насмешливым. Наконец, сказала—«прощайте!»—сделала пируэт и исчезла.

Фредерик, недовольный самим собою, не зная, что делать, стал бродить по комнатам.

Он вошел в будуар, обитый бледно-голубым шелком с букетами полевых цветов; на потолке, в круге из позолоченного дерева, амур, появляясь из лазуревых облаков, резвились в облаках, похожих на перины. Эта роскошь, которая теперь показалась бы нищенской у таких, как Розанета, его ослепила; его восхитили и искусственные вьюнки вокруг зеркала, и экран у камина, и турецкий диван, и нечто в роде палатки, обтянутой розовым шел-

ком, покрытым белым муслином, в нише стены. Мебелью черного дерева с медной инкрустацией была уставлена спальня, где стояла на возвышении, покрытом лебяжьим пухом, широкая кровать под балдахином с страусовыми перьями по углам. Булавки с драгоценными головками были воткнуты в подушечки, кольца были разбросаны на тарелочках, медальоны с золотыми ободками и серебряные шкатулки выделялись в полутьме, свет лился из хрустальной урны, спускавшейся на трех цепочках. Через приотворенную небольшую дверку видна была теплица во всю длину террасы, оканчивающаяся птичьими клетками.

Это была та среда, которая должна была ему нравиться. Под влиянием внезапного наплыва молодых чувств он поклялся насладиться всем этим и сделаться смелей; он возвратился в зал, где стало еще многолюдней, где все казалось в какой-то светоносной пыли, и стал созерцать танцующих кадрий, прищуривая глаза, чтобы лучше видеть, и вдыхая нежные запахи, исходящие от женщин, разлитые вокруг, точно какой-то огромный потчулей. По другую сторону двери стоял Пеллерен, он был в полном параде, левая рука его была заложена за жилет, а в правой он держал шляпу и белую разорванную перчатку.

— Что это не видно вас? Где же, чорт возьми, вы пропадали? Путешествовали по Италии? Шаблон! Эта Италия совсем не то, что говорят о ней! Ну, да все равно. Принесите как-нибудь на-днях ваши эскизы.

И, не ожидая ответа, художник начал говорить о себе самом. Он сделал большие успехи, окончательно познал ненужность линии. В произведении искусства надлежит считаться не столько с красотой и единством, сколько с характером и разнообразием сюжетов. Все существует в природе, стало быть, все и законно, и пластично. Надлежит только схватить тон—вот и все! Он открыл этот секрет. И подтолкнув Фредерика локтем, он повторил несколько раз:

— Я открыл этот секрет, вы сами увидите! Вот посмотрите на эту дамочку с головным убором сфинкса, танцующую с русским ямщиком: все четко, сухо, закон-

чено, все в выпуклостях и резких тонах: индиго под глазами, киноварные пятна на щеках, бистр на висках, пиф! паф!

И он делал мазки в воздухе большим пальцем, точно ударял кистью.

— Тогда как вот эта толстуха,—продолжал он, указывая на рыбную торговку в вишневом платье, с золотым крестиком на шее, в батистовой косынке, завязанной узлом на спине,—сплошная округлость. Поздри расплющены, точно банты на ее чепце, углы рта подняты, подбородок спущен, все жирно, расплывчато, изобильно, спокойно и солнечно,—настоящий Рубенс! А между тем обе они совершенство! Где в таком случае тип?

Он разгорячился.

— Что такое красивая женщина? Что такое красота? Ах, красота, скажете вы мне...

Фредерик перебил его, чтобы узнать, кто этот Пьерро с профилем козла, который благословлял во время четвертой фигуры танцующих.

— Ничего особенного! Вдовец, отец трех мальчиков. Они у него без штанов бегают, а сам он проводит жизнь в клубе и живет со служанкой.

— А тот, в костюме судьи феодальных времен, разговаривающий с маркизой Помпадур в оконной нише?

— Маркиза—г-жа Вандаэль, бывшая актриса театра «Жимназ», любовница дожа, графа де-Палазо. Вот уже двадцать лет как они живут вместе неизвестно зачем. Красивые глаза были у этой женщины некогда! Что до гражданина, стоящего рядом с ней, то имя его капитан д'Эрбиньи, это ветеран старой гвардии, у которого все состояние заключается в ордене Почетного Легиона и пенсии; в торжественных случаях он берет на себя роль дядюшки гризеток, принимает участие в дуэлях и бывает на парадных обедах.

— Каналья? — спросил Фредерик.

— Нет! Он человек порядочный.

— А!

Художник назвал еще нескольких, как вдруг заметил господина, наряженного Мольеровским врачом, в длин-

ном одеянии из черной саржи, расстегнутом сверху до низу, для того, чтоб были видны все его брелоки.

— Это доктор де-Рожи, он бесится, что не знаменит, написал медицинскую порнографическую книгу, готов чистить сапоги у светских людей и умеет хранить тайны; здешние дамы обожают его. Он и его супруга (та вот худая шатенка в сером платье) таскаются вместе по всем публичным и другим местам. Несмотря на стесненное положение, у них есть приемный день, артистический чай, во время которого читаются стихи... Тиме!

В самом деле, доктор подошел к ним и скоро они втроем образовали в дверях группу, к которой присоединился Гюссонэ, потом любовник Дикарки, юный поэт, выставлявший из-под короткого плаща Франциска I свое жалкое сложение и, наконец, один умный малый, наряженный турком с пригородного бала. Но его куртка, отделанная желтым галуном, долго путешествовавшая на спинах странствующих дантистов, его широкие красные шаровары в складках выцвели, его тюрбан, скрученный словно угорь, имел убогий вид; в общем, его костюм был столь плачевен и так удался, что женщины не скрывали к нему своего отвращения. Доктор утешил его, рассыпавшись в неумеренных похвалах грузчице, его любовнице. Этот турок был сыном бангтра.

Между двух кадрилей Розанета направилась к камину, около которого в кресле сидел маленький пухленький старичок, во фраке каштанового цвета, с золотыми пуговицами. Несмотря на его поблекшие щеки, свесившиеся над высоким белым галстуком, его еще русые волосы, выходящиеся, как шерсть пуделя, придавали ему игривый вид.

Она слушала его, склонившись к его лицу. Затем приготовила ему стаканчик какого-то сиропа; ничто не могло быть изящнее ее ручек в кружевных рукавчиках, видневшихся из под обшлага зеленого фрака. Выпив, старичок поцеловал их.

— Да ведь это г. Удри, сосед Арну!

— Он-то и разорил его! — заметил, смеясь, Пеллерен.

— Каким образом?

Ямщик подхватил за талию Розанету и начался вальс.

Все женщины, сидевшие вдоль стен на диванчиках, быстро поднялись друг за другом, и их юбки, шарфы, прически закружились.

Они вертелись так близко от Фредерика, что он различал капельки пота на их лбах; и это правильное, головокругооборотное, вращательное движение, все более и более ускоряясь, сообщало его сознанию род какого-то опьянения, вызывало в нем иные образы в то время, как они проносились мимо него, с одинаковой силой ослепляли его, и каждая по своему возбуждая его, соответственно роду своей красоты. Полька предавалась вальсу с томным видом; она внушала ему желание прижать ее к себе и, растянувшись в сани, мчаться с ней по снежной равнине. Картины мирных радостей на берегу озера в небольшой хижине развевались под па швейцарки, вальсировавшей с выпрямленным станом и опущенными ресницами. Вакханка с закинутой смуглой головкой заставляла его грезить о знойных ласках в олеандровых рощах во время грозы, под смутные звуки тамбурина. Рыбная торговка, у которой быстрый темп вызывал одышку, громко смеялась; и ему хотелось вместе с ней шататься по кабачкам, выпивать, мять руками ее косынку, как это делалось в доброе старое время. А грузчица, едва скользя пальчиками по паркету, казалось, таила в гибкости своих членов, в серьезном выражении лица все утонченности современной любви, со всей ее научной точностью и птичьей подвижностью. Розанета кружилась, подбоченясь; ее парик, подпрыгивая над воротником, рассыпал вокруг ирисовую пудру; при каждом туре, концом своих шпоров она чуть-чуть касалась Фредерика.

При последнем аккорде вальса, появилась г-жа Ватназ. В алжирском платке на голове, с массою пиастров на лбу, с подведенными сурьмой глазами, в каком-то черном кашемировом пальто, падающем на светлую юбку, вышитую серебром, она держала в руках бубен.

За ней шел высокий молодой человек в классическом костюме Данта; это был бывший певец из Альгамбры, — свои отношения с ним она уже не скрывала, — который, будучи первоначально Огюстом Делямар, стал называть

себя сначала Антенор Деллямаре, потом Дельмас, потом Бельмар, и, наконец, Дельмар, смягчая и совершенствуя свою фамилию соответственно возрастающей славе; он променял кабачки на театр и даже дебютировал недавно с большим успехом в Амбигю, в пьесе «Гаспардо-Рыбак».

Гюссонэ, увидя его, нахмурился. С тех пор как не приняли его пьесы, он клял всех актеров. Какое невероятное тщеславие у этих господ, в особенности, у этого человека!

— Посмотрите, что за ломака!

И точно, после легкого поклона Розанете, Дельмар прислонился к камину; он неподвижно стоял, приложив руку к сердцу, выдвинув левую ногу вперед, возведя очи к небу; в лавровом венке из позолоченных листьев, надетом поверх капюшона, он все силился сделать свой взгляд поэтическим, чтобы очаровывать дам, которые образовали полукруг перед ним.

Ватназ, после продолжительных об'ятий с Розанетой, обратилась к Гюссонэ с просьбой просмотреть, с точки зрения стиля, ее работу по педагогии, которую она хотела напечатать под заглавием: «Гирлянда молодых девиц, нравственно-литературный сборник». Литератор обещал свое содействие. Тогда она попросила его: не могли бы он в одной из газет, куда ему открыт доступ, помуссировать немного имя ее друга и даже, в будущем, поручить ему какую-нибудь роль? Гюссонэ из-за этого пропустил стакан пунша.

Арну готовил его сам и предлагал гостям с самодовольным видом; за ним шел графский грум с пухлым подносом.

Когда он поровнялся с г. Удри, Розанета остановила его:

— Ну, что же о деле?

Он покраснел немного и обратился к старику:

— Наша общая приятельница сказала мне, что вы были столь любезны...

— Да, да, весь к вашим услугам, сосед!

Затем было произнесено имя Дамбреза; беседа шла в полголоса, до Фредерика кое-что долетало; он напра-

вился к другому углу камина, где Розанета разговаривала с Дельмаром.

У актера было вульгарное лицо, накрашенное, как театральная декорация, с целью издали производить впечатление; руки он имел толстые, ноги большие, подбородок тупой; он не признавал знаменитых актеров, свиссога относился к поэтам и говорил: «мой голос, мое сложенние, мои способности», испещряя свою речь словами мало понятными для него самого: морбидецца, аналогия и однородность.

Розанета слушала его, одобрительно кивая головой. Было видно, какое восхищение разливалось под румянами ее щек; и светлые глаза неопределенного цвета заволоклись каким-то флером. Как подобный человек может очаровывать ее? Фредерик внутренне прибодрился, стараясь как можно глубже презирать его, может быть для того, чтоб прогнать некоторую зависть, которую он начинал питать к нему.

Теперь Ватназ была с Арну; громко смеясь, она время от времени бросала взгляды на свою подругу. Г. Удри тоже не терял ее из виду. Потом Арну с Ватназ исчезли, старичок тихо стал говорить с Розанетой.

— Ну да, дело слажено! Оставьте меня в покое!

И она попросила Фредерика сходить в кухню и посмотреть, нет ли там Арну.

Батальон стаканов, до половины наполненных, стоял на полу; кастрюли, чугунички, кастрюли для тюрбо, сковороды так и прыгали. Арну отдавал приказания, слушам говорил «ты», сбивал острый соус, пробовал подливки, заигрывал со служанкой.

— Хорошо! — сказал он, — передайте ей, что я приказал подавать.

Больше не танцевали, женщины только что присели, мужчины прогуливались. На среднем окне занавеска надвигалась от ветра, и Сфинкс, несмотря на уговоры, выставляла потные руки под струю свежего воздуха. Где Розанета? Фредерик стал искать ее в будуаре, спальне. Некоторые, желая побыть в одиночестве или же с кем-нибудь наедине, укрылись там. Полутьма сливалась с шопотом. Слышался сдержанный смех в платок, смутно раз-

личалось медленное и мягкое движение вееров, подобное ударам крыльев раненой птицы.

Войдя в теплицу, он увидел под широкими листьями около фонтана Дельмара, лежащего ничком на диване, обитом холстом; Розанета, сидя около него, проводила рукой по его волосам; они смотрели друг на друга. В этот самый момент вошел Арну со стороны птичьего сада. Дельмар поднялся и спокойным шагом, не оборачиваясь, направился к выходу; он остановился у двери, чтоб сорвать цветок гибиска, и вдел его в петличку. Розанета опустила голову; Фредерик видел ее профиль и заметил, что она плачет.

— Что с тобой? — сказал Арну.

Она молча пожала плечами.

— Это из-за него? — спросил он.

Она обвила руками его шею и, целуя его в лоб, медленно проговорила:

— Ты прекрасно знаешь, что я буду любить тебя всегда, мой толстяк! Не думай об этом больше! Идем ужинать!

Медная люстра в сорок свечей освещала столовую, стены которой были сплошь увешаны старинными фаянсовыми тарелками. Благодаря этому слишком яркому свету, лившемуся сверху, громадное тюрбо, занимавшее между закусок и фруктов середину скатерти, казалось еще белее. Тарелки с супом биск окаймляли его. Шелести шелком, подбирая юбки, рукава и шарфы, женщины усаживались в ряд, мужчины, стоя, примостились на углах. Пеллерен и г. Удри поместились около Розанеты; Арну — напротив; Палазо со своей подружкой только что уехали.

— Счастливого пути! — сказала хозяйка, — прислушай!

Певчий, большой балагур, осенив себя широким крестом, начал пред'обеденную молитву.

Дамы были скандализованы, в особенности рыбная торговка: у нее была дочь, которую она мечтала сделать честной женщиной. Арну также «не нравилось это», — он находил, что нужно уважать религию.

Немецкие часы с птичкой прокуковали два часа, что

вызвало множество острот. Затем последовали всевозможные каламбуры, анекдоты, бахвальство, пари, лганье, выдаваемое за правду, невероятные утверждения, беспорядочные потоки слов, вскоре разбившиеся на частные разговоры. Вино лилось рекой, блюда следовали одно за другим, доктор разрезал жаркое. Перекидывались апельсинами, пробками, уходили со своих мест, чтоб поговорить с кем нужно. Розанета часто поворачивалась к Дельмару, неподвижно стоявшему сзади нее; Пеллерен болтал, Удри улыбался. Ватназ почти одна с'ела всю грудку раков, скорлупа которых так и хрустела под ее длинными зубами. Ангел, поместясь на фортепьянной табуретке (единственное место, где она, со своими крыльями, могла сесть), благодушно, без отдыха, жевала.

— Ну и аппетит! — с изумлением повторял Певчий. — Ну и аппетит!

А Сфинкс пила водку, кричала во все горло, бесновалась, как чорт. Вдруг щеки ее надулись и, не будучи в состоянии сдержать душившей ее крови, она поднесла салфетку к губам, потом швырнула ее под стол.

Фредерик все это видел.

— Пустяки!

И на его настоятельные уговоры уехать и подумать о своем здоровье, она возразила, выговаривая слово за словом:

— К чему? Не это, так другое, жизнь не так уж занята.

Он содрогнулся, охваченный ледящей тоской, точно перед ним открылся целый мир нищеты и безнадежности: угольная жаровня возле койки, трупы морга в кожаных запонах, по волосам которых ночь и день стекает холодная вода из крана.

Между тем, Гюссонэ, сидя на корточках у ног Дпварки, выкрикивал осипшим голосом, имитируя актера Грассо:

— Не будь жестока, о, Селюта! Этот маленький семейный праздник очарователен. Опьяняйте меня сладострастием, мои возлюбленные! Давайте резвиться! Давайте резвиться!

И он стал целовать женщин в плечи. Они вздрагивали,

уколотые его усами; потом ему взбрело на ум разбить тарелку, легонько стукнув ею о свою голову. Другие последовали его примеру; осколки фаянса разлетались подобно черепице при сильном ветре, Грузчица вскричала:

— Не стесняйтесь! Это, ведь, ничего не стоит! Сам фабрикант дарит нам их.

Все взоры устремились на Арну. Он возразил:—ах нет, все оплачено полностью!—желая, должно быть, этим дать понять, что он не был или уже более не состоит любовником Розанеты.

Но вдруг возвысились два яростных голоса:

— Дурак!

— Негодяй!

— К вашим услугам!

— Всегда готов!

Это ссорились средневековый Рыцарь и русский Ямщик; последний заметил, что доспехи иногда заменяют храбрость, а тот принял это на свой счет. Он хотел драться, все вмешались, громче всех кричал Капитан, желавший заставить себя слушать.

— Господа, послушайте меня! Только одно слово! У меня есть опыт, господа!

Розанета, постучав ножиком о стакан, кончила тем, что добилась тишины и, обращаясь к Рыцарю в шлеме, потом к Ямщику в лохматой шапке, сказала:

— Снимите, прежде всего, вашу кастрюлю, от нее мне жарко! А вы вашу волчью голову! Угодно вам повиноваться мне, чорт возьми? Посмотрите на мои эпюлеты. Я—ваш Маршал!

Они покорились, а все заплодировали, крича:

— Да здравствует Маршал! Да здравствует Маршал!

Тогда она схватила с каминя бутылку шампанского, и стала лить его сверху в протянутые бокалы.

Так как стол был слишком широк, то пирующие, в особенности женщины, потянулись к ней, поднимаясь на цыпочки, взбираясь на спинки стульев, так что на минуту образовалась пирамида из причесок, голых плев, протянутых рук и склоненных станом;—а с двух противоположных концов столовой Пьерро и Арну, откупоривая бутылки, обдавали брызгами вина лица присутствующ-

щих. Маленькие птички из садка, дверь в который оставили открытой, набились в столовую и в страхе носились вокруг люстры, ударяясь об окна, мебель; некоторые из них, садясь на головы, казались среди причесок большими цветками.

Музыканты ушли. Перетащили фортепьяно из передней в зал. Ватназ села за рояль, и под аккомпанимент Певчего, который бил в бубен, заиграла кадрил в бешеном темпе, ударяя по клавишам, как лошадь копытом, и, чтоб лучше держать такт, покачиваясь.

Маршал увлекла Фредерика, Гюссонэ прошелся колесом, Грузчица ломалась как клоун, Пьеро ужимками изображал орангутанга, Дикарка, разводя руками, подражала покачиванию лодки. Наконец, все выбились из сил, остановились и распахнули окно.

Вместе со светом ворвалась и утренняя свежесть. Послышались восклицания, крики удивления, потом наступило молчание. Желтое пламя свечей дрожало, время от времени допались розетки на них; на паркете валялись ленты, цветы, бусы; пятна пунша и сиропа блестя на консолях; обои были запачканы, костюмы измяты и засыпаны пудрой; косы свешивались на плечи, и грим, смешиваясь с потом, стекал и обнажал бледные лица с мигающими красными веками.

У Маршала, свежей, словно только что вышедшей из ванны, были розовые щеки и блестящие глаза. Она отбросила в угол свой парик, и ее волосы упали и окружили ее на подобие руна, не закрыв лишь ее панталон, что производило и комичное и милое впечатление.

Сфинксу, которая от лихорадки щелкала зубами, понадобилась шаль.

Розанета побежала за ней в спальню, и так как Сфинкс, было, последовала за ней, то она быстро перед самым ее носом захлопнула дверь.

Турок во всеуслышанье заметил, что никто не видел, как уходил г. Удри. Никто не подхватил этого влостного намека, так все были утомлены.

В ожидании экипажей стали облекаться в капоры и тальмы. Прошло семь часов. Ангел все еще был в сто-

ловой перед сардинками в масле, а Рыбная Торговка, сидя рядом с ней, курила папиросы, преподавая ей житейские советы.

Наконец, извозчики были приведены, гости раз'езжались. Гюссонэ, заведующий отделом провинциальных корреспонденций, должен был прочесть до утреннего завтрака пятьдесят три газеты; у Дикарки была репетиция в театре; у Пеллерена—натурщик, у Певчего—три свидания. Ангел, почувствовав первые приступы несварения желудка, не могла подняться. Средневековый Барон отнес ее на извозчика.

— Осторожней с крыльями!—закричала через окно Грузчица.

Уже все были на площадке лестницы, когда Ватназ сказала Розанете:

— Прощай, дорогая, твой вечер удался на славу!

Потом, прильнув к уху, она шепнула:

— Не упускай его!

— До лучших времен!—ответила Маршал, медленно поворачивая к ней спину.

Арну и Фредерик возвращались вместе, как и приехали.

Фабрикант фаянсовых изделий был так мрачен, что его спутник подумал, что ему нездоровится.

— Мне? Ничуть!

Он кусал усы, хмурил брови, и Фредерик спросил, уж не дела ли его так беспокоят?

— Нисколько!

Потом внезапно сказал:

— Вы ведь знакомы с этим Удри?

И со злобой добавил:

— Богат он,—старый хрыч!

Затем Арну завел речь о каком-то обжигании, которое должно происходить у него сегодня. Он хотел сам присутствовать при этом. Поезд отойдет через час. Однако, нужно пойти поцеловать жену.

— А! жена!—подумал Фредерик.

Спать он лег с нестерпимой болью в затылке, выпив целый графин воды, чтоб утолить жажду.

Другая жажда явилась у него, жажда женщин, ро-

скоши и всего того, что дает парижская жизнь. Он чувствовал себя несколько одурманенным, как человек, только что сошедший с корабля; в полусне он видел, как безостановочно мелькали то плечи Торговки, то бедра Грузчицы, то икры Польки, то волосы Дикарки. Потом два огромных черных глаза, отсутствовавших на балу, вдруг появились перед ним и легкие, как бабочки, горящие как факелы, то удалялись, то возвращались, трепетали, подымались по карнизу, спускались до его губ. Фредерик сиделся узнать, что это за глаза, но так и не узнал. Уже сон охватил его: он видел себя в дышле рядом с Арну, запряженным в извозничью карету; Маршал, верхом на нем, вонзала в его бока свои золотые шпоры.

II.

Фредерик приискал на углу улицы Рюмфор небольшой особняк и сразу же купил себе двухместную карету, лошадь, мебель и две жардиньерки у Арну, чтоб поставить их по бокам дверей в гостиной. За гостиной шла спальня с уборной. Сначала ему пришла мысль поселить в ней Дэлорье. Но тогда, как он будет принимать у себя ее, свою будущую возлюбленную? Присутствие друга стеснит, пожалуй. Он разобрал стену, чтоб увеличить гостиную, а уборную превратил в курительную.

Он накопил поэтов, которые ему особенно нравились, книг о путешествиях, атласов, словарей; у него были намечены планы бесчисленных работ; он торопил рабочих, бегал по магазинам и, от нетерпения обладания, увозил все, не торгуясь.

По счетам поставщиков Фредерик увидал, что ему придется заплатить в ближайшем будущем тысяч сорок франков, не считая наследственных пошлин, в размере более тридцати семи тысяч; так как все его состояние заключалось в недвижимости, то он написал нотариусу в Гавр, прося продать часть ее, дабы освободиться ото всех долгов и иметь некоторую сумму на текущие расходы. Потом, желая, наконец, воочию увидеть то неясное, манящее, неизведанное, что называется светом, он письменно запросил Дамбрезов, могут ли они принять

его. Г-жа Дамбрез ответила, что она надеется видеть его у себя завтра.

Был приемный день. Во дворе стояли экипажи. Два лакея бросились с подъезда к нему навстречу, а третий, стоявший на верхней площадке лестницы, пошел впереди него.

Пройдя переднюю и еще комнату, он попал в большой салон с высокими окнами, где на монументальном камине стояли часы в форме шара, а по бокам—две вазы чудесного фарфора. Из них на подобие золотых кустов поднимались два канделябра с розетками. Картины в стиле Рибейры висели по стенам; тяжелые, затканые портьеры величественно ниспадали; а в креслах, столах, консолях, столах—в стиле Ампира—заключалось что-то внушительное и чинное. Здесь можно было чувствовать себя далеким от толпы, огражденным от нее, как в крепости. Фредерик невольно улыбался от удовольствия.

Наконец, он дошел до овальной комнаты, обшитой розовым деревом, заставленной низкой мебелью и освещаемой лишь одним зеркальным окном, выходящим в сад. Г-жа Дамбрез сидела у камина, человек двенадцать образовали полукруг около нее. Сказав любезность Фредерику, она знаком пригласила его сесть, не проявив никакого удивления, что так долго не видала его.

Когда он вошел, восхваляли красноречие аббата Кер. Потом начали жаловаться на безнравственность прислуги, по поводу воровства, учиненного одним из лакеев, а потом начались пересуды. У старушки де-Соммер—катарр дыхательных путей, барышня Тюрвизо выходит замуж, Моншарроны не вернутся ранее конца января, Бретанкуры тоже,—теперь мода заживаться в деревне; и ничтожность разговоров еще более подчеркивалась роскошью обстановки; но то, что говорилось, было еще ничто по сравнению с тем, как говорилось—без всякой цели, последовательности, оживления. А между тем тут находились люди с изрядным жизненным опытом: бывший министр, священник большого прихода, два, три крупных чиновника, все они говорили избитый вздор. Одни были похожи на усталых вдовцов;

другие имели повадку барышников; старики со своими молоденькими женами легко могли сойти за их дедушек.

Г-жа Дамбрез была очаровательна. Когда речь шла о каком-нибудь больном, она печально сдвигала брови, когда заговаривали о балах, вечерах, выражение ее лица делалось веселым. В скором времени ей придется отказаться от этих удовольствий,—она берет из пансиона сироту, племянницу мужа, к себе в дом. Вывозить ее еще рано. Все стали превозносить ее за самопожертвование: ведь это значит стать для сироты родной матерью!

Фредерик приглядывался к ней. Матовая кожа лица, точно натянутая, была свежа, но без блеска, как долго сохранившийся плод. Волосы, завитые на английский манер, были мягче шелка, глаза—с лазоревым блеском, все жесты—изящны. Усевшись глубоко в козетке, она проводила рукой по красной бахrome японского экрана, видимо для того, чтобы обратить внимание на свои руки, длинные, узкие, немного худые, с пальцами, изогнутыми на концах.

Она была в сером муаровом платье с закрытым лифом, как какая-нибудь пуританка.

Фредерик осведомился у нее, поедут ли они в этом году в Форталь; г-жа Дамбрез этого еще не знала. Впрочем, это и понятно: Ножан должен быть ей скучен. Гости все прибывали. Стоял непрерывный шелест платьев по коврам; дамы, присев на кончик стула, хихикали, произносили два, три слова и спустя пять минут поднимались вместе со своими молоденькими дочерьми. Скоро сделалось невозможным уследить за разговором, и Фредерик отклонялся; г-жа Дамбрез сказала ему:

—Итак, по средам, г. Моро?—искупая этой единственной фразой то, что она не обращала на него внимания.

Фредерик был доволен. Однако-ж, когда он очутился на улице, он глубоко вдохнул воздух и ощутил потребность в менее утонченной среде. Он вспомнил, что ему надо нанести визит Маршалу.

Дверь в прихожую была открыта, две гаванские болонки выбежали к нему. Кто-то кричал:

— Дельфина! Дельфина!

— Это вы, Феликс?

Фредерик не двигался с места, собаченки тявкали. Наконец, появилась Розанета в пенюаре из белого муслина, отделанном кружевами, в туфлях на босу ногу.

— Ах! извините! Я приняла вас за парикмахера! Подождите минутку, я сейчас вернусь!

Он ждал в столовой. Шторы были опущены. Фредерик обвел взглядом комнату, вспоминая кутерьму той ночи, как вдруг заметил на столе мужскую шляпу из старого мягкого, толстого скверного фетра, очень засаленную. Чья она? Нагло выставляя свою истрепанную тулью, она, казалось, говорила: «Мне на всех наплевать! я—тут хозяин!»

Вошла Маршал. Она схватила шляпу, открыла дверь в теплицу, швырнула ее туда, опять затворила дверь,— в тот же момент слышалось, как где-то открываются и захлопываются другие двери,—и провела Фредерика через кухню в уборную.

Сразу было видно, что из всех комнат квартиры эта была самая жилая и что здесь-то и находится настоящий жизненный центр. Стены были обтянуты ситцем с узорами в виде больших листьев, той-же материей были обиты и кресла и большой упругий диван; на белом мраморном столе красовались два голубых фарфоровых таза; стеклянные полочки, образовавшие этажерку, были загромождены флаконами, щеточками, гребенками, косметическими карандашами, коробочками с пудрой; пламя в камине отражалось в высоком зеркале на ножках; простыня свешивалась из ванны, а воздух был насыщен смесью миндаля и душистой смолы.

— Уж вы меня извините за беспорядок! Сегодня я обедаю не дома.

Она вертелась на каблучках и чуть было не раздавила одну из собаченок. Фредерик заметил, что они прелестны. Она взяла их на руки и, протянув к нему их черные мордочки, сказала:

— Ну, улыбнитесь и поцелуйте господина!

Неожиданно вошел человек в засаленном пальто с меховым воротником.

— Ах! Феликс, голубчик,—сказала она,—в ближайшее воскресенье ваше дело будет улажено, непременно!

Парикмахер стал причесывать ее. Он сообщал новости об ее знакомых: о г-же де-Рошгюн, о г-же де-Сен-Флорантен, о г-же де-Лиebar—все об аристократках, точно так же, как и у Дамбрезов. Потом он заговорил о театрах: сегодня дается в Амбигю экстренный спектакль.

— Вы едете?

— Нет, не стоит! Я сегодня дома.

Пришла Дельфина. Розанета тотчас выбрала ее за то, что та уходит без спросу. Служанка побожилась, что только что вернулась с базара.

— Ну, ладно, принесите мне счетную книжку! Вы, ведь, позволите?

И, проверяя в полголоса счет, Розанета делала замечания по поводу каждой цифры. Итог оказался не верен.

— За вами четыре су!

Дельфина подала их и, когда она ушла, Розанета произнесла:

— Ах, Пресвятая Дева! какое мучение с этими людьми!

Фредерика неприятно резнуло; слишком уж напоминало это пересуды у Дамбрезов и досадно уравнивало оба дома.

Дельфина опять вошла и что-то шепнула Маршалу на ухо.

— Ну нет! Не хочу!

Дельфина снова явилась.

— Барыня, она настаивает.

— Ах! как это несносно! Да гоните ее вон!

В это самое мгновение старая дама вся в черном отворила дверь.

Фредерик ничего не смог расслышать и разглядеть; Розанета бросилась в спальню, к ней навстречу.

Когда она вернулась, щеки ее пылали; не произнеся ни единого слова, она уселась в одно из кресел. Слеза скатилась у ней по щеке; потом, обернувшись к молодому человеку, она тихо спросила:

— Как ваше имя?

— Фредерик.

— Ах! Фредерико! Вы ничего не имеете против, если я буду называть вас так?—и она ласково, почти влюбленно, рассматривала его.

Вдруг она радостно вскрикнула при виде входящей Ватназ. Эта женщина-писательница совсем не имела времени, чтоб терять его попусту; в шесть часов она должна председательствовать за своим табль-д'отом; от усталости она задыхалась. Она вынула из сака часовую цепочку с бумажкой, потом разные другие вещи, покупки.

— Знаешь, на улице Жубер пара великолепных шведских перчаток стоит тридцать шесть су! Твой красильщик просит подождать еще неделю. Относительно гипюра я сказала, что зайдут потом. Бюньо взял задаток. Вот, кажется, и все? За тобой сто восемьдесят пять франков!

Розанета достала из ящичка десять наполеонов. Ни у той, ни у другой не оказалось мелких денег. Фредерик предложил разменять.

— Я возвращаю вам,—сказала Ватназ, сунув пятнадцать франков в сак.—Но вы противный! Я больше не люблю вас. Вы ни разу не протанцовали в тот раз со мной!—Ах, дорогая, я видела на набережной Вольтера, в одной лавке, рамку, сделанную из чучел колибри, просто чудо! На твоём месте я приобрела бы ее. Посмотри, как ты находишь?

И она развернула отрез старинной шелковой материи, купленной в Тампле на средневековую куртку Дельмару.

— Он был у тебя сегодня?

— Нет!

— Странно!

И спустя минуту она спросила:

— Где ты проводишь сегодняшний вечер?

— У Альфонсины,—ответила Розанета; это была уже третья версия того, где она будет вечером.

Ватназ продолжала:

— А что твой старик? Что новенького?

Но быстрым подмигиванием Маршал приказала ей

молчать и проводила Фредерика до самой передней, чтоб разузнать, скоро ли он увидится с Арну.

— Попросите же его придти, само собой разумеется, не при супруге.

На верхней ступеньке лестницы у стены стояли зонтик и пара галош.

— Галоши Ватназ,—заметила Розанета.—Вот так ножка! Здорова же моя подружка!

И мелодраматическим тоном, растягивая последние слоги, прибавила:

— Вы не очень то ей доверяйтесь!

Фредерик, ободренный этой откровенностью, захотел поцеловать ее в шею. Она холодно сказала:

— О, пожалуйста! Это ровно ничего не стоит.

Он чувствовал себя легко, выйдя оттуда, ни мало не сомневаясь, что в скором времени Маршал сделается его любовницей. Это желание пробудило другое: несмотря на чувство некоторой досады, которую он питал к г-же Арну, ему захотелось ее видеть.

Кроме того, ему нужно было исполнить поручение Розанеты. Било шесть часов, он подумал: «теперь Арну, конечно, дома»—и отложил свой визит на завтра.

Г-жа Арну сидела в той же позе, как и в первый его визит, за шитьем детской рубашки. Мальчуган у ее ног играл деревянными зверями; Марта поодаль писала.

Он начал с похвалы ее детям. Она отвечала без глупого материнского преувеличения.

Комната ее носила отпечаток безмятежной жизни. Солнце светило сквозь стекла, углы мебели блестели, и так как г-жа Арну сидела у окна, то луч, ударяя в завитки ее затылка, пронизывал как-бы льющимся золотом ее ароматную кожу. Он сказал:

— Ну уж и выросла эта молодая особа за три года! Вы помните, барышня, как вы спали у меня на коленях в экипаже?

Марта не помнила.

— Вечером, возвращаясь из Сен-Клу.

Г-жа Арну взглянула как-то особенно грустно. Не бы-

ло-ли то запрещение намекать на общее их воспомина-
ние?

Ее прекрасные черные глаза с блестящими белками медленно двигались под немного тяжелыми веками, а в глубине зрачков светилась бесконечная доброта. Им снова завладела любовь еще более сильная, чем когда бы то ни было,—безмерная, неизмеримая: он оцепенел от созерцания; потом опомнился. Как поднять себе цену? Каким способом? И, крепко подумав, Фредерик ничего не нашел лучшего, как завести разговор о деньгах. Он начал с по-
годы,—здесь не так холодно, как в Гавре.

— Разве вы там были?

— Да по одному делу... семейному... наследство.

— Ах! я очень рада за вас,—заметила она с видом тако-
го искреннего удовольствия, что он был тронут, как будто она оказала ему большую услугу.

Потом она спросила его, что он предполагает делать, ведь у мужчины должно быть определенное занятие. Он вспомнил о своей выдумке и сказал, что надеется попасть в Государственный Совет, по протекции депутата Дамб-
реза.

— Может быть, вы знаете его?

— Только по фамилии.

Потом, понизив голос, она сказала:

— Он ведь водил вас тогда на бал, да?

Фредерик молчал.

— Мне только это и нужно было знать, благодарю вас.

Затем она задала ему два, три осторожных вопроса об его семье, о провинции. Очень любезно с его стороны, что он не забыл их, пробыв так долго на родине.

— Да... разве я мог забыть?—возразил он.—Вы сомне-
вались в этом?

Г-жа Арну поднялась.

— Я верю, что вы питаете к нам хорошее и прочное
чувство. Прощайте... до свиданья!

И она искренне, по-мужски, пожала ему руку. Что это: залог, обещание? Фредерик ощутил всю радость жизни, он едва сдерживался, чтоб не запеть, он чувствовал по-
требность раскрыть душу, проявить щедрость, подать милос-
тию. Он огляделся кругом, нет ли кого, кому бы мож-

но было помочь. Но ни один нищий не попался навстре-
чу; его слабое желание самопожертвования так и пропало
даром, он не принадлежал к людям, ищущим что-либо с
упорством.

Потом он вспомнил о своих приятелях. Первый, кто
пришел ему на память, был Гюссонэ, второй—Пеллерен.
Незавидное положение Дюссардье естественно обязывало
к особому вниманию; что до Сизи, то он радовался, что
ему удастся показаться перед ним. Он написал всем чет-
верым приглашение отпраздновать его новоселье в сле-
дующее воскресенье, ровно в одиннадцать часов, а Дэлорье
поручил привести Сенекаля.

Репетитор был уволен из третьего пансиона, за то, что
восстал против раздачи наград, обычая, который он счи-
тал противоречащим понятию о равенстве. Он служил те-
перь у строителя машин и уже с полгода не жил с Дэлорье.

Они раз'ехались без всякой горечи. Сенекаля послед-
нее время посещали блузники, все «патриоты», все рабо-
чие, все смелые люди, но это общество казалось скучным
адвокату. Сверх того, некоторые идеи друга, прекрасные,
как средства борьбы, ему не нравились. Но он молчал об
этом из властолюбия, не желая его упускать, чтобы руко-
водить им, когда наступит ожидаемый с таким нетерпе-
нием переворот, который позволит ему выбиться, занять
положение.

Убеждения Сенекаля были более бескорыстными.
Каждый вечер со службы он возвращался к себе в мансар-
ду и искал в книгах подтверждения своих мечтаний. Он
делал пометки на «Общественном Договоре», пичкал себя
«Независимым Обзорением». Он знал Мабли, Морелли,
Фурье, Сен-Симона, Конта, Кабэ, Луи-Блана, целый воз
писателей-социалистов, всех тех, кто требовал для всего
человечества одинаковых казарм, тех, кто желал бы его
развлекать в лупанариях, или же пригнать всех к одной
мерке; из всей этой смеси он выработал себе идеал демо-
кратической добродетели, заключающийся в чем-то вро-
де фермы и прядильни, своего рода американской Лакеде-
монии, где индивидуум существует лишь для того, чтобы
служить обществу, более всемогущему, самодержавному,

непогрешимому и более священному, чем Великие Ламы. Навуходоносоры. Он не сомневался в близком осуществлении этой концепции, на все же, что казалось враждебным его взглядам, ополчался с прямолинейностью математика и убежденностью инквизитора. Дворянские титулы, ордена, султаны, в особенности, ливреи, слишком громкая известность—все приводило его в негодование.—его научные занятия, как и ежедневные лишения, обостряли основную его ненависть ко всякому отличию, всякому превосходству кого бы то ни было.

Когда Фредерик передал ему записку, он спросил:

— Чем я обязан этому господину, чтоб быть с ним любезным? Если я нужен ему, то он может сам прийти ко мне.

Дэлорье все-же притащил его.

Они застали приятеля в спальне. Шторы и двойные драпировки, венецианское зеркало—все было налицо; Фредерик, в бархатной куртке, усевшись в большое глубокое кресло, курил турецкие папиросы.

Сенекаль сделался темнее тучи, словно ханжа, попавший в веселую компанию.

Дэлорье, окинув все одним взглядом, поклонился очень низко и произнес:

— Вашей светлости приношу свое глубокое почтение!

Дюссардые бросился к нему на шею.

— Значит, вы теперь богаты? Ах, как хорошо, кланюсь собакой, как хорошо!

Сизи явился с крепом на шляпе. После смерти бабушки у него в руках оказалось значительное состояние, и теперь он только и старался о том, чтоб чем-нибудь да отличаться от других, не быть как все, а главное иметь «отпечаток», как он выражался.

Между тем пробило двенадцать; все скучали. Фредерик все поджидал кого-то еще. При фамилии Арну Пеллерен скорчил гримасу. Он смотрел на него, как на ренегата, с тех пор, как тот бросил искусство.

— А не обойтись-ли без него? Что вы на это скажете?

Все были согласны.

Слуга в длинных гетрах растворил двери, и гости увидели высокую комнату, отделанную дубом с золотым ба-

гетом. Два поставца были уставлены посудой. Бутылки с вином подогревались на печке; клинки ножей блестели рядом с устрицами; было что то привлекательное в молочном тоне стаканов очень тонкого стекла, и стол ломился под дичью, фруктами и необыкновенными яствами. Все это не имело цены в глазах Сенекаля.

Он начал с того, что потребовал простого хлеба (на сколько возможно черствого) и заговорил об убийствах в Бюансе и о кризисе сестных припасов.

Ничего подобного не случилось бы, если бы больше покровительствовали земледелию, если бы все не было отдано во власть конкуренции и анархии, прискорбному принципу невмешательства. Вот каким путем образуется денежный феодализм, худший из всех. Но пусть они берегутся! Народ устанет, наконец, и у него хватит силы заставить капиталистов расплатиться кровью либо имуществом за причиненные страдания.

Фредерику представилась на мгновение толпа людей, с засученными рукавами, наполнившая большой салон Дамбрезов, копыями разбивающая зеркала.

Сенекаль продолжал: рабочий по причине недостаточности заработной платы в худшем положении, чем несчастный невольник, негр и парий, в особенности, если у него есть дети. Не избавляться-же ему от них посредством удушения их, как советует какой-то английский ученый, последователь Мальтуса!

II, обратившись к Сизи, он спросил:

— Что-же, и мы будем следовать советам этого гнусного Мальтуса?

Сизи, не знавший не только о гнусностях, но даже и о самом существовании Мальтуса, ответил, что ведь много помогают бедным высшие классы...

— А, высшие классы!—сказал со злорадным смешком социалист.—Прежде всего, высших классов нет, возвышаться можно лишь сердцем! Мы не желаем подаяний, слышите! Мы желаем равенства, справедливого распределения продуктов производства.

То, что он требовал, сводилось к тому, чтобы рабочий мог сделаться капиталистом, как солдат—полковником. Цеховое сословие, по крайней мере, ограничивая число

учеников, не допускало скопления рабочих, а чувство братства поддерживалось в них праздничными шествиями с флагами.

Гюссонэ, как поэт, жалел о тех временах; Пеллерен тоже; любовь к этому у него явилась после того, как в кафе Даньо он услышал о фаланстерах. Он провозгласил Фурье великим человеком.

— Полноте!—сказал Дэлорье.—Старый балда, который видит в государственных переворотах дело Божественного возмездия. Он пара г. Сен-Симону с его церковью, с их ненавистью к французской революции: кучка краснабаев, желающих возродить католицизм!

Де-Сизи из любознательности или, скорее, из-за того, чтобы показаться с лучшей стороны, тихо заговорил:

— Стало быть, эти ученые не одного мнения с Вольтером?

— Этого я отдаю вам!—воскликнул Сенекаль.

— Как так, а я думал...

— Ах! нет! Он не любил народа!

Потом разговор перешел на современные события: говорили об испанских браках, о расхищении казны Рошфором, о новом капитуле в Сен-Дени, который приведет к удвоению налогов, между тем как, по мнению Сенекаля, их и без того было достаточно.

— И для чего все это, Бог мой? Чтоб воздвигать дворцы для обезьян зоологического музея, производить на площадях парады блестящих полков, или же поддерживать среди придворных лакеев этикет готического стиля!

— Я прочел в «Модном Обзрении»,—сказал Сизи,—что в день св. Фердинанда, на балу, в Тюльери все были одеты «шикарами» *).

— Ну, разве это не убожество!—бросил социалист, пожимая с отвращением плечами.

— А версальский музей!—вскричал Пеллерен.—Поговорим о нем! Эти болваны обрезают одну картину Делакруа и удлинили Гро! В Лувре все так хорошо реставрируется, со всех полотен так скоблят и стирают, что лет через десять, вероятно, не останется ни одной картины.

*) Шикар—знаменитый плясун публичных балов; отсюда название костюма.
Прим. ред.

Что до той путаницы, которая царит в каталогах, то уже один немец написал целую книгу об этом. Честное слово, иностранцы смеются над нами!

— Да, мы являемся посмешищем Европы!—сказал Сенекаль.

— Это все потому, что искусство подчинено короне.

— Пока вы не будете иметь всеобщего избирательного права...

— Ах!—сказал художник (его уже двадцать лет не принимали ни на одну выставку и он был очень озлоблен на правительство),—оставили бы нас в покое! Я не требую ничего, кроме одного: Палата должна делать постановления в интересах искусства. Нужно учредить кафедру по эстетике, профессор должен быть одновременно и художником, и философом; такой человек сумеет, надеюсь, объединить массы. Вы сделаете хорошо, Гюссонэ, если коснетесь этого вопроса в вашей газете.

— Да разве печать более свободна, чем сами мы?—сказал с запальчивостью Дэлорье.—Когда подумаешь только, что нужно выполнить двадцать восемь формальностей, прежде чем спустить лодочку на реку, то является желание уехать к людоедам. Правительство пожирает нас. Все принадлежит ему: философия, право, искусство, даже свежий воздух! Обессиленная Франция хрипит под сапогом жандарма и рясоцерковника!

Так изобильно изливалась желчь будущего Мирабо. Наконец, он взял стакан, поднялся и в вызывающей позе, с загоревшимся взором, произнес:

— Я пью за полное разрушение существующего строя, т. е. за все, что зовется Привилегией, Монополией, Управлением, Чиновничеством, Властью, Государством!

И, возвысив голос, он продолжал:—Я хотел бы все это разбить, вот так же, как это!

И он бросил на стол дорогой бокал, который и разлетелся на тысячу осколков.

Все зааплодировали, громче всех Дюссардьё.

Каждая несправедливость глубоко возмущала его сердце. Он беспокоился за Барбэса; он принадлежал к тому типу людей, которые бросаются под экипаж, чтоб помочь упавшим лошадям. Его начитанность ограничи-

вилась двумя произведениями, озаглавленными: «Преступление королей» и «Тайны Ватикана». Он слушал адвоката, разинув от наслаждения рот. Затем, не выдержав, вскричал:

— Я бросаю упрек Луи-Филиппу еще и за то, что он предал поляков!

— Позвольте,—сказал Гюссонэ.—Прежде всего Польши не существует; все это выдумка Лафайэта. Поляки—все из предместья Сен-Марсо, таково общее правило,—все настоящие утонули с Понятовским.

Словом, «его этим не проведешь»: это все равно, что морской змей, отмена Нантского эдикта и «старая басня о Варфоломеевской ночи».

Сенекаль, не защищая поляков, подхватил последние слова литератора. Папы оклеветаны, они, в конце концов, защищают интересы народа. Он называл Лигу «зарей демократии, великим движением в защиту равенства против индивидуализма протестантов».

Фредерик был немного удивлен подобными воззрениями. Вероятно, они наскучили Сизи, ибо тот навел разговор на живые картины в театре «Жимназ», имевшие в то время большой успех у парижской публики.

Сенекаль стал сокрушаться по этому поводу. Подозреваемые зрелища развращают дочерей пролетария; впоследствии и они сами выставляют напоказ наглую роскошь. Зато баварских студентов, оскорбивших Лолу Монтэс, он одобрял. По примеру Руссо, он уважал больше жену угольщика, чем любовницу короля.

— Вы брезгаете трюфелями,—возразил величественно Гюссонэ. И стал защищать подобных женщин из расположения к Розанете. Потом, так как упомянули о ее бале и о костюме Арну, Пеллерен прибавил:

— Упорно ходят слухи, что дела его в скверном состоянии.

У продавца картин только что закончился процесс из-за участков в Бельвиле, он в настоящее время состоял в компании по разработке фарфоровой глины в нижней Бретани с такими же сомнительными дельцами, как и он сам.

Дюссардьё был хорошо осведомлен на этот счет, ибо его хозяин, г. Муссина, наводил справки об Арну у бан-

кира Оскара Лефевр и тот ответил, что считает его некредитоспособным, получив сведения, что ему приходилось переписывать векселя.

Дессерт был окончен; перешли в гостиную, обитую, как у Маршала, желтым шелковым штофом и в стиле Людовика XVI.

Пеллерен побранил Фредерика, что он не остановился на ново-греческом стиле; Сенекаль чиркал спички о штофные обои; Дэлорье не сделал никакого замечания, кроме суждения по поводу библиотеки, назвав ее библиотекой молодой девицы. Большею частью она состояла из современных писателей. Было невозможно говорить об их произведениях, ибо Гюссонэ моментально начинал рассказывать анекдоты, критиковал их наружность, характер, костюмы, восхваляя ум какого-нибудь писателя пятнадцатого ранга, сводя на нет истинно талантливого и, само собой разумеется, проливая слезы над современным падением литературы. Всякая деревенская песенка содержит в себе более поэзии, чем вся лирика XIX века: Бальзак захвален, Байрон уже свержен, Гюго ничего не смыслит в сцене и т. д.

— А почему,—спросил Сенекаль,—у вас нет сочинений наших поэтов—рабочих?

Сизи же, занимавшийся литературой, удивился, не видя на столе у Фредерика «каких-нибудь новых физиологий: физиологии курильщика, рыболова, таможенного чиновника».

Они довели Фредерика до такого раздражения, что ему захотелось вытолкать их всех вон. «Но я становлюсь дураком»,—подумал он. И, отведя в сторону Дюссардьё, спросил, не может-ли он быть в чем-нибудь ему полезен.

Честный юноша был растроган. Сделавшись кассиром, он ни в чем не нуждается.

Затем Фредерик увел Дэлорье в спальню и, вынув из своего бюро две тысячи франков, сказал:

— Вот, голубчик, на! Это остаток от моих прежних долгов.

— Но... а газета?—спросил адвокат.—Я, ведь, сказал уже об этом Гюссонэ.

Фредерик ответил, что он находится в настоящее

время в «несколько стесненном положении»; тот зло усмехнулся.

После ликеров, пили пиво; после пива — гогот; закурили трубки. Наконец, в пять часов дня все удалились; шли в ряд, молча; Дюссардые заметил, что Фредерик угостил их на славу; все согласилось.

Гюссонэ нашел, что завтрак был слишком тяжел. Сенекаль раскритиковал несерьезность обстановки.

Сизи думал то же самое. Нет совершенно никакого «отпечатка».

— Я нахожу, — заметил Пеллерен, — что он мог бы прекрасно заказать мне картину.

Дэлорье помалкивал, имея в кармане банковые билеты.

Фредерик, оставшись один, думал о своих друзьях и чувствовал, что его разделяет с ними точно глубокий ров, наполненный тьмой. Он протянул им руку, а между тем они не откликнулись на искренний порыв его души.

Он вспомнил слова Пеллерена и Дюссардые относительно Арну. Все это, конечно, выдумка, клевета? Но для чего? И он представил себе г-жу Арну, разорившейся, плачущей, распродающей обстановку. Эта мысль промучила его всю ночь, на следующий день он отправился к ней.

Не зная, как сообщить ей то, о чем он узнал, он спросил ее, владеет ли еще Арну землей в Бельвиле.

— Да владеет.

— Арну теперь, кажется, вошел в компанию по добычанию Бретонской фарфоровой глины?

— Да, это правда.

— И что же, дела идут хорошо?

— Да... я полагаю.

И так как он мялся, то она спросила:

— Что вы хотите сказать? Вы пугаете меня!

Он сообщил ей историю с отсрочкой векселей. Она опустила голову и сказала:

— Я подозревала это.

На самом деле, Арну ради выгодной спекуляции отказался продать свою землю, только заложил ее за большую сумму, а позже, не найдя покупателя, задумал

построить завод. Но расходы превзошли смету. Больше с ней ничего не было известно; муж избегает расспросов с ее стороны и утверждает постоянно, что «все идет хорошо».

Фредерик попытался успокоить ее. Быть может, это лишь временное затруднение. Во всяком случае, если до него дойдет что-либо, он известит ее.

— О, да! непременно! — сказала она с очаровательно умоляющим видом.

Итак, он может быть ей полезен. Вот каким путем он войдет в ее жизнь, в ее сердце!

Пришел Арну.

— Ах, как это мило было зайти захватить меня обедать!

Фредерик молчал.

Арну заговорил о пустяках, потом предупредил жену, что он вернется домой очень поздно, так как у него свидание с г. Удри.

— У него?

— Да, конечно, у него.

Он сознался, сходя по лестнице, что Маршал сегодня свободна, и они вместе приятно проведут время в Мулен-Руж; так как ему было всегда необходимо раскрыть кому-нибудь свою душу, то он заставил Фредерика проводить себя до ее квартиры.

Но вместо того, чтобы прямо идти к ней, он стал прогуливаться по панелли, все глядя в окна второго этажа. Вдруг занавески на окнах раздвинулись.

— А, браво! Старик Удри уехал! Прощайте!

Значит, она на содержании у старика Удри? Фредерик не знал, что и думать теперь.

С этого дня Арну сделался к нему более радушным, чем прежде, он приглашал его обедать к своей любознательной, и скоро Фредерик стал частым гостем сразу в обоих домах.

Бывать у Розанеты занимало. К ней заезжали вечером после клубов, театров выпить чашку чая, поиграть в лото; по воскресеньям у нее разыгрывали шарады; Розанета, самая неутомимая из всех, отличалась забавными выдумками: то она бегала на четвереньках, то надевала

колпак из бумажной материи. Чтобы рассматривать проходящих в окно, у ней была кожаная шляпа; она курила трубку с длинным чубуком, пела тирольские песни. Днем от нечего делать она вырезывала цветы из ситца и наклеивала их на оконные стекла, румянила обеих собаченок, зажигала курительные свечи или же гадала. Неспособная противиться своим желаниям, она, стоило какой-нибудь попавшейся на глаза безделушке понравиться, теряла сон, бежала покупать ее, потом выменивала ее на другую, уступала за бесценок материи, теряла драгоценности, сорила деньгами, способна была продать последнюю рубашку, чтобы достать ложу. Часто она просила Фредерика объяснить ей какое-нибудь непонятное слово, которое попало ей в книгу, но объяснения не слушала,—мгновенно перескакивала с одной мысли на другую, засыпая его вопросами. После приступов веселости у нее наступали минуты детского гнева; или же она мечтала, сидя на полу перед камином, опустив голову, обхватив колени руками, неподвижное оцепеневшего ужа. Безо всякого стеснения она одевалась в присутствии Фредерика; медленно натягивала шелковые чулки, потом умывала лицо холодной водой и откидывалась назад, подобно трепещущей наяде; белизна ее зубов при смехе, блеск глаз, красота, веселость—все нравилось Фредерику и било его по нервам.

Г-жу Арну он почти всегда заставлял за преподаванием грамоты своему сынишке или за стулом Марты, которая разучивала гаммы; когда она шила, для него было великим счастьем поднять иногда ножницы. Во всех движениях ее было спокойное величие; ее маленькие руки, казалось, были созданы для того, чтобы раздавать милостыню, утирать слезы; ее голос, немного глухой от природы, обладал ласковыми интонациями и легкостью вестерка.

Ее совсем не трогала литература, но ее ум очаровывал простотой и проникновенностью. Ей нравились путешествия, шум ветра в лесу; она любила гулять под дождем с непокрытой головой. Фредерик слушал ее с восхищением, думая, что все это ведет к сближению между ними.

Частые посещения обеих этих женщин были в его жизни как бы двумя музыкальными темами; одна была игривая, увлекательная, веселая, другая—величественная, почти молитвенная; звуча в нем одновременно, они все усиливались и мало-по-малу смешивались; если г-жа Арну прикасалась к нему хотя бы пальцем, его тотчас же чувственно манил образ другой, более доступной; а будучи взволнован в обществе Розанеты, он тотчас же вспоминал свою настоящую любовь.

Эта путаница происходила еще и от сходства их обстановки. Один из старинных шкапиков, которые он когда-то видал на бульваре Монмартр, стоял теперь в столовой у Розанеты, другой в гостиной г-жи Арну. В обеих квартирах столовая сервировка была одинакова: как там, так и здесь на креслах валялись бархатные ермолки, наконец, целая вереница «маленьких подарков»,—экраны, ящики, веера,—переходила от любовницы к жене и обратно, ибо Арну, без малейшего стеснения зачастую брал подаренную им вещь у одной и подносил ее другой.

Маршал издевалась над подобными его уловками вместе с Фредериком. Раз в воскресенье после обеда она повела его за дверь прихожей и показала ему, что в кармане пальто Арну были сладкие пирожки, которые он стащил со стола, само собой разумеется, для своей семьи. Арну нередко проделывал штуки, граничащие с глупостями. Он считал своим долгом проводить городскую таможенную, никогда не ходил в театр за деньги, а с дешевым билетом умел пролезть в первые ряды, и рассказывал как о забавной шутке, что в купальных он опускал в кружку для прислуги пуговицу от брюк, вместо монеты в десять су. Все это не мешало, однако, Маршалу любить его.

Впрочем, однажды, говоря о нем, она заметила:

— Ах, как он наскучил мне, в конце концов! Довольно! Честное слово я найду другого!

Фредерик полагал, что другой уже найден и что имя его Удри.

— Что-ж,—сказала Розанета,—хотя бы и так!

Потом, со слезами в голосе, добавила:

— Я просила его о немногом, однако, он и этого не желает сделать, животное. Не желает—и баста! А обещаниями забрасывает.

Он даже обещал ей четвертую часть барышей со своей знаменитой фарфоровой глины; однако, никаких барышей не было, точно так же, как и кашемировой шали, обещанной полгода тому назад.

У Фредерика мелькнула мысль подарить ей эту шаль. Но Арну мог принять это за урок и рассердиться.

Однако, он добр, сама жена говорит это. Но такой сумасброд! Вместо того, чтобы ежедневно водить гостей к себе, он стал теперь принимать их в ресторанах. Он покупал совершенно бесполезных вещей, золотых цепочек, карманных часов, всевозможных хозяйственных принадлежностей. Раз г-жа Арну показала Фредерику в коридоре целый склад водяных и угольных грелок, самоваров. Наконец, однажды призналась ему, в своих тревогах: Арну заставил ее подписать вексель на имя Дамбреза.

Между тем, Фредерик все еще не бросал своих литературных проектов из некоторого чувства уважения к самому себе. Он хотел написать историю эстетики, сводку всех своих разговоров с Пеллереном, потом ряд разных периодов Великой Французской Революции, и, наконец,—подчиняясь косвенному влиянию Дэлорье и Гюссонэ,—большую комедию.

Во время работы часто перед ним воскресали образы той, то другой женщины, он боролся с желанием увидеть ее, но не выдерживал и бывал еще печальнее, возвращаясь от г-жи Арну.

Однажды утром, когда он предавался меланхолии у камина, вошел Дэлорье. Сенекаль своими зажигательными речами напугал своего хозяина и опять очутился без всяких средств к существованию.

— Что-же ты собственно хочешь от меня?—сказал Фредерик.

— Ничего! У тебя нет денег, это я знаю. Но для тебя сущие пустяки выхлопотать ему место через Дамбреза или Арну.

Последнему, должно быть, нужен инженер на заводе.

Фредерика вдруг осенила мысль: Сенекаль мог бы уведомлять его об отлучках Арну из дому, передавать письма и по мере надобности оказывать тысячи услуг. Мужчина мужчине всегда оказывает подобные услуги. Кроме того, он найдет способ пользоваться им так, что тот ни о чем и не догадается. Счастливый случай дает ему пособия, — это хорошее предзнаменование, не надо его упускать; притворяясь равнодушным, он ответил, что это, по всем вероятностям, может быть устроено и что он этим займется.

Он тотчас же принялся за дело. У Арну было много хлопот с заводом. Он искал медно-красную китайскую краску; но при обжигании этот цвет улетучивался. Чтобы избежать неровностей на фаянсовых вещах, он стал примешивать к глине известь; но вещи большею частью лопались, эмаль на рисунках пузырилась, пластинки коробились и, приписывая все эти невзгоды плохому оборудованию завода, он хотел поставить новые дробильные мельницы, новые сушилки.

Фредерик вспомнил это; отправившись к Арну, он объявил, что нашел человека, очень энергичного, способного отыскать этот знаменитый красный тон. Арну подпрыгнул от радости, но, выслушав его до конца, ответил, что ему никого не нужно.

Фредерик распространился о необыкновенных познаниях Сенекаля,—он и инженер, и химик, и счетовод, будучи замечательным математиком.

Заводчик согласился повидаться с ним.

Но они едва не разошлись из-за жалованья. Фредерик вмешался, и к концу недели условие между ними было подписано.

Но завод находился в Крейле—Сенекаль ни в чем не мог помогать ему. И это простое соображение обескуражило его, точно какое-нибудь злосудное заключение.

Он думал, что чем больше удастся отвлекать Арну от жены, тем более он сможет рассчитывать на успех у нее. И стал постоянно восхвалять Арну Розанету; он указал ему на все его вины по отношению к ней, передал ему ее неопределенные угрозы и даже упомянул о каше-

мировой шали, не скрыв и того, что она обвиняла его в скупости.

Арну, задетый этим (и, сверх того, встревоженный), принес Розанете шаль и побранил ее за то, что она жаловалась на него Фредерику; когда же она возразила, что она сотню раз напоминала ему об этом, он стал уверять, что за множеством дел он все забывал.

На другой день Фредерик пришел к ней. Было уже два часа, но Маршал все еще была в постели; а у ее изголовья, сидя перед маленьким круглым столиком, Дельмар доедал остатки страсбургского паштета. Она издала закричала:

— Я получила ее, получила!

Потом, взяв его за уши, поцеловала в лоб, стала горячо благодарить его, говорить ему «ты» и даже усадила его на постель. Ее нежные красивые глаза сверкали, влажный рот улыбался, рубашка без рукавов не скрывала ее округленных рук; время от времени он чувствовал сквозь батист упругие формы ее тела.

Дельмар, между тем, говорил, вращая глазами:

— Ну, уж ты того... мой друг, дорогая моя...

То же самое повторялось и в следующие разы. Как только Фредерик входил, она становилась на подушку, чтоб ему было удобнее поцеловать ее, называла его милым, дорогим, втыкала цветок ему в петлицу, поправляла галстук; все эти любезности удваивались, если присутствовал Дельмар.

Не заигрывание-ли это? Фредерик так и думал. Что до измены дружбе, то Арну на его месте не стал-бы смущаться! Да он и имел право не быть добродетельным с его любовницей, раз он так добродетелен с его женой; он верил, что именно только из-за него он был по отношению к ней безупречен или, скорее, хотел заставить себя в это поверить, дабы оправдать свою чудовищную робость. Однако, он сам себе показался глупым и решил действовать с Маршалом решительней.

И вот однажды, когда она наклонилась над комодом, он подошел к ней и сделал столь выразительный, недвусмысленный жест, что она, вспыхнув, выпрямилась. Он возобновил свои поползновения; тогда она разразилась

слезами, говоря, что хотя она и очень несчастна, но что это еще не причина ее презирать.

Но он все-таки повторил свои попытки. Она стала вести себя иначе: заливалась смехом. Он думал, что будет очень тонко отвечать в том-же роде, и преувеличенно хохотал. Однако, он высказывал черезчур много веселости, чтоб можно было поверить в его искренность; мешали возникновению серьезного чувства и приятельские замашки их. Наконец, однажды, она заявила ему, что не желает остатков от другой.

— От какой другой?

— Рассказывай! Ступай к своей Арну!

Фредерик в самом деле говорил об ней часто. Арну в свою очередь имел такую-же привычку; ей, наконец, надоело это—вечно слушать похвалы этой женщине; ее слова были чем-то в роде отместки.

Фредерик не забыл ей этого.

Она стала к тому-же сильно раздражать его. Иногда, выставя себя опытной, она говорила о любви со злобой, с скептической усмешкою, которая возбуждала в нем желание ударить ее. Спустя четверть часа она доказывала, что любовь—единственно важное на свете, и, скрестив руки на груди, точно прижимая кого-то, бормотала с полупонуженными ресницами, точно в полуопьянении: «О, да! Любовь прекрасна! Да, прекрасна!». Не было никакой возможности понять ее, узнать, например, любит-ли она Арну: она смеялась над ним и в то-же время, казалось, ревновала его. То-же самое было и по отношению к Ватназ: то она называла ее подлющей, то лучшим своим другом. Во всей ее особе, даже в прическе было что-то необъяснимое, что-то вызывающее,—и он жаждал ее, главным образом, ради удовольствия победить ее, властвовать над нею.

Как-же достигнуть этого? Часто Розанета выпроваживала его без всякого стеснения, появляясь в дверях и шепча: «Я занята, до вечера!». Или-же он заставлял ее в обществе двенадцати человек. Когда-же они оставались наедине, то можно было побиться об заклад, что ежеминутно

явятся всевозможные помехи. Он приглашал ее обедать, она всегда отказывалась; раз согласилась, но не приехала.

Наконец, хитроумная мысль запала ему в голову.

Узнавши от Дюссардьё о недовольстве им Пеллерена, он придумал заказать ему портрет Маршала в натуральную величину, который займет много сеансов; сам он не пропустит ни одного; обычная неаккуратность художника поможет им оставаться наедине. Он предложил Розанете заказать этот портрет и преподнести его своему дородному Арну. Она согласилась, представив себе свой портрет в Большом Салоне, на самом почетном месте, с толпящейся перед ним публикой. Все газеты заговорят о нем и это сразу выдвинет ее.

Что до Пеллерена, то он с алчностью ухватился за предложение. Этот портрет должен его прославить и быть шедевром.

Он перебрал в памяти все портреты великих мастеров, какие он только знал, и решил, в конце-концов, остановиться на Тициане, прибавив к нему украшения в стиле Веронеза. Итак, он приведет в исполнение свой проект—писать без искусственных теней, осветить натуру ярко, одним тоном, а блики рассеять по аксессуарам!

Не одеть-ли ее,—думал он,—в розовое шелковое платье и в восточный бурнус? Ах, нет! К чорту бурнус! Лучше в голубой бархат, на густом сером фоне. Можно прибавить к этому воротник из белого гипюра, дать в руку черный веер, а сзади повесить драпировку алого цвета.

И он каждый день все расширял свой замысел, все более восхищался им.

У него забилось сердце, когда Розанета приехала к нему в сопровождении Фредерика на первый сеанс. Он поставил ее на что-то вроде эстрады посредине комнаты; жалуюсь на свет, жалея о прежней мастерской, он заставил ее сначала облокотиться на пьедестал, потом сесть на кресло и то отходил от нее, то приближался к ней, оправлял щелчком складки платья, всматривался в нее, прищуривая глаза, и односложно советовался с Фредериком.

— Нет! Нет!—вскричал он,—я возвращаюсь к прежней идее. Я закачу вас венецианкой!

На ней будет пунцовая бархатная мантия с золотым

поясом, из-под широкого рукава, подбитого горностаем, будет видна обнаженная рука, опирающаяся на балюстраду лестницы, поднимающейся сзади нее. С левой стороны высокая колонна будет сливаться вверх с аркой. Под ней неясно будут выделяться купы апельсиновых деревьев, почти черных, между которыми будет просвечивать синее небо в белых облаках. На постаменте, покрытом ковром,—серебряное блюдо, букет цветов, янтарные четки, кинжал и старинный ящичек из слоновой кости, немного пожелтевший, полный золотыми цехинами; несколько монет, рассыпанных по полу, образуют дорожку блестящих пятен, для того, чтобы привлечь внимание к кончику ее ноги, ибо она будет стоять на предпоследней ступеньке, в непринужденной позе, при полном освещении.

Он отправился за ящиком из-под картин, который и был поставлен на эстраду вместо ступеньки, потом, вместе аксессуаров, разложил на табурете, заменяющем балюстраду, матросскую синюю блузу, щит, коробку из-под сардин, пучок перьев, ножик и, разбросав перед Розанетой с дюжину медяков; заставил ее принять должную позу.

— Вообразите, что перед вами настоящие сокровища! Головку немного направо! Прелестно! И не двигайтесь! Эта величественная поза идет к роду вашей красоты.

На ней было шотландское платье, в руках она держала муфту и едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться.

— Что до прически, то мы перевьем ее нитью жемчуга: это всегда эффектно в рыжих волосах.

Маршал вскрикнула, уверяя, что у нее волосы не рыжие.

— Оставьте! Художники называют рыжим цветом совсем не то, что буржуа.

Он стал набрасывать эскиз, наметил главные пятнышки картины; так как его мысли были полны великими мастерами Возрождения, то он только о них и говорил. Целый час он вслух трезил об этих великих жизнях, исполненных гения, славы, пышности, триумфальных въездов в города и пиршеств при свете факелов, среди полунагих женщин, прекрасных, как богини.

— Вы рождены для тех времен. Женщина вашего типа достойна принца.

Подобные комплименты очень льстили Розанете.

Назначили следующий сеанс; Фредерик взялся доставить аксессуары.

Так как от жаркой печки у Розанеты закружилась голова, то возвращались пешком по улице дю-Бак, через Королевский мост.

Была хорошая, бодрящая, яркая погода. Солнце садилось, некоторые окна в Ситэ-блестели, как золото, тогда как позади вправо, башни Собора Парижской Богоматери вырисовывались темными силуэтами на синем небе, мягко заволакивавшемся на горизонте сероватым туманом. Поднялся ветер; Розанета объявила, что она голодна, и они вошли в Английскую кондитерскую.

Молодые женщины с детьми ели, стоя у мраморного прилавка, где были наставлены тарелки с пирожными под стеклянными колпаками. Розанета проглотила два пирожка с кремом. Сахарная пудра оставила уски на углах ее рта. Время от времени, чтобы стереть ее, она вынимала из муфты носовой платок; лицо ее в зеленой шляпке напоминало распутившуюся среди листьев розу. Отправились дальше. На улице Мира она остановилась у магазина драгоценностей и стала любоваться браслетом; Фредерику захотелось подарить ей его.

— Нет,—сказала она,—побереги деньги!

Эти слова задели его за живое.

— Что с тобою, детка? Тебе грустно?

И снова завязался разговор, который, по обыкновению, перешел на объяснения в любви.

— Ты ведь прекрасно знаешь, что это невозможно.

— Почему?

— А потому, что...

Они шли рядом, под руку, оборки ее платья задевали его ноги. Ему припомнились другие зимние сумерки, когда по этому самому тротуару шла с ним рядом г-жа Арну; это воспоминание так завладело им, что он не замечал более Розанеты и не думал о ней.

Она смотрела в пространство, немного повиснув на его руке, подобно ленивому ребенку. Был как раз тот час,

когда возвращались с катания, и экипажи быстро мелькали по сухой мостовой. Вероятно, лстивые слова Пеллере-на пришли ей на память, она вздохнула и сказала:

— Ах, есть же счастливые! Я, действительно, создана для богатого человека.

Он резким тоном заметил:

— Но ведь у вас же есть один!—ибо г. Удри слыл за человека с тремя миллионами.

Она призналась, что весьма желала бы избавиться от него.

— Кто же вам мешает?

И он дал волю едким насмешкам над этим старым буржуа в парике, доказывая ей, что подобная связь недостойна ее, и что она должна ее порвать.

— Да,—ответила Маршал, точно разговаривая сама с собой,—тем, разумеется, я и кончу.

Фредерик восхитился подобным бескорыстием. Она замедлила шаг, он подумал, что она устала. Но она упорно отказывалась от извозчика и рассталась с ним у своего под'езда, послав ему воздушный поцелуй.

— Ах, вот досада! Думают же дураки, что я богат!

Мрачным возвратился он домой. Гюссонэ и Дэлорье ждали его.

Литератор, сидя за письменным столом, рисовал головы турок, а адвокат дремал, забравшись с грязными ногами на диван.

— А! наконец-то!—воскликнул он.—Но что за суровый вид! Можешь ты выслушать меня?

Его репутация, как репетитора, падала,—он пичкал своих учеников совсем неподходящими к экзаменам теориями. Он выступал два раза в суде, но дела проигрывал, и всякая новая неудача укрепляла его все более в его давнишней мечте о газете, где он мог бы высказываться, мстить, изливать свою желчь, развивать свои идеи. Газета дала-бы ему и деньги и известность. В этих видах он и приводил Гюссонэ, хозяина листка.

Теперь он выпускает листок на розовой бумаге; в нем изобретаются утки, составляются ребусы, стараются заводить полемику и даже (несмотря на тесноту помещения) подумывают давать концерты. Годовым подпис-

чикам «предоставляется в виде премии одно место в одном из главных театров Парижа; и даже более того: редакция берет на себя труд давать иногородним все справки относительно артистического мира». Но типографщик грозит, за три срока должны хозяину дома, возникают всевозможные затруднения—словом Гюссонэ давно бросил бы «Искусство», если бы не уговоры адвоката, который оказывает ему нравственную поддержку. Вот он и привел его с собою, чтобы придать делу больший вес.

— Мы пришли по поводу газеты,—сказал он.

— Ты еще не оставил мысли о ней?—спросил Фредерик рассеянно.

— Разумеется, не оставил.

И он еще раз изложил ему свой план.

Благодаря подробным отчетам о бирже, они завяжут отношения с капиталистами и добьются таким образом нужных ста тысяч франков для залога. Но для того, чтобы листок мог превратиться в политическую газету, нужно прежде всего широко поставить клиентуру, а для этого понадобятся кой-какие расходы, плюс траты на бумагу, печатание, контору; короче, нужна сумма в пятнадцать тысяч франков.

— У меня нет таких средств,—сказал Фредерик.

— А у нас?—спросил Дэлорье, скрестив руки на груди.

Фредерик, задетый этим жестом, возразил:

— Разве я виноват в этом?

— Ну, да, конечно! У них есть дрова в камине, трюфеля за обедом, мягкая постель, библиотека, карета, все блага жизни. Если другой стучит от стужи зубами на чердаке, обедает за франк, работает, как каторжник, и погибает в нищете, разве в этом они виноваты?

И он повторял: «Разве в этом они виноваты?»—все с той цинической иронией, которая отдавала адвокатом. Фредерик хотел что-то сказать.

— Впрочем,—перебил Дэлорье,—я понимаю; есть потребности... аристократические; без сомнения, какая-нибудь женщина...

— Ну, а если-бы даже и так? Разве я не волен...

— О, очень волен!

И, помолчав минуту, Дэлорье продолжал:

— Это так удобно,—давать обещания!

— Боже мой! Да я от них и не отрекаюсь!—сказал Фредерик.

Адвокат продолжал:

— В коллегии даются клятвы образовать содружество, подражать «Тринадцати» Бальзака. Потом, когда устроятся: «Прощай, старина, ступай на все четыре стороны». Тот, кто мог-бы оказать столько услуг другому, пользуется всем один.

— Как так?

— Ты даже не ввел нас к Дамбрезам.

Фредерик осмотрел его с ног до головы; в старом сюртуке, тусклых очках и с поблекшим лицом, адвокат показался ему настоящим школьным педантом, и он не смог удержать на губах пренебрежительную улыбку. Дэлорье, заметив это, покраснел.

Он надел уже шляпу, чтобы удалиться. Гюссонэ, испугавшись такого оборота дела, пытался его успокоить умоляющими взглядами, и видя, что Фредерик вернулся к ним спиной, заговорил:

— Ну, батенька, будьте меценатом! Покровительствуйте искусствам!

Фредерик, с внезапной уступчивостью, взял лист бумаги и, написав несколько строк, протянул его Гюссонэ. Лицо журналиста просияло и он передал письмо Дэлорье:

— Просите прощения, милостивый государь!..

В письме их друг заклинал своего нотариуса прислать ему как можно скорее 15.000 франков.

— Ну, я опять узнаю тебя,—сказал Дэлорье

— Клянусь честью дворянина, — прибавил журналист—вы, право, молодец, вас можно поместить в галерею полезных граждан!

Адвокат добавил:

— Здесь ты ничего не потеряешь, дело верное.

— Ей Богу!—вскричал Гюссонэ,—за это я положу голову на плаху.

И он наговорил столько глупостей и наобещал

столько чудес (в которые он, может, и верил), что Фредерик не знал, что это было: насмешка над ним или над самим собой.

В тот-же вечер он получил письмо от матери. Она слегка труня над ним, удивлялась, что он все не министр. Потом она писала о своем здоровье, сообщала, что г. Рок теперь бывает у нее. «С тех пор, как он стал вдовцом, я думаю, что его можно принимать в дом. Луиза очень изменилась к лучшему». И в конце: «ты ничего не рассказал мне о своем столь ценном для тебя знакомстве с Дамбрезами; на твоём месте я использовала бы его».

В самом деле—следовало-бы. Возвышенные мечтания покинули его, состояние его (он это видел) было совсем недостаточным; ибо по уплате долгов и значительной суммы, обещанной друзьям, доход уменьшится, по меньшей мере, на четыре тысячи франков. Кроме того, он и так ощущал потребность перемены образа жизни, пристроиться к чему-нибудь. Поэтому на другой же день, за обедом у Арну, он рассказывал, что мать огорчается тем, что он все никак не избрет себе профессии.

— А я то думала,—заметила г-жа Арну,—что г. Дамбрез должен бы был устроить вас в Государственный Совет. Для вас это место будет очень подходящим.

Значит, и она хочет этого. Он повиновался.

Банкир, как и в первый раз, сидел за конторкой, и жестом попросил его обождать несколько минут: он разговаривал о чем-то очень важном с господином, стоявшим спиной к двери. Дело шло о слиянии нескольких каменноугольных компаний.

По сторонам зеркала висели портреты генерала Фуа и Луи-Филиппа; полки с делами доходили до потолка, в комнате стояло только шесть соломенных стульев. Дамбрез не нуждался в лучшем помещении для своих дел; оно было похоже на темные кухни, где приготовляются кушанья для пышных пиров. Особенно привлекли внимание Фредерика два чудовищно огромных нестергаемых шкапа, стоящие по углам. Он все задавал себе вопросы, сколько миллионов могло поместиться в них. Банкир отпер один из них, железные дверцы от-

крылись, но ничего, кроме синих тетрадей, Фредерик не увидал.

Наконец, господин прошел мимо Фредерика. Это был старик Удри. Оба, покраснев, поклонились, что показалось странным Дамбрезу. Впрочем, он в высшей степени был любезен. Ничего не было легче, как оказать протекцию молодому другу у министра юстиции. Там будут, конечно, счастливы, если он поступит к ним... И Дамбрез довел свою любезность до того, что пригласил его к себе на вечер, который давал на днях.

Фредерик уже садился в карету, чтобы ехать к Дамбрезам, когда ему подали записку от Рованеты. При свете фонаря он прочел: «Дорогой, я последовала вашим советам. Я только что выгнала своего старика. С завтрашнего вечера я — свободна! Скажите, разве я — не молодец?».

И ничего более! Но ведь это—приглашение на освободившееся место. Он тихо вскрикнул, вскочил в карету, сунул записку в карман и отправился.

Два конных городских стояли на улице. Ряды плетков горели по сторонам ворот; во дворе кричали слуги, чтобы освободить место экипажам, подъезжавшим к крыльцу под навес. Но в вестибюле царила совершенная тишина.

Высокие деревья заполняли пролет между лестницами, фарфоровые шары лили свет, придававший белым стенам атласно-волнистый лоск. Фредерик бодро поднялся по лестнице. Лакей провозгласил его фамилию, г. Дамбрез протянул ему руку; почти тотчас же появилась г-жа Дамбрез.

На ней было платье цвета мальвы, отделанное кружевами, она была более обыкновенного завита — и ни одной драгоценности.

Она посетовала на его редкие посещения, нашлась сказать ему несколько слов. Приглашенные все прибывали; при поклоне одни изгибали торс на бок, другие перегибались надвое, третьи наклоняли только голову; проходили супруги, целые семьи, и все рассеивались по уже многолюдному салону.

Под люстрой на громадном пуфе стояла жардиньерка,

из которой цветы свешивались, точно султаны, над головами женщин, сидевших на нем. Некоторые заняли кресла, расположенные в два прямых ряда, симметрично прерываемых длинными оконными занавесями алого бархата и высокими пролетами дверей с золочеными карнизами.

Толпа мужчин, стоявшая со шляпами в руках, издали казалась сплошной черной массой, местами оживленной красными орденскими ленточками, и казалась еще мрачнее от однообразия белых галстуков. За исключением молодых людей с едва пробивающейся растительностью, повидимому, все скучали; несколько дэнди, с вялым видом, покачивались на каблуках. Седых голов и париков было не мало; кое-где блестели лысые черепа; на багровых или очень бледных лицах можно было усмотреть одинаковые следы крайнего утомления, — все присутствующие принадлежали или к политическим деятелям или же к крупным дельцам. Г. Дамбрез пригласил также многих ученых, судейских, двух-трех светил из медицинского мира и с скромным видом отклонял похвалы, сыпавшиеся на него со всех сторон по поводу его вечера, и намеки на его богатства.

Повсюду сновали лакеи с широкими золотыми галунами. Большие канделябры, похожие на огненные букеты, сверкали на фоне обоев и отражались в зеркалах, а в столовой, отделанной жасминовым трельяжем, буфет напоминал престол в соборе или выставку золотых и серебряных вещей, — столько было там блюд, крышек, приборов, серебряных и вызолоченных ложек и граненого хрусталя, радужные лучи которого перекрещивались над яствами. Три других гостинных были переполнены предметами искусства: по стенам висели пейзажи больших мастеров, на столах стояли изделия из слоновой кости и фарфора, на консолях — китайские вещицы; лаковые ширмочки заслоняли окна, кусты камелий возвышались на каминах; а издали доносились звуки веселой музыки, напоминавшие жужжание пчел.

Кадриль танцевали немногие, и по небрежной манере, с какой танцующие скользили своими бальными башма-

ками, можно было подумать, что они исполняют тяжкую обязанность. До Фредерика долетали фразы:

— Были ли вы на последнем благотворительном празднике у Ламбер?

— Нет, не была.

— Скоро станет невыносимо жарко.

— О, да! И душно!

— Чья это полька?

— Право, не знаю, сударыня.

А сзади Фредерика трое забавных старичков, ставши у окна, шепотком делали непристойные замечания; некоторые вели беседы о железных дорогах, о свободе торговли; спортсмен рассказывал охотничий анекдот, легитимист спорил с орлеанистом.

Переходя от группы к группе, Фредерик дошел до комнаты, где играли в карты, и здесь в кругу важных людей он увидел Мартинона, «в настоящее время причисленного к столичному прокурорскому надзору».

Его толстое, воскового цвета лицо обрамлялось, как и полагается, черной бородкой, подстриженной в кружок, настоящим чудом искусства, так расчесан был каждый волосок; храня золотую середину между нарочитым щегольством, свойственным его возрасту, и достоинством, которое налагала занимаемая им должность, он то подсовывал большой палец под мышку, как щеголь, то закладывал за жилет руку в подражание доктринерам. На нем была блестящая лаковая обувь, но виски он сбрасывал, чтобы придать себе лоб мыслителя.

Холодно сказав несколько слов Фредерику, он опять повернулся к своему собеседнику. Один господин, крупный собственник, говорил:

— Это класс людей, мечтающих об общественном перевороте.

— Они требуют организации труда! — заметил другой. — Понимают ли они, что говорят?

— Что вы хотите? — начал третий. — Когда видишь, что г. Женуд протягивает руку к газете „Siècle“.

— А консерваторы сами себя называют прогрессистами! Чтоб привести нас — к чему? К республике? Как будто во Франции это возможно!

Все подтвердили, что республика во Франции невозможна.

— Что ни говори, — заметил во всеуслышание какой-то господин, — слишком уж много занимаются революцией! О ней пишут без конца.

— Именно, — подхватил Мартинон, — а между тем, надо полагать, есть более серьезные предметы для изучения.

Депутат правительственной партии завел речь о театральных скандалах.

Вот, например, эта новая драма, «Королева Марго» — она действительно переходит все границы. Ну, к чему там говорится о Валуа? Все для того, чтобы унижить королевское достоинство! То же самое, что и в вашей прессе. Сентябрьские законы, что там ни говори, бесконечно мягки. Я бы всех этих журналистов судил военным судом, я зажал бы им рот. За малейшую дерзость — полевой суд — и дело с концом.

— Берегитесь, сударь, берегитесь, — сказал профессор. — Вы нападаете на драгоценные завоевания 1830 года! Будем уважать наши вольности! Нужно скорее децентрализовать, расселить излишек горожан по деревням.

— Но и они пропитаны заразой! — вскричал католик. — Сначала укрепите в них религию!

Мартинон с поспешностью добавил:

— Действительно, вот это — узда... Все зло проистекает из столь современного желания выйти из своего класса и добиться роскоши.

— Однако, — вставил один промышленник, — роскошь благоприятствует развитию торговли. Поэтому я и одобряю герцога де-Немура за требование, чтобы на его пещера являлись в коротких панталонах.

— А г. Тьер приехал к нему в длинных! Вы знаете, что он сказал?

— Да, очаровательно, но он обращается в демагога. И речь его по вопросу совместительства не осталась без влияния на покушение 12 мая.

— Ну вот?

— Ой ли?

Разговаривающим пришлось расступиться, чтоб дать пройти в игральную комнату лакею с подносом.

На ломберных столах стояли свечи под зелеными абажурами, лежали колоды карт и золотые монеты. Фредерик остановился у одного стола, проиграл пятнадцать золотых, бывших у него в кармане, повернулся на одной ноге и очутился на пороге будуара, где была в то время г-жа Дамбрез.

Дамы заполняли его, они сидели на мягких табуретках одна возле другой. Их длинные юбки топорщились и напоминали волны, из которых выступали их фигуры, в вырезе корсажей виднелись груди. Почти у каждой в руках было по букету фиалок. Матовый тон перчаток оттенял белизну рук, бахрома свешивалась с их плеч и казалось, что при малейшем движении платье спадет с них. Вызывающий вид туалетов сменялся скромностью лиц; у многих было почти животное спокойствие. Это собрание полуголых женщин напоминало гарем, — на ум Фредерику пришло еще более грубое сравнение. Действительно, здесь были представлены все виды красоты: англичанки с профилями словно взятыми из кипсеков *), итальянки с черными глазами, сверкавшими подобно Везувия, три сестры в голубых платьях, — нормандки, свеженькие, как яблони в апреле, высокая девица с рыжими волосами, в аметистовом ожерелье; белые искры брильянтов, дрожащих в згрезках на головах, сверкающие пятна драгоценных камней, выставленных на грудях, и мягкий отблеск жемчугов, оттеняя лица смешивались с переливами золотых колец, с кружевами, пудрой, перьями, с коралловыми ртами, с перламутром зубов. Потолок куполом придавал будуару вид клумбы, и от движения вееров распространялся по комнате душистый ветерок.

Фредерик, поместясь сзади них с моноклем в глазу, заметил, что не у всех плечи безукоризненны; он думал о Маршале, это умеряло его вожделения, и он успокаивался.

Он рассматривал г-жу Дамбрез и находил ее очаро-

*) Английские альбомы с гравюрами. Прим. ред.

вательной, несмотря на ее немного большой рот и слишком открытые ноздри. В ней была какая-то особенная грация. Локоны придавали ей страстную томность, а лоб агатового тона, казалось, обнаруживал ум и властный характер.

Она посадила рядом с собой племянницу своего мужа, молоденькую девицу, в достаточной мере некрасивую. Время от времени она поднималась, встречая входящих; говор женских голосов, усиливаясь, походил на щебетание птиц.

Разговор шел о тунисских посланниках, об их костюмах. Одна из дам присутствовала на последнем заседании в Академии; другая завела речь о Дон-Жуане Мольера, возобновленном во Французском театре. Показав на племянницу, г-жа Дамбрез поднесла палец ко рту, но улыбка, игравшая на ее губах, опровергала подобную строгость.

Вдруг в противоположных дверях появился Мартинон. Г-жа Дамбрез поднялась. Он предложил ей руку Фредерик, чтобы посмотреть, как он ухаживает, прошел мимо ломберных столов и присоединился к ним в большом салоне. Г-жа Дамбрез, сейчас же оставив своего кавалера, заговорила с Фредериком впрямую.

Она понимает его, что он не танцует, не играет.

— Молодости присуща грусть.

Потом, окинув танцующих взглядом, прибавила:

— Кроме того, это и не интересно, по крайней мере, для некоторых натур.

И она останавливалась перед рядом кресел, рассыпая повсюду любезности, в то время как старички с лорнетами подходили к ней с комплиментами. Некоторым она представила Фредерика. Г. Дамбрез легко коснулся до его локтя и увел его на террасу.

Он виделся с министром. Но, оказывается, устроить его не так-то легко. Прежде чем быть назначенным в качестве аудитора в Государственный Совет, нужно выдержать экзамен. Фредерик, с непонятной самоуверенностью, отвечал, что он знает все, что требуется.

Банкир несколько не удивляется этому, после тех похвал, которые расточает ему г. Рок.

При этой фамилии Фредерик вспомнил маленькую Луизу, родной дом, свою комнату; ему вспомнились ночи, когда он слушал у окна, как проезжали фургоны, воспоминания о его тогдашней тоске навели его на мысль о г-же Арну; он замолчал, продолжая ходить по террасе. Стекла окон выделялись в темноте длинными красными пятнами, шум бала затих; начался раз'езд.

— Почему,—спросил г. Дамбрез,—вы так стоите за Государственный Совет?

И он стал доказывать в либеральном духе, что государственные должности не приведут ни к чему, в этом он кое-что смыслит. — Гораздо лучше промышленность. Фредерик возразил, что она будет ему слишком трудна.

— Пустяки! Я быстро научу вас.

Уж не намеревается ли он втянуть его в свои предприятия?

Молодой человек, как при блеске молнии, увидел то громадное состояние, которое он может приобрести.

— Но пора, — сказал банкир. — Вы поужинаете с нами, не правда ли?

Было три часа, гости почти все раз'ехались. В столовой накрытый стол ожидал только самых близких друзей.

Г. Дамбрез увидел Мартинона и, подойдя к жене, прошептал:

— Это вы пригласили его?

Она сухо ответила:

— Ну, да!

Племянницы уже не было. Пили очень много, смеялись очень громко; рискованные шутки никого не задевали. Все испытывали то облегчение, которое наступает после продолжительного стеснения. Один Мартинон оставался серьезным, он отказался от шампанского, полагая, что это хороший тон; в остальном гибкий и вежливый, он зная, что г. Дамбрез, у которого была узкая грудь, жалуется на стесненное дыхание, несколько раз справлялся об его здоровье, потом перевел свои голубоватые глаза на г-жу Дамбрез.

Она допрашивала Фредерика, какая из барышень

ему больше понравилась. Он не обратил внимания ни на одну, предпочитая женщин тридцати лет.

— Может быть, это и не так плохо! — заметила она.

Потом, когда надевали шубы и пальто, г. Дамбрез сказал ему:

— Приходите ко мне как-нибудь на-днях утром, мы потолкуем.

Мартинон, спустившись с лестницы, закурил сигару и показался Фредерику в профиль столь массивным, что у него вырвалось:

— Хорошая голова у тебя, честное слово!

— Она уж вскружила голову нескольким, — ответил молодой судейский, с видом вместе победным и уязвленным.

Фредерик, ложась в постель, подвел итог проведенному вечеру. Прежде всего, его туалет (он несколько раз смотрелся в зеркало), начиная с фразной пары и кончая бантом на бальных башмаках, был безукоризнен; он разговаривал с важными людьми, видел вблизи богатых женщин, сам Дамбрез проявил к нему заботливость, а г-жа Дамбрез почти что была ласкова. Он взвесил каждое ее слово, ее взгляды, тысячи вещей, неподдающихся анализу, но, однако, очень значительных. Было бы дьявольски хорошо иметь подобную любовницу! Да почему бы и нет? Ведь он не хуже других. Может быть, она уж и не так неприступна. Ему вспомнился Мартинон, и, засыпая, он улыбался от жалости к этому честному малому.

Проснувшись он с мыслью о Маршале. Слова в ее записке: «с завтрашнего вечера», означали, без сомнения, приглашение на сегодня. Он подождал до девяти часов и полетел к ней.

Кто-то впереди него поднимался по лестнице, хлопнула дверь; он позвонил, Дельфина отперла и стала уверять, что барыни нет дома.

Фредерик настаивал, молил. Ему надо сообщить ей нечто очень важное, одно лишь слово. Наконец, он вынул сто су и служанка оставила его одного в передней.

Розанета вышла. Она была в рубашке, с распущенными волосами и, покачивая головой, издала делала

знаки обеими руками, выражающие, что принять его она не может.

Фредерик медленно спустился по лестнице. Этот каприз превзошел все другие. Он ничего не понимал. У каморки привратника остановила его Ватназ.

— Она приняла вас?

— Нет.

— Вас выставили?

— Почему вы знаете?

— Это видно. Но идем, идем! Я задыхаюсь!

Она увлекла его на улицу. Она тяжело дышала. Он чувствовал, как ее худая рука, которую он держал, дрожала. Вдруг она воскликнула:

— А, негодяй!

— Кто это?

— Да он же! он! Дельмар!

Это открытие оскорбило Фредерика; он переспросил:

— Вы в этом твердо уверены?

— Да я вам говорю, сама выследила его, — вскричала Ватназ, — я видела, как он вошел. Поняли вы теперь? Впрочем, я должна была этого ждать, я сама, по своей глупости, привела его к ней. Если бы только вы знали, Бог мой! Ведь я подобрала его, я содержала его, одевала; а вся моя беготня по редакциям! Я любила его, как мать.

Потом с злорадным смехом она продолжала:

— Но этому господину нужны бархатные платья! Это ведь лишь выгодное дельце для него! А она-то! Ведь я знала ее еще белошвейкой! Без меня она уже двадцать раз валялась бы в грязи! Да и будет! О, да, пусть издыхает в больнице! Я расскажу все, все!

И, как помой из ушата, излились перед Фредериком все бесчестные поступки Маршала.

— Она путалась с Жюмильяком, Флякуром, с маленьким Аляром, Бертино, рябым Сен-Валери. Нет, впрочем с другим! Их два брата, ну, да все равно. У ней бывали такие крутые времена, и я все улаживала. И что же я выигрывала от этого? Она так скупа! К тому же, согласитесь, это с моей стороны было большое снисхождение

водиться с ней, разве мы с ней одного круга? Разве я девушка? Разве я продаюсь? Наконец, она глупа, как ко-черышка! Она не умеет написать слова «категория». Впрочем, они друг друга стоят. Два сапога пара, хоть он и называет себя артистом и воображает себя гением. Если бы у него был ум, он никогда не сделал бы подобной гнусности. Не меняют выдающихся женщин на таких тварей! Я презираю его! Он мерзок мне! Если я встречу его, я плюну ему в морду!

Она плюнула.

— Да, вот во что я ставлю его теперь! А Арну, каково? Не правда ли, отвратительно? Он столько раз прощал ей! Нельзя представить всех его жертв! Она должна бы ноги его целовать! Он так великодушен, так добр!

Фредерику было приятно слушать, как она уничтожала Дельмара. Он еще примирился с Арну. Это предательство Розанеты казалось ему чем-то противоестественным, несправедливым.

Подкупленный возбуждением старой девы, он дошел до того, что почувствовал к Арну даже некоторую нежность. Неожиданно он очутился перед его подездом; Ватназ незаметно для него привела его в предместье Пуассоньер.

— Вот мы и пришли, — сказала она. — Я не могу войти. Но вы—дело другое, идите.

— Чего ради?

— Да для того, чтобы все рассказать ему!

Фредерик, как будто внезапно очнувшись, понял на какую гнусность его толкают.

— Ну что же?—повторила она.

Он поднял глаза вверх. У г-жи Арну горела лампа. Ничто, действительно, не мешало ему подняться.

— Я подожду вас, идите же!

Это приказание окончательно отрезвило его и он возразил:

— Я пробуду там долго. Вы поступите гораздо лучше, если вернетесь домой. Завтра я буду у вас.

— Нет, нет! — возразила Ватназ, топая ногой. — Возьмите, утащите его, устройте так, чтобы он накрыл их!

— Но Дельмара он уже там не застанет!

Она опустила голову.

— Да, может быть, это и правда.

Она молча стояла на улице, среди экипажей; потом, взглянув на него глазами дикой кошки, сказала:

— Итак, я могу рассчитывать на вас, это свято! не правда ли?

— Ступайте. До завтра!

Фредерик, проходя по корридору, услышал два голоса, перебивавшие друг друга. Голос г-жи Арну говорил:

— Не лги! Не лги же!

Он вошел. Они замолкли.

Арну ходил взад и вперед, а жена сидела на низеньком стуле у камина, необычайно бледная, с остановившимся взглядом. Фредерик сделал движение, чтобы удалиться. Арну схватил его за руку, обрадовавшись, что явилась помощь.

— Но я боюсь...—начал Фредерик.

— Оставайтесь!—шепнул Арну ему на ухо.

Жена заговорила:

— Нужно быть снисходительным, г. Моро. Это одна из тех историй, которые иногда случаются в семьях.

— Одна из тех, которые выдумываются, — развязно сказал Арну. — У женщин бывают причуды. Вот она, например, женщина не плохая. Нет, напротив. И что же, она забавляется тем, что вот уже битый час ест меня поедом, выдумывая Бог знает что!

— Все это истинная правда! — воскликнула г-жа Арну, выведенная из терпения. — Ты купил ее.

— Я?

— Да, ты сам! В персидском магазине!

— Шаль!—подумал Фредерик.

Он почувствовал себя виноватым и испугался.

Она добавила:

— Это было четырнадцатого числа прошлого месяца, в субботу.

— А я в этот день как раз был в Крейле! Теперь видишь?

— Ничего подобного! Четырнадцатого мы обедали у Бергэнов.

— Четырнадцатого? — начал Арну, подняв глаза, будто стараясь припомнить число.

— И даже приказчик, который тебе продавал ее, — блондин.

— Могу ли я помнить приказчика!

— Он даже под твою диктовку написал адрес: улица Лаваль, 18.

— Как ты узнала это? — спросил Арну с удивлением.

Она пожала плечами:

— О, очень просто: я зашла туда, чтоб отдать починить свою шаль, а старший приказчик сказал мне, что он отправил точно такую же г-же Арну.

— Разве я виноват, что на этой улице живет какая-нибудь другая г-жа Арну!

— Да, но не Жак Арну, — возразила она.

Тогда он стал вывертываться, стараясь уверить ее в своей невинности. Это — ошибка, случайность, одно из обыкновенных необъяснимых совпадений. Нельзя обвинять людей по одному только подозрению, по сомнительным уликам. И он привел в пример злополучного Лезюрка *).

— Я утверждаю, что ты заблуждаешься! Хочешь я побожусь!

— Нет, не стоит труда.

— Почему?

Она посмотрела ему прямо в лицо, молча, потом протянула руку, достала серебряную шкатулку с камина и показала ему развернутый счет из магазина.

Арну покраснел до ушей, растерялся.

— Ну?

— Но... — ответил он медленно, — что это доказывает?

— Ах! — молвила она с особенной интонацией в голосе, в котором слышалась печаль и ирония, — ах!

Арну держал счет в руках, не отрывая от него глаз, как будто он должен был в нем найти ключ к разрешению великой загадки.

*) Лезюрк был невинно осужден за ограбление почты.

— Да! Припоминаю! — сказал он, наконец. — Это просто поручение. Вы должны знать это, Фредерик!

Фредерик молчал.

— Поручение, которое я взялся исполнить... поручение для старика Удри.

— А для кого?

— Для его любовницы.

— Для вашей! — вскричала г-жа Арну, выпрямившись во весь рост.

— Клянусь тебе...

— Довольно! Я знаю все.

— Ах, вот как! Стало быть, за мной шпионят?

Она холодно ответила:

— Это оскорбляет вашу деликатность?

— Когда люди раздражены, — возразил Арну, ища излияния, — разве есть средство вразумить их?

Потом глубоко вздохнул:

— Не женитесь, мой бедный друг, нет, верьте слову!

И он ушел, нуждаясь в свежем воздухе.

После его ухода наступило глубокое молчание; казалось, в комнате все замерло. Светлый кружок над лампой выделялся на потолке своей белизной, тогда как по углам спускался мрак подобно пелене темной кисеи; слышно было, как тикали часы и потрескивало в камине.

Г-жа Арну снова села в кресло, по другую сторону камина; она кусала губы, дрожала; она закрылась обеими руками, всхлинула и заплакала.

Он поместился на низеньком стульчике, и голосом ласковым, каким говорят с больными, сказал:

— Вы, конечно, не думаете, что я не разделяю...

Она ничего не ответила. Но стала вслух продолжать свои размышления:

— Я даю ему полную свободу. Ему нет нужды дгать.

— Разумеется! — подтвердил Фредерик. — Это просто по привычке, он не подумал, а может быть, в более важных случаях...

— Что вы считаете более важным?

— О, конечно, ничего!

Фредерик, наклонился, с покорной улыбкой. Что же,

всетаки, Арну обладает и хорошими качествами: он любит детей...

— Ах! И все делает, чтобы разорить их!

— Это происходит от его беспечности, ведь, в конце концов, он добрый малый.

Она воскликнула:

— Да, что это значит—добрый малый!

Он защищал его в подобных нерешительных выражениях, он жалел ее, но ликовал в глубине души. Из мести или из потребности в любви, она бросится к нему. Эта надежда безмерно окрыленная, еще усиливала его любовь.

Никогда она не казалась ему столь пленительной, столь бесконечно прекрасной. Время от времени из груди ее вырывался вздох, ее остановившиеся глаза, казалось, увеличились от каких-то внутренних видений, а ее рот, оставаясь полуоткрытым, казалось, отдавал душу. Иногда она крепко прижимала платок к глазам; ему хотелось бы быть этим маленьким батистовым комочком, пропитанным слезами. Против своей воли он смотрел на постель в глубине алькова, воображая ее голову на подушке, и видел ее так отчетливо, что удерживался, чтоб не схватить ее в объятия. Она закрыла глаза, успокоенная, неподвижная. Тогда он подошел поближе и, нагнувшись над ней, с нежностью вглядывался в ее лицо. Шум шагов раздался в коридоре, это воротился муж. Они слышали, как захлопнулась дверь в его спальню. Фредерик знаком спросил у г-жи Арну, нужно ли ему пойти туда?

Она ответила «да» тем же способом; этот немой обмен мыслей был как бы соглашение, начало связи.

Арну, собираясь спать, расстегнул сюртук.

— Что-ж, как она себя чувствует?

— О лучше!—ответил Фредерик.— Все обойдется.

Но Арну был огорчен.

— Вы ее не знаете. Она страшно нервна. Болван приказчик! Вот, что значит быть слишком добрым! Если бы я не дарил этой проклятой шали Розанете...

— Не жалеете об этом. Она вам так благодарна.

— Вы думаете?

Фредерик не сомневался в этом. Доказательство.— она дала отставку старику Удри.

— Ах, бедная моя!

И в припадке умиления Арну вздумал лететь к ней.

— Не стоит! Я только что оттуда. Она нездорова.

— Тем более!

Он быстро накинул сюртук, взял свечу. Фредерик, проклиная себя за глупость, стал доказывать, что из приличия он должен провести этот вечер дома, около жены. Нельзя оставлять ее, это было бы очень дурно.

— По совести: так не делают и ничто вас туда не гонит. Завтра и отправитесь. Ну, сделайте это для меня!

Арну поставил подсвечник и сказал, обнимая его:

— Какой вы добрый!

III.

С этого времени началось для Фредерика жалкое существование. Он сделался прихлебателем Арну.

Если кто-нибудь бывал у них нездоров, он раза три в день навещался к ним; ходил за настройщиком, выискивал случаи услужить; с довольным видом переносил капризы Марты и ласки маленького Эжена, имевшего обыкновение проводить грязными рученками по его лицу. Он присутствовал на обедах, когда муж и жена, сидя друг против друга, не обменивались ни одним словом, или же Арну раздражал жену нелепыми замечаниями. После обеда он со своим сынишкой играл в прятки в спальне или возил его на спине, бегая сам на четвереньках, как Беарнец *) Наконец, он уходил; она тотчас же приступала к неизменным жалобам на него.

Ее возмущало не поведение его. Но она, казалось, была уязвлена в своей гордости, не скрывая отвращения к этому нечуткому человеку, без чувства собственного достоинства, без чести.

— Или же он ненормален!—говорила она.

*) Прозвище короля Генриха IV, уроженца провинции Беарн.

Фредерик искусно добивался с ее стороны откровенности. Вскоре он узнал всю ее жизнь.

Ее родители, люди с небольшим достатком, жили в Шартре. Однажды Арну, рисуя на берегу реки (в то время он мнил себя художником), увидел ее выходящей из церкви и посватался; у него было хорошее состояние, поэтому родители и не раздумывали. Впрочем, он без памяти влюбился в нее. Она прибавила:

— Боже мой, он ведь и теперь еще по-своему любит меня.

Первые месяцы супружества они путешествовали по Италии.

Арну, несмотря на свой восторг перед природой и образцами искусства, только и делал, что жаловался на вина и устраивал для развлечения пикники с англичанами. Нескольким удачно перепроданным картинам толкнули его на мысль начать торговлю художественными произведениями. Потом он пристрастился к фаянсовому производству. Теперь его манят новые спекуляции; он становится все более вульгарным, его привычки делаются грубыми и разорительными. Она не столько упрекала его за пороки, сколько за все его поведение. А в этом отношении, никакой перемены не может наступить, ее несчастье непоправимо.

Фредерик уверял, что и его жизнь пропадает даром.

Между тем, он ведь так молод. К чему же отчаиваться?

И она давала ему добрые советы: «Работайте! Женитесь!» Он отвечал горькой усмешкой; вместо того, чтобы высказать настоящий мотив своей печали, он выдумывал другой, более возвышенный, притворяясь вторым Антони *), героем, над которым тяготеет проклятие, — истинный смысл этой печали.

Для известного рода людей тем более неосуществимо действие, чем сильнее желание. Им мешает неуверенность в себе; страх не понравиться приводит их в ужас; кроме того, истинная любовь похожа на порядочных женщин, они боятся быть разоблаченными и проходят по жизненному пути с потупленными глазами.

*) Герой известной пьесы Александра Дюма-отца.

Хотя он все ближе узнавал г-жу Арну (может, именно по этой причине), он становился все более и более робким. Каждое утро он клялся, что будет смелее. Непобедимая стыдливость мешала ему в этом; руководствоваться же чьим бы то ни было примером он не мог, ибо она была ни на кого не похожа. Силою воображения он вознес ее на нечеловеческую высоту, при ней он чувствовал себя более ничтожным, чем шелковинки, падавшие из-под ее ножиц.

Иногда он помышлял о чудовищных и нелепых вещах, о внезапном нападении на нее ночью с наркотическими средствами и подобранными ключами; все казалось ему легче, чем ее презрение.

Кроме того, дети, прислуга, расположение комнат ставили ему непреодолимые препятствия. А потому он решил, что будет один обладать ею, что они уедут очень далеко и станут жить в полном уединении; он даже подыскивал, какое озеро достаточно сине для них, какой илльж лучше, будет ли это в Испании, Швейцарии или на востоке. Он нарочно выбирал дни, когда она, казалось, была особенно раздражена, говорил, что ей необходимо как-нибудь выйти из подобного положения, и что он не видит другого выхода, кроме полного разрыва. Но она возражала, что из любви к детям никогда не решится на такой крайний шаг. И такая добродетель увеличила его уважение к ней.

Дни у него проходили в воспоминании о прошлом посещении и в предвкушении будущего. Когда он обедал не у Арну, то около девяти часов вечера стоял уже на углу их улицы; как только Арну хлопал парадной дверью, он взбегал на второй этаж и невинно спрашивал у девушки:

— Барин дома?

И притворялся удивленным, что не застал его.

Часто Арну неожиданно возвращался домой. Тогда приходилось идти с ним в небольшое кафе на улицу Сен-Анн, завсегдатаем которого был теперь Режембар.

Гражданин начинал с того, что обрушивался на правительство за какую-нибудь новую провинность. Потом завязывалась беседа, заключающаяся в том, что они дружеским тоном говорили друг другу обидные вещи: фа-

брикант считал Режембара мыслителем высокого полета, печалился, видя, какие способности гибнут, и донимал его за лень. Гражданин смотрел на Арну, как на человека очень сердечного и с большим воображением, но совершенно безнравственного. Он обходился с ним без малейшего снисхождения и даже отказывался обедать у него: «церемонии наскучили ему».

Иногда, уже при прощании, Арну внезапно начинал чувствовать голод. Ему «необходимо было с'есть яичницу или жареный картофель». Но с'естного в кафе никогда не оказывалось и посылали в ресторан. Приходилось ждать. Режембар не уходил и кончал тем, что, ворча, соглашался с'есть что-нибудь.

Между тем он был вездесущен; целыми часами просиживал он за одним и тем же стаканом, на половину полным. Провидение правило несогласно с его идеями, он становился ипохондриком, даже не хотел больше читать газет и рычал при одном только слове «Англия». Однажды он раскричался на то, что человек ему не так подал:

— Разве мало того, что иностранцы поносят нас!

Но чаще он бывал молчалив, все обдумывая «неминуемый взрыв, который разнесет всю эту лавочку».

Пока он сидел погруженный в свои размышления, Арну монотонным голосом и с немного пьяным взглядом рассказывал невероятные истории, в которых он всегда блистал благодаря своей находчивости. Фредерик же (это зависело, повидимому, от некоторого глубокого сходства), испытывал какое-то влечение к его особе. Он упрекал себя за подобную слабость, находя, что ему следовало бы, наоборот, ненавидеть его.

Арну плакался ему на характер своей супруги, на ее упрямство, на несправедливые обвинения. Раньше она была не такова.

— На вашем месте я назначил бы ей содержание и жил бы отдельно.

Арну ничего не отвечал, а через минуту начинал расхваливать ее. Она добра, умна, предана, добродетельна; переходя к ее физическим достоинствам, он бывал бесстыдно откровенен, с ветреностью человека, раскладывающего свои сокровища на проезжем дворе.

Одно несчастное событие вывело его из равновесия.

Он состоял членом ревизионной комиссии в одной из компаний по выработке фарфоровой глины. Веря всему, что бы ему ни говорили, он подписывал неверные отчеты и, без всяких проверок, одобрял годовую роспись, мошеннически составляемую управляющим. И компания прогорела. Арну понес ответственность, и суд только что приговорил его, вместе с другими, возместить потери, что составило около тридцати тысяч франков убытка, еще отягченного мотивировкой приговора.

Фредерик, узнав об этом из газет, поспешил на улицу Паради.

Его приняли в комнате хозяйки. Был час первого завтрака. Большие чашки кофе с молоком загромаждали круглый столик у камина. Стопанные туфли валялись на ковре, одежда была разбросана по креслам, Арну был в исподних штанах и фуфайке, в трико, с красными глазами и всклокоченными волосами; маленький Эжен, заболелый заушницей, плакал, не переставая грызть хлеб с маслом; сестра его спокойно ела, а г-жа Арну, бывшая следнее обыкновенного, прислуживала всем трем.

— Ну,—сказал Арну, глубоко вздохнув,—вы знаете? Фредерик жестом выразил сострадание.

— Вот я и оказался жертвой своей доверчивости.

Потом он замолчал и впал в такое глубокое уныние, что отодвинул от себя кофе. Г-жа Арну подняла глаза, пожав плечами. Арну провел руками по лицу.

— В конце концов я не виноват. Ни в чем не могу упрекнуть себя! Это—несчастье! Ну да как-нибудь выпутаюсь! Что же поделать!

И он откусил сдобной булки, уступая, впрочем, просьбам жены.

Вечером ему захотелось пообедать с ней вдвоем в отдельном кабинете ресторана «Мэзон-д'Ор». Г-жа Арну, совсем не поняв этого движения сердца, даже обиделась, что к ней относятся, как к лоретке, хотя со стороны Арну это было лишь доказательством любви. Потом ему стало скучно, и он пошел рассеяться к Маршалу.

До сих пор ему многое сходило с рук, благодаря его

добродушному характеру. Этот процесс ставил его в число людей запятанных. И все от него отвернулись.

Фредерик, по долгу чести, считал себя обязанным бывать у него чаще, чем когда-либо. Он взял абонемент на ложу бенуара в итальянской опере и еженедельно приглашал их. Как раз они вступили в тот период, когда в неудачных браках из всех взаимных уступок возникает непобедимое утомление друг другом и делает существование невыносимым. Г-жа Арну сдерживалась, чтобы не выходить из себя, а Арну бывал мрачен; вид этих несчастных людей приводил Фредерика в уныние.

Она поручила ему, — он приобрел ее доверие, — следить за положением их дел. Фредерику было мучительно стыдно есть его обед, у них, притязая на его жену. Однако, он продолжал это делать, оправдывая себя тем, что должен защищать ее, и что может представиться случай быть ей полезным.

Через неделю после бала он нанес визит Дамбрезу. Капиталист предложил ему двадцать акций в каменно-угольном предприятии; Фредерик более не заглядывал к нему. Дэлорье писал ему письма, он оставлял их без ответа. Пеллерен приглашал его придти посмотреть портрет; он вежливо отказывался. Однако, он уступил Сизи, надоедавшему ему просьбами познакомить его с Розанетой.

Она приняла его мило, но на шею не бросилась, как прежде. Его приятель был счастлив попасть к распутной женщине и в особенности поговорить с актером; Дельмар был тоже там.

Драма, в которой он играл крестьянина, дающего урок Людовику XVI и предрекающего 1789 год, доставила ему громкую известность, и с тех пор для него без конца сочиняли подобные роли; на нем теперь лежала обязанность высмеивать королей всех стран. Английским пивоваром он поносит Карла I; саламанкским студентом он проклинает Филиппа II, в роли чувствительного отца — приходит в негодование от Помпадур: это ему удавалось лучше всего. Подростки, чтоб только увидеть его, ждали его у подъяезда театра; в антрактах продавалась его биография, где он был изображен нежно-заботливым сыном престарелой

матери, читающим евангелие, посещающим бедняков, словом, каким-то св. Винцентом с примесью Брута и Мирабо. Говорили: «наш Дельмар». На него возлагали миссию, из него делали Христа.

Все это ослепило Розанету, она избавилась от старца Удри и больше ни о чем не заботилась, будучи некорыстливой.

Арну знал эту черту и пользовался ею долгое время, мало тратя на нее; явился старичок, и у них у всех была одна забота: не объясняться на чистоту. Потом, воображив, что она оставила Удри из-за него, Арну увеличил ее содержание. Но ее требования все увеличивались и учащались совершенно непонятным образом, потому что жила она теперь менее расточительно; она даже продала шаль, говоря, что ей нужно расплатиться со старыми долгами; а он все давал и давал; она околдовала его, злоупотребляла им безжалостно. На него так и сыпались всевозможные счета, взыскания. Фредерик чувствовал, что развязка приближается.

Однажды Фредерик пришел повидаться с г-жей Арну. Ее не было дома. Сам же барин был занят внизу, в магазине.

И действительно, Арну среди своих китайских ваз старался «обставить» молодых, приехавших из провинции. Он распространялся о гончарном производстве, об эмалировке, пускался в технические подробности; те, не желая показать, что они ничего не смыслят, делали знаки одобрения и покупали.

Когда они вышли, Арну рассказал, что утром у него с женой произошла размолвка. Чтобы избавиться от придирок к расходам, он уверил ее, что Маршал не состоит более его любовницей.

— Я даже сказал жене, что она — «ваша».

Фредерик был возмущен; но упреки могли выдать его, он пробормотал:

— Ах, вы поступили нехорошо, нехорошо!

— Почему? — возразил Арну. — Что за позор слыть ее любовником? Я же состою им. А вам разве было-б не лестно?

Не рассказала ли она чего? Не намек ли это?

— Нет, нет, совсем напротив!

— Тогда что же?

— Да, правда, ничего.

Арну спросил:

— Почему же вы не бываете больше там?

Фредерик пообещал зайти к Розанете.

— Ах, я и забыл! Вам следовало бы, говоря о ней... дать какой-нибудь намек моей жене... я не знаю что, но вы сами придумайте что-нибудь такое, чтобы она убедилась, что вы ее любовник; прошу вас сделать мне это одолжение. Что?

Молодой человек вместо ответа двусмысленно улыбнулся. Эта клевета погубит его. В тот же вечер он отправился к г-же Арну и поклялся, что Арну все выдумал на него.

— Правда?

Он, казалось ей, был искренен; глубоко вздохнув, она с прекрасной улыбкой сказала ему: «Я верю вам». Потом, опустив голову, не глядя на него, произнесла:

— Впрочем, на вас никто не имеет прав.

Итак, она ни о чем не догадывается или презирает его, предполагая, что он не может настолько любить ее, чтобы быть ей верным. Фредерик забыл свои ухаживания за Розанетой и находил такое предположение оспорбительным.

Затем она попросила его иногда бывать «у этой женщины», чтобы знать, что там творится.

Неожиданно пришел Арну и через пять минут стал тащить его к Розанете.

Положение становилось невыносимым.

Письмо от нотариуса отвлекло его—тот должен был выслать ему на следующий день 15.000 франков. И, чтобы загладить свою небрежность по отношению Дэлорье, Фредерик сейчас же отправился сообщить ему об этом приятном известии.

Квартира адвоката находилась на улице Труа-Мари, во дворе, на пятом этаже. В его кабинете, небольшой, холодной комнате, с каменным полом, оклеенной сероватыми обоями, главным украшением была золотая медаль,

полученная им вместе с докторской степенью и повешенная возле зеркала в рамке черного дерева.

Шкап красного дерева заключал в себе около сотни тэмов. Конторка, обитая клеенкой, стояла по середине комнаты. Четыре старых кресла, крытых зеленым бархатом, ванимали углы; в камине обыкновенно горели щепки, но у него всегда были наготове дрова, чтобы подбросить их в случае звонка. Час был приемный, адвокат был в белом галстуке.

При известии о пятнадцати тысячах франков (он, конечно, на них уже не рассчитывал) улыбка радости озарила его лицо.

— Вот это хорошо, голубчик, вот это хорошо, очень хорошо!

Он подбросил дров в камин, снова уселся и сейчас же заговорил о газете. Первое, что нужно сделать—это избавиться от Гюссонэ.

— Этот кретин истомил меня. Что же касается направления, то, по моему, правильное и умнее всего не иметь никакого.

Фредерик казался удивленным.

— Да, разумеется. Пора обсуждать политику с научной точки зрения. Старик XVIII века начал было, но Гуссо и другие писатели ввели в нее филантропию, поэзию и другие выдумки, к величайшей радости католиков; весьма естественный союз, впрочем; ведь новейшие реформаторы (я могу это доказать) все верят в Откровение. Но если вы служите мессы о спасении Польши, если на месте Бога доминиканцев, являющегося кровопийцей, вы возьмете Бога романтиков, который не более как обойщик; если, наконец, ваше понимание Абсолютного ничуть не шире, чем у ваших предков, то дух монархии проникнет во все ваши республиканские формы, и ваш красивый колпак всегда будет лишь церковной скуфьей. Только одиночная тюрьма заменит пытки, святотатство будет называться оскорблением религии, Священный союз—европейским концертом; в этом образцовом порядке, сколоченном из обломков царствования Людовика XIV на развалинах вольтерьянства, подкрашенных императорской властью с прибавкой—кусочков английской консти-

туции, городские советы будут стараться досаждать мэру, областные советы—префекту, палаты—королю, пресса—властям, администрация—всем. Но добрые души все еще восхищаются гражданским уложением, сфабрикованным, что бы там ни говорили, в мелочном и тираническом духе, ибо законодатель вместо того, чтобы делать свое дело, то есть узаконивать обычное право, хочет лепить общество, подражая Ликургу. Почему закон стесняет отца семейства в составлении завещания? Почему препятствует он принудительному отчуждению недвижимости? Почему он наказует бродяжничество, как преступление, между тем, как оно должно быть рассматриваемо только как нарушение порядка? Да и многое почище! Мне то все это доподлинно известно, я даже хочу написать романчик под заглавием «История идеи правосудия». Это будет презабавно! Но мне страшно хочется пить. А тебе?

Он высунулся из окна и крикнул привратнику, чтобы тот сходил в кабачок за грогом.

— Словом, я вижу три партии... нет, три группы, из которых ни одна не интересует меня: те, кто владеют, те, у кого больше ничего нет, и те, кто стремится владеть. Но все сходятся на бессмысленном идолопоклонстве перед властью. Примеры: Мабли советует воспрепятствовать философам опубликовать свои доктрины; г. Вронский, геометр, называет на своем языке цензуру «критической уздой умозрительной непосредственности»; отец Анфанген благословляет Габсбургов «за то, что они, протянув мощную длань за Альпы, обуздали Италию»; Пьер Леру хочет принудить вас слушать ораторов, а Луи Блан склоняется к государственной религии—до того у этих прирожденных вассалов велика страсть к власти. А между тем, ни один из них не стоит на законной точке зрения, не смотря на все их принципы. Но ведь принцип означает происхождение, и нужно всегда мысленно переноситься к какой-нибудь революции, к акту насилия, к чему-нибудь преходящему. Принцип нашего времени—пародовластие, заключенное в парламентские формы, хотя парламент и не признает этого. Но почему власть народа является более священным, чем божественное право? И то и другое—фикция. Будет с нас метафизики, достаточ-

но призраков. Не нужно догм, чтобы мести улицы. Скажут, что я разрушаю общество. Что же из того? Разве оно куда-нибудь годится на самом деле, твое общество?

Фредерик мог бы многое возразить на это. Но видя, как он далек от теорий Сенекаля, он исполнился к нему снисхождения. Он ограничился замечанием, что подобная система возбудит к себе всеобщую ненависть.

— Напротив, мы дадим каждой партии повод ненавидеть своего соседа, и все станут рассчитывать на нас. Ты будешь тоже сотрудничать, на тебя возложат трансцендентную критику. Нужно объявить войну общепринятым идеям, Академии, Нормальной школе, Консерватории, Французской комедии,—короче, всему, что приобрело уже устойчивость. Этим мы сразу выразим свою доктрину. Потом, когда «Обозрение» будет поставлено на надлежащую высоту, мы превратим его в ежедневную газету, и вот тогда-то мы и примемся за отдельные личности. И нас начнут уважать, будь в этом уверен!

Дэлорье приближался к осуществлению своей мечты быть редактором, то есть иметь в руках невыразимое счастье—управлять другими, изменять по своему усмотрению статьи сотрудников, заказывать их, браковать. Его глаза сверкали под стеклами, он воодушевился и бессознательно тянул стаканчик за стаканчиком.

— Тебе нужно будет раз в неделю давать обеды. Это необходимо даже в том случае, если половина твоих доходов будет уходить на это. Многие будут желать попасть на них, для иных это будет местом общения, а для тебя—рычагом, и действуя на общественное мнение с двух концов, через литературу и политику, мы раньше, чем через полгода,—вот увидишь—займем видное положение в Париже.

Фредерик, слушая его, чувствовал себя помолодевшим,—человеком, долго пробывшим в комнате и выпешедшим на свежий воздух. Этот энтузиазм заразил и его.

— Да, я лентяй, олух, ты прав!

— В добрый час!—вскричал Дэлорье.—Я узнаю своего Фредерика!

И, подставя кулак под его подбородок, произнес:

Флобер, Воспитание чувств.

— Ах, как ты измучил меня! Ну, да все равно! Я все-таки люблю тебя.

Они стояли друг против друга, оба растроганные, готовые броситься друг другу в объятия.

Женская шляпка показалась на пороге передней.

— Что принесло тебя!—сказал Дэлорье.

Это была Клеманс, его любовница.

Она ответила, что, случайно проходя мимо его дома, не могла устоять против желания повидать его и, чтоб вместе закусить, принесла ему пирожков, которые она и выложила на стол.

— Смотри, осторожнее с бумагами,—сухо сказал адвокат.—Кроме того, уже третий раз я запрещаю тебе являться в приемные часы.

Она хотела поцеловать его.

— Ну, убирайся, пошевеливайся!

Он отталкивал ее, она громко всхлипнула.

— Ах, ты, наконец, надоедаешь мне!

— Тем, что я люблю тебя?

— Я не требую любви, я требую только услуг.

Эти жестокие слова уняли слезы Клеманс. Она повернулась лицом к окну и стояла, не двигаясь, прижавшись лбом к стеклу.

Ее поза и молчание злили Дэлорье.

— Когда перестанешь, прикажи подать свою карету.

Она резко повернулась.

— Ты выгоняешь меня?

— Так точно.

Она устремила на него свои большие голубые глаза с последней мольбой, потом, закутавшись в шотландский платок и подождавши еще минутку, вышла.

— Тебе следует вернуть ее,—заметил Фредерик.

— Ну, вот еще!

И, так как Дэлорье нужно было куда-то пойти, то он и провел Фредерика в кухню, заменявшую ему уборную. На плите, рядом с парой сапог, стояли остатки скудного завтрака, в углу валялся свернутый вместе с одеялом тюфяк.

— Это указывает тебе на то, что я редко принимаю у себя маркиз. Я легко обхожусь и без них, да и без дру-

гих тоже. Те, кто даются нам даром, отнимают время; а время—деньги, только в иной форме; я же не богат. Кроме того, они все так глупы, так глупы! Неужели ты можешь разговаривать с женщинами?

Они расстались на углу Нового моста.

— Значит, решено? Завтра, как только получишь, так и принесешь мне?

— Решено,—сказал Фредерик.

На следующий день, только что проснувшись, он получил по почте переводный бланк для получения пятнадцати тысяч франков через Государственный банк.

Этот клочек бумаги представился ему пятнадцатью громадными мешками денег; он подумал, что на эту сумму он мог бы, прежде всего, содержать экипаж в течение целых трех лет, вместо того, чтобы продавать его, как это придется сделать в ближайшем будущем, или купить два прекрасных набора оружия с насечкой, которые он видел на набережной Вольтера, потом сколько еще других вещей, картин, книг, сколько букетов, подарков для г-жи Арну! Все, в конце концов, было бы лучше, чем рисковать, чем терять такую уйму денег на газету. Дэлорье казался ему слишком самонадеянным. Его вчерашний безжалостный поступок охладил к нему Фредерика, и он предавался сожалениям, когда вдруг, к своему изумлению, увидел входящего Арну, который тяжело опустился на постель, как человек чем-то удрученный.

— Что случилось?

— Я пропал!

Ему сегодня же надо уплатить в контору Боминэ, нотариуса на улице Сен-Ани, восемнадцать тысяч франков, занятых у некоего Ваннеруа.

— Это необъяснимо! Я же дал ему обеспечение, которое должно было успокоить его. Но он грозит мне протестом, если я не внесу денег сегодня же

— И тогда что?

— Тогда очень просто: он опишет всю мою недвижимость. И первое объявление разорит меня в конец. Вот и все. Ах, если бы я нашел кого-нибудь, кто одолжил бы мне эту проклятую сумму, под то же обеспечение, что и

Ваннеруа, я был бы спасен! У вас не найдется случайно такой суммы?

Перевод лежал на почном столике рядом с книгой. Фредерик взял книгу и, положив ее на него, ответил:

— Бог мой! Нет, дорогой друг.

Но отказывать ему было тяжело.

— Неужто вы не подыщите кого-нибудь, кто-бы согласился?

— Никого! И подумайте только, ведь через неделю у меня будет получка! Мне должны отдать примерно... пятьдесят тысяч франков в конце этого месяца.

— А разве вы не можете попросить кого-нибудь из ваших должников отдать вам ранее срока?

— Где же там!

— Или нет ли у вас каких-нибудь ценностей, векселей?

— Ничего!

— Что же делать?—спросил Фредерик.

— Этот же вопрос я и сам себе задаю,—ответил Арну.

Он замолчал и стал ходить по комнате взад и вперед.

— Боже мой, ведь это не для меня, а это для моей бедной жены и моих детей.

Потом, отчеканивая каждое слово, он произнес:

— В конце концов... надо быть мужественным... соберусь... и поеду искать счастья... куда глаза глядят.

— Это невозможно!—вскричал Фредерик.

Арну со спокойным видом возразил:

— Как же вы хотите, чтобы я после этого оставался в Париже?

Наступило продолжительное молчание. Фредерик заговорил:

— Когда вы можете возвратить эти деньги?

У него самого нет их; упаси Боже! но ничто не мешает ему повидаться с друзьями и попытать счастья. И он позвонил слуге, чтобы тот помог ему одеться. Арну поблагодарил его.

— Ведь вам нужно восемнадцать тысяч франков, не так ли?

— Мне будет достаточно и шестнадцати тысяч! Тысячи две с половиной, три, я выручу за столовое серебро,

если, конечно, Ваннеруа согласится отсрочить до завтра; я повторяю вам, вы можете твердо заявить, поклясться заимодавцу, что через неделю, а может быть и раньше, дней через пять, шесть, деньги будут возвращены. Кроме того, они будут обеспечены закладной. Таким образом риска никакого, вы понимаете?

Фредерик уверил его, что понимает, и что он сейчас же отправится.

Он остался дома, проклиная Дэлорье; ему хотелось сдержать слово, а вместе с тем и оказать услугу Арну.

— Не обратиться ли к Дамбрезу? Но под каким предлогом попросить? Ведь, наоборот, я сам должен внести ему за каменноугольные акции. Ах, да ну его с акциями! Я не обязан их брать.

И Фредерик возгордился своей независимостью, точно он сам отказал в услуге Дамбрезу.

— Что же!—подумал он, наконец,—я ведь теряю, я мог бы на пятнадцать тысяч выиграть сто! Это иногда случается на бирже. Раз я вынужден отказать одному, то разве я не волен?... Кроме того, Дэлорье может и подождать...—Нет, нет это мерзко!

Он взглянул на стенные часы.

— Ах, торопиться некуда! Банк закрывается только в пять часов.

А в половине пятого, когда деньги уже были у него в руках, он подумал:

— Теперь уж бесполезно идти. Я не застаю его; пойду вечером!

Таким образом он оставлял за собой возможность отступления, ибо у него накопился запас софизмов, от которых на совести оставался привкус, как от плохого вина.

Он прошелся по бульварам. Пообедал один в ресторане. Потом, чтобы рассеяться, просидел одно действие в Водевилье. Но банковые билеты тяготили его, точно он их украл.

Ему не было бы жалко потерять их.

Вернувшись домой, он нашел письмо следующего содержания:

«Что нового? Моя жена присоединяется к моей просьбе, дорогой друг, в надежде и т. д. Весь ваш».

И росчерк.

— Его жена! она меня просит!

В этот самый момент явился Арну, чтобы узнать, не нашел ли он нужной суммы.

— Вот она!—сказал Фредерик.

А через сутки он ответил Дэлорье:

— Я не получил еще ничего.

Адвокат являлся к нему три дня сряду. Он понуждал его написать нотариусу. Предлагал даже съездить в Гавр.

— Нет, это бесполезно! Я поеду туда сам.

Прошла неделя. Фредерик робко попросил Арну возвратить пятнадцать тысяч франков.

Арну отложил платеж до следующего дня, потом еще на день. Фредерик выходил лишь темной ночью, боясь быть узнанным Дэлорье.

Как-то вечером кто-то окликнул его возле церкви Мадлен. Это был он.

— Я как раз иду за ними, — сказал Фредерик.

И Дэлорье проводил его до двери дома в предместьи Пуассоньер.

— Подожди меня.

Он подождал. Наконец, через сорок три минуты, Фредерик вышел с Арну и сделал знак, чтобы Дэлорье потерпел еще немного.

Продавец фаянса со своим приятелем шли под руку вверх по улице Отвиль, затем свернули на улицу Шаброль.

Ночь была темная, временами набегал тепловатый ветер; Арну шел медленно, разглагольствуя о Торговых Рядах, галлерей которых протянулись бы от бульвара Сен-Дени до Шатлэ,—великолепная спекуляция, в которой ему очень хочется принять участие; время от времени он приостанавливался у окон магазинов, заглядываясь на гризеток, потом снова пускался в рассуждения.

Фредерик слышал сзади себя шаги Дэлорье, они казались ему упреками, ударами по его совести. Но он не смел задать вопроса Арну из ложного стыда и из страха, что вопрос окажется бесполезным. Дэлорье приближался. И Фредерик, наконец, решился.

Арну очень развязным тоном сказал, что ему денег

еще не возвратили и что поэтому он не в состоянии вернуть в настоящий момент пятнадцать тысяч франков.

— Ведь вам они не очень нужны, я полагаю?

В этот момент Дэлорье подошел к Фредерику и отвел его в сторону:

— Будь откровенен, есть деньги или нет?

— Ну, так нет!—сказал Фредерик,—я потерял их.

— Как? Каким образом?

— В карты проиграл.

Дэлорье не ответил ни слова, низко поклонился и ушел.

Арну воспользовался случаем и зашел в табачную лавку, чтоб закурить сигару. Воротясь, он спросил, кто этот молодой человек.

— Так, один мой приятель.

Спустя три минуты они были у под'езда Розанеты.

— Войдемте же,—сказал Арну,—она будет рада вас видеть. В какого дикаря превратились вы!

Фонарь осветил его: с сигарой между белыми зубами и с счастливым видом он представлял собой что-то оттапливающее.

— Ах, кстати, мой нотариус был сегодня у вашего для составления закладной. Жена напомнила мне об этом.

— Деловая женщина!—машинально произнес Фредерик.

— Я думаю!

И Арну принялся расточать ей похвалы:—Нет ей равной по уму, сердцу, бережливости—и, понижая голос, вращая глазами, прибавил:

— А тело какое!

— Прощайте!—прервал его Фредерик.

Арну вздрогнул.

— Подождите! Почему?

И с протянутой рукой, всматривался в его совершенно перекошенное от гнева лицо.

Фредерик сухо повторил:

— Прощайте!

Он, как камень, катился вниз по улице Брэда, с истерзанным сердцем, в отчаянии, взбешенный Арну, давая

себе клятву больше никогда с ним не видаться, да и с ней тоже. Вместо разрыва, которого он ждал, случилось обратное,—муж стал ее нежно любить, от корня волос до самой глубины души. Вульгарность этого человека возмущала Фредерика. Все досталось ему! У квартиры лоретки он также наткнулся на него и к неприятности от разрыва с другом примешалось негодование на собственное бессилие; честность Арну, предлагавшего обеспечить на его деньги, унижала его, ему хотелось задуть его; над его горем плавало, словно туман, чувство подлости, совершенной по отношению к другу. Слезы душили его.

Дэлорье шел по улице Мартир, вслух ругаясь, негодуя; его проект, подобно сверженному обелиску, казался ему теперь необыкновенной высоты. Он считал себя ограбленным, точно он понес большой убыток. Дружба его к Фредерику умерла, и от этого он испытывал только радость; это служило для него возмещением! В нем проснулась ненависть к богатым. Он стал склоняться к мнением Сенекалы и давал себе обещания следовать им.

Арну, тем временем, усевшись удобно в большое кресло у камина, отхлебывал чай, держа на коленях Маршала.

Фредерик совсем перестал бывать у них; чтоб отвлечь себя от своей злополучной страсти, он ухватился за первое, что попало: решил написать «Историю эпохи возрождения». Он завалил стол гуманистами, философами и поэтами; посещал галереи, чтобы пересмотреть гравюры Марк-Антонио; старался уразуметь Макнавелли. Мало-помалу работа успокоила его. Углубляясь в изучение чуждых личностей, он забывал о собственной: быть может, единственный способ от нее не страдать.

Однажды, когда он мирно делал выписки, дверь отворилась и слуга объявил о приходе г-жи Арну.

Да, это была она! Одна? Нет, за ручку она вела маленького Эжена, а за ними шла нянька в белом фартуке. Она села; откашлявшись, она сказала:

— Как давно вы не были у нас!

Фредерик не нашел, что сказать в свое оправдание. Она прибавила:

— Это деликатность с вашей стороны!

Он переспросил:

— Какая деликатность?

— После того, что вы сделали для Арну,—сказала она. Фредерик сделал движение, означавшее: «Мне дела нет до него, я сделал это для вас».

Она отослала мальчика с нянькой в гостиную. Они обменялись двумя, тремя словами о здоровье, потом разговор оборвался.

На ней было шелковое коричневое платье, тона испанского вина, черное бархатное пальто, отороченное кунным мехом; по меху хотелось провести рукой, а к ее длинным волосам, хорошо приглаженным, тянулись губы.

Но что-то волновало ее и, переведя взор на дверь, она сказала:

— Здесь немного жарко.

Фредерик угадал по взгляду ее тайный умысел.

— Ах, простите! Дверь лишь прикрыта.

— Ах, правда.

Она улыбнулась, точно хотела сказать: «я ничего не боюсь».

Он тотчас спросил, что привело ее сюда.

— Мой муж,—проговорила она с трудом,—побудил меня обратиться к вам с просьбой, не решаясь сделать это сам.

— Почему же?

— Вы ведь знакомы с г. Дамбрезом?

— Да, немного.

— Ах! Немного!

Она умолкла.

— Ну, что же, договаривайте.

Тогда она рассказала, что третьего дня Арну не смог уплатить четырех тысяч франков по векселям на имя этого банкира, на которых ее заставили подписаться. Она рассказывает, что подвергла риску состояние своих детей. Но все же это лучше бесчестия! Если г. Дамбрез приостановит взыскание, то ему, без сомнения, скоро уплатят: она продаст в Шартре свой домик.

— Бедная!—пробормотал Фредерик.—Я отправлюсь к нему. Положитесь на меня.

— Благодарю.

И она поднялась, собираясь уходить.

— Но почему вы так спешите?

Она, стоя, стала рассматривать монгольские стрелы, свешивавшиеся с потолка, книжные шкапы, переплеты, письменные принадлежности; приподняла бронзовую чашечку, где лежали перья; переступала с места на место по ковру. Она не раз бывала у Фредерика, но всегда с мужем. Сегодня же они были одни, одни в его собственном доме, это было необыкновенным событием, почти счастьем.

Ей захотелось посмотреть его садик, Фредерик предложил ей руку и повел показывать свое владение, тридцать футов земли, окруженной домами, с кустами по углам и клумбою по середине.

Стояли первые дни апреля. Листья сирени уже вернулись, свежий ветерок проносился в воздухе, и щебетание птичек чередовалось с отдаленным шумом, доносившимся из кузницы.

Фредерик принес каминную лопатку; и пока ребенок воздвигал на дорожке песочные кучки, они прогуливались.

Г-жа Арну не думала, что у ее сына будет живое впечатление, но характер у него ласковый. Напротив, девочка проявляет прирожденную черствость, что подчас ее сильно огорчает.

— Это пройдет,—заметил Фредерик.—Никогда не нужно отчаиваться.

Она повторила:

— Никогда не нужно отчаиваться.

Его фраза, невольно повторенная, показалась ему поощрением, он сорвал розу, единственную в саду.

— Помните... тот букет из роз, тогда вечером, в коляске?

Она покраснела немного и с видом шутливого сожаления сказала:

— Ах, как я была тогда молода!

— А с этой,—спросил Фредерик тихим голосом,—будет поступлено также?

Она ответила, вертя стебелек между пальцами, словно нить веретена:

— Нет, эту я сохраняю.

Она знаком позвала няню, которая взяла ребенка на руки; на пороге дома она вдохнула запах цветка, склонив голову к плечу, с взглядом, нежным как поцелуй.

Вернувшись в кабинет, он долго глядел на кресло, где она сидела, на все, до чего она дотрагивалась. Что-то от нее, казалось, витало здесь. Обаяние ее присутствия еще длилось.

— Все же она была здесь!—говорил он самому себе.

И волна бесконечной нежности нахлынула на него.

На следующий день, в 11 часов утра, он явился к г. Дамбрезу. Его приняли в столовой. Банкир завтракал, сидя против жены. Рядом с ним сидела его племянница, а по другую сторону гувернантка, англичанка, с сильно изрытым оспой лицом.

Г. Дамбрез предложил своему молодому другу позавтракать, и на его отказ спросил:

— Чем могу быть полезен? Я вас слушаю.

Фредерик сказал, притворяясь равнодушным, что он пришел похлопотать за некоего Арну.

— А-а, бывший продавец картин!—сказал банкир с беззвучным смехом, обнажая десны.—Удри когда-то ручался за него; теперь они в ссоре.

И он стал пробегать письма и газеты, лежавшие у его прибора.

Два лакея, мягко ступая по паркету, обносили блюда; высоте столовой, трем вышитым портьерам и двум бело-мраморным бассейнам, блеску конфорок, расстановке закусок—всему, вплоть до тугих салфеток, всей этой роскоши Фредерик противопоставил завтрак у Арну. Он не смел прервать г. Дамбреза.

Хозяйка заметила его смущение.

— Видаетесь ли вы с нашим общим другом Мартиноном?

— Он придет сегодня,—оживленно сказала молодая девица.

— А, ты это уже знаешь?—заметила тетка, останавливая на ней холодный взгляд.

Один из лакеев наклонился и что-то сказал ей на ухо:

— Твоя портниха, дитя мое... Мисс Джон!

И англичанка, покорно встав, исчезла со своей воспитанницей.

Г. Дамбрез, потревоженный шумом отодвигающихся студьев, спросил, что случилось.

— Пришла г-жа Режембар.

— Режембар? Мне знакома эта фамилия. Я встречал такую подпись.

Фредерик приступил, наконец, к делу: Арну заслуживает участия; он продает дом жены для того лишь, чтобы выполнить свои обязательства.

— Она слывет за очень хорошенькую,—сказала г-жа Дамбрез.

Банкир простодушно прибавил:

— Вы что же их... близкий друг?

Фредерик, не отвечая прямо, сказал, что он будет очень обязан, если примут во внимание...

— Что же, если вам это приятно, пусть будет так! Подождем. Время терпит. Не сойдем ли мы в контору?

Завтрак кончился: г-жа Дамбрез сделала легкий кивок, продолжая улыбаться какой-то особенной улыбкой, исполненной и вежливости, и иронии. Но у Фредерика не было времени подумать об этом. Дамбрез, как только они остались одни, сказал:

— Вы не пришли за акциями,—и не дав ему оправдаться, продолжал:

— Прекрасно, прекрасно. Следует раньше ближе познакомиться с делом.

Он предложил ему папиросу и приступил к объяснениям.

«Союз по разработке французских каменноугольных копей» основан и ждет лишь утверждения устава. Один тот факт, что произошло слияние компаний, сокращает расходы на контроль и рабочие руки и увеличивает прибыль. Кроме того, Союз наметил нововведение,—заинтересованность рабочих в самом предприятии. Он построит им дома, здоровые помещения; наконец, он будет поставщиком для своих служащих, продавая им все по себестоимости.

— И они будут в выигрыше, милостивый государь! Вот настоящий прогресс. И не есть ли это победоносный ответ на иные республиканские выкрики. В нашем совете находятся,—он развернул список,—один пэр Франции, один видный ученый, один инженер-генерал в отставке,—все фамилии известные. Подобный состав должен успокоить боязливых капиталистов и привлечь капиталы интеллигентных людей. Компания возьмет на себя подряды для всех государственных сооружений, потом поставку угля на железные дороги, пароходы, металлургические заводы, на газовые заводы, наконец, в кухни частных домов. Таким образом, мы отопляем, мы освещаем, мы проникаем в самые скудные хозяйства. Но как, спросите вы, сможем мы обеспечить себе сбыт? Благодаря покровительственным законам, дорогой мой, их-то мы уже добьемся, это наше дело. Я, впрочем, говоря откровенно, сторонник запретительной системы. Отечество прежде всего.

Он выбрал в директора, но у него нет достаточно времени для подробностей, как, например, для составления докладов.

— Я немного отстал от науки и многое перезабыл. Мне необходим человек, который мог бы излагать мои мысли... Не хотите ли быть таким человеком, на должность главного секретаря.

Фредерик не знал, что отвечать ему.

— Что же смущает вас?

Его обязанность будет заключаться только в ежегодном составлении отчета для акционеров. Он будет находиться в ежедневных сношениях с людьми самыми влиятельными в Париже. Как представитель Компании, он сумеет снискать большую любовь со стороны рабочих, что, естественно, даст ему в будущем возможность попасть в члены правления и быть выбранным в депутаты.

В ушах Фредерика шумело. За что такая милость? Он рассыпался в благодарностях.

— Но не следует,—сказал банкир,—ставить себя в зависимость от кого бы то ни было. Самое лучшее приобрести самому акции, «отличное помещение денег»,

«сверх того, ваш капитал обеспечит ваше положение, а ваше положение обеспечит ваш капитал».

— А какова должна быть примерно сумма,—спросил Фредерик.

— Бог мой! Да какая хотите. Я полагаю—от 40.000 до 60.000 франков.

Эта сумма была столь ничтожна для Дамбрэза, а его авторитет столь значителен, что Фредерик тотчас решил продать одну из своих ферм. Он принял предложение. Дамбрэз обещал на днях назначить свидание, чтоб окончательно стовориться.

— Так я могу передать Жаку Арну...

— Все, что хотите! Вот несчастный малый! Все, что хотите!

Фредерик написал Арну успокоительное письмо и послал слугу, через которого ему ответили:

— Очень хорошо!

Между тем, эта услуга стоила большого. Он ждал визита или, по крайней мере, письма. Но к нему не пришли, ему не написали даже.

Что это, забывчивость с их стороны или нечто другое? Ведь, если г-жа Арну приходила раз, то что же мешает ей придти опять?

Ее намек, почти признание, сделанное ею, были, значит, лишь кокетством ради выгоды? «Неужели они играют мною? Неужели она его соучастница?» Какое-то чувство неловкости мешало ему зайти к ним, несмотря на все свое желание.

Однажды утром (спустя три недели после свидания) г. Дамбрэз написал ему, что он ждет его к себе сегодня.

По дороге Фредерику снова пришли на ум Арну, он совершенно не понимал их поведения и почувствовал тоску, какое-то мрачное предчувствие. Чтобы избавиться от такого состояния, он кликнул извозчика и велел ехать на улицу Паради.

Арну куда-то уехал.

— А барыня?

— В деревне, на фабрике.

— Когда барин вернется назад?

— Завтра, непременно.

Он застанет ее одну; вот счастье! Что-то в его сознании повелительно кричало: «Поезжай!».

А Дамбрэз? Что-же, все равно! Скажу, что заболел.

Он помчался на вокзал, потом, уже в вагоне, подумал: «Я сделал глупость, может быть? А, была не была».

Справа и слева тянулись зеленые равнины, поезд мчался; станционные домики мелькали, как декорации, и дым из паровоза валил все в одну и ту же сторону, стелясь некоторое время по траве, потом рассеивался и исчезая.

Фредерик, сидя один на своем диванчике, со скуки задремал, истомленный нетерпением. Но показались колоды с журавлями, товарные склады. Это был Крейль.

Городок располагался по склонам двух невысоких холмов (из которых один, ближайший, был гол, а другой покрыт лесом) со своей церковной башней, с неровными домами, каменным мостом; все это придавало ему веселый, скромный и приятный вид. Большой паром спускался по течению реки, вода бурлила вокруг него, под напором ветра; у подножия холмика с распытием копошились в соломе куры; прошла женщина с мокрым бельем на голове.

Миновав мост, он очутился на острове, где справа виднелись развалины какого-то монастыря. Мельница была в ходу, плотина загораживала во всю ширину второй рукав Уазы, над которым возвышался огромный завод. Внушительность этого здания сильно изумила Фредерика. Он проникся уважением к Арну. Сделав несколько шагов, он свернул в переулок, упиравшийся в железные ворота.

Фредерик вошел. Привратница окликнула его и закричала:

— Есть ли у вас разрешение?

— Для чего?

— Чтоб пройти на завод.

Фредерик сердитым тоном объявил, что он идет к г. Арну.

— А кто такой этот г. Арну?

— Да директор завода, хозяин.

— Нет, сударь, хозяева этой фабрики гг. Лебёф и Миллье.

Верно, добрая женщина пошутила. Приближались ра-

бочие; Фредерик обратился с вопросом к двум или трем, тот же ответ.

Он вышел со двора, шатаясь, как пьяный; вид его был на столько растерянный, что на мосту какой-то обыватель, куривший трубку, спросил его, не ищет-ли он чего? Оказалось, что он знает, где находится завод Арну. Он в Монтатэре.

Фредерик пошел искать извозчика, но извозчика можно было найти только на станции. Он вернулся туда. Разбитая коляска, запряженная очень старой клячей, в рваной сбруе, висевшей клочьями по оглоблям, одиноко стояла перед багажной кассой.

Мальчишка предложил отыскать «дядю Пилона». Вернулся он через десять минут и сообщил, что дядя Пилон завтракает.

Фредерик вытерпел и пошел пешком. Но шлагбаум был опущен. Нужно было дожидаться, пока пройдут два поезда. Наконец, он бегом бросился по полю.

Однотонная зелень полей напоминала сукно огромного биллиарда. Железный шлак был навален по обеим сторонам, как кучи щебня. Немного далее, дымились трубы завода. Напротив, на круглом холме, возвышался небольшой замок с башенками и четырехугольной колокольней. Длинные ограды спускались неправильными линиями среди деревьев, а у подошвы холма раскинулись домики деревни.

Домики были одноэтажные, с тремя каменными ступеньками каждый. Временами слышно было, как звякал колокольчик в мелочной лавочке. Тяжелые башмаки прохожих глубоко увязали в черной грязи, моросил мелкий дождь, зачерчивая бледное небо тысячами полосок.

Фредерик шел посреди мостовой; потом, на повороте влево, он увидел большую деревянную арку, на которой было выведено золотыми буквами: «Ф а я н с».

Не без цели Жак Арну выбрал место по соседству с Крейлем и поместил свой завод насколько возможно ближе к заводу с установившейся репутацией; он рассчитывал, что публика будет их путать, к его явной выгоде.

Главный корпус здания стоял на берегу речки, которая прорезывала луг. Хозяйский дом в саду выделялся

своим крыльцом, украшенным четырьмя вазами, из которых топорщились кактусы. Белая глина кучами сушилась под навесом; другие кучи громоздились под открытым небом; а по середине двора стоял Сенекаль, в своем вечном синем пальто, на красной подкладке.

Бывший репетитор протянул Фредерику свою холодную руку.

— Вы к хозяину? Его нет дома.

Фредерик, смутясь, ответил глупостью:

— Я знаю.

Но моментально спохватившись, прибавил:

— Я по делу к г-же Арну. Может-ли она принять меня?

— Ах, я не видал ее уже три дня,—сказал Сенекаль.

И полился целый поток жалоб. Принимая условия заводчика, он думал, что жить ему придется в Париже, а не зарыться в этой глуши, вдали от друзей, без газет. Ну, что-ж делать, он примиряется с этим. Но Арну, повидимому, не оценивает должным образом его достоинств. Кроме того, он ограничен, ретроград и ни в чем ни аза не смыслит. Вместо того, чтобы изощряться в художественности, было-бы гораздо лучше завести у себя на заводе отопление углем и газом. Буржуа зарывается!—И Сенекаль сделал ударение на этом слове. Короче, местом он недоволен и почти требовал, чтобы Фредерик замолвил за него словечко, убедил хозяина увеличить ему жалованье.

— Будьте покойны!—сказал тот.

Он не встретил никого на лестнице. В первом этаже он просунул голову в какую-то пустую комнату, которая оказалась гостиной. Он громко поввал. Никто не отозвался; вероятно, кухарка так же, как и нянька, вышли. Затем, поднявшись во второй этаж, он толкнул какую-то дверь. Г-жа Арну стояла перед зеркальным шкапом, пояс расстегнутого капота висел вдоль ее бедер. Ее черные волосы волной ниспадали на правое плечо; обе руки были подняты, одной она придерживала шиньон, а другой втыкала в него гребенку. Она вскрикнула и исчезла.

Вскоре она явилась тщательно одетой. Ее стан, глаза, шелест платья — все восхитило Фредерика. Наружный

свет, смягченный занавесками, делал ее лицо белее и дивное благоухание исходило из ее уст. Он едва сдержался, чтобы не осыпать ее поцелуями.

— Извините,—сказала она,—но я не могла.

У него хватило смелости прервать ее:

— А между тем... вы так были хороши... только что.

Повидимому, этот комплимент показался ей немного вольным, щеки ее покрылись румянцем. Он испугался,—уж не обиделась ли она? Она спросила:

— Какой добрый ветер занес вас сюда?

Он не знал, что ответить; усмехнувшись, чтоб успеть подумать, он начал:

— Но, если я скажу, вы поверите?

— Почему же нет?

Фредерик сказал, что минувшей ночью ему приснилось нечто ужасное.

— Я видел во сне, что вы серьезно больны, при смерти.

— О, ни я, ни мой муж, никогда не бодем.

— Мне снились только вы,—заметил Фредерик.

Она спокойно взглянула на него:

— Сны не всегда сбываются.

Фредерик запнулся, подыскивая слова, и, наконец, распространился о сродстве душ. Существует какая-то сила, которая действует на расстоянии, позволяет людям общаться, узнавать, что они испытывают, и соединяться друг с другом.

Она слушала его с опущенной головой, улыбаясь все время своей прекрасной улыбкой. Он украдкой, с радостью наблюдал за ней и свободнее изливал свое чувство, под покровом общих мест. Г-жа Арну предложила ему осмотреть завод; она настаивала и он согласился.

Желая сначала показать ему что-нибудь более занимательное, она повела его в своего рода музей, который украшал лестницу. Образцы производства были развешаны по стенам и расставлены на полках, что указывало на разные выдумки и непрерывные увлечения Арну. После попыток найти красную китайскую краску он стал изготавливать майоликовые, фаянсовые и этрусские вещи, применяя последние усовершенствования. Среди больших ваз с изображениями китайских мандаринов, бросались

в глаза миски темно-красного цвета с металлическим отливом, высокие горшки с арабскими надписями, кувшины в стиле Возрождения и большие тарелки с изображением двух человеческих фигур, исполненных сангвиной, нежно и воздушно. Он фабриковал в настоящее время буквы для магазинов, ярлыки для вин; но у него не доставало умственного превосходства, чтобы возвыситься до искусства и он не был настолько торгашем, чтобы добиваться исключительно выгод. Никому не угодив, он разорился. Оба рассматривали эти вещи, когда вошла Марта.

— Разве ты его не узнаешь?—сказала мать.

— Узнаю,—сказала она, кланяясь Фредерику, в то время, как ее ясный, но подозрительный взгляд подростка, казалось, говорил: зачем ты сюда пришел? Слегка наклонив голову к плечу, она стала подниматься по лестнице.

Г-жа Арну повела его во двор; потом она серьезным тоном стала объяснять ему, как толкут глину, как очищают ее, как просеивают.

— Главное дело—приготовить тесто.

Она повела его в помещение, наполненное чанами, где вращалась вертикальная ось с горизонтальными ручкоятками.

Фредерик сердился на самого себя, что сразу не отказался от ее предложения.

— Это—промывальни,—сказала она.

Он нашел это слово смешным и как-будто не подходящим в ее устах.

Широкие ремни тянулись с одного конца потолка на другой, обвиняя барабаны, и все двигалось безостановочно, с раздражающей равномерностью.

Они вышли и прошли мимо развалившейся лачужки, где прежде хранились садовые инструменты.

— Она уж ни к чему не годна,—сказала г-жа Арну.

Он возразил дрожащим голосом:

— Счастье могло бы приютиться в нем.

Шум парового насоса заглушил его слова, и они вошли в отделение, где происходила формовка.

Перед каждым рабочим, сидящим за узким столом, находился вертящийся диск с массой теста, левой рукой

он брал глину, а правой выравнивал поверхность ее—и на их глазах появлялась чаша, словно распускался цветок.

Г-жа Арну заставила показать формы для самых трудных работ.

В следующей комнате выделялись желобки, горлышки, выпуклые части. В верхнем этаже стирались спайки и закреплялись гипсом дырочки, оставшиеся от предшествующих операций.

На широких решетках, в углах, посредине корридоров, повсюду вытягивалась в ряды глиняная посуда.

Фредерику становилось скучно.

— Может, вас это утомило?—спросила она.

Испугавшись, что придется ограничить этим свой визит, он поспешил проявить большое увлечение. Даже высказал сожаление, что сам не причастен к этому производству.

Она, видимо, удивилась.

— Конечно! Я мог бы тогда жить вблизи вас.

Он старался поймать ее взгляд, а г-жа Арну, чтобы избежать его, взяла с подставки шарики теста, оставшиеся от неудачных отделок, и скатав из них лепешку отпечата на ней свою руку.

— Можно мне взять это себе?—спросил Фредерик.

— Боже мой, какой вы еще ребенок!

Он хотел возразить. Вошел Сенекаль.

Господин вице-директор уже с порога заметил нарушение правил. Мастерские должны выметаться ежедневно по субботам; была суббота, но было насорено, и Сенекаль объявил рабочим, что они должны остаться лишней час. «Сами виноваты».

Они безропотно опустили головы над своей работой; но о гневе их можно было догадаться по их учащенному дыханию. Впрочем, с ними было нелегко иметь дело, все они были уволены с большого завода. Республиканец расправлялся с ними жестоко. Человек теорий, он видел только массы и оказывался неумолимым к отдельным личностям.

Фредерик, стесняемый его присутствием, тихо спросил у г-жи Арну, нельзя ли посмотреть печи. Они спустились в нижний этаж; она стала объяснять ему устройство

ящиков, когда Сенекаль, шедший сзади, встал между ними.

Он стал показывать сам, распространился о различных сортах топлива, о плавке стекла, о пироскопах, печных устьях, химических соединениях, о глазури и металлах, употребляя при этом всякие химические термины: хлористый, сернистый, бура, углерод... Фредерик ничего не понимал и поминутно обращался к г-же Арну.

— Вы не слушаете,—сказала она.—А г. Сенекаль объясняет очень ясно. Он знает все гораздо лучше меня.

Математик, польщенный этой похвалой, предложил показать, как накладывают краски.

Фредерик бросил умоляющий взгляд на г-жу Арну. Она осталась равнодушной, вероятно, не желая ни оставаться с ним наедине, ни отпустить его. Он предложил ей руку.

— Нет, спасибо. Лестница слишком узка.

Когда они были на самом верху, Сенекаль открыл дверь в отделение, наполненное женщинами. У них в руках были кисточки, пузырьки, раковинки, стеклянные пластинки. Вдоль карниза тянулись гравировальные доски; ленточки тонкой бумаги летали по комнате, а из плавильной печи шел невыносимый жар, к которому примешивался запах скипидара.

Работницы почти все были нищенски одеты. Только одна из них выделялась полупелковым платьем и длинными серьгами, тонкая и в то же время пухленькая, с огромными черными глазами и мясистыми губами, как у негритянки. Ее полная грудь выдавалась под рубашкой, талию схватывал шнурок юбки; облокотясь на станок и опустив другую руку, она смотрела куда-то через окно, в поля. Около нее стояла бутылка вина и валялся кусок свинины. А, между тем, ради чистоты и гигиены, запрещалось есть в мастерских.

Сенекаль, из чувства долга или из склонности к деспотизму еще издали закричал, указывая на объявление в рамке:

— Эй, вы там! Бордоска! Прочтите-ка вслух девятый параграф.

— Еще чего?

— А то, сударыня, что вы заплатите три франка штрафа.

Она нагло посмотрела ему прямо в лицо.

— А мне что! Что до штрафа, то все равно сам хозяин сложит его. Мне плевать на вас, молодчик!

Сенекаль, прогуливавшийся, точно классный наставник, заложив руки за спину, ограничился улыбкой.

— Параграф 13, за неповиновение десять франков.

Бордоска принялась за свое дело. Г-жа Арну из приличия ничего не сказала, но нахмурила брови. Фредерик пробормотал:

— Ну, для демократа вы чересчур жестоки.

Он возразил наставительно:

— Демократия не есть распущенность отдельных личностей. Она—равенство перед законом, разделение труда, порядок.

— Вы забываете о гуманности,—заметил Фредерик.

Г-жа Арну взяла его под руку; Сенекаль, вероятно, обидевшись на ее молчаливое согласие, ушел.

Фредерик испытал безмерное облегчение. С самого утра он искал случая объясниться; он, наконец, представился. Кроме того, внезапное движение г-жи Арну как будто предвещало успех, и он попросил ее под предлогом того, что у него озябли ноги, подняться в спальню. Но, когда он сел рядом с ней, нерешительность снова овладела им; он не знал, с чего начать. К счастью, на ум пришел Сенекаль.

— Ничего нет глупее, — сказал он, — подобных наказаний.

— Иногда нельзя обойтись без строгости.

— Как? Вы, такая добрая! Впрочем, ошибаюсь. Подчас вам нравится мучить.

— Я не понимаю загадок, мой друг.

И ее суровый взгляд, более чем слова, остановил Фредерика. Но он решился продолжать. Случайно на комод лежал Мюссе. Он перевернул несколько страниц, потом заговорил о любви, о печалих и терзаниях ее.

Все это, по мнению г-жи Арну, было или преступно или выдуманно.

Молодой человек был задет таким отрицанием; чтобы опровергнуть ее, он стал приводить в доказательство самоубийства, о которых печаталось в газетах, восторгаться знаменитыми литературными типами, Федорой, Дидоной, Ромео, Дегрие *). Он запутался.

Огонь в камине потух, дождь хлестал в окно. Г-жа Арну сидела, не шевелясь, положив обе руки на ручки кресла; ленты ее шляпы висели точно концы повязки сфинкса; в сумерках бледно выделялся ее чистый профиль.

Ему хотелось броситься на колени. Послышался скрип в коридоре, и он не посмел.

Вместе с тем его останавливал какой-то почти религиозный страх. Платье ее сливалось с темнотой и казалось ему непомерным, бесконечным, и именно это еще более усиливало его желания. Но страх сделать что-нибудь лишнее или не сделать нужного отнимал у него всякий рассудок.

— Если я не правлюсь ей, — думал он, — пусть она прогонит меня. Если же я ей не противен, она должна ободрить меня.

Он сказал, вздохнув:

— Разве вы не допускаете, что можно любить женщину?

Г-жа Арну ответила:

— Если она свободна, на ней женятся; если же она принадлежит другому, то следует уйти.

— Значит, счастье невозможно?

— Нет. Его никогда не найдешь в обмане, в тревогах, в муках совести.

— Что ж! Зато испытаешь блаженство

— Опыт слишком дорогой.

Он задумал сразить ее иронией:

— Добродетель, значит, есть не более, как трусость?

— Скажите лучше, дальновидность. Для тех, кто забывают долг или религию, достаточно простого здравого смысла. Эгоизм—верная основа целомудрия.

— Что за мещанские взгляды!

*) Герой романа аббата Прево „Манон Леско“

— Да я и не воображаю себя великосветской дамой.
В этот момент прибежал мальчик.
— Мама, иди обедать!
— Сейчас, сейчас.

Фредерик поднялся; в эту минуту появилась и Марта. Он не мог решиться уйти; со взглядом, полным мольбы, он сказал:

— Что ж, эти женщины, о которых вы говорили, совсем бесчувственны?
— Нет, но они глухи, когда нужно.

Она стояла на пороге спальни с двумя детьми по бокам. Он поклонился, не произнося ни слова. Она молчаливо ответила на его поклон. Долгое время он находился в оцепенении. Такой способ дать понять тщету его надежд пришиб его. Он чувствовал себя человеком, упавшим на дно пропасти и знающим, что ему не подадут руки помощи и что его ждет смерть.

Он шел наугад, ничего не видя; он спотыкался о камни, сбился с дороги. Вдруг он услышал стук деревянных башмаков; это были рабочие, шедшие с литейного завода. И он опомнился.

На горизонте ряд огней указывал железную дорогу. Он пришел на станцию как раз в тот момент, когда поезд отходил, его втокнули в вагон, и он уснул.

Через час, на бульварах, среди оживления парижского вечера, его поездка показалась ему далеким прошлым. Ему захотелось быть сильным, и он успокоил себя тем, что осыпал г-жу Арну ругательствами.

— Вот дура, индюшка, скотина, не буду больше думать о ней!

Вернувшись домой, он нашел в кабинете письмо на восьми страницах блестящей голубой бумаги с инициалами Р. А.

Начиналось оно дружескими упреками:

— Что случилось с вами, дорогой мой? Я скучаю.

Но почерк был настолько отвратителен, что Фредерик уже собирался швырнуть это послание, как увидел постскриптум.

«Я рассчитываю, что вы будете завтра сопровождать меня на скачки».

Что значило это приглашение? Что еще затевает Маршал; но ведь нельзя же дважды под ряд издеваться зря над человеком.

Движимый любопытством, он внимательно перечитал письмо.

Он разобрал: «Недоразумение... сделал ошибочный шаг... разочарование... несчастные мы—дети... Подобно двум сливающимся речкам»...

Все это не соответствовало обычному языку лоретки. Почему-же произошла в ней такая перемена?

Он долго держал в руках эти листочки. Они пахли присом; в почерке и в кривизне строчек было нечто похожее на беспорядок в туалете, и это взволновало его.

— Почему бы и не поехать?—подумал он, наконец.

— Ну, а если г-жа Арну узнает? Ах, да пусть узнает! Тем лучше! Пусть ревнует! Я буду отомщен.

IV.

Маршал была готова и ожидала его.

— Вот это мило!—сказала она, устремляя на него свои красивые глаза, нежные и веселые.

Но завязав бант у шляпы, она присела на диван и замолкла.

— Что-же, едем?—сказал Фредерик.

Она посмотрела на часы.

— О, нет! Не раньше половины второго,—сказала она, как бы надеясь, что к этому времени что-то выяснится.

Наконец, пробило половина второго.

— Ну, andiamo, mio caro! *)

И она в последний раз оправила волосы и отдала приказания Дельфине.

— Обедать будете дома?—спросила служанка.

— Нет, зачем же! Мы пообедаем где-нибудь вместе, в кафе Англэ, где вы захотите.

— Отлично!

*) „Пойдем, мой милый“ (на итальянском языке).

Собаченки таякали около нее.

— Ведь и их можно взять с собой, не правда-ли?

Фредерик сам понес их к экипажу. Это была наемная коляска, запряженная парой почтовых лошадей с форейтором; на запятках он поместил своего слугу.

Маршал, повидимому, была довольна его предупредительностью и как только уселась, спросила, давно ли он был у Арну?

— С месяц тому назад, — ответил Фредерик.

— А я встретила с ним третьего дня, он должен был быть у меня сегодня. Но у него всякие хлопоты и опять какой-то процесс. Что за странный человек!

— Да, очень странный!

Фредерик с равнодушным видом прибавил:

— Да, кстати, вы все еще видаетесь с этим... как это его?... с бывшим певцом... Дельмаром?

Она сухо ответила:

— Нет! это кончено!

Итак разрыв был несомненен и он снова мог питать надежду!

Они проехали шагом квартал Брэда; улицы по случаю воскресенья были пустынные; в окнах появлялись лица обывателей. Экипаж покатился быстрее; шум колес заставлял прохожих обертываться, кожа откинутого верха блестела, лакей выгибал стан, а две белые собаченки, лежавшие на подушке, были похожи на пару горностаевых муфт. Фредерик покачивался на пружинах сидения. Маршал, улыбаясь, повертывала голову то в одну, то в другую сторону.

Ее шляпа из переливчатой соломы была отделана черными кружевами. Капюшон тальмы развеивался по ветру, а от солнца она защищалась бледно-лиловым атласным зонтиком, заостренным на подобие пагоды.

— Какие прелестные пальчики! — сказал Фредерик, с нежностью беря ее левую руку, украшенную золотым браслетом в виде цепочки. — А скажите-ка, откуда у вас эта славная вещичка?

— О, она у меня уже давно, — сказала Маршал.

Молодой человек ничего не возразил на этот лицемерный ответ. Он считал за лучшее «воспользоваться слу-

чаем» и, не выпуская руки, приложился к ней губами между перчаткой и рукавом.

— Перестаньте, увидят!

— Ну, так что-ж!

Миновав площадь Согласия, они поехали по набережным. Конферанс и Бильи и в одном саду увидели кедр. Розанета думала, что Ливан — в Китае; она сама расхохоталась своему невежеству и попросила Фредерика давать ей уроки географии. Потом, оставив Трокадеро справа, они переехали Иенский мост и остановились, наконец, на Марсовом поле, в ряду других экипажей, уже выстроенных в линию перед Ипподромом.

Зеленые бугры были усеяны простым народом. Любопытные стояли на балконе Военного Училища; два павильона за весами, две трибуны в кругу и третья напротив королевской беседки были полны нарядной публикой, по виду которой можно было заключить, что к этому роду развлечений, только что введенному, она относится с почтением. В то время публика на скачках собиралась самая отборная и вид имела менее вульгарный; это была эпоха штрипок, бархатных воротников и белых перчаток. Женщины, ярко-разодетые в платья с длинными талиями, сидя на уступах трибуны, производили впечатление обширных цветников, испещренных пятнами темных мужских костюмов. Но все взоры направлялись на знаменитого алжирца Бу-Маза, который бесстрастно сидел между двумя офицерами генерального штаба в одной из почетных лож. Трибуну Жюкей-Клуба занимали исключительно важные особы.

Самые страстные любители скачек поместились внизу, у самой дорожки, обнесенной двумя рядами кольев с протянутыми на них канатами. На огромной овальной площади, которую окружала эта ограда, продавцы напитков вносили оживление своими трещотками; другие продавали программы скачек, третьи — ситары, — и гулкое жужжание носилось в воздухе; полицейские сновали взад и вперед среди толпы, поднимавшей клубы пыли. Колокол, привешанный к столбу, открытому цифрами, зазвонил. Появилось пять лошадей; все разместились по трибунам.

Между тем, на верхушках вязов, напротив, опустились завитки тяжелых туч. Розанета испугалась дождя.

— У меня с собой большие дождевые зонты,—сказал Фредерик—и все прочее для того, чтобы не скучать, — прибавил он, приподнимая переднее сиденье, где находилась корзина с провизией.

— Браво! Мы понимаем друг друга.

— И еще лучше пойдем, не так ли?

— Очень возможно,—сказала она, краснея.

Жокеи, в шелковых курточках, старались выровнять в линию своих лошадей и сдерживали их обеими руками. Кто-то опустил красный флаг. Тогда все пятеро, наклонившись к гривам, тронулись с места. Сначала они шли сплоченной массой; но она быстро удлинилась, перервалась; тот, на котором была желтая куртка, на середине первого круга чуть было не упал; долго составлялись «Филли» и «Тиби», потом «Том-Пус» обогнал их; но «Клебстик», шедший с самого начала сзади всех, нагнал их и пришел первым, опередив «Сэр-Чарльза» на два корпуса; этого никто не ожидал, поднялся крик; трибуны дрожали под топотом ног.

— Как весело!—сказала Маршал.—Душка, я люблю тебя!

Фредерик не сомневался более в удаче; эти слова внушили ему уверенность.

Вдруг, на расстоянии ста шагов от него появилась в кабриолете дама. Она то высовывалась, словно искала кого-то, то быстро скрывалась в экипаже; это повторялось много раз, но Фредерик не мог разглядеть ее лица. У него зародилось подозрение, не г-жа ли это Арну? Впрочем, это невозможно. Зачем ей приезжать сюда?

Он вышел из экипажа под предлогом потолкаться около весов.

— Вы не очень-то любезны!—сказала Розанета.

Он не слушал и шел все дальше. Кабриолет повернул и быстро укатил.

В этот момент Фредерика перехватил Сизи.

— Здравствуйте, дорогой, как поживаете? Здесь Гюссонэ. Да слушайте же!

Фредерик старался отделаться от него, чтобы догнать кабриолет.

Но Маршал, которой надоело одиночество, делала ему знаки, чтоб он возвращался к ней. Сизи увидел ее и захотел непременно поздороваться.

С тех пор, как кончился траур по бабушке, он достиг своего идеала и добился того, что имел особый «отпечаток». Клетчатый жилет, короткий фрак, банты на легких башмаках, входной билет, засунутый за ленту шляпы, — он, наконец, добился всего того, что называл «шиком», шиком англомана или мушкетера. Он начал с критики Марсового поля, выбрал ипподром, затем заговорил о скачках в Шантильи и рассказал, какие штуки там проделываются, клялся, что он может выпить дюжину бокалов шампанского, в промежутки, пока часы бьют двенадцать; предложил Маршалу поставить на лошадь; почти ее болонок за бьющую в глаза жизнерадостность, он слегка поглаживал их одной рукой, а свободной облокотился на дверцу экипажа и нес невероятный вздор, заговаривая в рот стэк, раздвинув ноги. Фредерик, стоя рядом с ним, курил, все стараясь выяснить, куда девался кабриолет.

Опять прозвонил колокол. Сизи отошел, к большому удовольствию Розанеты, которой он будто бы сильно надоел.

Второй заезд был не интересен, третий тоже—только унесли на носилках одного жокея. Четвертый, в котором состязались восемь лошадей на приз города, был интереснее.

Зрители на трибунах взлезли на скамейки. Другие, стоя в экипажах, следили, с биноклями в руках, за жокеями; те двигались пятнами, красными, желтыми и голубыми, мимо всей этой толпы, окаймлявшей ипподром. Издали их резвость не представлялась чрезвычайной; с противоположной стороны Марсового поля казалось даже, что лошади как будто замедляют бег, как будто скользят, животами касаясь земли, с вытянутыми негибающимися ногами. Зато, приближаясь, они точно выросли; их движение разрезало воздух, земля под ними дрожала, щебень летел из-под копыт; ветер, забираясь

под жокейские курточки, вздувал их, как паруса; сильными ударами хлыста они гнали во весь опор своих скакунов к призовому столбу. Цифры снимались и выставлялись другие; под гром аплодисментов победившую лошадь волокли к весам, всю в поту, с опущенной головой, с несгибающимися коленями, тогда как наездник страдальчески держался за бока.

Из-за каких-то пререканий последняя скачка была задержана. Публика, соскучившись, разбрелась. Мужчины беседовали у подножия трибун. Разговоры сделались вольными; светские дамы уехали, задетые соседством с лоретками. Присутствовали здесь также знаменитости публичных балов, актрисы бульварных театров—и наибольшим успехом пользовались далеко не самые красивые, а тем паче не самые молодые. Старая Жоржина Обер, та самая, которую один водевилист назвал Людовиком XI проституткой, отвратительно намазанная, время от времени раздражалась гробким смехом, напоминавшим хрюканье: она полулежала в своей длинной коляске, укутанная в кунный палантин, точно зимой. Г-жа де-Ремуссо, прославившаяся своим процессом, сидела на козлах брэка, в компании американцев; а Тереза Башлю, с лицом готической мадонны, заполнила своими двенадцатью оборками весь небольшой экипаж, в котором на месте фартука стояла жардиньерка с розами. Маршал, завидуя этим знаменитостям, старалась обратить внимание и на себя и начала сильно жестикулировать и очень громко говорить.

Некоторые джентльмены узнали ее и раскланялись. Она отвечала им, называя их фамилии Фредерику. Все это были графы, виконты, герцоги и маркизы; он важно откинул голову, так как было видно, что они оказывали некоторое почтение его счастью.

У Сизи, окруженного людьми зрелого возраста, был не менее счастливый вид. Они улыбались, взирая на него с высоты своих галстуков, точно подсмеивались над ним; наконец, ударив зачем-то по рукам с самым старым, он направился к Маршалу.

Она с показной жадностью ела кусок страссбургского

пирога; Фредерик из повиновения подражал ей, держа на коленях бутылку вина.

Кабриолет снова появился: это была г-жа Арну, необыкновенно бледная.

— Дай мне шампанского!—сказала Розанета.

И, подняв насколько было возможно полный бокал, воскликнула:

— Эй, вы, честная женщина, супруга моего покровителя, эй!

Вокруг захохотали, кабриолет исчез. Фредерик тянул ее за платье. Он был вне себя от гнева; но Сизи был тут же, стоя все в той же самой позе, как и раньше, и с еще большей самоотверженностью стал приглашать Розанету ехать с ним сегодня обедать.

— Невозможно!—ответила она.—Мы обедаем вместе с ним в кафе Англэ.

Фредерик, как будто ничего не слыша, остался нем; и Сизи отошел от Маршала с озадаченным видом.

Пока он разговаривал с ней, стоя у правой дверцы, Гюссонэ появился слеза и, поймав слова «кафе Англэ», воскликнул:

— Отличное заведение! Не перекусить ли там чегонибудь? Хотите?

— Как хотите,—сказал Фредерик, не глядя на него. Представитель богемы осыпал, по своему обычаю, Розанету преувеличенными похвалами, комплиментами, которые не приходилось принимать на веру, но к которым она тем не менее прислушивалась с удовольствием. Если бы он не был обязан написать отчет о скачках, он бы и не приезжал, ибо находил нелепым этот способ развлекаться; и он стал высмеивать спортсменов, подражая их повадке; он смешил Маршала, пока продолжалась скачка с препятствиями.

Фредерик, бессильно опустившись в углу экипажа, следил, как скрывается кабриолет, и чувствовал, что случилось нечто непоправимое, что он погубил свою великую любовь. А вот здесь, рядом с ним—другая любовь, доступная и веселая. Но, утомленный, полный самых противоречивых желаний и сам не зная, чего он

хочет, он испытывал безграничную печаль, желание смерти.

Гулкий топот ног и громкие возгласы заставили его поднять голову; мальчишки перелезли через канат скакового круга, чтобы поглазеть на трибуны; начался раз'езд. Упало несколько капель дождя. Скопление экипажей увеличилось. Гюссонэ пропал.

— Тем лучше!—сказал Фредерик.

— Значит, вам больше нравится быть наедине? — спросила Маршал, кладя свою руку на его.

В этот самый момент мимо них прокатило великолепное ландо, отделанное блестящей медью и сталью, запряженное четверкой а ла-Домон, с двумя жокеями в бархатных камзолах с золотой бахромой. Г-жа Дамбрез сидела рядом с мужем, а напротив них на передней скамейке — Мартинон; на лицах всех троих выразилось удивление.

— Они узнали меня,—подумал Фредерик.

Розанета хотела остановиться, чтобы лучше рассмотреть проезжающих. Но он сообразил, что г-жа Арну может появиться опять. Он закричал кучеру:

— Вперед! Вперед! Скорее!

И коляска покатила по направлению к Елисейским полям вместе с другими каретами, колясками, бричками, английскими линейками, экипажами, запряженными дугом, тильбюри, шарабанами, большими омнибусами с кожаными занавесями, за которыми полуцыганские рабочие орала во все горло, одноколками, которыми правили сами отцы семейств. В некоторых колясках, набитых битком, сидели в ногах юноши, свесив через дверцу ноги. В просторных двухместных каретах, обитых сукном, дремали вдовы; иногда проносился великолепный рысак, запряженный в простую, но изящную, как фрак дэнди, пролетку. Между тем, дождь усиливался. Раскрывались зонты, зонтики, надевались макинтоши; издали громко перекликались:—«Здравствуйте!—Как поживаете? Хорошо?—Да?—Нет!—До скорого свидания!» И лица мелькали с быстротой китайских теней. Фредерик и Розанета молчали, словно отупев от зрелища этих безостановочно вращающихся колес.

Моментами вереницы экипажей не могли двигаться дальше от слишком большой тесноты и все сразу останавливались. Тогда, очутившись рядом, соседи разглядывали друг друга. Через опущенные окна карет с гербами на толпу бросались равнодушные взгляды, в наемных экипажах блестящие улыбки отвечали горделивым осанкам; широко разинутые рты выражали тупое удивление; то здесь, то там, какой-нибудь зевака с середины улицы бросался в сторону, чтоб спастись от всадника, галопирующего среди экипажей, чтобы выбраться на свободу. Потом все снова приходило в движение, кучера ослабляли возжи, опускались длинные бичи; разгоряченные лошади, трясая мундштуками, разбрасывали пену; от крупных и сырых упряжей шел пар, который прорезывался лучами заходящего солнца. Проходя под Триумфальной аркой, закат образовывал столб рыжеватого света, в котором сверкали спицы колес, ручки дверей, концы дышлел, кольца седелок, а по обеим сторонам большого проспекта, похожего на реку, где волнообразно струились гривы, одежды и человеческие головы, деревья, блестящие от дождя, поднимались точно две зеленые стены. Голубые просветы неба казались атласными.

Тогда Фредерику припомнились давно прошедшие дни, когда он завидовал несказанному счастью ехать в одном из подобных экипажей, рядом с одной из этих женщин. Теперь он обладал таким счастьем, но радостно ему от этого не было.

Дождь перестал. Прохожие, укрывшиеся между колонн здания Гар-де-Мебль, выходили оттуда. Гуляющие по Королевской улице направлялись к бульвару. На ступеньках дома министерства иностранных дел стояла толпа зевак.

У Китайских Блнь, из-за неровностей мостовой, экипаж замедлил ход. Человек в ореховом пальто шагнул по тротуару. Внезапно из-под колес целый поток грязи обрызгал его спину. Человек гневно обернулся. Фредерик побледнел,—он узнал Дэлорье.

Приехав в кафе Англэ, он отпустил экипаж. Розанета пошла вперед, пока он расплачивался. Он нагнал ее на

лестнице; она разговаривала с каким-то господином. Он взял ее под руку. Но в середине коридора другой ее знакомый опять остановил ее.

— Иди!—сказала она,—я сейчас приду.

Он вошел в кабинет один. В открытые окна видны были люди у окон противоположных домов. Высыхающий асфальт переливался муаром, и магнолия, поставленная на балконе, наполняла комнату благоуханием. Этот запах и прохлада успокоили Фредерика, он тяжело опустился на красный диван под зеркалом.

Вошла Маршал и поцеловала его в лоб.

— Бедному коту грустно?

— Может быть,—ответил он.

— Не тебе одному,—промолвила она, как бы желая сказать:—Забудем каждый свои печали и будем наслаждаться вместе.

Потом, зажав губами лепесток цветка, она потянулась к нему, чтоб он поцеловал его. Это движение, полное грации и, почти простодушной неги, растрогало Фредерика.

— Зачем ты так мучаешь меня?—сказал он, думая о г-же Арну.

— Я? мучаю?..

Она смотрела на него, стоя перед ним, прищурив глаза и положив руки ему на плечи.

Все его целомудрие, вся его злоба потонули в бездонном малодушии.

Он возразил, сажая ее к себе на колени:

— Потому что ты не хочешь любить меня.

Она не сопротивлялась; он обнял ее за талию обеими руками; шелест ее шелкового платья возбуждал его.

— Где же они?—послышался голос Гюссонэ из коридора.

Маршал мгновенно вскочила и села в другой конец кабинета, спиной к двери.

Она потребовала устриц, и они сели за стол.

Гюссонэ не был забавен. Из-за того, что ему ежедневно приходилось писать на всевозможные темы, прочитывать множество газет, выслушивать тысячу споров и высказывать парадоксы для того, чтобы поражать собе-

седника, он кончил тем, что утерять правильное понятие о вещах, ослепленный собственным бледным остроумием. Житейские затруднения, некогда легко переносимые, теперь были тяжелы ему, и он находился в вечной тревоге, а бессилие, в котором он не хотел сознаться, делало его сварливым и саркастичным. Зашла речь об «Озани», новом балете: он стал горячо нападать на балет, танцы, а с танцев перешел на оперу, а с оперы на итальянских певцов, вместо которых в настоящее время подвизаются испанские актеры, — как будто бы все эти кастильянцы недостаточно надоели. Фредерик был задет в своей романтической любви к Испании и, желая прервать этот разговор, он завел речь о Collège de France, откуда только что были уволены Эдгар Кинэ *) и Мицкевич. Но Гюссонэ, поклонник де-Местра **), оказался сторонником правительства и спиритуалистов. Он сомневался даже в фактах, наиболее доказанных, отрицал историю, оспаривал самые достоверные положения до того, что при слове геометрия вскричал:—Какой вздор эта геометрия!—Попутно он подражал актерам, особенно Сенвилю. Такое пустословие донельзя прискужило Фредерику. От нетерпения он задел под столом одну из болонок.

Оне подняли невыносимый лай.

— Вам следовало бы отправить их домой,—сказал он резко.

Но Розанета боялась доверить их кому-нибудь.

Тогда он обратился к Гюссонэ:

— Послушайте, Гюссонэ, пожертвуйте собою

— Ах, да, голубчик! Это было бы очень любезно с вашей стороны.

Гюссонэ не заставил себя долго упрашивать.

Но как отплатить за его любезность? Фредерик даже и не подумал. Он уже начал радоваться, что они, наконец, остались вдвоем, когда вошел лакей.

— Сударыня, вас спрашивают.

— Как! Опять?

*) Известный историк и поэт, либерал, соратник Мишле.

**) Жозеф де-Местр, католический философ начала 19 века, автор „Санктпетербургских вечеров“.

— Все-таки надо посмотреть, кто там,—сказала Розанета.

Он жаждал ее, томился. Это исчезновение показалось ему вероломством, почти грубостью. Чего же она добивается? Разве ей мало того, что она оскорбила г-жу Арну? Впрочем, так той и надо. В эту минуту он ненавидел всех женщин, слезы душили его от сознания, что его любовь отвергнута, а страсть — обманута.

Маршал вошла в сопровождении Сизи.

— Я пригласила его. Не правда-ли я хорошо поступила?

— Конечно, конечно!—сказал Фредерик с мученической улыбкой, знаком приглашая аристократа садиться.

Маршал стала просматривать карточку, останавливаясь на замысловатых названиях.

— Не заказать-ли нам тюрбан из кроликов а-ла-Ришелье и пуддинг по-орлеански?

— О, только не по-орлеански!—вскричал Сизи, который был легитимистом *) и думал, что сострил.

— Может быть, вы предпочитаете тюрбо а-ла-Шамбор?—продолжала она.

Такое внимание покорило Фредерика.

Маршал, наконец, остановилась на простом жареном мясе, раках, трюфелях, компоте из ананасов и ванильном шербете.

— А дальше мы увидим. Идите! Ах, я и забыла! Принесите мне колбасы, но только без чесноку.

Она называла лакея «молодым чело-реком», стучала ногой по стакану, бросала в потолок кусочки хлеба.

Ей захотелось, не медля, выпить бургундского.

— Перед обедом его не пьют,—сказал Фредерик.

Виконт возразил:

— Нет, иногда пьют и перед обедом.

— Нет. Никогда!

— Уверю вас, что пьют.

— Вот, видишь!—сказала Розанета.

Взгляд, которым она сопровождала эту фразу, обозначал:

*) Сторонник свергнутой династии Бурбонов.

«Это богатый человек, ты и слушай его».

Тем временем дверь открывалась каждую минуту, лакеи кричали, а на разбитом пианино в соседнем кабинете кто-то барабанил вальс. Потом с разговора о скачках перешли к искусству верховой езды и заспорили о двух системах верховой посадки. Сизи защищал Бошэ. Фредерик—графа д'Ора, как вдруг Розанета пожала плечами и сказала:

— Ради Бога, довольно! Он ведь в этом понимает гораздо больше тебя.

Она откусывала кусочек граната, облокотившись на стол; свечи в канделябре, стоявшем перед ней, мигали от ветра; этот белый свет придавал коже перламутровый оттенок, делал веки ее розовыми, а глазные яблоки блестящими; красный сок плода сливался с пурпуром ее губ; ее тонкие ноздри вздрагивали; в ней было что-то дерзкое, пьяное, томящее; она злила Фредерика, и в то же время вызывала в нем безумные желания.

Она спросила спокойным тоном, кому принадлежит это шикарное ландо с ливреей каштанового цвета.

— Графине Дамбрез,—ответил Сизи.

— Они ведь очень богаты, не правда-ли?

— О, очень богаты! Хотя сама Дамбрез, рожденная Вутрон, дочь префекта и не богата.

Напротив, ее муж уже не раз получал наследства, и Сизи перечислил их. Часто бывая у Дамбрез, он хорошо знал их жизнь.

Фредерик, чтоб сделать ему неприятность, упорно противоречил. Он утверждал, что фамилия г-жи Дамбрез была де-Вутрон и что она благородного происхождения.

— Кто бы она ни была, а мне все же ужасно хотелось бы иметь ее экипаж,—сказала Маршал, откидываясь в кресле.

Рукав, немного поднявшись, обнажил ее левую руку в браслете с тремя опалами.

Фредерик заметил его.

— Но откуда?..

Все трое переглянулись и покраснели.

Дверь тихонько приотворилась, и появились поля шляпы, а потом и профиль Гюссонэ.

— Простите, если помешал, господа влюбленные!

Он остановился, удивленный присутствием Сизи и тем, что тот занял его место.

Принесли еще прибор; он сильно проголодался, поэтому принялся доедать остатки обеда, хватая, что попало, то мясо с блюда, то фрукты из корзины; одной рукой он пил, другой ел, рассказывая без перерыва о том, как он выполнил свое поручение. Болонки благополучно доставлены. Дома все по-старому. А кухарку он застал с солдатом,—это он выдумал исключительно для того, чтобы произвести эффект.

Маршал сняла свою шляпу с вешалки. Фредерик поспешно кинулся к звонку и издала закричал лакею:

— Извозчика!

— У меня есть экипаж,—сказал виконт.

— Милостивый государь!..

Они смотрели друг другу в глаза, оба бледные, с дрожащими руками.

Наконец, Маршал взяла под руку Сизи и, указывая на Гюссонэ, сидящего за столом, сказала:

— Посмотрите за ним, ведь он, того гляди, подавится! Я не хочу, чтобы его преданность к моим собаченкам была причиной его смерти!

Дверь захлопнулась.

— Ну?—сказал Гюссонэ.

— Что, ну?

— Я думал...

— Что вы думали?

— Разве вы не...

Он закончил фразу жестом.

— Ах, нет! Ничего подобного!

Гюссонэ не стал расспрашивать.

Он не без цели навязался на обед. Его газетка называется уже не «Искусство», а «Факел» с девизом: «Каноны, к орудиям!» Но никакого успеха не имеет, и поэтому ему хочется превратить ее в еженедельный журнал и вести его без помощи Дэлорье. Он вновь заговорил о старом проекте и изложил свой новый план.

Фредерик, вероятно, ничего не понимал,—он отвечал

неопределенно. Гюссонэ схватил несколько сигар со стола и со словами:—«Прощайте, хороший мой»—исчез.

Фредерик потребовал счет. Он был длинный. Лакей с салфеткой под мышкой ожидал уплаты, когда вошел другой с бледным лицом, похожий на Мартинона, и сказал:

— Извините, в счет забыли поставить извозчика.

— Какого извозчика?

— А того, который был взят господином для собачек.

И лицо лакея вытянулось, как будто ему стало жаль бедного молодого человека; у Фредерика явилось желание побить его. Он дал на чай 20 франков, принесенных сдачи.

— Покорно благодарим, ваше сиятельство!—сказал человек с салфеткой, низко кланяясь.

Фредерик весь следующий день не мог придти в себя от гнева и унижения. Он упрекал себя за то, что не дал пощечины Сизи. Что до Маршала, то он поклялся не видеться с ней более: красивых женщин сколько угодно; а так как, чтобы обладать этими женщинами, нужны только деньги, то он будет играть на бирже на сумму, вырученную от продажи фермы и, разбогатевав, покажет себя Маршалу и всему свету. Настал вечер, он удивился, что ни разу не вспомнил о г-же Арну.

— Тем лучше, к чему?—подумал он.

На третий день в восемь часов утра к нему явился с визитом Пеллерен. Он начал восхищаться обстановкой, льстить. Потом неожиданно спросил:

— Вы были на скачках в воскресенье?

— Увы, был.

Тогда художник стал критиковать сложение английских лошадей и превозносить лошадей Жерико и Парфенона.

Затем он спросил:

— Розанета была с вами?

И он стал ловко расхваливать ее.

Холодность Фредерика смутила его, и он не знал, как начать разговор о портрете.

Сперва он думал написать нечто в духе Тициана. Но мало-помалу богатство оттенков модели соблазнило его, и он свободно работал, накладывая слой за слоем, тень

за тенью. Сначала Розанета была в восторге, но свидания с Дельмаром прервали сеансы, и это дало возможность Пеллерену некоторое время восхищаться своей работой. Потом его восторг стал проходить, и он спрашивал себя: может быть, в картине нет величия? Он снова пересмотрел Тициана, понял разницу, увидел свою ошибку; он стал было проходить заново контур. В последнем он попытался, ослабив их, слить тона головы с тонами фона. Лицо стало рельефнее, тени ярче, все стало определеннее. Наконец, Маршал явилась снова. Она позволила себе сделать некоторые замечания; художник, естественно, не соглашался с ними. После сильных вспышек гнева на ее глупость, он сознался, что, может быть, она и права. Тогда наступил период сомнений, потуги мысли, вызывавшие желудочные спазмы, бессонницу, лихорадку, отвлечение к самому себе; у него еще хватило мужества сделать кое-какие поправки, но без всякого увлечения, с сознанием, что работа плоха.

Он сетовал только на то, что его не приняли в Салон, потом упрекнул Фредерика, что он не хочет посмотреть на портрет Маршала.

— Какое мне дело до вашего Маршала!

Подобное заявление придало ему храбрости.

— Вы подумайте, ведь теперь это животное отказывается взять портрет!

Но о том, что он запросил за него 1000 экю, он умолчал. Маршала мало заботило, кто заплатит за портрет, и, предпочитая вымогать от Арну более необходимые вещи, она даже не сказала ему об этом.

— А что же Арну?—спросил Фредерик.

Она посылала к нему художника, но бывший продавец картин ответил, что ему некуда девать портрет.

— Он утверждает, что портрет принадлежит Розанете.

— По настоящему, оно так и есть.

— Как-же так? Ведь это она направила меня к вам,—возразил Пеллерен.

Если-бы он считал свою работу ценной, то не стал-бы, вероятно, сбывать ее. Но сумма (и сумма значительная) докажет неправоту критики, да и ему она будет желанной

подмогой. Фредерик, чтобы отделаться от него, вежливо осведомился об его условиях.

Несообразность цифры возмутила его, он ответил:

— Нет, нет, не надо!

— Однако, вы ее любовник и сами заказали мне его.

— Позвольте, я был лишь посредником.

— Но не могу же я оставлять его у себя на шее!

Художник начинал злиться.

— Ах, я не думал, что вы такой алчный,—заметил Фредерик.

— А вы такой скупой! Мое почтение!

Только что он ушел, явился Сенекаль.

Взволнованного Фредерика мгновенно охватило беспокойство.

— В чем дело?

Сенекаль рассказал, что случилось:

— В субботу, около девяти часов, г-жа Арну получила письмо, вызывавшее ее в Париж; как нарочно, дома никого не оказалось, кого можно было бы послать за извозчиком в Крейль, и, представьте, она захотела, чтоб я отправился за ним. Я отказался, потому что это не входило в мои обязанности. Она уехала и вернулась в воскресенье вечером. Вчера утром Арну неожиданно нагрянул на завод. Бордоска нажаловалась. Я не знаю, каковы между ними отношения, но он в присутствии всех рабочих снял с нее штраф. Мы обменялись резкостями. Короче, он рассчитал меня, вот и все.

Потом, отделяя каждое слово, он произнес:

— Впрочем, я ни в чем не раскаиваюсь, я только исполнил свой долг. Но что бы там ни было, это вышло из-за вас.

— Каким это образом?—вскричал Фредерик, испугавшись, что Сенекаль обо всем догадался.

Но Сенекаль ни о чем не догадывался. Он ответил:

— А таким... без вас я, может быть, лучше устроился-бы.

Фредерик почувствовал что-то вроде угрозы совести.

— Чем-же я могу вам служить теперь?

Сенекаль попросил Фредерика дать ему какое-нибудь занятие или место.

— Для вас это пустяки. У вас большое знакомство, между прочим, вы знаете г. Дамбрез, как мне говорил Дэлорье.

Напоминание о Дэлорье было неприятно его другу. Идти к Дамбрезам ему нимало не хотелось после встречи с ними на Марсовом поле.

— Я не на столько близок с ним, чтобы рекомендовать кого-нибудь.

Демократ стоически принял этот отказ и после минутного молчания сказал:

— Все, я уверен, произошло из-за Бордоски, а также и из-за вашей Арну.

Слово «ваша» вырвало из сердца Фредерика ту долю сочувствия, которая в нем была. Однако, из деликатности он потянулся к ключу от своего письменного стола.

Сенекаль предупредил его:

— Благодарю.

Потом, забыв о своих невзгодах, он заговорил о судьбах отечества, об орденах, широко розданных в день рождения короля, о перемене министерства, о деле Друльера и Бенье, этих злободневных скандалах, осудил буржуазию и предсказал революцию.

Японский кинжал, висевший на стене, привлек его внимание. Он снял его, примерился к рукоятке и затем брезгливо швырнул его на диван.

— Ну, прощайте! Мне пора в собор Лоретской Божьей Матери.

— Как! Почему?

— Сегодня годовщина смерти Годфруа Кавеньяка и будет отслужена панихида. Он умер на своем посту. Но еще не все кончено... Кто знает?

И Сенекаль торжественно протянул руку.

— Мы, может быть, никогда больше не увидимся, прощайте.

Это прощание, повторенное дважды, его нахмуренные брови при разглядывании кинжала, его уступчивость, а особенно его торжественный вид заставили Фредерика задуматься. Скоро, впрочем, он забыл об этом.

На этой же неделе нотариус прислал ему из Гавра деньги за ферму, сто семьдесят четыре тысячи франков. Он разделил всю сумму пополам: одну часть поместил в государственную ренту, другую же отнес к биржевому маклеру для игры.

Он обедал в модных ресторанах, посещал театры, старался развлечься. Гюссонэ написал ему письмо, в котором в шутовском тоне рассказывал, что Маршал на другой-же день после скачек дала отставку Сизи. Фредерик был очень рад этому, но не стал доискиваться причины, почему журналист сообщил ему об этом обстоятельстве.

Случилось так, что он встретился с Сизи спустя три дня. Аристократ сделал вид, будто между ними ничего не произошло и даже пригласил его на обед в следующую среду.

Фредерик в то-же самое утро получил извещение от судебного пристава, в котором г. Шарль-Жан-Баптист Удри сообщал, что в силу судебного решения он становится собственником поместья в Бельвиле, принадлежавшего прежде г. Жаку Арну, за каковое он готов уплатить полную ее стоимость—двести двадцать три тысячи франков. Но из того-же извещения было ясно, что сумма по закладным превышала вышеуказанную стоимость поместья, и закладная Фредерика теряла всякое значение.

Вся беда произошла оттого, что во время не возобновили записи в реестре запрещений. Арну взялся сам это сделать и забыл. Фредерик рассердился на него, но, когда гнев прошел, подумал:

— Что-ж в конце концов! Если это послужит ему на пользу, тем лучше. Авось не умру! Не стоит и думать об этом.

Но перебирая бумаги на своем столе, он наткнулся на письмо Гюссонэ и увидел пост-скрипtum, которого он при первом чтении не заметил. Гюссонэ просил пять тысяч франков на газету.

— Ах, как он мне надоел!

Фредерик отказал ему наотрез в краткой записке. После этого он стал одеваться, чтоб ехать на обед в Мезон-д'Ор.

Сизи представил ему своих гостей, начав с самого важного, толстого седого господина:

— Маркиз Жильбер дез-Оней, мой крестный отец, Ансельм де-Форшамбо,—продолжал он, подводя Фредерика к хилому белокурому молодому человеку, уже лысому; потом, указывая на сорокалетнего господина с непринужденными манерами, сказал:—Жозеф Боффри, мой двоюродный брат; а вот мой бывший воспитатель г. Везу (этот в одно и то же время напоминал и ломового извозчика, и семинариста; у него были большие бакенбарды; одет он был в длинный сюртук, застегнутый на одну нижнюю пуговицу, с отворотами шалью).

Сизи поджидал еще одного гостя, барона де-Комэна, «который, может быть, еще приедет, но не наверное». Он каждую минуту выходил, казался обеспокоенным; наконец, в восемь часов перешли в зал, залитый огнями, но слишком просторный по числу приглашенных. Сизи занял его нарочно для большей помпы.

Ваза вызолоченного серебра, нагруженная цветами и фруктами, занимала середину стола, уставленного серебряными блюдами по старинному французскому обычаю; небольшие блюда с закусками, с соленьями и пряностями окаймляли его. Кувшины с замороженным розоватым вином стояли на известном расстоянии друг от друга; пять бокалов различной высоты выстроены были перед каждым прибором с тысячью всевозможных приспособлений для еды, назначение которых было непонятно. На одно только первое было подано: стерляжья голова в шампанском, иоркская ветчина в токайском вине, дрозды в сухарях, жаренные перепела, волованы с бешемелью, соте из красных куропаток; на обоих концах стола стояли салатники с тонкими ломтиками картофеля с трюфелями. Люстра и канделябры освещали зал, обтянутый красной парчей. Четыре лакея в черных фраках стояли позади сафьяновых кресел. Когда гости увидели это, слышались восклицания, в особенности, со стороны наставника.

— Честное слово, наш амфитрион совершает настоящие безумства! Это слишком роскошно!

— Это-то?—сказал Сизи,—полноте!

И, после первой ложки супу, спросил:

— Что-же, старина дез-Оней, ездили ли вы в Палэ-Рояль смотреть «Отца и привратника»?

— Ты прекрасно знаешь, что у меня нет времени,—ответил маркиз.

По утрам он слушал курс по лесоводству, по вечерам был занят в земледельческом клубе, а дни проводил на заводах, знакомясь с земледельческими орудиями. Живя три четверти года в Сентонже, он пользовался своими поездками в столицу для пополнения своих знаний; его широкополая шляпа, лежавшая на консоли, была набита брошюрами.

Сизи, заметив, что г. де-Форшамбо отказался от вина, вскричал:

— Пейте же, чорт возьми! Вы плохо ведете себя на вашем последнем холостом обеде!

При этих словах все начали поздравлять того.

— Я уверен, что молодая особа очаровательна,—сказал наставник.

— Разумеется! — вскричал Сизи. — Но все же ты не прав, жениться глупо!

— Ты говоришь легкомысленно, мой друг,—возразил г. дез-Оней, и у него на глазах навернулись слезы при воспоминании о покойной жене.

А Форшамбо несколько раз сряду повторил, усмехаясь:

— И вы кончите тем же, вот увидите!

Сизи запротестовал. Ему нравился рассеянный образ жизни «во вкусе регентства». Он хотел научиться французскому боксу, чтобы посещать кабаки, воровские притоны Ситэ, подобно принцу Родольфу из «Парижских Тайн»; он вытащил из кармана маленькую трубочку, с лакеями обращаясь грубо, необыкновенно много пил; желая показать себя, он бранил все кушанья. А трюфеля приказал даже убрать со стола; его воспитатель, евкий их с наслаждением, из-за угодливости, сказал:

— Все это далеко уступает взбитым яйцам, что подавались у вашей бабушки.

Потом он снова заговорил со своим соседом агрономом, находившим в деревенской жизни много преимуществ,—хотя бы в том, что он мог внушить своим доче-

рям любовь к простой жизни. Воспитатель поддакивал ему, чтоб подделаться; он полагал, что агроном имеет большое влияние на его ученика, к которому ему хотелось поступить управляющим.

Фредерик приехал сильно раздосадованный на Сизи. Но глушость того обезоружила его. Однако жесты, лицо и вся его особа напоминала ему обед в кафе Англе и раздражала все более и более. Он с удовольствием слушал унижительные замечания по адресу хозяина, которые вполголоса делал двоюродный брат его Жозеф, славный малый безо всяких средств, страстный охотник. Сизи в шутку несколько раз называл его «вором»; потом он вдруг радостно воскликнул:

— А, вот и барон!

Вошел здоровый, гибкий человек лет тридцати, с жестким выражением лица, со шляпой набекрень и цветком в петличке. Он был идеалом для виконта, который был в восторге, что заполучил его; и возбужденный его присутствием, он попытался сострить; как раз в это время подавали глухаря, и он поспешил сказать каламбур.

Затем он забросал г. де-Комэна целым рядом вопросов о людях, совершенно неизвестных присутствующим; истом, точно вспомнив что-то, спросил:

— Скажите-ка,—вы подумали обо мне?

Тот пожал плечами:

— Вы еще слишком молоды, мой мальчик, это невозможно!

Дело было в том, что Сизи просил провести его в члены клуба. Барон, повидимому, чтобы пощадить его самолюбие, скавал:

— Ах, я и забыл! Очень, очень поздравляю, вы выиграли пари, дорогой мой!

— Какое пари?

— Да которое вы заключили на скачках:—что вы поедете в тот же вечер к этой даме.

Фредерик испытал ощущение, точно его ударили хлыстом. Но он тотчас же успокоился, увидя смущенное лицо Сизи.

И правда, Маршал на другой день уже раскаялась в

своем поступке и, когда пришел Арну, ее постоянный любовник, ее мужчина, они дали понять виконту, что он «стесняет» их и безо всякой церемонии выпроводили его.

Сизи сделал вид, что не расслышал. Барон прибавил:

— А как поживает эта славная Роза?.. У нее все такие же красивые ноги?—добавил он, давая понять, что знает ее близко.

Фредерику стало досадно от такого открытия.

— Нечего краснеть, это дело хорошее, — продолжал барон.

Сизи щелкнул языком.

— Не очень-то хорошее!

— Рассказывайте!

— Боже мой, да прежде всего я не вижу в ней ничего особенного, таких, как она,—сколько угодно, а потом.... она ведь продажная.

— Ну, не для всех,—сердито вставил Фредерик.

— Он думает, что он чем-то отличается от всех, — возразил Сизи. — Какое заблуждение!

Все захохотали.

Фредерик чувствовал, что он задыхается от сердцебиения. Он залпом выпил два стакана воды.

У барона сохранилось приятное воспоминание о Розанете.

— Что, она все еще живет с неким Арну?

— Ей Богу, не внаю,—проговорил Сизи.—Я не знаком с этим господином.

Но, не смотря на это, он заявил, что тот мошенник.

— Позвольте!—вскричал Фредерик.

— Да, это всем известно, его даже судили.

— Неправда!

Фредерик принялся защищать Арну. Он ручался за его честность и кончил тем, что сам этому поверил; выдумывал цыфры, доказательства. Виконт пылал злобой, к тому же был пьян и так упорно стоял на своем, что Фредерик строго спросил его:

— Вам, повидимому, хочется оскорбить меня, милостивый государь?

И он посмотрел на него глазами, огненными, как его сигара.

— О, совсем напротив, я готов даже согласиться с вами, что у него есть нечто и очень хорошее: это его жена.

— А вы с ней знакомы?

— Да, кто не знаком с Софи Арну?

— Что вы говорите?

Сизи поднялся и заплетающимся языком повторил:

— Да кто же ее не знает!

— Молчите! Она не из тех, у которых вы бываете!

— Надеюсь, что не из тех.

Фредерик швырнул ему в лицо тарелку.

Она молнией пронеслась над столом, повалила две бутылки, разбила вазу с фруктами и, ударившись о поднос, разлетелась на три части, из которых одна попала виконту в живот.

Все поднялись, чтобы удержать его. Он отбивался, бешено крича.

Дез-Оней повторял:

— Успокойтесь! Успокойтесь, дитя мое!

— Ведь это ужасно!—вопил его воспитатель.

Форшамбо, сине-багровый, как слива, весь дрожал; Жозеф хохотал до упаду. Лакеи вытирали вино, подбегали с полу осколки; а барон стал закрывать окно, так как шум, несмотря даже на грохот экипажей, мог быть слышен на бульваре.

В тот момент, когда была брошена тарелка, все говорили разом; поэтому невозможно было понять, почему Фредерик нанес виконту оскорбление: из-за Арну, его жены, Розанеты, или еще из-за кого-нибудь. Что было ясно, так это беспримерная грубость Фредерика; он же наотрез отказался выразить хотя бы малейшее сожаление о случившемся.

Дез-Онэй, двоюродный брат Сизи, Жозеф, воспитатель, и даже сам Форшамбо старались уговорить Фредерика. Барон в это время утешал Сизи, который, поддавшись нервной слабости, проливал слезы. Фредерик, напротив, все более и более раздражался; вероятно, это продолжалось бы до утра, если бы барон не сказал, чтобы кончить всю эту историю:

— Виконт прилетит завтра к вам своих секундантов.

— В какое время?

— В двенадцать дня, если позволите.

— Отлично!

Фредерик, очутившись на улице, вздохнул полной грудью. Слишком долго он сдерживался. Наконец-то получил удовлетворение! Он был горд тем, что поступил как мужчина, чувствовал подъем душевных сил, и все это опьяняло его. Теперь нужно было найти двух секундантов. Первый, о ком он вспомнил, был Режембар; и он тотчас же направился в кафе на улице Сен-Дени. Оно было закрыто. Но сквозь стекло над дверью был виден свет. Дверь была не заперта, и он вошел, сильно нагнувшись, чтобы не задеть навеса над дверью.

Единственная свеча на стойке освещала пустую залу. Все табуретки, вверх ногами, были уже поставлены на столы. Хозяин и хозяйка со своим слугой ужинали, сидя в углу около двери в кухню; Режембар, в шляпе, разделял с ними трапезу и так стеснял слугу, что тот был принужден после каждого куска поворачиваться немного в сторону. Фредерик кратко рассказал, в чем дело, и просил его быть секундантом. Гражданин сначала ничего не ответил; он вращал глазами с видом размышляющего человека, прошелся несколько раз по комнате и, наконец, проговорил:

— Согласен. С удовольствием.

Он убийственно усмехнулся, узнав, что противник—аристократ.

— Мы с ним расправимся! Будьте покойны! Во первых—на шпагах.

— Не может быть,—заметил Фредерик,—я не имею права...

— А я вам говорю, что нужно выбрать шпаги,—возразил Гражданин.—Умеете ли вы фехтовать?

— Немного.

— Ах, немного! Вот каковы они все! А туда же лезут в драку. Что из того, что вы посещали фехтовальный зал. Слушайте: не подпускайте к себе противника, не выходите из круга и отражайте, отражайте. Это допу-

сается. Утомите его. Потом нападайте открыто. А главное без всяких хитростей, не пользуйтесь приемами Фужера. Нет, наносите удары, раз, два; затем отбой. Понимаете? Поворачивайте кисть, точно отпираете замок.—Дядюшка Вотье, дайте мне вашу трость. Впрочем, и это годится.

Он схватил палку, с помощью которой зажигают газ. Согнул левую руку, затем правую и начал наносить удары в перегородку. Он стучал ногой, одушевлялся, притворяясь, что встречает затруднения, не переставая кричал:—Вот тебе! Вот тебе!—и на стене выделялся его громадный силуэт в шляпе, которая почти касалась потолка. Трактирщик время от времени говорил:—Браво! Очень хорошо!—Его жена тоже восхищалась им, хотя и волновалась; Теодор, старый солдат, стоял, окаменев от восторга; впрочем, он был фанатическим поклонником Режембара.

На другой день, рано утром, Фредерик побежал в магазин к Дюссардьё. Пройдя ряд комнат с полками, набитыми тканями, и прилавками, на которых были разложены другие, с деревянными подставками, на которых висели шали, он, наконец, увидел Дюссардьё в решетчатой клетке, среди книг: он писал, стоя за конторкой. Честный юноша тотчас же бросил свои занятия.

Секунданты с'ехали еще до двенадцати часов. Фредерик, желая соблюсти хороший тон, не присутствовал на совещании.

Барон и Жовеф заявили, что они удовлетворятся самым простым извинением. Но Режембар, по принципу никогда не уступавший и желавший защитить честь Арну (Фредерик о другом и не заикнулся), требовал, чтобы виконт извинился. Г. де-Комэн возмущился такою дерзостью. Гражданин не хотел отступить ни на йоту. Ни к какому соглашению придти было невозможно, дуэль была неизбежна.

Возникли новые затруднения; по закону выбор оружия принадлежал Сизи, как оскорбленному. Но Режембар доказывал, что, послав вызов, он тем самым превратился в оскорбителя. Его секунданты не соглашались с этим, утверждая, что пощечина является самым сильным

оскорблением. Гражданин придрался к слову: удар не есть еще пощечина. Наконец, решили обратиться за заключением к военным, и все четверо отправились к офицерам в первую попавшуюся казарму.

Они остановились у той, что на Набережной Орсе. Г. Комэн, обратясь к двум капитанам, объяснил им, из-за чего возник спор.

Капитаны не поняли ничего из всего этого рассказа, сбиваемые с толку вводными фразами Гражданина, и посоветовали спорящим составить протокол; после этого они и выскажут свое мнение. Секунданты отправились в кафэ: и для того, чтобы все это сохранить в тайне, обозначили Сизи через Г., а Фредерика—через К.

Потом опять пришли в казарму, но офицеров уже не застали. Впрочем, те скоро явились и объяснили, что бесспорно выбор оружия принадлежит Г. Все отправились к Сизи. Режембар с Дюссардьё остались ждать у подъезда.

Виконт, узнав о решении офицеров, разволновался так сильно, что пришлось повторить решение несколько раз; и когда де-Комэн дошел до рассказа о притязаниях Режембара, то он пробормотал: «Между тем»... Потом он упал в кресло и объявил, что не станет драться.

— Как? Что?—проговорил барон.

Тогда Сизи стал нести невообразимый вздор. Он хотел драться в упор, из одного пистолета.

— Или же насыпать мышьяку в стакан и выпить по жребью. Я читал; это иногда делают.

Барон, по природе нетерпеливый, отнесся к нему сурово:

— Другие секунданты ждут вашего решения. Это, наконец, неприлично. Выбирайте-же! Ну, что-ж? На шпагах?

Виконт вместо ответа кивнул головой. Дуэль была назначена на завтра, за заставой Мальо, ровно в семь часов утра.

Дюссардьё надо было возвратиться на службу, Режембар один отправился предупредить Фредерика.

Он целый день оставался без всяких известий; нетерпение его дошло до крайнего предела.

— Тем лучше! — воскликнул он.

Гражданин остался им доволен.

— Представьте, они требовали от нас извинения. Они, правда, удовлетворились бы только одним словом. Но я послал их кое-куда подальше. Как и следовало, не правда ли?

— Разумеется, — сказал Фредерик, думая, что было бы, пожалуй, лучше, если бы он избрал другого секунданта.

Потом, оставшись один, он много раз громко повторил:

— Я буду драться. Итак, я буду драться. Это забавно!

Он ходил по спальне и вдруг в зеркале увидел, как он бледен.

— Неужели я боюсь?

Он испытывал чувство отвращения при мысли, что он струсит во время дуэли.

— А что, если я буду убит? Ведь отец погиб таким образом. Да, я буду убит.

И вдруг он представил себе мать в трауре; целый ряд бессвязных образов возник в его воображении. Собственное малодушие раздражало его. Но тотчас же он ощутил в себе прилив храбрости и какое-то кровожадное чувство. Целый батальон не обратил бы его в бегство! Он с радостью почувствовал в себе непоколебимое спокойствие. Чтобы отвлечься, он пошел в Оперу, где давали балет. Он слушал музыку, разглядывал в лорнет балерин, а в антракте выпил стаканчик пунша. Но, когда он вернулся домой, вид кабинета и обстановка, где он может быть, находится в последний раз, вызвали в нем новый приступ малодушия:

Тогда он сошел в свой садик. Звезды блестели; он стал созерцать их. Мысль, что он дерется из-за женщины, возвышала его в собственных глазах, облагораживала. Потом он спокойно лег спать.

С Сизи происходило совершенно другое. После отъезда барона, Жозеф приложил все усилия, чтобы ободрить его. Но видя, что это не действует на виконта, он сказал:

— Однако, любезный, если ты предпочитаешь все свести на нет, то я пойду и скажу об этом.

Сизи не посмел ответить «разумеется», но ему хотелось, чтоб двоюродный брат оказал ему эту услугу, не спрашивая его об этом.

Он желал, чтоб Фредерик умер этой ночью от апоплексического удара, или чтобы стряслось восстание, и баррикады не дали бы возможности пробраться в Булонский лес, чтобы какое-нибудь событие помешало одному из секундантов явиться на место, и дуэль не состоялась бы. У него явилось желание уехать куда-нибудь с экспрессом. Он сожалел, что не знал медицины и не может принять чего-нибудь такого, что заставило бы всех поверить, что он умер, не угрожая на деле его жизни. Он дошел до того, что желал заболеть какой-либо серьезной болезнью.

Ища помощи или совета, он послал за г. дез-Онэй. Но этот прекрасный человек уехал в Сенточж, получив депешу, сообщавшую ему о нездоровье одной из его дочерей. Это показалось Сизи плохим предзнаменованием. К счастью, пришел г. Везу, его воспитатель, и он излил ему свою душу.

— Что мне делать, Боже мой! Как быть?

— На вашем месте, граф, я нанял бы базарного молодца, чтобы тот избил его.

— Он догадается, кто его подослал, — возразил Сизи. Время от времени он громко вздыхал; потом сказал:

— Но разве разрешается драться на дуэли?

— Конечно, это остатки варварства. Но что делать!

Из любезности педагог навязался на обед. Его воспитанник ничего не ел, и после обеда почувствовал потребность прогуляться.

Проходя мимо церкви, он сказал:

— Не зайти ли нам ненадолго... чтобы посмотреть?

Г. Везу нашел, что это очень хорошо, и даже сам окропил его святой водой.

Был месяц Пресвятой Девы; цветы покрывали престол, слышалось пение, звучал орган. Но он был не в состоянии молиться, пышное богослужение навело его на мысли о похоронах: ему казалось, что он слышит De profundis.

— Пойдем отсюда; я чувствую себя нехорошо.

Всю ночь они играли в карты. Виконт силился проиграться, дабы отвлечь несчастье, чем и воспользовался г. Везу. Наконец, на рассвете, Сизи, не будучи в состоянии далее крепиться, уронил голову на зеленое сукно и заснул тревожным сном, полным тяжких сновидений.

Если, однако, мужество заключается в желании победить свою слабость, то виконт оказался мужественным, потому что при виде своих секундантов, явившихся за ним, он напряг все силы, чтобы остаться твердым; самолюбие заставило его понять, что всякое отступление погубило бы его. Г. Комэн сделал ему комплимент за его бодрый вид.

Но дорогой от тряски экипажа и от зноя утреннего солнца он почувствовал слабость. Энергия его вновь упала. Он не понимал даже, где ехали.

Барон забавлялся тем, что запугивал его, говоря о трупе и о том, как этот труп тайно повезут в город. Жозеф отвечал в том же духе, оба считали историю пустяковой и были уверены, что все устроится.

Сизи сидел, свесив голову на грудь; он поднял ее медленно и спросил, почему не приглашен врач.

— Это бесполезно,—сказал барон.

— Разве нет опасности?

Жозеф важно ответил:

— Будем надеяться.

И никто в экипаже не произнес больше ни слова.

В семь часов десять минут достигли заставы Мальо. Фредерик со своими секундантами были уже на месте, все трое в черном. У Режембара вместо галстука был нагрудник из конского волоса, как у военных; в руках у него был длинный ящик, похожий на футляр от скрипки, специально приспособленный для таких случаев. Холодно обменялись поклонами. Затем все направились в глубь Булонского леса по Мадридской дороге, чтобы выбрать подходящее место.

Режембар сказал Фредерику, шедшему между ним и Дюссардые:

— Ну, как? Не боитесь? Если вам нужно что-нибудь,

не стесняйтесь, я знаю, что это бывает. Страх свойственен человеку.

Потом вполголоса прибавил:

— Не курите больше, это расслабляет.

Фредерик бросил сигару, которая только мешала ему, и продолжал путь твердой поступью. Виконт шел сзади, держа под руки своих секундантов.

Навстречу изредка попадались прохожие. Небо было голубое, и порою было слышно, как прыгают кролики. На повороте тропинки женщина в косынке разговаривала с блузником, на большой каштановой аллее конюхи в холщевых куртках водили своих лошадей. Сизи вспомнил счастливое время, когда он верхом на своем темно-рыжем коне, с моноклем в глазу, скакал возле колясок; эти воспоминания усилили его тоску; невыносимая жажда сжигала его; жужжанье мух смешивалось с биением его артерий; его ноги погружались в песок; ему казалось, что он шел уже бесконечно долгое время. Секунданты, не останавливаясь, отмеривали глазами обе стороны дороги. Посоветовавшись о том, свернуть ли к Прэ-Катлан или к ограде дворца Пелафель, взяли, наконец, вправо и остановились на своего рода просеке среди сосен.

Место было выбрано ровное. Обозначили два пункта, где должны стать противники. Потом Режембар открыл свой ящик. В нем лежали на обтянутом красным сафьяном дне четыре прелестных шпаги с желобками вдоль лезвий, с ефесами филигранной работы. Луч света, проходя сквозь листву, падал сверху, — они представились Сизи блестящими серебряными змеями в луже крови.

Гражданин показал, что шпаги все одинаковой длины; третью он взял себе, чтоб разнять сражающихся в случае надобности. Г. Комэн довольствовался тростью. Воцарилось молчание. Все смотрели друг на друга. На всех лицах был написан испуг или жестокость.

Фредерик снял сюртук и жилет. Жозеф помог Сизи сделать то же самое; когда был снят галстук, то заметили у него на шее образок. Это вызвало у Режембара улыбку пренебрежения.

Г. Комэн (чтобы дать Фредерику подумать еще ми-

пугу) старался придирается к мелочам. Он выговорил право надеть перчатку, а также схватывать шпагу левой рукой противника; Режембар торопился и не воспротивился этому. Наконец, барон обратился к Фредерику:

— Все зависит от вас, милостивый государь. — Нет бесчестия в том, чтобы сознаться в своей вине.

Дюссардые жестом одобрил это предложение. Режембар возмутился.

— Вы думаете, что мы здесь для того, чтобы щипать уток, чорт возьми?... Защищайтесь!

Противники стали друг против друга, их секунданты по сторонам. Режембар подал знак:

— Вперед!

Сизи смертельно побледнел. Кончик его клинка дрожал точно хлыст. Голова его откинулась назад, руки раздвинулись, и, потеряв сознание, он упал на спину. Жозеф поднял его; и, поднося флакон к его носу, сильно тряс его. Виконт открыл глаза, потом вдруг кинулся, как бешеный, к своей шпаге. Фредерик был на-стороже: с твердым взглядом ожидал его, высоко поднимая руку.

— Остановитесь, остановитесь! — кричал кто-то с дороги; в это самое время послышался топот мчавшейся лошади, и треск ветвей обломанных верхом кабриолета. Человек, высунившись из него, махал платком и кричал без перерыва: «Остановитесь, остановитесь!»

Г. Комэн, полагая, что это вмешивается полиция, поднял трость.

— Кончайте же! Виконт ранен!

— Я? — сказал Сизи.

Действительно при падении он поцарапал большой палец левой руки.

— Но ведь это от падения, — заметил Режембар.

Барон притворился, что не расслышал.

Арну выскочил из кабриолета.

— Я приехал слишком поздно? Нет! Слава Богу!

Он обнял Фредерика обеими руками, ощупывал его, осыпал лицо поцелуями.

— Я знаю причину; вы хотели защитить вашего старшего друга. Это прекрасно, хорошо, это очень хорошо!

Никогда я не забуду этого! Какой вы добрый! Ах, дорогое дитя!

Он глядел на него, проливая слезы, смеясь от счастья. Барон, обратясь к Жозефу, сказал:

— Я думаю, что мы лишние на этом маленьком семейном празднике. Все кончено, не правда ли, господа? — Виконт держите руку на перевязи; вот мой фуляр.

Потом с повелительным жестом произнес:

— Ну забудьте прошлое. Так уже водится.

Оба противника едва пожали друг другу руки. Виконт, г. де-Комэн и Жозеф скрылись в одном направлении, а Фредерик пошел со своими друзьями в другую сторону.

Так как ресторан Мадрид был недалеко, то Арну предложил зайти и выпить по кружке пива.

— Можно даже и позавтракать, — сказал Режембар.

Но у Дюссардые не было времени, и они ограничились легкой выпивкой в саду. Все испытывали то блаженство, которое всегда наступает вслед за счастливой развязкой. Только Гражданину было досадно, что дуэль прервалась в самом захватывающем месте.

Арну узнал о ней от некоего Компэна, друга Режембара, и в сердечном порыве он помчался, чтоб помешать дуэли, полагая, к тому же, что вся ссора произошла из-за него.

Он попросил Фредерика рассказать обо всем подробнее. Но Фредерик, растроганный проявлением его нежного отношения к себе, совестился увеличивать его иллюзию: «Прошу вас, ни слова об этом».

Арну нашел такую скрытность верхом деликатности. И со свойственным ему легкомыслием перешел на другое, спросив:

— Ну, что! новенького, Гражданин?

И они завели разговор о векселях, о сроках уплаты и даже перешли за другой столик, чтобы поговорить о чем-то по секрету.

До Фредерика долетали слова: «Вы мне только подпишите... Но и вы, разумеется... — Я сторговался за триста. — Выгодное поручение, честное слово». Было ясно, что Арну с Гражданином затевали какую-то спекуляцию.

Фредерику пришлось на ум напомнить ему о своих пятнадцати тысячах франков, но его сегодняшний поступок мешал ему это сделать даже в самых мягких выражениях. Кроме того, он чувствовал себя усталым. Да и место было не подходящее. Он отложил разговор до другого раза.

Арну, сидя в тени деревьев, курил с веселым видом, он поглядывал на двери отдельных кабинетов, выходивших в сад, и оказал, что ему случалось бывать там довольно часто.

— Не одному, конечно? — заметил Гражданин.

— Ну, конечно.

— Какой вы, однако, повеса! А еще женатый человек.

— Ну и что из того? А вы сами-то! — возразил Арну и, снисходительно улыбнувшись, сказал: — Я уверен даже, что этот негодий держит где-нибудь комнату, куда к нему приводят девочек.

Гражданин подтвердил это только тем, что поднял брови.

И оба стали высказывать свои вкусы: Арну предпочитает теперь молоденьких работниц; Режембар не терпел «жеманниц», а любил женщин, обладавших положительными качествами. Вывод, к которому пришел продавец фаянса, был тот, что к женщинам нельзя относиться серьезно.

— А между тем он любит свою жену, — думал Фредерик по дороге домой; он находил его непорядочным, сердился на него за дуэль, точно и впрямь из-за него он рисковал только что жизнью.

Но он был благодарен Дюссардье за его преданность; приказчик, по его настоятельным просьбам, вскоре стал бывать у него ежедневно.

Фредерик давал ему книги: Тьера, Дюлора, Баранта, «Жирондистов» Ламартина. Славный малый слушал его очень сосредоточенно и относился к его мнениям, как к мнениям учителя.

Однажды вечером он прибежал в большом испуге.

В это утро какой-то человек, бежавший по бульвару, со всех ног налетел на него; узнав в нем приятеля Сенекалья, тот сказал:

— Его только что арестовали, я же спасаюсь.

Это была сущая правда. Дюссардье весь день навоевал справки. Сенекаль находится уже под арестом, заподозренный в политическом преступлении.

Сенекаль, сын подмастерья, родившийся в Лионе, учился у бывшего ученика Шалье *): по приезде в Париж он был принят в «Общество семьи»; его наклонности были известны, и полиция следила за ним. Он принимал участие в майском восстании 1839 года, но с того времени держался в тени, и все более воспламенялся, будучи фанатическим последователем д'Алибо, смешивая свои собственные обиды с обидами народа на монархию; он просыпался каждое утро с надеждою на революцию, которая в две недели или месяц перевернет весь мир. Наконец, возмущенный вялостью своих «братьев», раздраженный их медлительностью, которая препятствовала осуществлению его мечтаний, и, отчаявшись в отечестве, он вступил в качестве химика в заговор бомбистов. Его схватили в то время, когда он нес порох для испытания в Монмартр. Последняя попытка восстановить республику!

Дюссардье жаждал республики не менее Сенекалья, полагая, что она обозначает полное освобождение и всемирное счастье. Однажды, когда ему было пятнадцать лет, на улице Транснонэн, стоя у бакалейной лавки, он увидел солдат с окровавленными штыками, а на ружейных прикладах клоки прилипших волос: с этого времени он возненавидел правительство, как воплощение несправедливости. Он смешивал убийц с жандармами, сыщик в его глазах равнялся отцеубийце. Все зло, существующее на земле, он наивно приписывал властям; он ненавидел их постоянной ненавистью, владевшей всем его сердцем и утончившей его чувствительность. Речи Сенекалья поразили его. Виноват ли он или нет, было ли его покушение гнусным, — неважно. Раз он стал жертвой правительства, его необходимо поддержать!

— Пэры, вероятно, засудят его. Потом его повезут в арестантской карете, как каторжника, и заключат в

*) Известный террорист эпохи Французской Революции.

тюрьму на горе Сен-Мишель, где правительство доканает его. Аустэн сошел с ума, Штебен покончил самоубийством. Чтобы перевести Барбена в подземную темницу, его тащили за ноги и за волосы! Его топтали ногами, а голова его ударялась о каждую ступеньку лестницы. Какая гнусность! Какие негодяи!

Гневные рыдания душили его, и он метался по комнате, точно в безысходной тоске.

— Однако, следовало бы что-нибудь предпринять. Но что? Я не знаю. Не попытаться ли нам освободить его? В то время, когда его поведут в Люксембург, можно будет броситься в коридоре на конвой. Дюжина смельчаков всюду проберется.

И в глазах его было столько огня, что Фредерик содрогнулся.

Сенекаль показался ему выше, чем он о нем думал. Он вспомнил его страдания, его строгую жизнь; и хотя он не питал к нему того восхищения, какое испытывал Дюссардьё, он все же исполнился к нему тем удивлением, которое внушает каждый человек, пожертвовавший собою за идею. К тому же он говорил самому себе, что если бы он помог ему, то Сенекаль, вероятно, и не сидел бы в тюрьме; и два друга старательно строили планы, чтобы спасти его.

Пробраться к нему не было никакой возможности.

Фредерик по газетам следил за его судьбою, и в продолжение трех недель посещал читальни.

Однажды ему попалось под руку несколько номеров «Факела». Передовая статья неизменно была посвящена нападкам на какое-нибудь славное имя. Затем шли светские новости, сплетни. Потом высмеивался Одеон*), Карпантрас**), рыбоводство и, наконец, приговоренные к смертной казни, если они бывали налицо. Исчезновение одного парохода дало газете материал для шуток на целый год. В третьем столбце преподносились обзоры искусств в форме анекдотов или советов, рекламы для портных, отчеты о балах, объявления о распродажах, разбор книг,—и все одним и тем же тоном, шло ли дело о

*) Театр в Париже.

**) Провинциальный город во Франции. Прим. ред.

книге стихов или о паре сапог. Единственным серьезным стделом была критика маленьких театров. Но и в ней обрушивались на двух или трех директоров, и интересы искусства сводились к декорациям на сцене «Театра Канатных Плясунов» или к первой любовнице театра «Отдохновения».

Фредерик хотел уже бросить чтение, как вдруг глаза его упали на статью, озаглавленную: «Курочка среди трех петухов». Это была история его дуэли, рассказанная живым старо-французским стилем. Он без труда узнал себя; он был изображен в том виде, в каком не мог не узнать себя. «Один молодой человек из Санского коллежа замешан в этом». Его представили даже бедным провинциалом, невеждой, старающимся втереться в компанию важных господ. Виконту отвели красивую роль: сначала говорилось об ужине, куда он ворвался силой, ватем о том, как он на пари увез девицу, и, наконец, как он благородно вел себя на дуэли. Прямо Фредерика не обвиняли в трусости, но было дано понять, что посредник «покровитель» явился во время. Все заканчивалось фразой, видимо насыщенной предательством.

— Почему такая нежность? Вот в чем загадка! И, как говорит Дон Базильо, кого хотят здесь надуть?

Не оставалось сомнения в том, что это была месть Гюссонэ за то, что Фредерик отказал ему в пяти тысячах.

Что делать? Если потребовать объяснения, журналист прикинется невинным, и ему от этого не станет легче. Лучше проглотить пилюлю молча. Кроме того, никто не читает «Факела».

Выйдя из читальни, он увидел толпу перед магазином картин. Рассматривали женский портрет, со следующей подписью черными буквами: «Г-жа Роза-Анета-Брон, собственность г. Фредерика Моро из Ножана».

И правда, это была она, или примерно она. Она была с обнаженными грудями, распущенными волосами, с красным бархатным мешочком в руках; а сзади нее павлин положил клюв на ее плечо, закрыв весь фон своим огромным хвостом в виде веера.

Пеллерен выставил этот портрет для того, чтобы пригнудить Фредерика купить его. Он был уверен, что он

знаменит, и что весь Париж будет на его стороне и заинтересуется этим бездарным произведением.

Уж не заговор ли это? Не сговорились ли художник с журналистом сообща опозорить его?

Его дуэль ничему не помешала. Он стал лишь посмешищем, все теперь издеваются над ним.

Через три дня, в конце июня, северные акции поднялись на 15 франков, а так как он купил их в прошлом месяце две тысячи, то и выиграл тридцать тысяч франков. Эта улыбка судьбы придала ему опять смелости. Он сказал себе, что не нуждается ни в ком, что все эти ватруднения явились у него из-за скромности, нерешительности. Он должен был с самого начала быть грубым с Маршалом, с первого же раза отказать Гюссонэ и не связываться с Пеллереном; и чтоб показать, что он ничем не стесняется, он поехал к г-же Дамбрез в один из ее приемных дней.

В передней Мартинон, вошедший в одно время с ним, спросил его:

— Как, и ты здесь?—На лице его выразились досада и удивление.

— А почему же нет?

И, стараясь понять причины подобного вопроса, Фредерик вошел в гостиную.

Освещение там было слабое, не смотря на лампы, расставленные по углам; три больших настольных раскрытых окна выделялись тремя параллельными темными прямоугольниками. Жардиньерки под картинами, в рост человека, заполняли простенки; серебряный чайный прибор с самоваром отражался в зеркале. Слышался сдержанный гул голосов. Легкие башмаки шуршали по ковру.

Он увидел черные фраки, круглый стол, освещенный лампой под большим абажуром, семь или восемь женщин в летних туалетах, а немного подалее г-жу Дамбрез в качалке. На ней было сиреневое, из тафты, платье с прорезами на рукавах, из-под которых виднелись муслиновые буфы; нежный тон материи очень шел к ее волосам; она сидела, несколько откинувшись назад, поставив кончик ноги на подушку,—спокойная, она была похожа на

произведение искусства, полна изящества высшей культуры.

Г. Дамбрез прогуливался по гостиной с седым стариком. На маленьких диванчиках сидели и беседовали мужчины; другие, столпившись посредине комнаты, разговаривали.

Они говорили о выборах, об изменениях закона и дальнейших поправках к нему, о речи Грандэна, о возражениях на нее Бенуа. Оппозиция в самом деле заходит слишком далеко. Левый центр должен был бы лучше помнить о своем происхождении. Министерство получило серьезный удар. Впрочем, утешительно, что преемника ему не видать. Словом, положение было совсем такое же, как в 1834 году.

Эти разговоры наскучили Фредерику, и он подошел к дамам. Мартинон был около них, он стоял со шляпой под мышкой, повернувшись на три четверти, и был так приличен, что напоминал фигурку Севрского фарфора. Он взял „Revue des deux Mondes“, лежащую на столе рядом с «Подражанием Христу» и Готским альманахом, и свысока разбирал знаменитого поэта, говоря, что он бывает на конференциях св. Франциска; жалуюсь на боль в горле, он время от времени глотал леденец; забыв он и разговор о музыке, стараясь быть светским. Сесиль, племянница г. Дамбреза, вышивая манжеты, смотрела на него исподлобья бледно-голубыми глазами; а мисс Джон, курносая гувернантка, уронила на колени свое вышивание, и обе, казалось, восклицали:

— Как он красив!

Г-жа Дамбрез обратилась к нему:

— Дайте мне мой веер с того столика... Да, нет, не тот, другой...

Она поднялась; он повернулся, они встретились на середине гостиной лицом к лицу; она быстро бросила ему несколько слов, вероятно, какой-то упрек, судя по надменному выражению ее лица; Мартинон силился улыбнуться; потом он подошел к кружку серьезных людей. Г-жа Дамбрез вернулась на свое место и, наклонившись к ручке кресла, сказала Фредерику:

— А я кое-кого видела третьего дня; он мне рассказывал про вас... г. де-Сизи... вы знакомы с ним?

— Да... немного.

Вдруг г-жа Дамбрез вскрикнула:

— Герцогиня, какое счастье!

И она двинулась к двери навстречу маленькой старой даме в платье из тафты светло-коричневого цвета и гипюровом чепце с длинными лентами. Дочь бывшего товарища по изгнанию графа д'Артуа и вдова маршала Империи, возведенного в пэры Франции в 1830 году, она была близка и к старому двору и к новому и умела добиться многого. Группа стоявших расступилась; затем спор возобновился.

Разговор шел о пауперизме, описания которого, по мнению этих господ, были сильно преувеличены.

— Однако,—заметил Мартинов—нищета существует, в этом надо сознаться. Но помочь этому не может ни наука, ни правительство. Это вопрос чисто личный: когда низшие классы захотят освободиться от своих пороков, тогда они избавятся и от нужды. Чем народ нравственнее, тем менее он беден.

По мнению Дамбреза ничего путного нельзя достигнуть без избытка капиталов. Единственно возможное средство, это облекать доверием,—как, впрочем, этого хотели и сен-симонисты (ведь и у них, надо отдать им справедливость, есть кое-что хорошее),—облекать доверием тех, говорю я, которые могут увеличить народные богатства. Незаметно перешли к большим предприятиям, к железным дорогам, к каменноугольным копям. Г. Дамбрез, обратясь к Фредерику, вполголоса сказал:

— Вы вот не приехали поговорить относительно нашего дела.

Фредерик сослался на нездоровье; но чувствовал, что такое оправдание было слишком глупо.

— Кроме того, мне самому были нужны деньги.

— На покупку экипажа? — спросила г-жа Дамбрез, проходившая мимо с чашкой чая, и с минуту рассматривала его, чуть-чуть повернув голову через плечо.

Она думает, что он любовник Розанеты; намек ясен. Фредерику даже показалось, что все дамы разглядывали

его издали, перешептывались. Чтобы лучше понять, что они думают, он подошел к ним еще раз.

На другом конце стола Мартинов, сидя рядом с Сесиль, перелистывал альбом. Это были литографии, изображающие испанские костюмы. Он вслух читал подписи: «Женщины Севильи, Садовник из Валенсии, Андалузский Пикадор»—и, просмотрев до конца, одним духом прочел:

— Жак Арну, издатель. Один из твоих друзей, кажется?

— Да,—ответил Фредерик, задетый за живое.

Г-жа Дамбрез опять сказала ему:

— Вы приходили как-то утром... По поводу какого-то, кажется, дома, который принадлежал его жене (это значило: она—ваша любовница).

Он покраснел до ушей; г. Дамбрез, подойдя, прибавил:

— Вы, повидимому, очень интересовались ими.

Эти последние слова довершили смущение Фредерика. Ему казалось, что все заметили его волнение, и что оно еще более подтвердит подозрения, как вдруг г. Дамбрез подошел и серьезно сказал ему:

— Я полагаю, что у вас нет с ним общих дел?

Он отрицательно замотал головой, не понимая намерения капиталиста, который хотел только подать ему совет.

Ему захотелось поскорее уехать. Но страх, как бы не подумали, что он струсил, удержал его. Лакей убирал чашки; г-жа Дамбрез разговаривала с дипломатом в синем фраке; две молоденькие девушки, чуть не стукаясь лбами, рассматривали колечко; другие сидели полукругом в креслах, слегка покачивая белыми лицами, окаймленными черными или русыми волосами; никто уже не обращал на него внимания. И Фредерик уже собирался уйти, пробираясь среди гостей, почти добрался до двери, как вдруг, проходя мимо одного консоля, он заметил между китайской вазой и панелью сложенную вдвое газету. Он потянул ее немного и прочел: «Факел».

Кто принес ее? Сизи! Очевидно! Конечно, он! Впрочем, кто бы то ни был, они поверят, а может быть уже и поверили этой статейке. Почему все так ополчилось на него? Безмолвная ирония окружала его. Он почувствовал

себя точно затерянным в пустыне. Но вдруг он услышал голос Мартинона:

— Кстати об Арну, я прочел в списке имен бомбистов имя одного из его служащих, Сенекаля. Не наш ли это?

— Он самый,—сказал Фредерик.

Мартинон очень громко повторил:

— Как, наш Сенекаль, наш Сенекаль?

Тогда его стали расспрашивать о тайном обществе,—его положение при прокурорском надзоре давало ему возможность иметь об этом сведения.

Он сознался, что он ничего не знает. Впрочем, он очень мало был знаком с этой личностью, так как встречался с ним только два или три раза и считает его в конце концов довольно порядочным мерзавцем. Фредерик, раздраженный, вскричал:

— Ничего подобного! Он честный человек!

— А между тем, милостивый государь,—возразил один из гостей,—разве честен тот, кто принимает участие в заговорах?

Большинство из присутствующих служило по крайней мере четырем правительствам, и продало бы и Францию и весь человеческий род, лишь бы обеспечить свое состояние, избавить себя от беспокойств, затруднений, а порою просто из-за холопства перед властью, произвольного обожания силы. Но все заявили, что политические преступления непростительны. Скорее можно простить тех, кто совершает их из-за нужды. И не преминули привести в пример всем известного отца семейства, укравшего всем известный кусок хлеба у всем известного булочника.

Один администратор даже воскликнул:

— Что до меня, господа, то если бы я узнал, что мой родной брат участвует в заговоре, я донес бы на него.

Фредерик указал на право сопротивления; и, припомнив несколько фраз, сказанных Дэлорье, процитировал Дезольма, Блакстона, английский билль о правах и статью вторую конституции 1791 года. В силу этого права ведь было провозглашено даже низложение На-

полеона; оно было признано в 1830 году и начертано в начале хартии.

— Кроме того, когда монарх не исполняет своих обязанностей, справедливость требует его свержения.

— Да, это ужасно!—воскликнула жена одного prefecta.

Остальные дамы молчали, чего-то испугавшись, точно они слышали свист пули.

Г-жа Дамбрез, покачиваясь в качалке, слушала его речь с улыбкою.

Один фабрикант, бывший карбонарий, старался доказать, что Орлеаны—прекрасное семейство, хотя, вероятно, и за ними есть злоупотребления.

— Но в таком случае...

— Да не следует говорить о них! Если бы вы знали, как все эти вопли оппозиции вредят промышленности...

— Какое мне дело до промышленности?—возразил Фредерик.

Затхлые мнения этих стариков раздражали его в высшей степени; и охваченный смелостью, которая иногда является у самых скромных людей, он напал на финансистов, депутатов, правительство, короля, стал защищать арабов, наговорил массу глупостей. Некоторые иронически подбадривали его.—Так, так, продолжайте!—в то время, как другие бормотали:—Однако, чорт возьми, что за восторженность!—Наконец, он счел удобным удалиться. Когда он прощался, г. Дамбрез сказал ему, намекая на счет места секретаря.

— Ничего еще не решено. Но торопитесь.

А г-жа Дамбрез прибавила:

— До скорого свидания, надеюсь

Фредерик отнесся к их словам, как к последней насмешке. Он решил никогда больше не бывать в этом доме и не знаться со всеми этими людьми. Он даже думал, что задел их, не зная, каким огромным запасом равнодушия обладает свет. Особенно женщины привели его в негодование. Ни одна не поддержала его хотя бы взглядом. Он сердился на их бесчувственность. Что до г-жи Дамбрез, то он находил в ней сразу что-то

томное и черствое, и это мешало ему понять ее. Есть ли у нее любовник, и кто он? Дипломат ли или кто-либо другой? Не Мартинон ли? Нет, это невозможно. Между тем он испытывал нечто вроде ревности к нему, а к ней необъяснимое недоброжелательство.

По обыкновению, дома ждал его в этот вечер Дюссардье. Фредерик не выдержал и излил ему все накопившиеся обиды, которые, хотя и были смутны, трудно понятны, но все же опечалили славного приказчика; Фредерик пожаловался и на свое одиночество. Дюссардье, немного поколебавшись, предложил отправиться к Дэлорье.

При имени адвоката Фредерик ощутил крайнюю потребность снова с ним поговорить. Его умственное одиночество было так велико, а общество Дюссардье — недостаточно. Он ответил ему, чтоб он устроил это, как хочет.

Дэлорье тоже чувствовал, что ему чего-то не достает со времени их размолвки. Он сразу пошел навстречу дружескому желанию.

Они обнялись и заговорили о безразличных вещах.

Сдержанность Дэлорье тронула Фредерика; и, чтобы до некоторой степени оправдаться, он рассказал ему на следующий день о потере пятнадцати тысяч франков, не упомянув, что эти пятнадцать тысяч предназначались ему.

Но адвокат в этом и не сомневался. Эта история подтверждала его предубеждение против Арну и уничтожила всякую злобу на Фредерика, и он уже не заговаривал о его прежнем обещании.

Фредерик, введенный в заблуждение его молчанием, подумал, что тот совсем забыл о деньгах. Несколько дней спустя он спросил у Дэлорье, нельзя ли вернуть их.

Можно оспаривать другие закладные или обвинить Арну, показавшего ипотеки в меньшей сумме, и возбудить преследование против жены.

— Нет, нет! Только не против нее! — воскликнул Фредерик и, уступая расспросам бывшего клерка, сознался в том, что было между ними. Дэлорье же был

убежден, что Фредерик не рассказал всего из-за деликатности. Такой недостаток доверия уязвил его.

Однако, они по-прежнему были дружны, им было приятно находиться в обществе друг друга, а присутствие Дюссардье даже тяготило их. Под благовидными предложениями они мало-по-малу отделались от него. Существуют люди, назначение которых заключается только в том, чтобы служить посредниками; ими пользуются как мостами, а затем идут дальше.

Фредерик не скрыл ничего от своего закадычного друга. Он рассказал ему и о каменноугольном предприятии и о предложении Дамбреза. Адвокат замечтался.

— Вот странно. Ведь на таком месте необходим очень сведущий юрист.

— Но ты мог бы помогать мне, — возразил Фредерик.

— Да... разве... Чорт возьми, конечно!

На той же неделе Фредерик показал ему письмо от матери.

Г-жа Моро обвиняла себя в том, что неправильно судила г. Рока, который дал теперь вполне удовлетворившее ее объяснение своего поведения. Потом она писала об его состоянии и о возможности в будущем его женитьбы на Луизе.

— Это, может быть, и не глупо — сказал Дэлорье.

Фредерик был далек от этого; к тому же дядюшка Рок — старый плут. Но, по мнению адвоката, на это не следовало обращать внимания.

К концу июля, неизвестно почему, Северные акции пали. Фредерик не продал их во время и сразу потерял шестьдесят тысяч франков. Состояние его значительно уменьшилось. Ему необходимо было или сократить расходы, или заняться делом, или же сделать выгодную партию.

Тогда Дэлорье напомнил ему о барышне Рок. Ничто не мешает поехать и посмотреть самому, как обстоят дела. Фредерик чувствовал себя утомленным; провинция, материнский кров дадут ему отдохновение. Он уехал.

Вид Ножанских улиц, по которым он ехал при дуплом свете, вызвал в нем старые воспоминания; и он испы-

тал что-то вроде той тоски, которая охватывает человека возвращающегося после долгих странствований.

У матери он застал все тех же знакомых: г.г. Гамблена, Гедраса и Шамбриона, семью Лебрен, «барышен Оже», кроме того, старика Рока и сидевшую за карточным столом против г-жи Моро Луизу. Теперь она уже была женщиной. Она, вскрикнув, вскочила. Все засуетились. Она стояла неподвижно; четыре свечи в серебряных подсвечниках увеличивали ее бледность. Когда она снова принялась за игру, рука у ней дрожала. Это волнение чрезвычайно польстило Фредерику и его больной гордости. Он подумал: «Ты-то будешь любить меня» и, вознаграждая себя за те неприятности, которые он испытал в Париже, стал изображать парижанина, светского льва, передавал театральные новости, рассказывал светские истории, почерпнутые в бульварных газетках, словом, ослепил своих земляков.

На другой день г-жа Моро распространилась о достоинствах Луизы; потом перечислила леса, фермы, которыми она будет владеть.

Рок разбогател на том, что давал деньги Дамбреза в рюст; он помещал их под верные закладные, за что требовал себе добавочных процентов или комиссионных. Капиталы, благодаря его неусыпному надзору, не подвергались риску. Впрочем, старик Рок никогда не стеснялся наложить арест на имущество, заложенные имения он скупал по низким ценам, и г. Дамбрез, видя, как к нему возвращается вложенный капитал, находил, что его дела ведутся очень хорошо.

Но такие противозаконные сделки компрометировали его перед управляющим. Поэтому он ни в чем не смел ему отказать. И только по его настоятельным просьбам Дамбрез так хорошо отнесся к Фредерику.

Действительно, старик Рок тайл в глубине души честолюбивые мечты. Он хотел, чтобы его дочь сделалась графиней; а чтобы этого добиться, не ставя на карту счастья своего ребенка, не находил никого подходящим, кроме Фредерика.

По протекции г. Дамбреза он получит титул своего деда: г-жа Моро была дочерью графа де-Фувана, кроме

того состояла в родстве с самыми старинными фамилиями Шампани: Лавернадами, д'Этриньи. Что до Моро, то близ мельниц города Вильнев-Ляршевэк, найдена готическая надпись, где говорится об Иакове Моро, который соорудил их в 1596 году; а могила его сына Пьера Моро, герцога шталмейстера короля Людовика XI, находится в капелле св. Николая.

Такая родовитость очаровывала г. Рока, сына бывшего слуги. Если Фредерик и не получит графского титула, то он утешится и другим: Фредерик может стать депутатом, когда г. Дамбрез будет возведен в пэры и будет оказывать ему содействие в его предприятиях, добиваться от него поставок от казны и концессий. Да и сам молодой человек правился ему. Наконец, он хотел иметь зятем его уже по одному тому, что давно был влюблен в эту мысль, в которой все более утверждался.

Теперь он зачастил в церковь; г-жу же Моро он особенно соблазнил надеждою на графский титул. Она, однако, остерегалась дать окончательный ответ.

Таким образом, через неделю, без всякой помолвки, Фредерик уже считался женихом Луизы; и старик Рок, не особенно щепетильный в этом отношении, иногда оставлял их вдвоем.

V.

Дэлорье взял у Фредерика копию с закладной и полную доверенность по всей форме. Когда он поднялся на свой пятый этаж, сел в кожаное ветхое кресло и остался наедине с самим собой в своем жалком кабинете, вид гербовой бумаги вызвал в нем отвращение.

Он был истомлен и дешевыми обедами в тридцать два су, и ездой на омнибусах, и нищетою, и работой: всем. Все же он принялся за дела; тут же лежали и другие бумаги; это были проспекты каменноугольной компании с перечнем копей и подробными сведениями о их вмести-мости; все это оставил ему Фредерик, чтобы узнать его мнение по этому вопросу.

Дэлорье пришла мысль: отправиться к Дамбрезу и

предложить себя в секретари. Но это место, наверное, обя-
зывает купить известное число акций. Он понял бессмыс-
ленность своего проекта и сказал себе:

— О, нет, этому не бывать.

Затем он стал обдумывать, как взяться за дело, чтобы
гернуть пятнадцать тысяч франков. Для Фредерика такая
сумма пустяк. Вот если она попадет в его руки, то каким
она для него послужит рычагом. И бывший клерк возне-
годовал, что у Фредерика такое большое состояние.

— Он делает из него жалкое употребление. — Он — эго-
ист. Да и какое мне дело до его пятнадцати тысяч! Поче-
му, однако, он дал их взаймы? Ради прекрасных глаз
г-жи Арну? Она его любовница!

Дэлорье в этом не сомневался. Вот еще одна вещь, для
которой нужны деньги. Злобные мысли нахлынули на
него.

Потом он стал размышлять над личностью Фредерика.
Тот всегда имел для него почти женское очарование; и он
стал восхищаться тем успехом, достичь которого он счи-
тал себя неспособным.

Однако, разве не сильная воля является основой вся-
кого предприятия? И раз она способна продолжать все...

— Ах, вот было бы забавно!

Ему стало стыдно при мысли об этом вероломстве, но
через минуту он задал себе вопрос:

— Ба, разве я побоюсь?

Г-жа Арну, благодаря тому, что он так много слышал
о ней, запечатлелась необычайно ярко в его воображении.
Постоянство этой любви возбуждало его любопытство,
как загадка. Собственная, несколько показная, суровость
прискучила ему. Светская женщина, какою он считал ее,
к тому же прельщала адвоката еще и как символ, как во-
площение тысячи неизведанных наслаждений. Нищий,
он жаждал роскоши в форме, наиболее доступной ему.

— А если он и рассердится, велика беда. Он слишком
дурно поступал со мной, чтоб мне еще стесняться. Да и
нет явных доказательств, что она — его любовница. Он от-
рицает это! Итак, я свободен!

Желание попытать свои силы уже не покидало его с
этих пор. Однажды он сам вычистил себе сапоги, купил

белые перчатки и отправился к г-же Арну, считая себя
уже наследником Фредерика, почти вообразив себя им, и
благодаря странному настроению мыслей, месть и сим-
патия, подражание и дерзость уживались в нем.

Он велел доложить: — Доктор Дэлорье.

Г-жа Арну удивилась, она не приглашала никакого
врача.

— Ах, простите, пожалуйста! Я — доктор прав. При-
шел по делу г. Моро.

При этом имени она как будто бы смутилась:

— Тем лучше! — подумал бывший клерк; — раз она
взяла его, возьмет и меня.

Дэлорье подбадривал себя мыслью, что легче заменить
любовника, чем мужа.

Он начал с того, что имел удовольствие встретить ее
как-то в суде; он назвал даже день; такая памятьливость
удивила г-жу Арну. Дэлорье продолжал приторным то-
ном:

— У вас были уже тогда... некоторые затруднения...
в делах.

Она ничего не ответила; стало быть, это правда.

Он начал говорить то о том, то о другом, о ее квар-
тире, фабрике, потом, увидев на подзеркальнике портре-
ты-медальоны, сказал:

— А это фамильные портреты?

Он указал на старую женщину, мать г-жи Арну.

— Какое хорошее лицо! Южный тип!

И на возражение, что она из Шартра, воскликнул:

— Шартр! Красивый город!

Он расхваливал его собор, паштеты; потом, возвра-
щаясь к портрету, нашел в нем сходство с г-жей Арну и
косвенно польстил ей. Она не была задета. В нем вспых-
нула самоуверенность, и он сказал, что с Арну он знаком
с давних пор.

— Вот славный малый! Но компрометирует он себя!
Например, этой закладной. Нельзя даже представить себе
подобной опрометчивости...

— Да, я знаю это, — сказала она, пожимая плечами.

Это произвольное выражение презрения как бы по-
буждало Дэлорье продолжать.

— А его история с каолином вам неизвестна? Она чуть было не приняла дурной оборот, и даже репутация его...

Она надменно нахмурила брови, и это остановило его.

Тогда он стал выражать в общих словах сочувствие несчастным женам, супруги которых проматывают...

— Но состояние принадлежит ему, милостивый государь; у меня ничего нет.

— Все равно! Опытное лицо могло быть тут очень полезным.

И он предложил свои самоотверженные услуги, подчеркнув собственные достоинства. Он смотрел на нее в упор сквозь очки, которые блестели.

Какое-то оцепенение охватило ее; но вдруг она сказала:

— Приступим к делу, пожалуйста.

Он развернул бумагу.

— Это доверенность Фредерика. С подобным документом в руках судебному приставу ничего не стоит отдать распоряжение — и в двадцать четыре часа... (Она оставалась бесстрастной, и он переменил маневр): Я, впрочем, не понимаю, что заставляет его требовать эту сумму; ведь в конце концов он не нуждается в деньгах.

— Как! Г. Моро казался таким добрым!

— Да, совершенно с вами согласен...

И Дэлорье рассыпался в похвалах Фредерику, потом постепенно стал бранить его, хотя и мягко, выставляя его человеком, не помнящим добра, без привязанностей, скупым.

— Я считала его вашим другом, милостивый государь.

— Это не мешает мне видеть его недостатки. Так, например, он очень мало ценит, как это выразиться?—симпатию.

Г-жа Арну перевертывала листы толстой тетради. Она прервала его: он должен был объяснить ей одно слово.

Дэлорье наклонился к ее плечу и так близко, что коснулся ее щеки. Она вспыхнула; этот румянец воспламенил Дэлорье, он впился в ее руку.

— Что вы делаете, милостивый государь?

И, став к стене, она пригвождала его к месту своими громадными гневными глазами.

— Выслушайте меня! Я люблю вас!

Она разразилась смехом, пронзительным, безнадежным, невыносимым. Дэлорье почувствовал такой приступ гнева, что готов был задушить ее. Он сдержался и с видом побежденного попросил снисхождения.

— Ах, вы не правы! Я не поступлю, как он...

— О ком вы говорите?

— О Фредерике.

— Ах, г. Моро трогает меня мало, я сказала уже вам.

— О, простите, простите!

Потом медленно, фраза за фразой, процедил язвительным тоном:

— Мне кажется, что все же вы достаточно интересуетесь его особой, чтобы узнать с удовольствием....

Она побледнела. Бывший клерк добавил:

— Что он женится.

— Он!

— Да, через месяц или немного позднее на девице Рок, дочери управляющего г. Дамбреса. За этим только он и уехал в Ножан.

Она приложила руку к сердцу, точно получив сильный удар, но тотчас же дернула за звонок. Дэлорье не стал ждать, чтобы его выставили за дверь. Когда она повернулась, его уже не было.

Г-жа Арну дышала с трудом. Она подошла к окну, чтобы поглубже вздохнуть. На противоположной стороне улицы, на тротуаре, упаковщик в одном жилете заколачивал ящик. Проезжали извозчики. Она закрыла окно и села. Высокие дома загораживали солнце, и холодный свет лился в комнату. Детей не было дома, кругом царила мертвая тишина. Точно все покинуло ее. Женится! Возможно ли?

И нервная дрожь пробежала по ней.

— Что со мной? Разве я люблю его?

Потом, внезапно, она сказала себе:

— Ну да, я люблю его... я люблю его.

Ей показалось, что она спустилась куда-то глубоко,

глубоко, откуда не было выхода. Пробило три часа. Она слушала вибрацию замирающего боя. Она сидела на краю кресла с остановившимися зрачками и все улыбалась.

В этот же день, в этот самый момент Фредерик с Луизой гуляли в саду г. Рока, находившемся на конце острова. Старая Катерина издали следила за ними; они шли рядом. Фредерик сказал:

— Вы помните, как я уводил вас за город?

— Как вы были добры ко мне!—отвечала она.—Вы помогали мне делать гречаники из песка, наполнять леечку водой, раскачивали меня на качелях.

— Что случилось со всеми вашими куклами, которым вы давали имена королей и маркиз?

— Ей Богу, не знаю.

— А с вашим шпирцем Морику?

— Он утонул, бедняжка.

— А с Дон-Кихотом, в котором мы раскрашивали картинки?

— Он еще у меня.

Фредерик напомнил первое ее причастие, и как она была мила за вечерней в белой фате, с большой свечей, в то время, когда они все, причастницы, шли под звон колокола.

Эти воспоминания, разумеется, не имели для Луизы никакой прелести, она не нашлась, что ответить, и, спустя минуту, сказала:

— Злой, ни разу не дал мне знать о себе!

Фредерик сослался на множество занятий.

— Что же вы такое делаете?

Он был поставлен втупик, потом ответил, что он изучал политику.

— А-а!

И больше она об этом не расспрашивала:

— Это занимает вас, но я...

И она заговорила о незаполненности своего существования,—никого не видишь, никаких удовольствий не получаешь, нет никаких развлечений. Ей хотелось бы ездить верхом.

Викарий утверждает, что это неприлично для моло-

денькой девушки; разве не глупы эти приличия! Прежде ей позволяли делать все, что она хотела, теперь—ничего.

— Однако, отец любит вас.

— Да, но...

Она глубоко вздохнула, что означало: этого недостаточно для полного счастья.

Потом наступило молчание. Они слышали только поскрипывание песка под ногами и падение воды. Сена, выше Ножана, делится на два рукава. Тот рукав, где стоят мельницы, запружен, и масса воды низвергается как раз в этом месте, чтобы ниже опять соединиться с естественным течением реки; если идти от мостов, то направо видишь на другом берегу зеленый скат с возвышающимся на нем белым домом. Налево по лугу тянутся тополя, а напротив горизонт окаймлен изгибом реки; она была гладкая, точно зеркало, большие насекомые скользили по ее спокойной воде. Густые камыши и тростники неровно окаймляли ее, всевозможные виды растений распускались золотыми бутонами, свешивались желтыми кистями, поднимались цветущими веретенами петушних гребешков, образовывали зеленую пряжу.—В одном углублении берега расположились белые купавы; а ряды старых ив, скрывая волчьи капканы, тянулись по этой стороне острова, заменяя ограду.

Тут же, обнесенный оградой с двусторонней аспидной крышей, находился огород с фруктовым садом, где только что возделанные квадраты земли казались коричневыми пятнами. Ряд дынь под стеклом сверкал на узкой грядке; артишоки, бобы, шпинат, морковь и томаты чередовались вплоть до спаржи, похожей на маленький лесок из перьев.

Весь этот клочек земли был во времена Директории маленькой дачкой, куда ездили, чтобы на свободе поселиться. Деревья с тех пор разрослись чрезвычайно. Ломоносы заполнили грабовые питомники, аллеи покрылись мохом, всюду было множество терновых кустов. Обломки статуй раскрошили свой алебастр по траве. Ноги цеплялись за какие-то остатки проволочных сооружений. От павильона осталось только две комнаты в нижнем этаже с изодранными голубыми обоями. Перед фасадом тя-

нулся шпалерный виноградник на итальянский лад, где на кирпичных столбах по решетке вились лозы. Они пришли туда, и так как свет падал через неравные отверстия в листве, Фредерик, идя рядом с Луизой и разговаривая с ней, наблюдал тени листьев на ее лице.

В узел ее красноватых волос была воткнута шпилька с шариком из поддельного изумруда; несмотря на траур, на ней были (так простодушен был дурной вкус) соломенные туфли, отделанные розовым атласом, вульгарная повинка, купленная, очевидно, где-нибудь на ярмарке.

Он заметил их и иронически похвалил.

— Не издевайтесь надо мной!—возразила она.

Потом, оглядев его от серой фетровой шляпы до шелковых носков, сказала:

— Какой вы франт!

Затем она попросила его указать ей книги для чтений.

Он назвал несколько сочинений, и она воскликнула:

— О, какой вы ученый!

Будучи совсем маленькой, она была захвачена одной из тех ребяческих страстей, в которых заключается в одно и то же время и чистота религии и сила потребности. Он был ее товарищем, братом, учителем, занимал ее ум, заставлял биться ее сердечко, произвольно вливал в самую глубину ее тайное непрерывное опьянение. К тому же он оставил ее в трагический момент ее жизни,—тогда только что скончалась ее мать,—и два горя слились в одно. В разлуке память ее идеализировала его: он вернулся окруженный каким-то ореолом, и она простодушно отдалась счастью, что видит его.

В первый раз в жизни Фредерик чувствовал себя любимым; это новое удовольствие, не выходя за пределы приятных чувств, вызывало в нем тайную гордость; он развел руками, опуская голову.

По небу ползла большая туча

— Она направляется в Париж,—сказала Луиза;—вам хотелось бы сопутствовать ей?

— Мне? Почему?

— Кто знает?

И, пронизывая его острым взглядом, добавил:

— Может быть, у вас есть там (она подыскивала выражение) какая-нибудь привязанность.

— Ах, у меня нет привязанности!

— Наверное?

— Ну, да. Наверное.

Менее чем в год в молоденькой девушке произошла необычайная перемена, удивившая Фредерика. Помолчав, он сказал:

— Нам следовало бы говорить друг другу ты, как раньше, хотите?

— Нет.

— Почему?

— Потому что...

Он допытывался. Она ответила, опустив голову:

— Я не смею.

Они дошли до конца сада на Ливонском берегу. Фредерик, по-мальчишески, принялся бросать камешки рикшетом. Она приказала ему сесть. Он повиновался, потом, глядя на падение воды, воскликнул:

— Да это настоящая Ниагара!

Он заговорил о далеких странах, о больших путешествиях. Мысль совершить их очаровывала ее. Она ничего бы не побоялась—ни бурь, ни львов.

Сидя рядом, они захватывали горсть песка, потом пропускali его между пальцами, продолжая болтать; а теплый ветер, долетавший с равнины, приносил им аромат лаванды вместе с запахом дегтя от баржи за плюзом. Солнце ударяло в водопад; зеленоватые камни невысокого заграждения, с которого стекала вода, казались точно занавешенными серебряным, непрерывно развертывающимся газом. Длинная пенистая полоса мерно дробилась внизу в брызги. Здесь вода образовывала водовороты, воронки, тысячу противоположных течений—и все сливалось, наконец, в одну прозрачную поверхность.

Луиза прошептала, что она завидует рыбам.

— Должно быть, очень приятно перекачиваться в воде сколько хочешь и ощущать ласку со всех сторон.

И она вздрагивала движением, полным вкрадчивого сладострастия.

Тут чей-то голос крикнул:

— Где ты?

— Вас кличет няня, — сказал Фредерик.

— Ну и прекрасно!

Луиза не пошевелинулась

— Она рассердится, — продолжал он.

— Мне безразлично. И к тому же...

Луиза жестом дала понять, что она у нее в руках.

Несмотря на это, она поднялась, потом пожаловалась на головную боль; когда они проходили мимо сарая, где лежали вязанки тонких прутьев, она сказала:

— Не войти ли нам в...

Он притворился, что не понял того простонародного слова, которым она назвала сарай, и даже подразнил ее за акцент. Понемногу уголки ее рта начали вздрагивать, она кусала губы, затем отошла, рассердившись.

Фредерик нагнал ее, поклялся, что не хотел ее обидеть, и что он очень любит ее.

— Неужели правда? — вскричала она, смотря на него с улыбкой, озарившей все ее лицо, слегка усеянное веснушками.

Он не устоял перед этой смелостью чувства, свежестью ее юности и продолжал:

— Зачем мне лгать тебе? Неужели ты сомневаешься? — проговорил он, обнимая ее левой рукой за талию.

Крик, нежный, как воркованье, вырвался из ее горла. Голова запрокинулась, она теряла сознание, он поддерживал ее. Ему не пришлось даже бороться с искушением, перед этой девственницей, которая сама отдавалась ему, — его обуял страх. Затем он помог ей сделать несколько медленных шагов. Он прекратил нежности и, не желая более говорить ни о чем, кроме как о незнающих предметах, завел беседу о ножанском обществе.

Вдруг она оттолкнула его и с горечью сказала:

— Но у тебя не хватит смелости увести меня!

Он остановился, как вкопанный, охваченный изумлением. Она разрыдалась и спрятала голову у него на груди.

— Разве я могу жить без тебя?

Фредерик старался успокоить ее. Она положила ему на плечи руки, чтобы глядеть на него в упор, и, впившись

в него своими зелеными глазами, с их почти звериной влажностью, сказала:

— Хочешь быть моим мужем?

— Но... — возразил Фредерик, подыскивая какой-нибудь ответ. — Конечно... Я не желаю ничего лучшего.

В этот момент из-за куста сирени показался картуз г. Рока.

Он увез своего «молодого друга» на два дня обозревать свои поместья; по возвращении, Фредерик нашел дома три письма.

Одно было приглашение на обед к Дамбрезам на прошедший вторник. По какому случаю такое внимание? Неужели ему простили его выходку?

Второе было от Розанеты. Она благодарила его за то, что он рисковал жизнью из-за нее; Фредерик сперва не понял, что она этим хотела сказать; далее, после многих обиняков, взывая к его дружбе и полагаясь на его чуткость, она умоляла его на коленях, в виду крайней необходимости, как просят о куске хлеба, о небольшой помощи в пятьсот франков. Он сразу решил удовлетворить эту просьбу.

Третье письмо, пришедшее от Дэлорье, говорило о закладной; оно было длинно и туманно. Адвокат не предпринял еще ничего. Он убеждал его не беспокоиться. «Тебе не зачем возвращаться», — напирал он с какой-то диковинной настойчивостью.

Фредерик терялся в догадках, и ему захотелось вернуться в Париж; претензия Дэлорье руководить его поступками возмутила его.

К тому же в него начала закрадываться тоска по бульварам, а мать так настаивала, г. Рок обхаживал его, Луиза любила его так сильно, что оставаться далее, не сделавши предложения, он не мог. Ему необходимо было поразмыслить: издали ему будет всего виднее.

Чтобы объяснить свой отъезд, Фредерик выдумал целую историю и уехал, говоря всем и сам веря, что скоро вернется.

VI.

Возвращение в Париж не доставило Фредерику никакого удовольствия; приехал он вечером в конце августа; бульвары были пусты, прохожие следовали друг за другом с хмурыми лицами, там и сям дымились чаны с асфальтом; во многих домах окна были плотно закрыты ставнями; он приехал к себе: обои были в пыли; обедая в одиночестве, он ощутил странное чувство заброшенности; тогда он стал думать о Луизе Рок.

Мысль жениться уже не казалась ему чудовищной. Они будут путешествовать, поедут в Италию, на Восток. И он видел ее стоящей на холме, любующейся видом или же осматривающей картины во Флорентийской галлерее, опершись на его руку. Какой радостью было бы видеть, как это славное маленькое существо развивается под величавым влиянием Искусства и Природы. Расставшись со своей средой, она в короткое время превратится в очаровательную подругу. Кроме того, состояние Рока соблазняло его. Но все же подобное решение было противно ему, как слабость, унижение.

Он твердо решил, во что бы то ни стало, изменить жизнь, то-есть не растрчивать больше сердца на бесплодные страсти, и даже колебался исполнить ли ему поручение, возложенное на него Луизой. Надо было купить для нее у Жака Арну две большие раскрашенные статуэтки, изображающие негров, такие же, как в префектуре в Труа. Она заметила фабричное клеймо, и ей хотелось иметь статуэтки именно из этого магазина. Фредерик боялся, пойдя к Арну, еще раз поддаться старой любви.

В этих размышлениях прошел весь вечер; он уже намеревался лечь спать, когда вошла дама.

— Это я,—смеясь, сказала Ватназ.—Я пришла от Розанеты.

Разве они помирились?

— Боже мой, конечно! Я не злопамятна, вы это хорошо знаете. Кроме того, бедная девушка... Впрочем, это слишком долго рассказывать.

Короче, Маршал желала бы повидаться с ним; она ждет ответа на письмо, пересланное из Парижа в Ножан; Батназ не знает его содержания. Фредерик осведомился о Маршале.

Теперь она живет с одним весьма богатым русским, князем Чернуковым, который обратил на нее внимание на Марсовом поле, на скачках, прошлым летом.

— У нее три экипажа, ливрейные слуги, грум на английский манер, дача, ложа в итальянской опере и еще много всякой всячины. Так-то, дорогой мой!

Ватназ, точно ей самой выпали на долю все эти блага, была весела и счастлива.

Она сняла перчатки и стала рассматривать в спальне мебель и безделушки. Она определяла цену не хуже старьевщика. Фредерику следовало бы посоветоваться с ней; тогда он приобрел бы все гораздо дешевле. Она поздравляла его с отличным вкусом:

— Ах, это мило, чрезвычайно мило! Только вам приходят такие мысли!

Потом, заметив у изголовья алькова дверь, сказала:

— Это та дверь, через которую вы выпускаете дамочек?

И она дружески взяла его за подборок. Он содрогнулся от прикосновения ее длинных рук в одно и то же время и худых, и нежных. Длинные рукава ее были обшиты кружевами, а на лифе зеленого платья были шнуры, как у гусара. Ее черная тюлевая шляпа с опущенными полями немного закрывала ее лицо; из под нее блестели глаза; волосы пахли пачули, лампа, стоявшая на низеньком столике, освещала ее снизу, подобно театральной рампе; ее подбородок, казалось, выдавался вперед;—и вдруг, и этой некрасивой женщине с гибким станом пантеры Фредерик почувствовал захватывающее вожделение, порыв животного сладострастия.

Внимая из портмоне три завернутые четвертушки, она умильным голосом спросила его:

— Вы возьмете их у меня?

Это было три билета на бенефис Дельмара.

— Как? Опять!

— Конечно!

Ватназ без дальнейших объяснений прибавила, что она обожает его более, чем когда-либо. Он,—в это она твердо верит,—попал в число «современных знаменитостей». Он олицетворяет не ту или иную личность, а гений Франции, народ; у него мировая душа; он истый жрец искусства. Фредерик, чтобы избавиться от этих восхвалений, запла-тил за три места.

— Только не надо рассказывать об этом у нее. Боже мой, как поздно! Мне пора! Ах, я и забыла об адресе. улица Гранж-Бательер, 14.

И уже с порога она бросила:

— Прощайте, любимый человек!

— Любимый? Кем?—спросил самого себя Фредерик.— Что за странная особа!

И ему припомнилось, как однажды Дюссардые сказал ему на ее счет: «Ну, знаете...»—точно желал намекнуть на какие-то не особенно достойные поступки.

На следующий день он отправился к Маршалу. Она жила в новом доме с маркизами на улице. На каждой площадке лестницы было по стенному зеркалу, перед окнами корзины с цветами; вся лестница была устлана полотняной дорожкой; при входе с улицы здесь чувствовалась прохлада.

Дверь открыл лакей в красном жилете. В передней на деревянных диванах сидели женщина и двое мужчин, очевидно, поставщики, и ждали, точно в прихожей у министра. Налево, через полуотворенную дверь столовой, были видны пустые бутылки на буфете, салфетки на спинках стульев; а за столовой тянулась галерея, где на позолоченных палках раскинулся шпалерник роз. Во дворе два конюха с засученными рукавами вытирали ландо. Их голоса перемешивались с прерывающимся звуком скребни-цы, которую оттачивали на камне.

Вернулся слуга и сказал: «барыня просит, пожалуйста». Его провели через вторую переднюю, потом через большую гостиную, обтянутую желтой полупарчей, со шнурами по углам, соединяющимися на потолке и казавшимися, благодаря витым украшениям, продолжением

люстры. Очевидно, прошлую ночь здесь пировали. На консолях еще оставался пепел сигар.

Наконец, он вошел в своего рода будуар, слабо освещенный цветными стеклами. Трилистники, резанные по дереву, красовались над дверью; за баллюстрадой три пурпуровых тюфяка заменяли тахту, трубка платинового кальяна валялась на них. На камине вместо зеркала стояла этажерка, в виде пирамиды, на полочках которой была расставлена целая коллекция редких вещей: старинные серебряные часы, богемские рожки, застёжки из драгоценных камней, пуговицы из нефрита, эмалевые вещи, уродливые фарфоровые статуэтки, византийский образок Богоматери в позолоченной ризе—все это сливалось с золотистым сумраком, с голубоватым ковром, с перламутровым отблеском табуреток, со стенами, обтянутыми кожей каштанового цвета. По углам на подставках стояли бронзовые вазы с букетами цветов, аромат которых делал тяглым воздух.

Внезапно появилась Розанета в розовой атласной безрукавке, в белых кашемировых шароварах, с ожерельем из пиастров и в красной шапочке с веткой жасмина вокруг.

Фредерик отшатнулся от изумления: потом сказал, что принес «просимое» и передал ей кредитный билет.

Она посмотрела на него с удивлением, он продолжал держать билет в руке, не зная, куда его положить, и ска-зал:

— Возьмите же!

Она схватила его; потом, бросив на тахту, промолвила:

— Вы очень любезны!

Это было нужно для уплаты за землю в Бельвиле, за которую она ежегодно вносила. Подобная бесцеремонность задела Фредерика. Впрочем, все равно, это отместка за прошлое.

— Садитесь,—сказала она.—Вот сюда, поближе!—И важным тоном произнесла:—Прежде всего, дорогой мой, позвольте поблагодарить вас за то, что вы рисковали из-за меня жизнью.

— О, что за пустяки!

— Как! Но ведь это так красиво!

От ее благодарности ему стало не по себе, так как она

ведь не могла не знать, что он дрался исключительно из-за Арну, который, вообразив это, не мог, конечно, удержаться, чтобы не сказать ей о том.

— Быть может, она смеется надо мною,—подумал он.

Ему нечего было больше делать и, ссылаясь на деловое свидание, он поднялся.

— Ах, нет! Вы просто скучаете!

Он снова сел и сделал комплимент по поводу ее костюма.

Она ответила с унылым видом:

— Это нравится князю. И нужно курить из подобных штук,—прибавила она, указывая на кальян.—Не попробовать ли? Хотите?

Принесли огня; томпак раскалялся с трудом, от нетерпения она начала топтать ногами. Потом ею овладела томность и она неподвижно сидела на тахте, подложив подушку под мышку, немного с'ежившись, согнув одно колено, а другую ногу вытянув.

Длинная змея из красного сафьяна, образовавшая кольца на полу, обвилась вокруг ее руки. Она поднесла янтарный чубук к своим губам и смотрела на Фредерика, щуря глаза сквозь дым, клубы которого окутывали ее. От ее затылки бурлила вода и время от времени она бормстала:

— Мой маленький мальчик, мой бедный котик!

Он старался подыскать сюжет для приятного разговора и вспомнил о Ватназ.

Он сказал, что она показалась ему очень нарядной.

— Скажите!—возразила Маршал.—Она очень счастлива, что я опять вожусь с ней,—и не прибавила больше ни слова, стараясь быть сдержанной.

Оба чувствовали какое-то стеснение, какую-то преграду. Дуэль, причиной которой Розанета считала себя, льстила ее самолюбию. Потом она сильно удивилась, что он не прибежал и не потребовал никакого вознаграждения за свой поступок; чтобы заставить его придти, она и выдумала, что ей необходимы пятьсот франков. Почему же, однако, Фредерик не добивается от нее в ответ хоть какой-нибудь ласки. Такая тонкость очаровала ее и в сердечном порыве она сказала ему:

— Хотите, поедem с нами на морские купанья?

— С кем это, с нами?

— Со мной и с моим гусем; я выдам вас за двоюродного брата, как в старинных комедиях.

— Благодарю покорно!

— Ну, тогда наймите себе квартиру вблизи нас.

Но прятаться от богатого человека казалось ему унижительным.

— Нет, это невозможно!

— Как хотите!

Розанета отвернулась со слезами на глазах; Фредерик заметил это и, чтобы проявить к ней участие, сказал, что счастлив видеть ее, наконец, в такой роскоши.

Она пожала плечами. Кто же огорчает ее? Разве ее недостаточно любят?

— О, меня любят всегда!—сказала она.

— Но важно знать, как любят!

Вслед за тем, уверяя, что она «задыхается от жары», Маршал сняла свою куртку и, оставшись в одной шелковой рубашке, склонила голову к плечу с покорным и мнящим видом.

Человек более непосредственный не стал бы думать о том, что неожиданно может явиться виконт, г. де-Комэн, или еще кто-либо. Но Фредерик слишком много раз оставался в дураках, поддавшись ее взорам, чтобы еще раз подвергать себя унижению.

Ей хотелось узнать об его связях, развлечениях; она дошла до того, что осведомилась о его делах и предложила ему займы денег, на случай, если он в них нуждается. Фредерик не выдержал и взялся за шляпу.

— Ну, дорогая, всяких благ, до свиданья!

Она вытаращила глаза; потом сказала сухим тоном:

— До свиданья.

Он опять прошел через желтую гостиную и вторую переднюю. На столе между вазой, наполненной визитными карточками, и чернильницей, стоял серебряный чеканный ящичек. Ящичек г-жи Арну! Он был растроган и вместе с тем ощутил какой-то стыд, словно от святотатства. У него явилось желание дотронуться до него руками, открыть его. Но он побоялся, что его увидят, и прошел дальше.

Фредерик не поддался соблазну и не пошел к Арну. Он послал слугу купить двух негров, сделал все необходимые указания: в этот же вечер ящик был отправлен в Ножан. На другой день Фредерик пошел к Дэлорье; на углу бульвара и улицы Вивьен он столкнулся лицом к лицу с г-жей Арну.

Первым их движением было отступить назад, потом одна и та же улыбка появилась на их губах, и они подошли друг к другу. В течение минуты никто не заговаривал.

Солнце лило на нее свои лучи; ее овальное лицо, длинные брови, черная кружевная шаль, обрисовывающая плечи, платье из сизого с отливом шелка, пучок фиалок на шляпе, все показалось ему необыкновенно прекрасным. Какая-то безграничная нежность исходила из ее чудесных глаз; он пробормотал первые попавшиеся слова:

— Как поживает Арну?

— Благодарю вас.

— А ваши дети?

— Очень хорошо.

— А... а... Какая прелестная погода, не правда ли?

— Да, чудная!

— Вы по делам?

— Да.

И, медленно склонив голову, он сказал:

— Прощайте!

Она не протянула ему руки, не сказала ни единого приветливого слова, не пригласила даже к себе. Но все равно!

Он не променял бы эту встречу на увлекательнейшее приключение. И он вновь переживал ее сладость, продолжая свой путь.

Дэлорье удивился при виде Фредерика, но скрыл свою досаду; из-за какого-то упрямства он все еще хранил надежду относительно г-жи Арну; он писал Фредерику, чтобы тот остался в Ножане,—это дало бы ему свободу действий. Однако, он сказал, что представился г-же Арну, чтоб узнать, предусмотрена ли в их свадебном контракте общность владения имуществом: в этом случае можно предъявить иск к жене.

— Какую мину она состроила, когда я сообщил ей о твоей женитьбе?

— Как? Это еще что за выдумка!

— К этому пришлось прибегнуть, чтоб показать, что ты нуждаешься в деньгах. Будь она равнодушна к тебе, она не отнеслась бы так к этому известию, а то ведь она чуть было в обморок не упала.

— Правда?—вскричал Фредерик.

— Ах, проказник, ты выдал себя! Будь откровенен! Рассказывай-ка!

— Да нет же... Уверю тебя... Честное слово...

Эти слабые возражения окончательно убедили Дэлорье. Он рассыпался в комплиментах. Он стал расспрашивать о «подробностях». Фредерик не рассказал ничего и даже устоял против желания выдумать их.

Что до закладной, Фредерик предложил ему ничего не предпринимать, повременить. Дэлорье нашел, что он не прав и стал даже грубо упрекать его.

Впрочем, теперь он был еще мрачнее, недоброжелательнее, раздражительнее, чем когда-либо. Через год, если счастье не улыбнется ему, он уедет в Америку или застрелится. Словом, он испытывал такую ярость против всего решительно, показал себя столь безграничным радикалом, что Фредерик не смог удержаться, чтобы не сказать ему:

— Ты совсем Сенекаль!

Дэлорье по этому поводу сообщил ему, что того выпустили из тюрьмы Сент-Пелажи, очевидно, за недостатком улик.

На радостях по случаю его освобождения Дюссардь захотел «устроить пунш» и просил Фредерика «присутствовать на нем», предупредив его, однако, что он встретится с Гюссонэ, который выказал себя с отличной стороны по отношению к Сенекалю.

На самом деле «Факел» только что соединился с коммиссионной конторой под названием: «Контора виноторговцев—справочная контора—контора взысканий по долговым обязательствам и по собиранию справок и т. д.». Но Гюссонэ боялся, как бы его торговое предприятие не по вредило его литературной деятельности, и пригласил ма-

тематика для заведывания бухгалтерией. Хотя место было посредственное, но Сенекаль без него умер бы с голоду. Фредерик, не желая огорчать честного малого, принял приглашение.

Дюссардьё уже за три дня до торжества сам натер красный каменный пол в своей мансарде, выколотил единственное кресло, стер пыль с камина, где между сталактитом и кокосовым орехом стояли под колпаком алебастровые часы. Так как двух его высоких подсвечников и одного низенького было мало, то он взял еще два у привратника; эти пять свечей горели на комод, покрытом тремя салфетками, на которых были расставлены миндальные печенья, сухари, сдобный хлеб и дюжина пива. У противоположной стены, оклеенной желтыми обоями, в маленьком шкапу красного дерева стояли следующие книги: басни Лашамбоди, «Тайны Парижа», «Наполеон» Норвенса, а над постелью улыбалось в полисандровой рамке лицо Беранже.

Приглашены были (кроме Дэлорье и Сенекаля) только что кончивший курс фармацевт, не имеющий средств для открытия аптеки, молодой человек, товарищ Дюссардьё по службе, комиссионер по торговле винами, архитектор и еще какой-то господин, служащий в страховом обществе. Режембар не смог придти. Об этом было выражено сожаление.

Фредерика встретили с большой симпатией, зная от Дюссардьё об его речи у Дамбрезов. Сенекаль удовлетворялся тем, что с достоинством протянул ему руку.

Он стоял у камина. Остальные, сидя с трубками в зубах, слушали его разглагольствования о всеобщем избирательном праве, которое должно повести за собой торжество демократии, применение евангельских принципов; впрочем, благоприятный момент приближается; число банкетов протеста в провинциях увеличивается; Пьемонт, Неаполь, Тоскана...

— Это правда,—неожиданно перебил его Дэлорье,—дальше так не может продолжаться.

И он стал рисовать картину настоящего положения.

Мы пожертвовали Голландией, чтобы добиться признания Луи-Филиппа от Англии; а между тем этот зна-

менитый союз с Англией пропал даром, из-за испанских браков. В Швейцарии г. Гизо в угоду Австрии поддерживал трактаты 1815 года. Пруссия со своим таможенным союзом в будущем поставит нас в затруднительное положение. Восточный вопрос остается открытым.

То, что великий князь Константин присылает подарки герцогу Омальскому, еще не причина доверять России. Что до внутренней политики, то никогда не было такого ослепления, такой глупости! Их даже собственное большинство не поддерживает. Всюду, наконец, слышишь столь надоевшее слово: «Ничего, ничего, ничего». И, несмотря на такой позор,—продолжал адвокат, подбоченившись,—они объявляют себя вполне удовлетворенными!

Этот намек на знаменитое голосование вызвал рукоплескания. Дюссардьё откупорил бутылку пива: пена забрызгала занавески; но он не обратил на это никакого внимания; он набивал трубки, разрезал сдобный хлеб, потчуя им, несколько раз сбегал вниз, чтобы узнать, не доставлен ли пунш. Компания быстро пришла в возбуждение, так как все были раздражены против правительства. Возбуждение это было сильно одною ненавистью к несправедливости; в их возмущении самые законные обвинения были смешаны с самыми глупыми упреками.

Фармацевт горевал о жалком состоянии французского флота. Агент страхового общества не мог перенести того, что к дому маршала Сульта приставлено двое часовых. Дэлорье поносил иезуитов, только что открыто основавшихся в Лилле. Сенекаль еще больше ненавидел Кузена, чем иезуитов; ибо эклектизм, уча обращаясь к разуму, как к источнику убеждения, развивает эгоизм, разрушает солидарность; комиссионер же по торговле вином, мало смысливший во всех этих вопросах, заметил во всеуслышанье, что они забыли еще о многих подлостях:

— Королевский вагон Северной железной дороги должен обойтись в восемьдесят тысяч франков. Кто будет за это расплачиваться?

— Да, кто будет расплачиваться за это?—подхватил приказчик так яростно, точно эти деньги были взяты из его кармана.

Посыпались обвинения против алчности биржевиков и против взяточничества чиновников. По мнению Сенекаля, следует добраться до тех, кто повыше, и прежде всего привлечь к суду принцев, воскресивших правление регентства.

Известно-ли вам, что недавно приятели герцога де-Монпансье возвращались из Венсена, разумеется, пьяные, и потревожили своими песнями рабочих предместья Сент-Антуан?

— И им даже кричали вслед: «долой воров!»— сказал фармацевт:— я был там и сам кричал.

— И прекрасно! После этого процесса Тест-Кюбьера народ, наконец, стал просыпаться.

— А меня огорчил этот процесс,—сказал Дюссардь,—в нем обещан старому солдат.

— А знаете,—продолжал Сенекаль,—у герцогини де-Прален нашли...

От толчка чьей-то ноги распахнулась дверь. Вошел Гюссонэ.

— Привет вам, государи мои!—сказал он, усаживаясь на постель. Ему не сделали даже намека по поводу его статьи, в которой он теперь, впрочем, раскаивался, да и от Маршала ему сильно досталось.

Он приехал из театра Дюма, где давали пьесу «Кавалер де-Мезон-Руж»; он находил ее скучной.

Подобное суждение удивило демократов,—эта драма по своим тенденциям, а главное постановке соответствовала их убеждениям. Они заспорили. Сенекаль, чтобы положить этому конец, спросил, служит ли пьеса демократическим идеям?

— Да... может быть; но что за стиль!..

— Значит, она хороша; ибо что такое стиль? идея!

И, не давая Фредерику возможности заговорить, он продолжал:

— Я утверждаю, что в деле Прален...

Гюссонэ перебил его:

— Ах, вот еще старая песня! Надоела она мне до смерти!

— Да и другим тоже,—подхватил Дэлорье.—Пять газет из-за нее закрыли! Вот послушайте-ка эту справку.

И, вынув свою записную книжку, он стал читать.

— Со времени учреждения наилучшей из республик мы имели тысяча двести двадцать девять процессов по делам печати, результатом которых для пишущих было три тысячи сто сорок лет тюремного заключения со штрафом в небольшую сумму—в семь миллионов сто десять тысяч пятьсот франков. Мило, не правда-ли?

Все горько усмехнулись. Фредерик, возбужденный не меньше других, добавил:

— У газеты «Мирный демократ» и сейчас идет процесс из-за романа «Доля женщин».

— Прекрасно!—воскликнул Гюссонэ.—Если нам теперь запретят нашу «Долю Женщин».

— Да чего не запрещают?—вскричал Дэлорье.—Запрещено курить в Люксембургском саду, запрещен гимн Гию IX-му.

— И не разрешили банкета типографчиков,—отчетливо произнес глухой голос.

Это был голос архитектора, сидевшего в тени алькова и молчавшего до сей поры. Он добавил, что на прошлой неделе засудили некоего Руже за оскорбление короля.

— Поджарили Руже!*)—проговорил Гюссонэ.

Эта шутка показалась Сенекалю весьма неуместной, и он упрекнул литератора за то, что тот защищает «жонглера городской думы», друга предателя Дюмурье.

— Я? Напротив!

Он находил Луи-Филиппа бездарным национальным гвардейцем, которому более всего подходило бы быть бакалейщиком или бумажным колпаком. И, приложив руку к сердцу, Гюссонэ произнес несколько торжественных фраз:—«Всегда с удовольствием... Польская национальность не погибнет... Наши великие предприятия будут завершены. Дайте же мне денег для моей

*) Руже—по-французски—окунь.

семьи»... Все много смеялись, находя его очень остроумным, прямо таки очаровательным, веселье удвоилось при виде чаши с пуншем, которую принесли из ресторана.

Пламя оспирта и свечей быстро нагрело комнату; свет из мансарды, проникая во двор, освещал край крыши с трубой, которая возвышалась темным столбом на фоне ночи. Все разом заговорили очень громко, сняли куртки, натыкались на мебель, чокались.

Гюссонэ вскричал:

— Пригласите сюда светских дам, устроим нечто вроде Нэльской башни, нечто Рембрандтовское, чорт возьми!

Фармацевт, безостановочно мешавший пунш, затынул подным голосом:

У меня в стойле два больших быка,
Два больших белых быка...

Сенекаль зажал ему рот,—он не терпел беспорядка; жильцы повысовывались из окон, удивленные необычайным шумом в квартире Дюссардь.

Честный малый был счастлив и заметил, что это напоминает ему их прежние собрания на набережной Наполеона; а, между тем, многих не достает,—так, например, Пеллерена...

— И без него обойдемся,—возразил Фредерик.

Дэлорье осведомился о Мартиноне:

— Что случилось с этим интересным господином?

Фредерик не преминул дать простор неприязненному чувству, которое он питал к нему; он напал на его ум, характер, поддельное изящество, на все. Вот прекрасный образец выскочки-мужика. Новая аристократия, буржуазия не стоит прежнего дворянства. Он развивал эту идею, а демократы соглашались, как будто они сами принадлежали к одному кругу и часто бывали в другом. Все были от него в восхищении. Фармацевт даже сравнил его с г. д'Альтоном-Шэ, который, несмотря на то, что был паром Франции, отстаивал интересы народа.

Наступило время расходиться. Все с жаром пожимали друг другу руки; Дюссардь, растрогавшись, пошел провожать Фредерика и Дэлорье. Как только они очутились

на улице, адвокат принял глубокомысленный вид и, помолчав минуту, спросил:

— Ты все еще сердись на Пеллерена?

Фредерик не стал скрывать своего раздражения.

А, между тем, художник снял с выставки свою знаменитую картину. Не нужно ссориться из-за пустяков. К чему наживать себе врага?

— Он поддался мгновенному чувству злобы, что извинительно для человека, не имеющего ни единого су в кармане. Впрочем, тебе это трудно понять.

Дэлорье поднялся к себе. Дюссардь пошел провожать Фредерика и тоже убеждал купить портрет. На самом деле Пеллерен, отчаявшись напугать Фредерика, обратился к его друзьям, чтобы хотя через них убедить его приобрести картину.

В следующий раз Дэлорье опять заговорил об этом, настаивал. По его мнению, требования художника основательны.

— Я уверен, что он уступит за пятьсот франков.

— Ах, да заплати, на!—сказал Фредерик.

В этот же вечер картина была ему доставлена. Она казалась еще отвратительней, чем в первый раз. Полутон и тени были столько раз записаны, что казались очень темными по сравнению со светлыми пятнами, которые, блестя и там и сям, портили общее впечатление.

Фредерик разбил ее, как только мог, в отместку за то, что заплатил за нее. Дэлорье поверил ему на слово и одобрил его поступок, ибо по-прежнему страстно мечтал об образовании фаланги, главой которой будет он; некоторые люди наслаждаются тем, что заставляют своих друзей совершать неприятные для них поступки.

Фредерик не бывал больше у Дамбрез. Не доставало денег. По этому поводу пришлось бы долго объясняться; он не знал, на что решиться. Может быть, он и прав, что не идет? Теперь ни в чем нельзя быть уверенным, каменноугольное предприятие не надежнее других; лучше совсем порвать с этим миром; к тому же и Дэлорье отговорил его от вступления в предприятие. Ненависть сделала его добродетельным; впрочем ему больше нравилось видеть Фредерика в среднем достатке. Тогда он останется

равным ему и тем самым сохранит с ним близкие отношения.

Поручение Луизы Рок было исполнено очень дурно. Ее отец написал Фредерику письмо, снабдив его самыми точными объяснениями, и кончил это письмо следующей шуткой: «Беру на себя смелость взвалить на вас негрский труд».

Фредерику волей-неволей пришлось самому отправиться к Арну. Он вошел в магазин, там никого не было; торговый дом приходил в упадок, приказчики в небрежности не отставали от своего хозяина.

Фредерик обошел длинную этажерку, заставленную фаянсовыми изделиями и тянувшуюся по середине магазина, от одного конца до другого; подойдя к прилавку, он стал громко стучать ногами, чтобы его услышали.

Приподнялась портьера, и показалась г-жа Арну.

— Как? Вы здесь? Вы?..

— Да,—пробормотала она, немного смутившись.— Я искала...

Он заметил на прилавке ее носовой платок и понял, что она пришла к мужу, чтобы выяснить что-нибудь, что ее беспокоило.

— Но... вам должно быть что-нибудь нужно?—спросила она.

— Так, один пустяк.

— Эти приказчики стали невыносимы. Их никогда нет.

— Ну, за это не следует бранить их. Напротив, он готов радоваться этой случайности.

Она насмешливо взглянула на него.

— Ну, а когда же свадьба?

— Чья свадьба?

— Ваша.

— Моя? Никогда!

Она сделала движение, обличавшее недоверие.

— А если бы и так? Приходится мириться с посредственным, раз прекрасное, о чем так мечтал, недостижимо.

— Однако, не все ваши мечты были столь... невинны.

— Что вы хотите этим сказать?

— А то, что вы ездите на скачки с... особами...

Он проклял Маршала, но, к счастью, вспомнил об ее просьбе.

— Вы ведь сами просили меня как-то видаться с ней, в интересах Арну.

Она возразила, покачивая головой:

— И вы воспользовались этим для собственного развлечения.

— Боже мой, оставим все эти пустяки!

— Это правильно, раз вы собираетесь жениться.

И она подавила вздох, кусая губы.

Тогда он воскликнул:

— Но я повторяю вам, что это неправда. Как можете вы думать, что я с моими художественными вкусами, духовными запросами, моими привычками погрязну в провинции, чтоб играть в карты, присматривать за постройками и прогуливаться в деревянных башмаках! И зачем? Вам рассказывали, что она богата, не так ли? Но я презираю деньги. Раз я мечтал найти в жизни самое лучшее, самое нежное, самое волшебное, что-то вроде рая, воплощенного в человеческом образе, и нашел, наконец, этот идеал, это видение; которое заслонило все другие...

И, схватив ее голову обеими руками, он принялся осыпать поцелуями ее глаза, повторяя:

— Нет, нет, нет! Никогда не женюсь, никогда! Никогда!

Она принимала эти ласки, застывши от удивления и восхищения.

Наружная дверь на лестнице хлопнула. Она отпрянула и замерла, вытянув руку, точно приказывала ему молчать. Шаги приближались, чей-то голос спросил из-за двери:

— Мадам здесь?

— Войдите.

Г-жа Арну, облокотясь на конторку, спокойно вертела между пальцами перо, когда бухгалтер открыл дверь.

Фредерик поднялся.

— Честь имею откланяться. Значит, сервиз будет готов? Могу я на это рассчитывать?

Она ничего не ответила. Но это безмолвное соучастие залило ее лицо всем стыдом измены.

На следующий день он поехал к ней,—его приняли; желая воспользоваться тем, чего он уже добился, он тотчас же начал оправдываться в случившемся на Марсовом поле. Он был с той женщиной совершенно случайно. Допустим, она красива (что, впрочем, неправда), но как могла она хоть на минуту завладеть его думами, раз он любит другую.

— Вы хорошо знаете это, я говорил вам.

Г-жа Арну опустила голову.

— Мне досадно, что вы сказали мне об этом.

— Почему же?

— Чувство самого простого приличия требует теперь от меня, чтобы мы с вами больше не видались.

Он стал уверять ее в невинности своей любви.

Прошлое должно быть порукой за будущее; он дал обещание самому себе не тревожить ее, не смущать своими жалобами.

— Но вчера мое сердце не выдержало.

— Мы не должны более вспоминать об этом моменте, друг мой...

— Но что же тут дурного, если два несчастных существа вместе переживают общую печаль? Ведь вы тоже несчастны! О, я знаю, у вас нет никого, кто отвечал бы вашей потребности любви и преданности; я буду делать все, что вы захотите. Я не оскорблю... клянусь вам!

И он упал на колени, невольно склоняясь под тяжестью слишком большого внутреннего волнения.

— Встаньте!—сказала она,—я приказываю!

И она властно заявила, что если он не послушается, то не увидит ее более никогда.

—Ах, это вам не удастся!—возразил Фредерик.—Что же мне делать в этом мире? Другие стремятся к богатству, славе, власти. У меня нет этих стремлений, вы единственная цель, единственное оправдание моего существования, моих мыслей! Я не могу жить без вас, как не могу жить без воздуха. Разве вы не чувствуете, что моя душа стремится к вашей, и что они должны соединиться, и что я умираю от этого.

Г-жа Арну начала дрожать всем телом:

— О, уходите! Прошу вас!

Расстроенное лицо ее остановило его.

Потом он сделал шаг к ней. Но она отступила, умоляюще сжав руки.

— Оставьте меня! Во имя неба! Умоляю!

И Фредерик настолько любил ее, что ушел.

Вскоре его обуял гнев на себя самого, он называл себя глупцом и через сутки снова отправился к ней.

Барыни нет дома. Он стоял на площадке лестницы, ошеломленный, полный ярости и досады. Появился Арну и сообщил, что жена утром уехала на дачу, которую они снимали в Отейле, продавши дачу в Сен-Клу.

— Это одна из ее причуд. Ей это доставляет удовольствие, впрочем, и меня устраивает. Тем лучше! Пообедаем сегодня вместе.

Фредерик сослался на неотложное дело и поспешил в Отейль.

У г-жи Арну вырвался крик радости. Вся его злоба исчезла.

Он совершенно не касался своей любви. Чтобы внушить ей больше доверия, он преувеличил даже свою сдержанность; когда же он спросил, можно ли ему приехать опять, она ответила:—да, конечно,—и протянула ему руку, которую почти тотчас же отняла.

Фредерик с этого дня стал бывать у нее часто. Он сулил всегда хорошие «чаевые» извозчику. Но нередко медленная езда выводила его из себя, он выскакивал из экипажа; потом, запыхавшись, влезал в омнибус. С каким пренебрежением разглядывал он лица людей, сидевших против него и ехавших не к ней! Он издали узнавал ее дом; громадная жимолость покрывала с одной стороны доски крыши; это было нечто вроде швейцарской виллы, выкрашенной в красный цвет, с выступающим балконом. В саду было три старых каштана, по середине на бугорке возвышался соломенный гриб на деревянном столбе. Из-под черепичных стен густые виноградные лозы, плохо прикрепленные, висели там и сям, точно сгнившие канаты. Звонки у железных ворот, с трудом поддававшийся звенел длительно; долго никто не шел; всякий раз он ис-

пытывал томление, смешанное с каким-то неопределенным страхом. Потом он слышал шлепанье туфель старой служанки по песку, или же появлялась сама г-жа Арну. Однажды он застал ее коленапреклоненную, спиной к нему, на траве, ищущую фиалок.

Дочь, из-за ее характера, пришлось отдать в монастырскую школу. Мальчуган ее днем бывал в школе. Арну по долгу завтракал в Пале-Рояле с Режембаром и его другом Компэном. Никакой докучливый посетитель не мог заставить их.

Было твердо решено, что они не должны принадлежать друг другу. Но это условие, предохраняя их от опасности, тем самым делая их свободнее, облегчало душевные излияния.

Она рассказала ему о своей прежней жизни в Шартре, у матери, о своей набожности в возрасте двенадцати лет; потом об увлечении музыкой, когда она до поздней ночи распевала в своей маленькой комнате, откуда открывался вид на крепостные валы. Он поведал ей о своих меланхолических мечтах в коллегии и о том, как в его поэтических грезах сиял некий женский образ, так что, увидя ее впервые, он сразу узнал ее.

Обычно их разговоры касались только того времени, когда они стали часто встречаться. Он напоминал ей о незначительных мелочах, — о цвете ее платья в такой-то день, кто к ней приходил, когда он бывал у нее, что она сказала тогда-то, — и она говорила восхищенная:

— Да, я вспоминаю.

Их вкусы, суждения были одинаковы. Часто тот из них, кто слушал другого, восклицал:

— И я тоже!

А тот в свою очередь откликался:

— И я тоже!

Потом начинались бесконечные жалобы на провидение:

— Почему оно не соединило их? Ах, если бы мы встретились прежде! Ах, если бы я была помоложе — вздыхала она.

— Нет! Лучше-б я был постарше!

И они воображали жизнь, сотканную исключительно из

любви, жизнь столь богатую, что ею возможно было наполнить самое глубокое одиночество, такую, чтобы она была превыше всех радостей, всех несчастий, жизнь, где часы пролетали бы в бесконечном слиянии душ, и в которой было бы нечто лучезарное и возвышенное, как в мерцании звезд.

Почти всегда они сидели на открытом воздухе, на верхней ступеньке лестницы; пожелтевшие от осени деревья уходили неравными купами к самому горизонту бледного неба; или же они направлялись в павильон, стоявший на краю аллеи, где кроме серого холщового дивана и зеркала в черных точках ничего не было; стены павильона дышали сыростью, но они подолгу сидели там, ведя беседу о себе, о других, о чем угодно, и все с одинаковым восхищением. Иногда солнечные лучи, проникая сквозь щели деревянных штор, тянулись с потолка до пола подобно струнам лиры, пылинки вихрем крутились в этих светящихся полосах. Она забавлялась, рассекая их рукой. Фредерик с нежностью брал ее руку, созерцая рисунок ее вен, поры ее кожи, форму ногтей. Каждый пальчик был для него больше, чем вещью, почти живым существом.

Раз она отдала ему свои перчатки, а спустя неделю носовой платок. Она звала его «Фредерик», он ее «Мари»; он обожал это имя, выдуманное нарочно, как говорил он, чтобы быть произнесенным в минуты экстаза, имя, которое, казалось, заключало в себе облака фимиама и груды роз.

Кончилось тем, что они стали заранее назначать день свидания; она, выходя как бы случайно, шла по дороге, навстречу к нему.

Однако, она ни к чему не прибегала, чтобы возбудить его любовь, погруженная в ту беспечность, которая сопровождает истинное счастье. На ней всегда был шелковый коричневый капот, отделанный бархатом того же тона, удобная широкая одежда, которая шла к мягкости ее движений и к серьезности лица. К тому-же, она вступала в осеннюю пору женской жизни, время размышлений и любви, когда зрелость придает взгляду большую глубину, когда чувство соединяется с опытом жизни, когда женщина достигает конечного расцвета и избыток внутреннего

богатства проникает естественную гармонию ее красоты. Никогда в ней не было большей мягкости, снисходительности. Уверенная, что она не падет, она отдавалась чувству, право на которое, как ей казалось, завоевано ее печалью. К тому же, это было так отрадно, так ново. Какая пропасть между грубостью Арну и обожанием Фредерика!

Он боялся из-за какого-нибудь неосторожного слова потерять все, чего добился, говорил себе, что пропущенный случай всегда можно воротить, но что сделанную глупость никогда не поправишь. Он хотел, чтобы она сама отдалась ему. Уверенностью в ее любви он наслаждался, как предвкушением обладания; впрочем, ее обаяние скорее волновало его душу, чем чувственность. Это было несказанным блаженством, таким опьянением, что он даже забывал о возможности более полного счастья. Но в ее отсутствии страстные вожделения терзали его.

Вскоре их разговоры стали прерываться длительным молчанием. Иногда какая-то стыдливость пола бросала их в краску. Все предосторожности, которыми они прикрывали свою любовь, только обнаруживали ее; чем более она крепла, тем они становились сдержаннее. Но от подобного упражнения во лжи, болезненно увеличивалась их восприимчивость. Их сладостно радовал запах сырой листвы, они страдали от восточного ветра, их охватывали беспричинные волнения, мрачные предчувствия; звук шагов, треск дерева вызывали у них страхи, точно они были в чем-то виноваты; они чувствовали, что идут к пропасти; грозная атмосфера окутывала их; когда у Фредерика вырывались сетования на судьбу, она обвиняла себя.

— Да, я поступаю гадко! Я веду себя, как кокетка. Не приезжайте больше.

В ответ на это он повторял свои прежние клятвы — и она слушала их всякий раз с наслаждением.

Ее возвращение в Париж и новогодние хлопоты приостановили на некоторое время их свидания. Когда он явился вновь, у него в обращении появилось что-то более смелое. Но она ежеминутно выходила, чтобы отдавать распоряжения, и принимала, несмотря на его просьбы, всех знакомых. В то время разговоры вертелись вокруг Леотата, Гизо, папы, восстания в Палермо и банкета Двена-

дцатого округа, который внушал опасения. Фредерик отводил душу, нападая на правительство; он желал, подобно Дэлорье, всеобщего переворота, так он был теперь ожесточен. Г-жа Арну с своей стороны становилась мрачной. Ее муж сумасбродничал еще больше, — содержал фабричную работницу, по прозвищу Бордосска. Г-жа Арну сама сообщила об этом Фредерику. Ему хотелось из этого сделать вывод в свою пользу: «раз, что ей изменяют».

— О, меня это мало трогает, — сказала она.

Такое заявление, как показалось ему, упрочило их интимность. Не подозревает ли чего-либо Арну?

— Нет, теперь не подозревает.

Она рассказала, что как-то вечером он оставил их вдвоем, потом тихонько вернулся и подслушивал за дверью; они как раз говорили о пустяках, и с тех пор он живет в полном спокойствии:

— И прав, не так ли? — сказал с горечью Фредерик.

— Да, конечно.

Но лучше бы ей было не бросать этих слов.

Однажды он не застал ее дома в тот час, когда он обычно бывал у нее. Он отнесся к этому как к измене.

Другой раз он рассердился, увидав, что цветы, которые он всегда приносил, поставлены в воду

— А где ж вам хочется, чтобы они были?

— О, конечно, совсем не там. Впрочем, им в воде не так холодно, как было бы холодно у вашего сердца.

Спустя некоторое время он упрекнул ее за то, что она накануне была в итальянской опере, не предупредив его. Ее видели другие, восхищались ею, может быть влюблялись в нее; Фредерик преследовал ее своими подозрениями, единственно с целью упрекнуть ее, помучить ее, так как начинал ненавидеть ее: пусть и она страдает хоть сколько-нибудь.

Однажды днем (то было в середине февраля) он застал ее сильно встревоженной. Эжен жаловался на боль в горле. Доктор, однако, сказал, что нет ничего опасного, просто сильная простуда, грипп.

Фредерика удивил вид ребенка, он был точно пьяный. Но мать он успокаивал, приводя в пример многих детей

такого возраста, схватывавших подобные болезни и быстро поправлявшихся.

— Правда?

— Конечно.

— О, как вы добры!

И она взяла его за руку. Он сжал ее.

— Ах, оставьте!

— Что за беда, ведь вы подали руку утешителю. Утешениям вы верите, почему же не верите, когда я говорю вам о своей любви?

— Но ведь я в ней не сомневаюсь, мой бедный друг.

— Отчего же такая недоверчивость, точно я негодай, способный злоупотреблять...

— О, нет!

— Если бы у меня было хоть какое-нибудь доказательство...

— Какое доказательство?

— Хотя бы такое, какое дают первому встречному и какое вы когда-то дали мне.

И он напомнил ей, как они однажды шли вместе в зимние сумерки; был туман; все это было так давно. Кто же мешает ей показаться теперь под руку с ним перед всем светом, без всяких опасений с ее стороны и без всякой задней мысли с его, но только так, чтобы около них не было лишних людей.

— Пусть будет по вашему,—сказала она с какой-то решительностью, сначала изумившей Фредерика.

Но он быстро подхватил:

— Хотите, я буду ждать вас на углу улицы Троншэ и де-ла-Ферм.

— Боже, друг мой...—пробормотала она.

Не давая времени ей одуматься, он прибавил:

— Значит, во вторник?

— Во вторник?

— Да, между двумя и тремя часами.

— Буду.

И она отвернула лицо, застыдившись.

Фредерик прикоснулся губами к ее затылку.

— О, как не хорошо,—сказала она.—Вы заставляете раскаиваться.

Он ушел, страшась обычной женской изменчивости. Потом на пороге прошептал, словно это было уже твердо решено:

— До вторника.

Она скромно и покорно опустила свои прекрасные глаза.

У него созрел план.

Он надеялся, что, благодаря дождю или солнцу, он сможет уговорить ее остановиться у под'езда, а раз она будет у под'езда, то непременно войдет и в дом. Весь вопрос сводился к отысканию подходящего помещения.

Он принялся за поиски и почти на середине улицы Троншэ издала прочел вывеску: «Меблированные комнаты».

Портье, поняв его намерение, сейчас же показал ему в антресолях спальню и уборную с двумя выходами. Фредерик снял комнаты на месяц, заплатив деньги вперед.

Потом он побывал в трех магазинах, где купил редких духов, кусок поддельного гипюра, которым заменил ужасное покрывало из красного коленкора, выбрал пару голубых атласных туфель; только боязнь показаться грубым удержала его от дальнейших покупок.

Потом более набожно, чем украшают алтари, он переставил мебель, приладил занавески, поставил на камин вереск, на комод—фиалки; ему хотелось бы вымостить всю комнату золотом. «Ведь это будет завтра,—говорил он себе,—да: завтра. Не во сне ли я?» И он чувствовал, как сильно бьется его сердце в бреде надежды; потом, когда все было готово, он унес с собой ключ, как будто счастье, дремавшее там, могло улететь.

Дома его ждало письмо от матери.

«Чем объяснить такое долгое отсутствие? Твое поведение начинает давать повод к насмешкам. Я понимаю, что в известной мере ты мог колебаться перед подобным браком; однако, поразмысли...». И она с точностью устанавливала условия: сорок пять тысяч франков годового дохода. «К тому же об этом уже говорят; г. Рок ждет окончательного ответа. Что касается самой Луизы, то ее положение действительно неловкое. Она любит тебя очень сильно».

Фредерик бросил письмо, не дочитав, и распечатал другое, записку от Дэлорье.

«Дружище! Груша *) созрела. Согласно твоему общению, мы рассчитываем на тебя. Завтра рано утром собираются на площади Пантеона. Зайди в кафе Суффло. Мне нужно с тобой переговорить до начала манифестаций».

— О, мне известны их манифестации! Покорно благодарю, у меня свидание гораздо более приятное.

На следующий день, в одиннадцать часов, Фредерик вышел из дому. Ему хотелось бросить последний взгляд— все ли приготовлено; к тому же, кто знает,—она ведь случайно могла прийти и раньше? Дойдя до улицы Троншэ, он услышал за собором Мадлэн гул: он пошел вперед и увидел в глубине площади, с левой ее стороны, блузников и буржуа.

Действительно, опубликованное в газетах воззвание приглашало всех подписавшихся на банкет на эту площадь. Немедленно вслед за этим министерство выпустило прокламацию, запрещающую сборище. Накануне вечером парламентская оппозиция отказалась от него, но патриоты, не знавшие об этом постановлении главарей, пришли в назначенное место в сопровождении большого числа любопытных. Депутация от студентов только что отправилась к Одилону Барро. Она находилась теперь в министерстве иностранных дел; не знали, состоится ли банкет, выполнит ли правительство свою угрозу, выступит ли национальная гвардия. Депутатами были так же недовольны, как и правительством. Толпа все более и более увеличивалась, когда вдруг воздух дрогнул от марсельезы.

Это приближалась колонна студентов. Они шли в ногу в два ряда, в полном порядке, с возбужденными лицами, и время от времени кричали:

— Да здравствует реформа! Долой Гизо!

Друзья Фредерика, наверное, были здесь. Они заметят его и увлекут с собою. Он быстро скрылся в улице Аркад.

*) «Груша» — намек на короля Луи-Филиппа, лицо которого карикатуристы изображали в виде груши.

Когда студенты обошли два раза вокруг Мадлэн, они направились к площади Согласия. Она кишела народом; густая толпа издали была похожа на поле волнующихся черных колосьев.

В этот самый момент слева от церкви пехота построилась в боевом порядке.

Однако толпа не расходилась. Чтобы положить конец этому, полицейские агенты в штатском платье грубо хватали самых рьяных бунтовщиков и тащили их в участок.

Фредерик, несмотря на все негодование, остался неммым зрителем; могли и его забрать вместе с другими, и он пропустил бы свидание с г-жею Арну.

Вскоре показались каски муниципальных гвардейцев. Они наносили удары саблями плашмя. Одна из лошадей упала; бросились поднимать ее; как только всадник опять сел в седло, все бросились бежать.

Наступила глубокая тишина. Мелкий дождь, смочивший асфальт, перестал. Тучи рассеивались, медленно прогоняемые западным ветром.

Фредерик снова по улице Троншэ, поминутно оглядываясь.

Наконец, пробило два часа.

— Ах, теперь,—подумал он,—она выходит из дому, идет.

Через минуту ему казалось, что она должна была бы уже прийти. До трех часов он старался успокоить себя: «нет, она не опоздает: надо немного потерпеть».

От нечего делать он рассматривал немногие магазины, бывшие на этой улице: книжный, седельный, магазин траурного платья. Скоро он узнал все заглавия книг, все упряжи, все материи. Купцы, видя его безостановочно ходящим взад и вперед, сначала были удивлены, потом испугались, стали запираť магазины.

Очевидно, ее что-нибудь задержало, и она тоже страдает; но зато какая будет радость! «Она придет, это наверное! Она мне твердо обещала». Тем не менее, невыносимое томление охватывало его.

Нелепая причуда толкнула его в гостиницу, точно она уже была там.

А может быть, как раз в этот момент, она идет по

улице? И он бросился обратно туда. Никого? И он снова принялся шагать по тротуару.

Он внимательно рассматривал щели между плитами, пасти водосточных труб, фонари, номера на воротах. Самые незначительные предметы делались его собеседниками или, вернее, насмешливо глазели на него; правильные фасады домов ему казались безжалостными. Ноги у него озябли. Он чувствовал себя разбитым, удрученным. Звуки собственных шагов отдавались в его мозгу.

Когда его часы показали четыре, он испытал нечто вроде головокружения, ужас. Он старался повторять про себя стихи, делать разные вычисления, сочинять истории. Напрасно! Образ г-жи Арну преследовал его. Ему хотелось броситься ей навстречу. Но какую выбрать дорогу, чтобы с ней не разойтись.

Он подошел к посыльному, сунул ему в руку пять франков и велел сходить на улицу Паради к Жаку Арну и разузнать у привратника «дома ли барыня». Потом он стал на углу улиц де-ла-Ферм и Троншэ, чтобы одновременно видеть и ту и другую. Вдали на бульваре двигались темные массы людей. Он различал иногда султан драгуна или дамскую шляпку, напрягал зрение. Мальчик в лохмотьях, показывавший сурка в ящике, попросил, улыбаясь, милостыню.

Посыльный в плисовой куртке вернулся.

— Привратник не видел, чтобы она выходила.

Кто же задержал ее? Если бы она заболела, то так бы и сказали. Неужели ее задержали гости? Но ведь так легко было не принять их...

Он ударил себя по лбу:

— Ах, какой я дурак! В этом виноваты беспорядки...— столь естественное объяснение успокоило его. Потом он внезапно сказал себе:— но в ее квартале спокойно!—И на него напало ужасное сомнение.—Что, если она совсем не придет? Что, если она обещала только для того, чтобы отделаться от меня? Нет! Нет! Кто-нибудь помешал ей; вероятно, случилось что-нибудь необычайное, одно из тех событий, которые нарушают все предположения... Но ведь в этом случае она написала бы!

И он послал мальчика из гостиницы к себе домой на улицу Рюмфор, чтобы узнать, нет ли для него писем.

Письма не было. Это отсутствие новостей успокоило его.

Он гадал по числу монет, захваченных наудачу в кармане, по лицам прохожих, по мастям лошадей; когда предсказание выходило неблагоприятным, он силился не верить ему. В припадках злобы на г-жу Арну он вполголоса ругал ее. Потом наступила минута слабости, дошедшая чуть ли не до потери сознания, или его внезапно охватывала надежда. Она сейчас явится. Она сзади него. Он оглядывался: никого. Раз он увидел шагах в тридцати от себя женщину такого же роста, в такой же одежде. Он догнал ее; это была не она. Наступило пять часов! полчаса шестого! шесть! Зажигался газ. Г-жа Арну не пришла.

Ей снилось этой ночью, что она уже давно на тротуаре улицы Троншэ. Тут она ждет чего-то неясного, но в то же время значительного, и, неизвестно почему, боится быть замеченной. Но проклятая собаченка, бросаясь на нее, рвет подол ее платья. Не взирая ни на что, она упрямо кидается и все сильнее лает. Г-жа Арну проснулась. Лай продолжался. Она насторожилась. Он слышался в детской. Она босиком бросилась туда. Это кашлял ребенок. Ручки его были в огне, лицо горело, а голос странно хрипел. Затрудненность его дыхания увеличивалась с минуты на минуту. Она осталась возле него до утра, следя за ним, наклонившись над его постелькой.

В восемь часов барабанный бой национальной гвардии дал знать Арну, что товарищи ждут его. Он быстро оделся и ушел, пообещав зайти к доктору Коло. В десять часов Коло еще не было. Г-жа Арну послала горничную. Доктор уехал за город, а молодой ассистент, заменявший его, отправился с визитами.

Голова Эжена, лежавшая на подушке, свесилась на бок, он, не переставая, хмурил брови и расширял ноздри; маленькое личико его стало бледнее простыни. Из горла исходил какой-то свист при каждом дыхании, которое делалось все короче и суше, точно металлическим. Его кашель походил на механический шум, с каким лают кар-

тонные собачки. Г-жу Арну объял ужас. Она бросилась к звонку, зовя на помощь; она кричала:

— Доктора! Доктора!

Через десять минут явился старый господин в белом галстуке, с седыми хорошо подстриженными бакенбардами. Он задал массу вопросов о привычках, возрасте, температурах маленького пациента, потом осмотрел горло, приложив ухо к спине, прописал лекарство. Спокойный вид этого старика был отвратителен. От него пахло балзамированием. Ей хотелось его ударить. Он сказал, что зайдет вечером. Скоро приступы усиленного кашля возобновились. Иногда ребенок вдруг приподнимался. От конвульсий сокращались грудные мускулы, а при дыхании его живот втягивался как будто он запыхался от бега. Потом он снова валился назад с закинутой головой и широко открытым ртом. С бесконечными предосторожностями г-жа Арну старалась заставить его проглотить содержимое склянок, сироп ипекакуаны, микстуру. Но он отталкивал ложку со слабым стоном. Можно было подумать, что он выдувает слова.

Время от времени она перечитывала рецепты. Глядя на их формулы, она испытывала ужас; быть может, аптекарь ошибся. Ее бессилие приводило ее в отчаяние. Ассистент Коло пришел наконец. Это был скромный молодой человек, новичек; он не скрыл своего впечатления. Он сначала был в нерешительности, из страха скомпрометировать себя, наконец, прописал лед. Потребовалось много времени, чтобы найти его. Пузырь, в котором лежали кусочки льда, прорвался. Надо было переменить рубашку. Это торможение вызвало новый приступ, еще более ужасный.

Ребенок стал рвать рубашку с шеи, точно ему хотелось удалить препятствие, которое мешало ему дышать, и царапал стену, хватался за полог своей кровати, ища точки опоры, чтобы вздохнуть. Теперь его синеватое личико, все его тельце в холодном поту казались похudevшими. Растерянные глазки, полные ужаса, уставились на мать. Он обхватывал рученками ее за шею, повисал на ней с безнадежным видом; а она, сдерживая рыдания, бормотала нежные слова:

— Да, моя радость, мой ангелочек, мое сокровище!

Потом наступили минуты спокойствия. Она принесла игрушки — паяца, картинки — и разложила их на кровати, чтобы занять его.

Она даже попробовала петь. Затянула песенку, которую пела ему когда-то, когда укачивала его, пеленая, на этом самом вышитом низком кресле. Но вдруг он дрогнул всем телом, точно волна под порывом ветра, глаза его вышли из орбит; она подумала, что он умирает, и отвернулась, чтобы не видеть этого.

Спустя мгновение, у нее хватило сил взглянуть на него. Он был еще жив. Час следовал за часом, тяжело, мрачно, медленно, доводя до отчаяния; с каждой минутой обозначалась агония. От клочкотания в груди его подбрасывало, точно он разрывался; наконец, его вырвало чем-то странным, похожим на пергаментную трубку. Что это такое? Она вообразила, что это часть его кишки. Но он начал дышать глубоко и правильно. Это видимое улучшение испугало ее больше всего остального; она стояла окаменевшая, с опущенными руками, устремив глаза на одну точку, когда пришел Коло. Ребенок, по его мнению, был спасен. Сначала она не поняла и заставила его повторить свои слова. Не было ли это одним из обычных докторских утешений? Доктор ушел со спокойным лицом. Тогда она почувствовала, что веревки, связывавшие ее сердце, развязались.

— Спасен! Возможно ли?

Вдруг мысль о Фредерике пронзила ее ясно и неумолимо. Это было предостережение свыше; Господь в своем милосердии не захотел погубить ее. Какое возмездие было уготовано ей, если бы она упорствовала в этой любви? Без сомнения, ее сын был бы оскорблен из-за нее, и она увидела его взрослым, раненым на поединке, в нсилах, умирающим. Она бросилась на низенькое кресло; со всей силой своей души вознеслась она к небу, принесла в жертву Богу, как искупление, свою первую страсть, свою единственную слабость.

Фредерик вернулся домой. Он сидел в кресле, не имея даже силы проклясть ее. Его охватила странная дремота,

и сквозь кошмар он слышал шум дождя, думая, что он все еще на тротуаре.

На следующий день, поддавшись в последний раз ма-лодушию, он отправил еще раз посыльного к г-же Арну.

То ли посыльный не исполнил поручения, то ли ей надо было сказать слишком много такого, чего нельзя было объяснить одним словом, только ответа не последовало. Ее заносчивость была слишком велика. В нем заговорила оскорбленная гордость. Он поклялся вырвать ее из своего сердца; как листок, уносимый ветром, исчезла его любовь. Он сначала почувствовал от этого успокоение, стоическую радость, потом потребность в энергичных поступках: он пошел, куда глаза глядят, по улицам.

Люди из предместий проходили с ружьями, со старыми саблями, некоторые были в красных шапках и все пели марсельезу или песню жирондистов. Там и сям какой-нибудь национальный гвардеец спешил в свою мэрию. Вдали били барабаны. Дрались у Сен-Мартенских ворот. В воздухе было что-то бодрящее и воинственное. Фредерик все шел. Волнение большого города веселило его.

Проходя мимо Фраскати, он увидел окна Маршала: безумная мысль пришла ему в голову—порыв молодости. Он пересек бульвар.

Ворота запирались: Дельфина, горничная, писала внизу углем: «оружие выдано». Она быстро сказала ему:

— Ах, барыня не знает, как ей быть. Она прогнала сегодня утром своего грума за дерзость. Барыня полагает, что станут везде грабить. Она издыхает от страха. Тем более, что барин уехал.

— Какой барин?

— Да князь.

Фредерик вошел в будуар. Маршал, взволнованная, появилась в одной юбке, с распущенными волосами.

— Вот, спасибо! Ты пришел спасти меня! Это во второй раз! И никогда не требуешь награды!

— Прошу прощения!—сказал Фредерик, хватая ее за талию обеими руками.

— Как, что ты делаешь? — пробормотала Маршал, и удивленная и обрадованная таким обращением.

Он ответил:

— Я следую моде, я реформируюсь.

Она позволила опрокинуть себя на диван и продолжала смеяться под градом поцелуев.

День они провели, смотря в окна на народ. Потом Фредерик повел ее обедать в ресторан «Трех братьев Провансальцев». Обед был длинный и тонкий. Они возвращались пешком, за отсутствием извозчиков.

Известие о смене министерства изменило настроение Парижа. Все были в восторге; гуляющих была масса, от плошек в каждом этаже было светло, как днем. Солдаты медленно шли к своим казармам, измученные, печальные. Их приветствовали криками: «да здравствует армия!» Они молча продолжали свой путь. Напротив, офицеры национальной гвардии, раскрасневшиеся от возбуждения, размахивали саблями, орали: «да здравствует реформа!» — И эти слова всякий раз вызывали смех у влюбленных. Фредерик все шутил, был очень весел.

Через улицу Дюфо они вышли на бульвар. Венецианские фонарики на домах сплетались в огненные гирлянды. Толпа смутно волновалась под ними; среди этого сумрака сверкали кое-где своей белизной штыки. Поднимался сильный гул. Толпа была слишком сплочена, идти против течения было невозможно; они повернули на улицу Комартен, когда вдруг сзади них раздался такой звук, какой бывает, когда рвут пополам кусок шелковой материи. Это был ружейный залп на бульваре Капуцинов.

— А, уложили нескольких буржуа!—сказал Фредерик спокойно: бывают положения, когда человек, самый добрый, так оторван от мира, что смотрит на гибель людей без всякого сердечного волнения.

Маршал, уцепившись за его руку, стучала зубами. Она объявила, что не в состоянии сделать и двадцати шагов. Тогда в порыве утонченной ненависти, чтобы как можно больше оскорбить в своей душе г-жу Арну, он довел ее до гостиницы на улице Троппэ, в помещение, приготовленное для другой.

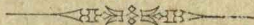
Цветы еще не завяли. Постель была покрыта гипюром.

Он вынул из шкапа маленькие туфельки. Розанета нашла очень тонкой такую предупредительность.

Около часа ночи она была разбужена отдаленным барабанным боем; она увидела, что он рыдает, уткнувшись в подушку.

— Что с тобой?

— Это от счастья!—ответил Фредерик.—Я слишком долго желал тебя!



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Ружейная пальба внезапно разбудила Фредерика; несмотря на неотступные просьбы Розанеты, он непременно захотел посмотреть, что творится на улице. Он шел по Елисейским полям туда, откуда доносились выстрелы; на углу улицы Сент-Оноре ему встретились блузники, которые кричали:

— Нет, не туда! в Палэ-Рояль!

Фредерик последовал за ними. Решетки у церкви Вознесения были выворочены. Далее он увидел на середине мостовой три булыжника, вероятно, начало баррикады, потом бутылочные осколки и пуки проволоки, предназначенные для того, чтобы затруднить движение кавалерии; тут внезапно выскочил из переулка высокий молодой человек с бледным лицом, черными развевающимися по плечам волосами, одетый в какую-то фуфайку в цветной горошек. Он держал длинное солдатское ружье и бежал на цыпочках, в туфлях, с видом лунатика и проворством тигра. Время от времени слышался грохот выстрелов.

Накануне вечером вид телеги с пятью трупами, подорванными на бульваре Капуцинов, изменил настроение народа, и в то время, как в Тюльери сменялись адъютанты, пока Молэ, занятый составлением нового кабинета, все еще не возвращался, пока Тьер старался составить свой, а король колебался, чтобы, наконец, назначить главнокомандующим Бюжо и затем не дать ему возможности проявить

свою власть, восстание, как будто направлялось чьей-то единой рукой, грозно организовалось. Люди с бешеным красноречием говорили перед толпами на углах улиц, другие били в набат в церквях, лили пули, заворачивали патроны; на бульварах выворачивались и опрокидывались деревья, писсуары, скамейки, решетки, газовые фонари—и на утро Париж покрылся баррикадами. Впрочем, сопротивление длилось недолго, всюду вмешивалась национальная гвардия, так что к восьми часам народ завладел уже пятью казармами, почти всеми мэриями, самыми надежными стратегическими пунктами. Сама собой, без всякого толчка, монархия дробилась и разлагалась. Теперь атаковали Шато-д'Ор, чтобы освободить пятьдесят арестованных, которых там и не было.

При входе на площадь Фредерик принужден был остановиться. Вооруженные группы загрохотали. Пехота заняла улицы Сен-Тома и Фроманто. Громадная баррикада перегораживала улицу Валуа. Дым, клубившийся над ее гребнем, рассеялся: видно было, как по ней бегали люди, широко размахивая руками; потом они скрылись, и возобновились ружейные залпы. Охрана отвечала, но там никого не было видно; в дубовых ставнях, закрывавших его окна, были просверлены бойницы; двухэтажное здание, со своими двумя флигелями, с бассейном в первом этаже и с маленькой дверцей посредине, уже начало пестреть белыми пятнышками от попадания пуль. Но крыльцо с тремя ступеньками оставалось пустым.

Около Фредерика какой-то человек в фригийском колпаке, с лядункой поверх вязаной фуфайки, препирался с женщиной в пестрой косынке. Она говорила ему:

— Да пойдем же, пойдем!

— Оставь меня в покое!—отвечал муж.—Ты и одна справишься за привратника. Гражданин, ну скажите, ради Бога, разве это справедливо? Я всегда исполнял свой долг—и в 30 году, и в 32, и в 34, и в 39. Нынче дерутся, нужно драться и мне. Убирайся!

И привратница кончила тем, что уступила увещаниям его и национального гвардейца, стоявшего рядом с ними, сорокалетнего мужчины с простодушным лицом и русой бородкой в кружок. Продолжая разговаривать с Фредери-

ком, он заряжал ружье и стрелял с таким спокойствием, с каким работает садовник. Юноша в переднике увивался около него, чтоб получить от него патронов и пустить в ход свое ружье, прекрасный охотничий карабин, который подарил ему «какой-то господин».

— Ну, захватывай сколько можешь, у меня за спиной—сказал ему гражданин,—и прячься за угол, а то пристрелят.

Барабаны били атаку. Раздавались пронзительные крики, победное ура. Безостановочные и противоположные течения колебали толпу. Фредерик, очутившись среди двух сплоченных масс, не двигался, очарованный и захваченный окружающим. Падавшие раненые, распростертые трупы не имели вида настоящих раненых, настоящих трупов. Ему казалось, что он присутствует на каком-то спектакле.

Над колышущейся толпой показался старик в черном, на белой лошади с бархатным седлом. В одной руке он держал зеленую ветвь, в другой бумагу и упорно махал ими. Наконец, отчаявшись в том, что его выслушают, он удалился.

Отряд пехотинцев исчез, и муниципальные гвардейцы продолжали одни защищать пост. Волна отчаянных голозхлынула к крыльцу; ее уложили на месте; на смену ей явились другие; дверь, потрясаемая неистовыми ударами, трещала, но гвардейцы не уступали, тогда притащили коляску, набитую сеном и пылавшую, как гигантский костер. Быстро были принесены вязанки хвороста, соломы, боченок со спиртом. Пламя поднялось вверх по поверхности камней; все здание задымилось, точно вулкан; широкие языки пламени вырывались наверху, сквозь отверстия в балюстраде террасы с пронзительным воем. Первый этаж Палэ-Рояля был быстро занят национальными гвардейцами. Стреляли из всех окон, выходивших на площадь, пули свистали, вода, хлынувшая из бассейна, смешивалась с кровью, образывая лужи; скользили по грязи, спотыкались об одежду, кивера, оружие. Фредерик почувствовал под ногой что-то мягкое: это была рука сержанта в сером рукаве, валявшегося в канаве, лицом вниз. Новые толпы народа прибывали, толкая сражающихся вперед. Залпы

участились, винные лавки были отперты; туда время от времени заходили выкурить трубку, выпить кружку пива, потом опять возвращались драться. Была какая-то потевшая хозяйина собаченка. Это возбуждало смех.

Фредерик пошатнулся, — к нему на плечо упал с криком мужчина, которому пуля попала в поясницу. От выстрела, который, быть может, был направлен в него самого, он пришел в ярость и ринулся вперед, но в тот же момент национальный гвардеец остановил его:

— Бесполезно! Король только что бежал. Если не верите, подите и убедитесь сами.

Это утверждение укротило Фредерика. Карусельная площадь имела спокойный вид. Нантская гостиница стояла по старому; а дома за ней, купол Лувра напротив, длинная деревянная галерея направо и незастроенное место, простиравшееся до палаток уличных торговцев, — все тонulo как бы в сером тумане, с которым сливался отдаленный рев толпы, тогда как в другом конце площади резкий свет, пробив облака, упал на фасад Тюльери, окна которого вырисовывались белыми пятнами. Около Триумфальной арки валялся труп лошади. За решетками разговаривали группы по пяти, по шести человек. Двери дворца были открыты, прислуга, стоя на пороге, свободно пропускала всех.

Внизу, в небольшой зале, были приготовлены чашки кофе с молоком. Некоторые с прибавками уселись за стол; другие толпились вокруг; какой-то извозчик схватил обеими руками сахарницу и, бросая тревожные взгляды по сторонам, принялся уничтожать сахарный песок, всовывая туда свой нос. Внизу у парадной лестницы какой-то господин расписывался в книге. Фредерик узнал его по спине.

— Ба! Гюссонэ!

— Он самый, — ответил тот. — Представляюсь ко двору. Вот великолепный фарс; не правда ли?

— А не подняться ли нам?

Они вошли в зал Маршалов. Портреты этих знаменитых мужей, за исключением Бюжо с проколотым животом, оставались в полной неприкосновенности. Все стояли, опершись на свои сабли, с жерлами пушек позади, в гроз-

ных позах, не соответствующих моменту. Громадные часы показывали двадцать минут второго.

Вдруг раздалась марсельеза. Гюссонэ и Фредерик свесились через перила. Это был народ. Он стремился вверх по лестнице головокружительными волнами обнаженных голов, касок, красных шапок, штыков и плеч так буйно, что отдельные личности терялись в этой массе, которая все поднималась и поднималась, гудя, точно река, гонимая вспять приливом океана. Наверху эти волны разливались, и пение замирало.

Слышался только топот ног и говор. Толпа довольствовалась безобидным любопытством. Но иногда, в тесноте, кто-нибудь вышибал локтем оконное стекло, ронял на пол вазу или статуэтку. Под напором толпы деревянная обшивка стен трещала. У всех лица были красны, пот катился с них градом, Гюссонэ заметил:

— Не хорошо пахнут эти герои!

— Ах, как вы несносны! — воскликнул Фредерик

И, подталкиваемые толпой, они вошли в комнату, где под потолком раскидывался балдахин из красного бархата. На троне под ним восседал повстанец с черной бородой, в расстегнутой рубашке, с веселым и тупым видом, похожий на китайского идола. Другие взбирались на возвышение, чтобы тоже посидеть на троне.

— Что за мифическое зрелище! Вот он, народ-самодержец! — сказал Гюссонэ.

Трон подняли за ручки и, раскачивая, пронесли через весь зал.

— Чорт возьми, вот так качка! Корабль государства, качающийся в бурном море! Да он канканирует. Канканирует!

Трон поднесли к окну и среди свистков вышвырнули вон.

— Бедный старик! — сказал Гюссонэ, глядя, как он упал в сад, где его быстро подхватили, чтобы пронести до Бастилии и там сжечь.

Толпу охватила неистовая радость, точно она уже видела на месте трона грядущее безграничное счастье; и народ, — не из мести, а скорее для того, чтобы проявить свою власть, — стал бить зеркала, рвать занавески, сокру-

шать люстры, подсвечники, столы, стулья, табуретки, мебель и даже альбомы и рабочие корзинки. Раз победили, нужно потешить себя! Чернь насмешливо закутывалась в кружева и шали. Золотая бахрома обвивалась вокруг рукавов блуз, шляпы со страусовыми перьями украшали головы кузнецов, ленты Почетного Легиона шли на пояса проситуткам. Каждый следовал своей прихоти: одни танцевали, другие—пили. В покоях королевы какая-то женщина помадила себе волосы; два игрока играли за ширмами в карты; Гюссонэ указал Фредерику на человека, который курил трубочку, облокотясь на балкон, безумие пирилось, стоял непрерывный треск разбиваемого фарфора, музыкально звенели куски хрусталя.

Наконец, иступление приняло мрачный характер. Непристойное любопытство заставляло толпу врываться в уборные, заглядывать во все закоулки, во все ящики. Каторжники запускали руки в постели принцесс и валялись на них, утешая себя хоть этим, не имея возможности их изнасиловать. Иные, более мрачные видом, блуждали молча, ища что бы украсть; но толпа была слишком многочисленна. В пролеты дверей, в амфладе комнат была видна сплошная темная масса народа среди позолоты, в облаке пыли. Все тяжело дышали; жара делалась все более удушливой. Приятель, боясь задохнуться, вышел.

В передней, на груди одежд, неподвижно стояла публичная девка в позе Статуи Свободы, ужасная, с широко раскрытыми глазами.

Выйдя из дворца, Гюссонэ и Фредерик встретили взвод муниципальных гвардейцев в шинелях; они сняли свои колпаки, разом обнажив свои лысеющие черепа, и очень низко поклонились народу. Этот знак уважения исполнил оборванцев гордостью. Гюссонэ и Фредерик тоже испытали некоторое удовольствие.

Общий пыл воодушевлял их. Они повернули назад к Пале-Роялю. Против улицы Фроманто кучей лежали на соломе трупы солдат. Они бесстрастно прошли мимо, даже гордясь тем, что выказывают такую твердость.

Дворец был переполнен народом. Во внутреннем дворе пылало семь костров. Из окон выбрасывали фортепиано, комоды, стенные часы. Пожарные трубы били

до самых крыш. Озорники старались перерезать саблями их рукава. Фредерик стал убеждать какого-то политехника воспрепятствовать. Политехник ничего не понимал, он оказался малым недалеким. Кругом, в галереях, чернь гредалась ужасному пьянству. Вино лилось ручьями, промачивало ноги; золоторотцы пили из доньшек бутылок и, пошатываясь, вопили.

— Пойдем отсюда, — сказал Гюссонэ, — этот народ вызывает во мне отвращение.

Вдоль всей Орлеанской галереи лежали на тюфяках раненные, покрытые пурпурными занавесками, а мещанки из соседнего квартала приносили им бульон и белье.

— Что там ни говори, — сказал Фредерик, — а я нахожу народ великим.

В огромном вестибюле клубилась разъяренная толпа, часть ее хотела подняться в верхние этажи, чтобы довершить разрушение; на ступеньках лестницы национальные гвардейцы делали усилия удержать ее. Отважнее всех был один стрелок, без шапки, со всклоченными волосами, в изодранной кожаной амуниции. Рубашка его образовала валик между штанами и курткой, он вместе с другими сдерживал толпу с каким-то остервенением. Гюссонэ, у которого было очень острое зрение, издали узнал Арну.

Потом приятели добрались до сада Тюльери, чтобы отдохнуть без помехи. Они сели на скамейку и несколько минут сидели с закрытыми глазами настолько ошеломленные, что не были в состоянии вымолвить ни слова. Проходившие мимо переговаривались друг с другом. Герцогиня Орлеанская назначена регентшей; все конечно; все испытывали то удовольствие, которое наступает вслед за быстрой развязкой. В мансарде дворца, во всех окнах появились слуги, раздиравшие свои ливреи. Они бросали их в сад в знак своего отречения. Народ ошквал их. Они скрылись.

Внимание Фредерика и Гюссонэ было привлечено здоровым детиной, быстро мелькавшим между деревьями, с ружьем на плече. Патронташ стягивал в талии его красную блузу, лоб под картузом был повязан платком. Он

обернулся. Это был Дюссардьё; он бросился к ним в объятия.

— Ах, какое счастье, друзья мои!—вскричал он, не будучи в состоянии ничего больше сказать, задыхаясь от радости и усталости.

Уже двое суток он был на ногах. Он строил баррикады в Латинском квартале, бился на улице Рамбюто, спас трех драгун, вступил в Тюльери с отрядом Дюнойё, побывал в Палате Депутатов, потом в Городской ратуше.

— Я только что оттуда! Все идет отлично! Народ торжествует, рабочие и буржуа обнимаются! Ах, если бы вы знали, что я видел! Какие люди! Как все прекрасно!

И, не замечая, что у них нет оружия, он продолжал:

— Я был уверен, что встречу с вами тут. Один момент тяжеленько нам пришлось, да это пустяки.

Капля крови текла по его щеке, и на вопрос приятелей, он ответил:

— О, ничего особенного, просто царапина от штыка!

— Однако, вам всетаки следует заняться ей.

— Вот еще! Я—человек крепкий, что мне сделается! Республика провозглашена, теперь все будут счастливы! Журналисты только что говорили, что теперь черед освободить Польшу и Италию. Королей больше не будет! Понимаете! Вся земля будет свободна! Вся земля!

И, окинув взглядом горизонт, он торжественно воздел руки. По набережной длинной вереницей бежали люди.

— Ах, да, я и забыл! Укрепления еще не взяты! Нужно поскорее бежать туда! Прощайте!

И он обернулся, чтобы крикнуть, не переставая размахивать ружьем:

— Да здравствует Республика!

Из труб замка валил громадными клубами черный дым и летели искры. Звон колоколов вдали был похож на бление испуганного стада. Везде, и направо, и налево, победители разряжали ружья. Фредерик не отличался воинственным духом, однако, чувствовал, что и в нем закипела галльская кровь. Магнетизм восторженной толпы передался и ему. Он с наслаждением вдыхал этот грозовой воздух, насыщенный запахом пороха; он дрожал от наплыва безмерной любви, от возвышающего и

всеобъемлющего умиления, как будто сердце всего человечества билось в его груди.

Гюссонэ сказал, зевая:

— Пора, однако, пойти оповестить мир.

Фредерик пошел с ним в бюро корреспондентов на Биржевую площадь и принялся составлять для газеты в Труа описание событий, настоящую статью в лирическом тоне, которую и подписал своим именем. Потом они пообедали в таверне. Гюссонэ был задумчив; эксцентричности революции превзошли его собственные.

После кофе, когда они отправились в городскую ратушу за новостями, его прирожденное мальчишество снова взяло верх. Он, как серна, карабкался через баррикады и отвечал часовым патриотическими шуточками.

Они слышали, как при свете факелов было провозглашено временное правительство. Наконец, в полночь Фредерик, весь разбитый от усталости, добрался до дому.

— Ну, что,—сказал он своему слуге, раздеваясь,—доволен ты?

— Да, конечно, сударь. Но чего я не люблю, так это распоясавшегося народа.

Проснувшись на следующее утро, Фредерик вспомнил о Дэлорье. Он бросился к нему. Адвокат только что уехал,—его назначили комиссаром в провинцию. Накануне вечером он добрался до Ледрю-Роллена и, пристав к нему от имени учащихся, вырвал себе место, поручение. Впрочем, сказал привратник, на будущей неделе он сообщит свой адрес.

Оттуда Фредерик отправился к Маршалу. Она приняла его неприветливо, сердясь за то, что он ее бросил. Но после уверений, что мир восстановлен, гнев ее прошел. Теперь все спокойно, нет никаких оснований бояться; он обнял ее; она объявила себя сторонницей республики, как это уже сделал его высокопреосвященство архиепископ Парижский и должны были сделать с изумительной поспешностью и рвением все судейское сословие, Государственный совет, академии, маршалы Франции, Шангарнье, де-Фаллу, все бонапартисты, все легитимисты и значительное число орлеанистов.

Падение монархии произошло так быстро, что, когда

грошел первый момент оцепенения, буржуа удивились, как они еще живы. Расправа с несколькими ворами, расстрелянными без суда, показалась вещь очень справедливой. Повторяли в течение месяца фразу Ламартина по поводу красного знамени, «которое только один раз было сброшено вокруг Марсового поля, тогда как трехцветное... и все укрылись под его сенью; каждая партия видела из трех его цветов только свой и надеялась, взяв верх, уничтожить остальные».

Так как все дела были приостановлены, то беспокойство и любопытство выгнали всех на улицу. Небрежность в костюмах ослабляла разницу в общественном положении, ненависть пряталась, надежды выставлялись напоказ, толпа была настроена благодушно. Гордое сознание завоеванного права было написано на лице каждого. Царила веселость карнавала, все жили точно на бивуаках; Париж был необыкновенно занимателен в эти первые дни республики.

Фредерик, под руку с Маршалом, гулял по улицам. Ее забавляли розетки, воткнутые всеми в петлички, знамена на окнах, афиши всевозможных цветов, расклеенные по стенам, она бросала монеты в кружки в пользу раненых, выставленные на стуле среди улицы, останавливалась перед карикатурами, изображавшими Луи-Филиппа то пирожником, то паяцем, то собакой, то пьявкой. Но люди Косидьера с их саблями и шарфами немного пугали ее. Были они и при посадке «Дерева Свободы»: Духовенство присутствовало при этой церемонии, благословляя республику под прикрытием слуг с золотыми галунами, и народ находил все это прекрасным. Чаще всего встречались на улицах депутации, шедшие в городскую думу со всевозможными требованиями, ибо каждый цех, каждый промысел ждал от правительства решительного искоренения всех зол. Некоторые, правда, шли только затем, чтобы преподать ему советы или принести поздравления, или попросту сделать визит и взглянуть, как действует машина.

Однажды в середине марта Фредерик, заглянувший по поручению Розанеты в Латинский квартал, проходил по Аркольскому мосту и увидел группу людей в диковин-

ных шляпах, с длинными бородами. Во главе их шел негр, бывший натурщик; он бил в барабан, а человек, несший развевающийся флаг с надписью: «Художники-Живописцы», был не кто иной, как Пеллерен.

Он сделал знак Фредерику подождать его и через пять минут очутился рядом с ним; у него оказалось свободное время, так как правительство в этот момент принимало каменотесов. Он шел со своими товарищами требовать создания Художественного форума, биржи, где будут обсуждаться интересы искусства, будут создаваться великолепные произведения, так как гениальные люди будут работать сообща. Париж, говорил он, вскоре покроется гигантскими памятниками, и он их украсит: у него уже начата картина «Республика». Но тут явился за ним один из его товарищей: депутация от торговцев живностью торопит их.

— Какие глупости! — проворчал чей-то голос из толпы. — Вечно занимаются пустяками! Ничего путного!

Это был Режембар. Он не поздоровался с Фредериком, но воспользовался случаем, чтобы излить свою горечь.

Гражданин проводил дни в том, что скитался по улицам, теребя усы, вращая глазами, получая и распространяя самые ужасные известия; с губ его срывались лишь две фразы: «берегитесь, или нас сметут!» или «чорт возьми, они хотят подменить республику!» Он был недоволен всем, и особенно тем, что Франции не возвращены ее естественные границы. При имени Ламартина он пожимал плечами. Он не находил Ледрю-Роллена «на высоте задачи», назвал Дюпона (депутата Эри) старым тупицей, Альбера — идиотом, Луи-Блана — утопистом, Бланки — человеком чрезвычайно опасным, и на вопрос Фредерика, что же следовало бы делать, ответил, сжимая изо всех сил ему руку:

— Взять Рейн, я говорю вам, взять Рейн!

Потом он стал жаловаться на реакцию.

Она сбросила с себя маску. Погром зайков Нельи и Сюрена, пожар в Батиньоле, беспорядки в Лионе; все эксцессы, все убытки — все это теперь преувеличивается, точно так же как и циркуляр Ледрю-Роллена, принудительный курс кредитных билетов, рента, упавшая до ше-

стидесяти франков, и, наконец, как высшая несправедливость, последний удар, самая ужасная гнусность—налог в сорок пять сантимов. А сверх всего этого—угрожал социализм. Хотя все эти теории новы, как игра в гусек, они обсуждаются вот уже сорок лет и о них написано столько, что можно заполнить целую библиотеку, все же они испугали буржуазию, как град аэролитов; все были охвачены той ненавистью, которую вызывает появление всякой идеи, потому только, что она—идея, но из этой ненависти в будущем создается ее слава, так как враги ее всегда сказываются еще ниже ее, как бы посредственна ни была она.

В то время уважение к собственности поднялось до степени религии, ее смешали с Богом. Нападение на нее казалось святотатством, почти людоедством. Несмотря на самое гуманное законодательство, какое когда-либо было, снова появился призрак 93 года, и во всяком слове слова «Республика» сверкал нож гильотины; однако, это не мешало презирать ее за ее слабость. Франция, не чувствуя больше над собой господина, стала вопить с перепуга, как слепой без палки, словно, ребенок, потерявший няньку.

Вряд ли можно было найти хоть одного француза, который трепетал бы так, как г. Дамбрез. Новое положение вещей не только грозило его благосостоянию, но и обмануло его опытность. Так была хороша система управления, так мудр король! Уж не близится ли конец мира? На другой же день он уволил трех слуг, продал лошадей, купил для выхода на улицу мягкую шляпу, подумывал даже, не отпустить ли бороду; а дома, поверженный в уныние, с горечью перечитывал газеты, наиболее враждебные его воззрениям, и становился так мрачен, что даже шутки над трубкою Флокена не вызывали у него улыбки.

Он был опорой прошлого царствования, а потому боялся мести со стороны народа, боялся, как бы не разорили его поместья в Шампани. Однажды на глаза ему попала статья Фредерика. Тогда он вообразил, что его молодой приятель очень влиятельное лицо и, может, если и не оказать ему какую-либо услугу, то во всяком случае

защитить его. По всему этому в одно прекрасное утро он явился к Фредерику с визитом в сопровождении Мартинона.

По словам банкира, единственной целью его посещения было желание только повидаться с Фредериком и немного потолковать с ним. В общем он доволен тем, что произошло, и всем сердцем принимает «наш возвышенный девиз: Свобода, Равенство и Братство»,—в глубине души он всегда был республиканцем. Если он и голосовал в прошлое царствование за министерство, то единственно затем, чтобы ускорить неизбежное крушение его. Он обрушился даже на Гизо, «который, надо сознаться, таки порядочно подвел нас!» Зато он всячески восхищался Ламартином, который «честное слово, выказал себя великолепно, когда по поводу красного знамени»...

— О, да, я знаю!—перевел Фредерик.

Потом Дамбрез высказал свои симпатии рабочему классу—«ведь в конце-то концов, мы все более или менее рабочие»—и довел свое беспристрастие до того, что признал логичность Прудона. «О, он очень логичен, очень логичен, чорт возьми!» Потом с отвлеченностью возвышенного ума, он заговорил о выставке картин, где он видел картину Пеллерена. Он находил ее оригинальной и хорошо написанной.

Мартинон поддерживал каждое слово его одобрительными замечаниями; он тоже думал, что нужно «открыто присоединиться к республике», и заговорил о своем отце, земледельце, корчил из себя крестьянина, человека, вышедшего из народа. Скоро дошли и до выборов в Национальное Собрание и до кандидатов от Фортельского округа. Кандидат оппозиции не будет иметь успеха.

— Вы должны занять его место!—сказал Дамбрез.

Фредерик запротестовал.

Что тут невозможного? Голоса крайних левых он получит, благодаря своим убеждениям, а голоса консерваторов—благодаря своим родственным связям.

— А, может быть,—прибавил банкир с улыбкой,—отчасти и под моим влиянием.

Фредерик возразил, что он не знает, как за это прийтись. А между тем оказалось, что нет ничего легче:

пужно только заручиться рекомендацией от какого-нибудь столичного клуба к патриотам департамента Обы и изложить свои политические убеждения, да не так, как это делается ежедневно, а серьезно.

— Принесите и прочтите мне: я знаю, что нужно. Вы могли бы, повторяю, оказать большие услуги родине, всем нам, мне.

В такое время следует помогать друг другу, и если Фредерик или его друзья нуждаются в чем-нибудь...

— Чрезвычайно вам признателен!

— Услуга за услугу!

Решительно, этот банкир был славный человек.

Фредерик невольно призадумался над его советом, и голова его закружилась.

Великие образы Конвента прошли перед ним. Ему казалось, что загорается великолепная заря. Рим, Вена, Берлин охвачены восстанием, австрийцы изгнаны из Венеции; вся Европа волнуется. Настал час принять участие в движении, может быть, ускорить его; к тому же его соблазняла одежда, которую, как говорили, будут носить депутаты. Он уже видел себя в жилете с отворотами и в трехцветной перевязи, и этот позыв, эта галлюцинация столь усилились, что он во всем открылся Дюссардьё.

Энтузиазм честного малого не ослабел еще несколько.

— Ну, конечно! Выставляйте кандидатуру.

Фредерик все же посоветовался с Дэлорье. Идиотская оппозиция, на которую наталкивался комиссар в провинции, увеличила его либерализм. Он тотчас ответил письмом, в котором решительно подбадривал Фредерика.

Между тем, у последнего явилось желание получить одобрение возможно большего числа лиц; однажды он рассказал об этом Розанете в присутствии Ватназ.

Ватназ была одна из тех незамужних парижанок, которые каждый вечер после уроков или попыток сбить плохенькие рисунки или жалкие рукописи, возвращаются домой с грязным подолом, готовят сами себе обед, с'едают его в полном одиночестве, потом, поставив ноги на грелку, при свете тускло горящей лампы, мечтают о любви, семье, очаге, богатстве, о всем том, чего им не достает. Так же, как и многие другие женщины, она при-

ветствовала революции, как наступление часа возмездия, и со всем пылом отдалась пропаганде социализма.

Освобождение пролетариата, по мнению Ватназ, было возможно только при условии освобождения женщины. Она требовала допущения женщины на все должности, права розыска отца незаконнорожденного ребенка, хотела нового законодательства, уничтожения или по крайней мере «упорядочения брака на более разумных основаниях»; тогда каждая француженка будет обязана выйти замуж за француза или призреть старика; кормилицам и акушеркам будет платить государство, как чиновникам. По ее мнению, было необходимо учредить жюри, которое оценивало бы женские работы, организовать особые издательства для женщин, основать для женщин политехникум, составить из женщин национальную гвардию, словом все—для женщин! А так как правительство не признает их прав, то они должны победить силу силой. Десять тысяч гражданок с хорошими ружьями могут навести на городскую ратушу панику.

Кандидатура Фредерика показалась ей весьма благоприятной для ее идей. Она подбадривала его, сулила ему славу. Розанета радовалась, что у нее будет любовник, говорящий в палате депутатов.

— К тому же тебе, может быть, дадут хорошее место.

Так Фредерик, человек всяческих слабостей, был захвачен общим безумием. Он написал речь и отправился показать ее Дамбрезу.

Когда захлопнулись ворота, отдернулась занавеска, и в окне показалась женщина. У Фредерика не было времени рассмотреть, кто это. Но в передней его остановила картина Пеллерена, поставленная на стул, вероятно, только временно.

Картина изображала Республику (или Прогресс, или Цивилизацию) в лице Иисуса Христа, управляющего локотиком, несущимся по девственному лесу.

Фредерик, посмотрев с минуту, воскликнул:

— Какая мерзость!

— Не правда ли?—сказал Дамбрез, вышедший как

раз при этих словах и вообразивший, что это относится не к исполнению, а к идее картины.

В тот же момент явился и Мартинон. Они прошли в кабинет; Фредерик уже вытащил из кармана бумагу, как вдруг вошла Сесиль и произнесла с наивным видом:

— Тетя здесь?

— Ты прекрасно знаешь, что нет,—ответил банкир.— Но все равно, будь как дома.

— О, нет, спасибо, я ухожу!

Едва она вышла, как Мартинон сделал вид, что ищет носовой платок.

— Ах, я забыл его в пальто, извините, пожалуйста!

— Сделайте милость,—сказал Дамбрез.

Очевидно, от него не ускользнул этот маневр, но он, казалось, покровительствовал ему. Почему? Мартинон быстро вернулся, и Фредерик принялся за чтение. Со второй уже страницы, где указывалось, как на нечто позорное, на преобладание в обществе денежных интересов, банкир скорчил гримасу. Потом, дойдя до реформ, Фредерик потребовал свободы торговли.

— Как? Но позвольте!

Но тот не слушал и продолжал. Он требовал налога на ренту, подоходного налога, европейской федерации, народного образования и самого широкого поощрения изящных искусств.

— Если страна назначит таким людям, как Делакрыа или Гюго, пенсии по сто тысяч франков в год, то разве это будет плохо?

И все заканчивалось воззванием к высшим классам:

— Не жалейте денег, богачи! Раздавайте, раздавайте!

Он замолчал, продолжая стоять. Его слушатели сидели, молча; Мартинон таращил глаза, Дамбрез был бледен. Наконец, скрывая свое волнение под кислой улыбкой, он произнес:

— Ваша речь великолепна.

И он стал расхваливать форму, чтобы обойти молчанием содержание.

Такая ядовитость со стороны безобидного молодого человека испугала его, особенно как симптом. Мартинон старался его успокоить, говоря, что партия консервато-

ров в скором времени опять будет в силе; во многих городах комиссары временного правительства были изгнаны, выборы же назначены только на 23 апреля, значит времени еще много; короче сказать, необходимо, чтобы Дамбрез сам выставил кандидатуру от департамента Обы... И с этих пор Мартинон уже не расставался с Дамбрезом, сделался его секретарем и окружил его сыновними заботами.

Фредерик явился к Розанете очень довольный собой. Дельмар был там и сообщил, что «решено»,—он выступает кандидатом на выборах от Сенского департамента. В одной прокламации, где он обращался «к народу» на «ты», актер хвастался, что понимает «его» и что он создан для его спасения, «распяв себя на кресте искусства» и являясь как бы воплощением его идеалов; в самом деле, он был столь уверен в своем огромном влиянии на массу, что впоследствии предложил какому-то министерству подавить восстание единолично; а когда его спросили о средствах, которые он пустит в ход, то ответил так:

— Не беспокойтесь, я только покажу им свою голову.

Фредерик, чтобы досадить ему, сообщил о своей собственной кандидатуре. Но комедиант, узнав, что его будущий собрат метит только в депутаты от провинции, даже предложил ему свои услуги и взялся провести его в клубы.

Они посетили их все или почти все: красные и синие, разъяренные и спокойные, строгие и бесшабашные, мистические и разгульные, те, где приговаривали к смерти королей, и те, где изобличали торгашеские плутни; и всюду жильцы проклинали своих ховьев, блузники — фрачников, а богачи составляли заговоры против бедных. Одни требовали вознаграждения за былые притеснения полиции, другие вымогали денег, чтобы применить к делу свои изобретения, третьи предлагали планы фаланстеров, проекты окружных базаров, системы всеобщего благосостояния. Иногда умная мысль, словно молния, прорезывала тучи глупости, внезапно, как брызги, мелькали извительные выражения, право торжествовало в форме

ругательств, сыпались цветы красноречия из уст грубого оборванца, носящего перевязь сабли прямо на голой груди. Иногда появлялся господин аристократического происхождения, но со скромными манерами, говорящий как плебей, не мывший рук для того, чтобы они казались мозолистыми. Какой-нибудь патриот разоблачал его, наиболее добродетельные обрушивались на него — и он уходил со злобой в душе. Чтобы казаться здравомыслящим, нужно было всегда бранить адвокатов и как можно чаще употреблять следующие выражения: «принести свой камень для здания», «социальная проблема», «мастерская»...

Дельмар не упускал случая брать слово; когда же запас его красноречия истощался, он прибегал к крайнему средству; он подбочивался одной рукой, а другую закладывал за жилет и круто поворачивал в профиль голову, чтобы все ее видели. Раздавался взрыв аплодисментов, Ватназ, вместе с другими, горячо рукоплескала из глубины залы.

Несмотря на бездарность ораторов, Фредерик не отказывался говорить. Присутствующие казались ему слишком некультурными, или же слишком враждебными.

Дюссардьез взялся отыскать более подходящую для него аудиторию и сообщил Фредерику, что нашел на улице Сен-Жака «Клуб Интеллигенции». Это название подавало им некоторую надежду. Кроме того, Дюссардьез собирался привести туда своих друзей.

Он привел всех тех, кто был у него на пунше: бухгалтер, агента по винной торговле, архитектора; пришел даже Пеллерен, обещал явиться и Гюссонэ; на тротуаре перед входом стоял Режембар с какими-то двумя субъектами, из которых один был его верный друг Комизэн, малорослый, но плотный мужчина с рябым лицом и красными глазами; а другой был похож не то на негра, не то на обезьяну, с необыкновенной растительностью; Режембар знал о нем только то, что он «патриот из Барселонны».

Они прошли через узкий проход, потом их ввели в большую комнату, повидимому, столярную мастерскую, совершенно новые стены которой еще пахли известкой.

Четыре лампы на стенах, прибитые друг против друга, изливали тусклый свет. В глубине, на эстраде стояла конторка со звонком, ниже — стол, заменяющий трибуну, а по обеим сторонам находились еще два столика поменьше, для секретарей. Слушатели, занявшие скамейки, состояли из старых живописцев, педагогов, непризнанных либраторов. В этих рядах засаленных воротников там и сям бросались в глаза женские шляпки и блузы рабочих. Задние места залы были набиты рабочими, пришедшими сюда, вероятно, от нечего делать, или приведенными ораторами для аплодисментов.

Фредерик постарался сесть между Дюссардьез и Режембаром, который, как только опустился на скамейку, так сейчас же положил обе руки на трость, а на них подбородок и закрыл глаза, между тем как на другом конце залы Дельмар, стоя, господствовал над собранием.

На месте председателя перед конторкой появился Сенекаль.

Такой сюрприз, думал бесхитростный приказчик, доставит удовольствие Фредерику. Но вышло как раз наоборот.

Толпа выказала своему председателю большое уважение. Он был одним из тех, кто требовал 25 февраля немедленной организации труда, а на следующий день произнес речь в Прадо, предлагая атаковать городскую думу. В то время каждый оратор следовал какому-либо славному образцу: один подражал Сен-Жюсту, другой Дантону, третий — Марату. Сенекаль старался быть похожим на Бланки, который, в свою очередь, подражал Робеспьеру. Черные перчатки и подстриженные щеткой волосы придавали ему суровый вид, очень подходящий к случаю.

Сенекаль открыл заседание чтением «Декларации Прав Человека и Гражданина», что стало обычным обрядом. Потом чей-то сильный голос затянул песню Беранже: «Народная память».

Другие запротестовали:

— Нет! Нет! Не эту!

— «Фуражку!» — заорали из глубины залы патриоты. И хором пропели злободневную песню:

«Долой шляпу перед моей фуражкой,
На колени перед рабочим!».

По знаку председателя аудитория смолкла. Один из секретарей приступил к чтению корреспонденции.

— «Кружок молодых людей объявляет, что каждый вечер перед Пантеоном сжигается по одному номеру газеты «Национальное Собрание», и приглашает всех патриотов последовать их примеру».

— Bravo! Принято! — откликнулась толпа.

— «Гражданин Жан-Жак Лангрене, типографщик с улицы Дофина, требует сооружения памятника мученикам термидора».

— «Мишель - Эварист - Непомюсен Пэнсан, бывший преподаватель, выражает пожелание, чтобы европейская демократия приняла единый общий язык: можно остановиться на каком-нибудь из мертвых языков, например, на усовершенствованном латинском».

— Нет! Латинского не нужно! — воскликнул архитектор.

— Почему? — возразил педагог.

И эти господа затеяли спор, в который вмешались и другие; каждый старался блеснуть словечком, и беседа скоро стала праздной, так что многие ушли.

Старичок в зеленых очках, с чудовищно высоким лбом, потребовал слова, чтобы сделать очень важное сообщение.

Это была записка о распределении налогов. Цифры сыпались без конца. Нетерпение слушателей сначала выразилось ворчанием, разговорами, но его ничто не смущало; потом ему стали свистать, кричать: «Азор!» Сенекаль сделал строгое внушение публике; оратор продолжал, как заведенная машина. Чтобы остановить его, пришлось схватить его за локоть. У старичка был такой вид, точно он только что проснулся; спокойно подняв свои очки, он произнес:

— Простите, граждане, простите! Я ухожу! Очень прошу извинить меня!

Неуспех этого оратора смутил Фредерика. У него в кармане лежала речь, но он видел, что импровизация была бы здесь уместнее.

Наконец, председатель объявил, что настало время перейти к самому важному, к вопросу о выборах. Нет необходимости разбирать большие республиканские списки. Но отчего бы и «Клубу Интеллигенции» не составить своего собственного списка (Да не прогневаются господа паши из городской думы!)? Пусть граждане, желающие снискать народное доверие, вкратце изложат свои убеждения.

— Послушаем! — сказал Дюссардь.

Человек в сутане, с курчавыми волосами, с живым лицом, уже поднял руку. Он быстро пробормотал, что его зовут Дюкрето, что он — священник и агроном, автор сочинения под заглавием «Удобрения». Его направили в клуб садоводов.

Вслед затем на трибуну поднялся патриот в блузе. Это был простолюдин, широкоплечий, с полным кротким лицом и длинными черными волосами. Он обвел собрание почти сладострастным взглядом, закинул голову и, наконец, разведя руками, произнес:

— Вы отвергли Дюкрето, братья, и поступили хорошо. Но это произошло не от безверия вашего, ибо все мы религиозны.

Многие слушали его с открытым ртом, с видом оглашенных, в восторженных позах.

— И не потому вы так поступили, что он священнослужитель, ибо мы тоже — священнослужители. Рабочий — священнослужитель, так как основателем социализма был наш общий Учитель, Иисус Христос.

Наступило время основать царство Божие. Евангелие вело прямо к 89 году. За освобождением от рабства идет освобождение пролетариата. Век ненависти прошел, наступает век любви. Христианство — краеугольный камень и основание нового здания...

— Вы издеваетесь над нами! — вскричал комиссионер по винной торговле. — Откуда взялся этот сумасброд?

Это замечание вызвало большой скандал. Почти все взобрались на скамейки и со сжатыми кулаками вопили: «безбожник, аристократ, каналья» — в то время, как председатель безостановочно звонил, а кругом с удвоенной силой раздавались крики: «к порядку! к порядку!» Но

виновник скандала, возбужденный тремя чашечками кофе с коньяком, выпитыми перед заседанием, отбивался ото всех:

— Как? Я аристократ? Подите!

Получив, наконец, возможность высказаться, он объявил, что никогда не будет мира с попами; и раз, что тут завели разговор о сбережении народных денег, то самое лучшее—упразднить церкви, уничтожить дароносицы и всякие службы.

Кто-то заметил, что он зашел слишком далеко.

— Да, далеко, но что-ж с того! Когда корабль, застигнутый бурей...

Не дослушав этого сравнения, кто-то возразил ему:

— Пусть так! Но это все равно, что сразу подорвать целое здание, как делают это неразумные каменщики...

— Вы оскорбляете каменщиков! — заревел гражданин, осыпанный известкой. Он уверял, что ему бросили вызов, изрыгая ругательства, лез в драку, схватился за скамейку. Три человека едва вытолкали его.

Между тем, рабочий все еще стоял на трибуне. Оба секретаря уговаривали его сойти. Он запротестовал против того, что его лишают слова, и воскликнул:

— Вы не заставите меня молчать! Вечная любовь к нашей дорогой Франции! Вечная любовь и к республике!

— Граждане! — произнес тогда Компэн. — Граждане!

И благодаря тому, что повторял только одно слово: «граждане» — добился таки некоторой тишины и, опершись на трибуну красными руками, похожими на обрубки, наклонился вперед, прищурил глаза и сказал:

— Я нахожу, что надо дать самое широкое применение телячьей головы.

Все затихли, думая, что плохо расслышали.

— Да, телячьей головы, — повторил он.

Триста человек прыснули от смеха. Потолок задрожал. Увидя искаженные от хохота лица, Компэн понялся. Он яростно крикнул:

— Как! Вы ничего не знаете о телячьей голове?

Это вызвало судорожный припадок смеха, неистовство. Хватались за бока. Некоторые даже падали на зе-

млю, под скамейки. Компэн не выдержал и, подойдя к Режембару, хотел его увести.

— Нет, я останусь до конца, — возразил Гражданин.

Этот ответ ободрил Фредерика; он искал глазами своих друзей и вдруг увидел перед собой на трибуне Пеллерена. Художник заговорил с толпой свысока.

— Я хотел бы знать, где же представитель, который должен защищать интересы искусства? Я написал картину...

— Нам нет дела до картины, — резко сказал худой человек с красными пятнами на скулах.

Пеллерен потребовал, чтобы его не перебивали.

Но тот трагически продолжал:

— Разве не должно было бы правительство уже давно уничтожить декретом проституцию и нищету?

Эти слова сейчас расположили публику в его пользу, и он обрушился на испорченность больших городов.

— Стыд и срам! Нужно хватать буржуа при выходе из «Мезон-д'Ор» и плевать им в лицо! Хотя бы правительство не покровительствовало разврату! Но акцизные чиновники так неприлично ведут себя с нашими сестрами и дочерьми...

Чей-то голос из задних рядов крикнул:

— Вот потеха!

— Вон! Вон отсюда!

— С нас тянут налоги для того, чтобы оплачивать распутство! Зачем дают такое громадное жалованье актерам?

— Слово! — вскричал Дельмар.

Он растолкал всех, вскочил на трибуну, принял свою обычную позу, заявил, что презирает такие плоские обвинения, и распространился на счет просветительной миссии актера. Театр является очагом национального образования, и он высказывается за реформу театра: прежде всего долой дирекцию, долой всякие привилегии!

— Да, никаких привилегий!

Игра актера подогрела толпу, и отовсюду посыпались разрушительные предложения:

— Долой Академии, долой Институт!

— Долой миссионеров!

— Долой аттестаты зрелости!

— Долой все университетские степени!

— Нет, сохраним их!—сказал Сенекаль.—Но пусть они будут даваться всеобщим голосованием, самим народом, единственным истинным судьей!

Самое важное, впрочем, не это. Нужно прежде всего сократить богатей. И он нарисовал, как они грязнут в пороках в своих золоченых палатах, тогда как бедняки, борясь от голода в своих лачугах, насаждают добродетель. Аплодисменты были столь бурны, что на несколько мгновений прервали его речь. Он стоял с закрытыми глазами, закинув голову, точно убаюкиваемый бурей, которую он поднял.

Потом он опять заговорил — тоном догматическим, повелительным, точно диктовал законы. Государство должно взять в свои руки банки и страховые общества. Нужно уничтожить право наследования и учредить общественный фонд для трудящихся. Будет предпринято много и других мер, но пока достаточно и вышеизложенных. И, возвращаясь к выборам, он прибавил:

— Нам нужны граждане с незапятнанной репутацией, люди совершенно новые. Кто желает выступить?

Фредерик поднялся. Пронесся шопот одобрения его друзей. Но Сенекаль, с видом Фукье-Тенвиля *), начал спрашивать, как его имя, фамилия, каково его прошлое, каков образ жизни и каковы занятия?

Фредерик отвечал ему кратко, кусая губы. Сенекаль спросил, не возразит ли кто-нибудь против его кандидатуры?

— Нет! Нет!

Но он, Сенекаль, возразит. Все вытянули головы, напрыгая слух. Гражданин-кандидат не доставил обещанной суммы на газету демократического направления. Более того, 22 февраля, будучи своевременно уведомленным, он не явился на площадь Пантеона.

— Клянусь, — он был в Тюльери, — вскричал Дюссардь.

*) Председатель революционного трибунала во время Великой Французской Революции.

— Можете ли вы поклясться, что вы видели его у Пантеона?

Дюссардь опустил голову. Фредерик молчал; его опешившие друзья смотрели на него с беспокойством.

— По крайней мере, — спросил Сенекаль, — знаете ли вы кого-нибудь из патриотов, кто поручился бы за ваши убеждения.

— Я ручаюсь, — сказал Дюссардь.

— О, этого недостаточно. Еще кто?

Фредерик повернулся к Пеллерену. Художник ответил ему многозначительными жестами, которые означали:

— Ах, дорогой, они и меня отвергли, что же вы хотите!

Тогда Фредерик толкнул локтем Режемба

— Да, правда! Пора! Иду!

Режембар шагнул на эстраду; потом, указывая на испанца, который последовал за ним, проговорил:

— Позвольте мне, граждане, представить вам патриота из Барселоны.

Патриот сделал глубокий поклон, вращая, как автомат, своими серебристыми глазами, прижав руку к сердцу.

— Ciudadanos! mucho aprecio el honor que me dispensais, y si grande es vuestras bondad mayor es vuestro atencion *).

— Прошу слова! — вскричал Фредерик.

— Desde que se proclamo la constitucion de Cadiz, ese pacto fundamental de las libertades espanolas, hasta la ultima revolucion, nuestra patria cuenta numerosos y heroicos martires **).

Фредерик еще раз попытался заставить себя слушать:

— Но, граждане...

Испанец продолжал:

— El martes proximo tendra lugar en la iglesia de la Magdalena un servicio funebre ***).

*) Граждане! я высоко ценю оказанную мне вами честь и, если велика ваша доброта, ваше внимание еще больше.

**) С того дня, когда была провозглашена Кадикская конституция, эта основная хартия испанских свобод, и до последней революции наша родина обрела много чужденных и героических мучеников.

***) В будущий вторник состоится в церкви Магдалины заупокойное богослужение.

— Да ведь это нелепость наконец, ведь никто ничего не понимает!

Это замечание раздражило толпу.

— Вон! вон!

— Кого? меня?—спросил Фредерик.

— Да, именно вас!—величественно произнес Сенекаль.—Извольте удалиться!

Фредерик поднялся и вышел; голос иберийца раздавался вслед ему:

— Y todos los Espanoles descarian ver alli reunidas las deputaciones de los clubs y de la milicia nacional. Une oracion funebre, en honor de la libertad espanola y del mundo entero, sera pronunciado por un mibro del clero de Paris en la sala Bonne-Nouvelle. Honor al pueblo frances, que la maria yò el primero pueblo del mundo, sino fuese ciudadano de otra nacion *).

— Аристократ!—завизжал какой-то оборванец, показывая кулак Фредерику, который, горя негодованием, выбежал во двор.

Он упрекал себя за самопожертвование, забывая, что возведенные на него обвинения, в конце концов, справедливы! Что за несчастная мысль была выставить свою кандидатуру! Но что за ослы! что за кретины! Он сравнивал себя с этими людьми и их глупостью залечивал рану, нанесенную его самолюбием.

Потом у него явилась потребность повидаться с Розанетой. После всех этих безобразий и высокопарной болтовни побыть с этой миловидной женщиной будет настоящим отдыхом. Она знала, что в этот вечер он должен был выступить в клубе. Но когда он пришел, она ни о чем не спросила его.

Она сидела у камина и отпарывала подкладку от платья. Подобное занятие удивило его.

— Послушай, что это ты делаешь?

— Ты ведь видишь,—проговорила она сухо,—починая свои тряпки. Все это твоя республика наделала.

* Все испанцы чают учить там соединенные депутации клубов и национальной гвардии. На гробной грошовой в честь испанской свободы и всего мира будет произнесена представителя парижского духовенства в зале Бон-Нувель. Слава французскому народу, который я провозгласил бы первым народом в мире, не будь я гражданином другой нации.

— Почему же она моя?

— А что же—моя?

И Розанета принялась упрекать его за все, что произошло во Франции за эти два месяца, обвинять в том, что он произвел революцию, что все разорены из-за него, что богатые люди оставили Париж и что ей придется в будущем умирать в больнице.

— Тебе легко рассуждать с твоими доходами! Впрочем, если так пойдет дальше, то и тебе не долго придется владеть ими.

— Все может случиться,—сказал Фредерик,—кто больше жертвует собой, тот и более непонят. Если бы не сознание своей правоты, то скоты, с которыми приходится сталкиваться, отбили бы всякую охоту к самоотверженности.

Розанета, нахмурившись, посмотрела на него.

— Еще что! Какая такая самоотверженность? Должно быть, ваше дельце не выгорело? И прекрасно! Это научит тебя делать патриотические пожертвования! О, не ври, пожалуйста! Я прекрасно знаю, что ты дал им триста франков. Твоя республика тоже, ведь, на содержаниях! Ну и забавляйся с ней, простофиля!

Под этой лавиной глупости Фредерик переходил от одного разочарования к другому, еще более тяжелому. Он отступил в глубину комнаты. Она подошла к нему.

— Ну, посуди сам! В стране так же, как и в доме, необходим хозяин; иначе каждый будет тащить себе в карман. Прежде всего все знают, что Ледрю-Роллен весь в долгах! Что до Ламартина, то как же ты хочешь, чтобы поэт смыслил что-либо в политике? Ах, нечего качать головой, не воображай, что ты умнее всех! Все это сущая правда, хоть ты вечно споришь, словечка не дашь вставить! Вот, например: Фурнье-Фонтен, владелец магазинов в Сен-Рок, знаешь ли ты, каковы его убытки? Восемьсот тысяч франков! А Гомер, упаковщик, что живет напротив, тоже республиканец? Он об голову жены изломал каминные щипцы и выпивает столько абсенту, что его вот-вот потащут в больницу. Вот каковы твои республиканцы! Республика, а небось двадцать пять процентов требует! Э, да ну тебя! Нашел, чем хвастаться!

Фредерик ушел. Глупость этой женщины, проявившаяся внезапно в таких простецких выражениях, была ему противна. Он снова почувствовал себя немного патриотом.

Плохое настроение Розанеты все увеличивалось. Ватназ раздражала ее своим энтузиазмом. Веря, что на нее возложена какая-то миссия, она со страстью отдалась разглагольствованию и наставлениям и, будучи гораздо сильнее своей приятельницы в подобных вопросах, забрасывала ее доказательствами.

Однажды она явилась к ней, дрожа от негодования на Гюссонэ, позволившего себе мальчишеские выходки в женском клубе. Розанета одобрила его поведение, заявив, что сама переоденется мужчиной и отправится туда, чтобы «выложить им всю правду да еще и отхлестать их». Как раз в этот момент вошел Фредерик.

— Ты ведь тоже пойдешь со мной?

И, не обращая на него внимания, они перебранивались, корча из себя одна буржуазку, а другая философа.

По мнению Розанеты, женщины были рождены исключительно для любви, для воспитания детей и ведения хозяйства.

По взглядам Ватназ, женщина должна занимать место в государстве. Было время, когда галльские и англосакские женщины издавали законы, а у гуронов жены заседали в Совете. Дело просвещения есть дело общее. Нужно, чтобы все содействовали ему; пора, наконец, заменить эгоизм—братством, индивидуализм—общественностью, а раздробленность земель—общественной обработкой их.

— Ну вот! Ты теперь и в обработке полей смыслишь!

— А почему бы и нет? К тому же дело идет обо всем человечестве, об его будущности.

— Подумай-ка лучше о своих делах!

— Это уж позволь мне знать!

Спор обострился; Фредерик вмешался. Ватназ все более горячилась и дошла до того, что стала защищать коммунизм.

— Что за глупости,—сказала Розанета, разве это может когда-нибудь осуществиться!

Та стала приводить в доказательство Эссенианцев, Моравских братьев, Иезуитов в Парагвае, семейство Пингонов близ города Тьера, в Оверни; и так сильно размахивала руками, что ее часовая цепочка зацепилась за брелоки, задев маленького золотого барашка.

Розанета вдруг побледнела.

Ватназ продолжала освобождать свой брелок.

— Не трать напрасно сил,—сказала Розанета,—теперь я знаю твои политические убеждения.

— Что?—спросила Ватназ, залившись румянцем, как красная девица.

— Ты отлично понимаешь меня!

Фредерик ничего не понимал. Их, очевидно, волновало нечто более важное и более интимное, чем социализм.

— А хоть бы и так!—воскликнула Ватназ, смело выпрямившись.

— Это—заем, дорогая моя! Долг платежом красен!

— Я от своих долгов не отказываюсь! Да из-за нескольких тысяч франков и не стоит! Я, по крайней мере, беру займы, а не ворую.

Ватназ силилась рассмеяться.

— О, я готова сейчас положить руку в огонь!

— Берегись! Она суха, так и вспыхнет!

Старая дева поднесла к самому ее лицу свою правую руку и произнесла:

— Но некоторым из твоих друзей она пришлось по вкусу!

— Вероятно, андалузцам, вместо кастаньет!

— Потаскушка!

Маршал сделала глубокий поклон.

— Вы восхитительны!

Ватназ ничего не ответила. На висках у нее выступили капли пота. Глаза ее уперлись в ковер. Она задыхалась. Наконец, она добралась до двери, с шумом ее рванула и отчеканила:

— Прощайте! Вы еще услышите обо мне!

— Всяких благ!—ответила Розанета.

Но тут сдержанность покинула ее. Она упала на диван, дрожа, бормоча какие-то бранные слова, обливаясь

слезами. Не угроза ли Ватназ ее так расстроила? Совсем нет! Это для нее совершенно безразлично! Да если хорошенько подсчитать, то еще неизвестно, кто кому должен! Это все из-за золотого барашка, из-за подарка... И сквозь слезы у нее вырвалось имя Дельмар. Значит, она еще любит актера?

— В таком случае, зачем она сошлась со мной? — спрашивал себя Фредерик.

— Для чего она держит меня? Чем объяснить, что тот вернулся? Какой смысл во всем этом?

Розанета продолжала тихо всхлипывать. Она все еще лежала на правом боку, вытянувшись на диване, прижавшись щекой к обеим рукам, и казалась столь изящной, невинной и страждущей, что он приблизился к ней и с нежностью поцеловал ее в лоб.

Тогда она стала уверять его в своей любви; князь только что уехал, они теперь свободны. Но в настоящее время она... в стесненном положении. «Ты сам видел, что я переделывала старое платье»... У нас уже нет больше экипажей; мало того, обойщик грозит взять назад всю мебель из спальни и большой гостиной. Она не знает, что ей делать!

У Фредерика явилось желание сказать ей: «не беспокойся, я заплачу». Но может быть, все это ложь? Опыт уже научил его быть осторожным. И он ограничился простыми утешениями.

Опасения Розанеты оказались не напрасными; мебель пришлось возвратить, а великолепную квартиру на улице Друо бросить. Она наняла другую, на бульваре Пуассоньер, в четвертом этаже. Редких вещей из ее прежнего будуара было достаточно, чтобы придать трем комнатам кокетливый вид. Нашлись китайские шторы и тент на террасу; для гостиной по случаю приобрели совсем новый ковер и несколько пуфов, обитых розовым шелком. Фредерик был щедр на эти покупки; он испытывал радость новобрачного, у которого, наконец, есть собственная жена, собственное жилье, там ему все так нравилось, что он чуть не ежедневно приходил к Розанете почевать.

Однажды утром, выйдя из передней, он увидел кивер

национального гвардейца, поднимающегося по лестнице третьего этажа. Куда это он идет? Фредерик приостановился. Человек все поднимался, чуть склонив голову, потом взглянул вверх. Это был Арну. Положение было ясно. Они разом покраснели, очутившись оба в одинаково затруднительном положении. Арну первый нашелся:

— Не правда ли, ей лучше? — спросил он, точно Розанета была больна, и он явился узнать об ее здоровье.

Фредерик воспользовался этим:

— Да, — по крайней мере, так сказала мне служанка, — ответил он, желая дать понять, что его не приняли.

Потом они постояли друг против друга, не зная, как быть, наблюдая один за другим. Кому же из них оставаться? Арну вторично нашелся.

— Ну, и прекрасно! Я зайду после. Куда вы идете? Я провожу вас.

И когда они очутились на улице, заговорил как ни в чем не бывало. Или он был совсем не ревнив, или слишком добродушен, чтоб сердиться.

К тому же он всецело был поглощен делами отечества. Он не снимал военной формы. 29 марта он защищал контору газеты „La Presse“. Когда толпа нахлынула в Палату Депутатов, он отличился своей храбростью, он был приглашен на банкет, данный в честь амьенской национальной гвардии.

Гюссонэ всегда бывал дежурным одновременно с ним и более чем кто-либо другой пользовался его фляжкой и сигарами; но, непочтительный от природы, он находил удовольствие противоречить ему, поносил суточный язык декретов и совещания в Люксембургском дворце, потешался над всем, неаполитанками, тирольцами, вплоть до колесницы Земледелия, которую везли вместо волов лошади и сопровождали некрасивые девицы. Арну, наоборот, защищал правительство и мечтал о слиянии всех партий. Между тем, его личные дела принимали все более и более дурной оборот. Об этом он, впрочем, беспокоился мало.

Отношения Фредерика с Маршалом не огорчили его; это открытие позволило ему (по совести) лишить ее той

суммы, которую он опять стал было выдавать ей после отъезда князя. Он сослался на свои запутанные дела, много вздыхал, и Розанета великодушно отказалась. Тогда Арну начал смотреть на себя, как на истинного любовника, и это подняло его в собственных глазах. Не сомневаясь, что Фредерик содержит Маршала, он воображал, что остроумно «разыгрывает веселый фарс», скрывая свои отношения к ней и очищая ему место при встречах.

Такой дележ оскорбил Фредерика: любезности соперника казались ему слишком продолжительным издевательством. Но ведь поссорившись с ним, он потерял бы всякую возможность увидеться с его женой; кроме того, он имел теперь случай хоть что-нибудь узнать о ней. А торговец фаянсом, следуя своему обычаю, или, может быть, нарочно, упоминал о ней нередко и спрашивал даже, почему он не заходит к ним.

Фредерик, истощив весь запас отговорок, стал уверять его, что заходил к г-же Арну несколько раз, но все не заставлял ее дома. Арну этому легко поверил, потому что и жена его, которой он зачастую выражал свое удивление, что их друг перестал бывать у них, говорила, что он заходил, но не застал ее дома. Так, что обе эти лжи, вместо того, чтобы обнаружиться, лишь подтверждали одна другую.

Покладистость молодого человека и приятное сознание, что он его обманывает, заставили Арну полюбить Фредерика еще больше. Он доводил вольность обращения с ним до последних границ, но вовсе не из-за пренебрежения, а из-за доверия к нему. Однажды он написал ему, что, по очень важному делу, ему необходимо на сутки отлучиться в провинцию, и просил заменить его на карауле. Тот не посмел отказаться и отправился на Карусельную площадь.

Ему пришлось переносить общество национальных гвардейцев, и за исключением рафинировщика, большого балагура, чудовищно пившего, все показались ему невероятно глупыми. Разговор вертелся главным образом вокруг замены кожаной амуниции португесей. Некоторые нападали на национальные мастерские. Иной восклицал: «куда мы идем?» И тот, к кому было обращено это восклицание,

тараща глаза так, точно он находился на краю пропасти, повторял: «куда мы идем?» А кто-нибудь посмелее заявлял: «это не может продолжаться, нужно с этим покончить!» И с утра до вечера шли одни и те же разговоры. Фредерик смертельно скучал.

Он сильно удивился, когда в 11 часов вечера, неожиданно явился Арну и сказал, что он прибежал сменить его, так как с делами он покончил.

А дел у него никаких и не было. Он придумал все это, чтобы пробыть сутки наедине с Розанетой. Однако brave Арну слишком понадеялся на свои силы. Утомившись, он почувствовал муки совести: пришел поблагодарить Фредерика и предложить ему поужинать.

— Покорно благодарю, не хочется. Вот уснуть — другое дело.

— Ну, тогда позавтракаем вместе. И неженка же вы. Однако, домой уже нельзя возвратиться. Слишком поздно, не безопасно!

Фредерик еще раз уступил. Собратья по оружию ждали Арну и очень ему обрадовались, особенно рафинировщик. Он был общим любимцем; он оказался настолько добродушен, что пожалел даже об отсутствии Гюссона. Но, сказал он, все-таки необходимо вздремнуть.

— Ложитесь рядом со мной, — обратился он к Фредерику и растянулся, не раздеваясь, на походной кровати. Боясь тревоги, он, вопреки правилам, положил рядом с собой ружье; потом пробормотал: «душечка моя, ангелочек!» — и тотчас же заснул.

Разговаривающие смолкли; мало-по-малу все затихло. Фредерику не давали спать блохи, и он смотрел по сторонам. Вдоль стены, выкрашенной в желтую краску, тянулась длинная доска, на которой ранцы образовали ряд горбиков, под ней стояли ружья, одно подле другого, все свинцового цвета. Раздавался храп национальных гвардейцев, животы которых смутно вырисовывались в полумраке. Пустая бутылка и тарелки стояли на печке. Три соломённых стула окружали стол, на котором валялись игральные карты. Барабан с повисшими ремнями стоял на скамье. Теплый ветер дул в дверь и лампа коптила. Арну

спал, раскинув руки; его ружье было положено немного наискось, прикладом вниз, и дуло приходилось ему прямо под мышкой. Фредерик заметил это и испугался.

— Да нет, пустяки! Однако, если бы он умер...

И в голове его замелькали в бесконечной смене такие картины. Он увидел себя с ней, ночью, в почтовой карете, потом на берегу какой-то реки в летний вечер, наконец, у себя дома, при свете лампы. Он даже остановился на хозяйственных расчетах, на обстановке, он созерцал, почти осязал свое счастье... Чтобы достигнуть его, стоит только нажать собачку ружья; нужно лишь толкнуть его носком; раздастся выстрел, как будто нечаянный, и всему конец!

Фредерик развивал эту мысль, как драматург действие пьесы. Вдруг ему показалось, что она близится к осуществлению, что он будет этому способствовать, что ему этого хочется, и его охватил ужас. Он испытывал мучительное удовольствие и погружался в него все более и более, со страхом чувствуя, как оно заливает его совесть словно наводнение, покрывающее сцену. В жестокости этой мечты потонул весь мир, он сознавал самого себя только благодаря нестерпимому стеснению в груди.

— Не выпить ли нам белого вина?—воскликнул рафинировщик, проснувшись.

Арну вскочил, выпил вина и пожелал стать на часы вместо Фредерика.

Потом он потащил его завтракать на улицу Шартр, к Парли; ему нужно было подкрепиться, и он заказал два мясных блюда, омаров, яичницу с ромом, салат и прочее; все это заливалось сотерном 1819 года и романеей 1842. а за десертом пили шампанское и ликеры.

Фредерик ни в чем ему не противоречил. Он чувствовал неловкость, точно Арну мог угадать по его лицу его ночные думы.

Опершись на стол локтями и наклонясь очень низко, Арну, томя его своим взглядом, поверял ему свои фантазии.

Ему хотелось заарендовать все насыпи Северной железной дороги, чтобы посадить на них картофель, или же устроить по бульварам оригинальную процессию, где фигурировали бы «современные знаменитости»; он снял бы

на ее пути все окна, отдал бы их внаймы—и, в конце концов, остался бы в хороших барышах. Короче, он мечтал какой-нибудь спекуляцией сразу поправить свои дела. В то же время он считал себя очень нравственным человеком, порицал излишество, распущенность, говорил «о своем бедном отце»; по его словам, каждый вечер прежде чем помолиться Богу, он оглядывался на содеянное за день.

— Еще немножко кюрасо, не правда ли?

— Как хотите.

Что до республики, то все образуется; словом, он счастливый человек на земле! И, забывшись, он стал восхвалять достоинства Розанеты, сравнивая ее с своей женой. О, это совсем другое дело! Ни у кого нет таких бедер!

— За ваше здоровье!

Фредерик чокнулся. В угоду ему он выпил немного лишнего; кроме того, яркое солнце ошеломило его, и когда они опять пошли по улице Вивьен, то их эпoletы братски касались друг друга.

Вернувшись домой, Фредерик проспал до семи часов вечера. Затем он отправился к Маршалу. Она с кем-то ушла. Может быть, с Арну? Не зная, что делать, он пошел гулять по бульварам, но не мог пройти дальше Сент-Мартенских ворот, столько там было народу.

Безработица царилa среди значительного числа рабочих; они приходили сюда каждый вечер, вероятно, делая смотр своим силам и ожидая сигнала. Несмотря на закон, запрещавший сборища, «эти клубы отчаяния» угрожающе разрастались, и многие буржуа, чтобы выказать свою храбрость и следуя моде, отправлялись туда ежедневно.

Вдруг в трех шагах от себя Фредерик увидел Дамбреза с Мартиноном; он отвернулся; Дамбрез добился того, что его избрали в депутаты, за что он чувствовал к нему не-приятель.

Но капиталист окликнул его.

— На одно слово, дорогой! Я должен объясниться с вами.

— Зачем?

— Сделайте милость, выслушайте меня!

Все произошло совсем не по его вине. Его очень упрасивали, в некотором роде даже принудили это сделать.

Мартинон сейчас же подтвердил его слова: ножа́нцы прислали к нему депутацию.

— Кроме того, я считал себя свободным с того момента...

Напором толпы Дамбрез был оттиснут. Но через минуту он снова появился и сказал Мартинону:

— Вот это настоящая услуга! Вы не раскаетесь...

И все трое прислонились к стене магазина, чтобы удобнее было разговаривать.

Время от времени в толпе кричали: «Да здравствует Наполеон!» «Да здравствует Барбес!» «Долой Мари!».

Несметная толпа говорила очень громко, звуки гологов, отраженные домами, производили впечатление непреывающегося рева волн в порту. Порою все смолкало; потом раздавалась Марсельеза. Под воротами какие-то люди с таинственным видом предлагали тросточки с острьями. Иногда два каких-нибудь суб'екта, столкнувшись, перемигивались и поспешно удалялись. Зеваки группами стояли на тротуарах; по мостовой колыхалась сплоченная толпа. Целые банды полицейских агентов, выходя из переулков, как только попадали в толпу, мигом исчезали в ней. Там и сям небольшие красные знамена напоминали языки пламени, извозчики на козлах сильно жестикулировали, потом поворачивали назад. Зрелище было живое и очень занятное.

— Как все это,—сказал Мартинон,—было бы интересно для мадемуазель Сесиль!

— Но, знаете, жена не любит, чтобы племянница выходила с нами,—возразил Дамбрез с улыбкой.

Его нельзя было узнать. Уже три месяца он кричал: «да здравствует Республика!» и даже голосовал за изгнание Орлеанов. Но дело зашло слишком далеко! Он был так обозлен, что носил в кармане кастет.

У Мартинона тоже был кастет. Судебные должности перестали быть несменяемы, он вышел из прокуратуры и в резкости убеждений превзошел самого Дамбреза.

Банкир особенно ненавидел Ламартина (за его поддержку Ледрю-Роллена), а с ним и Пьера Леру, Прудона.

Консидерана и Ламеннэ,—всех этих сумасбродов, всех социалистов.

В конце концов, чего собственно хотят они? Отменили им пошлину на мясо и заключение за долги; теперь выработывают проект ипотечного банка; на днях учредили национальный банк; прибавили пять миллионов к бюджету для рабочих. Но, к счастью, этому конец, благодаря г. де-Фаллу. Счастливого пути, с Богом!

Действительно, не зная, как пропитать сто тридцать тысяч человек в национальных мастерских, министр общественных работ подписал постановление, приглашавшее граждан в возрасте от восемнадцати до двадцати лет поступать в солдаты или же отправляться в провинции и обрабатывать землю.

Такое распоряжение возбудило негодование; явилось подозрение, что правительство хочет уничтожить Республику. К жизни же вдали от столицы рабочие относились, как к ссылке; они представляли себя умирающими от лихорадки в нездоровых местностях. К тому же для многих, привыкших к тонким ремеслам, земледелие казалось унижением; все, значит, оказалось выдумкой, издевательством, формальным отказом от всех обещаний. Если же они воспротивятся, то прибегнут к силе; в этом они не сомневались и решили предупредить нападение.

К девяти часам толпа, собравшаяся на Бастильской площади и Шатлэ, хлынула опять на бульвары. От самых ворот Сен-Дени до Сен-Мартен кишела громадная масса народа, вся темно-синяя, почти черная. Люди, насколько было возможно их разглядеть, шли с горящими глазами, бледными лицами, осунувшимися от голода, возбужденными несправедливостью. Между тем тучи сгущались; грозное небо наэлектризовало толпу, она клубилась, нерешительно раскачивалась словно под напором шквала, и чувствовались в ее недрах несметные силы, стихийная мощь. Разом все затянули: «плошек, плошек!» Многие окна были темны; в них полетели камни. Г. Дамбрез счел благоразумным удалиться. Молодые люди проводили его.

Он предвидел большие бедствия. Народ еще раз может ворваться в Палату Депутатов; тут он кстати расска-

зал, что 15 мая он погиб бы, если бы не самоотверженность одного национального гвардейца.

— Да, ведь это ваш приятель, я и забыл! Ваш друг, фабрикант фаянсовых изделий, Жак Арну!—Бунтовщики совсем придушили его, а этот храбрый гражданин схватил его на руки и отнес в безопасное место. С тех пор между ними завязалось знакомство.—Нужно будет в один из ближайших дней пообедать вместе. Вы часто видите с ним, так передайте ему, что он мне очень нравится. Это превосходный человек, на которого, по моему, клеветают; да и преостроумный шельмец! Еще раз прощайте! Всяких благ!

Фредерик, расставшись с Дамбрезом, вернулся к Маршалу и с мрачным видом заявил, что она должна сделать выбор между ним и Арну. Она с нежностью ответила, что ничего не понимает, что это все «вздор», что она не любит Арну и нисколько не дорожит им.

Фредерик жаждал вырваться из Парижа. Она не воспротивилась такой причуде и они на следующее утро уехали в Фонтенебло. Гостиница, в которой они остановились, отличалась от других тем, что посредине двора был фонтан. Двери из комнат выходили в корридор, как в монастырях. Номер, который они заняли, был большой, хорошо обставленный, весь обитый ситцем и очень покойный, благодаря малочисленности путешественников. Мимо дома проходили праздные обыватели; в часы заката дети играли в городки на улице под их окнами. Эта тишина, наступившая вслед за парижским возбуждением, казалась им удивительной, успокаивала их.

Рано утром они отправились осматривать дворец. Они вошли через железные ворота и им сразу представился весь фасад, все пять павильонов с остроконечными крышами, с подковообразной лестницей, развертывающейся в глубине двора и примыкающими к ним справа и слева двумя более низкими флигелями. Лишайники на мощеном дворе издали сливались с бурым тоном кирпичей; общий тон дворца был ржавого цвета, какой бывает у старых кольчуг, и создавал впечатление царственного бесстрастия, воинственного и печального величия.

Наконец, явился сторож со связкой ключей. Он прежде

всего показал им покои королей, затем папскую модельню, галерею Франциска I, столик из красного дерева, на котором Император подписал свое отречение, а в одном из покоев, на которые была разбита прежняя Галерея Оленей,—то место, где Христина приказала умертвить Мональдески,—Розанета, внимательно выслушав эту историю, обернулась к Фредерику и сказала:

— Это из ревности, ведь так? Смотри же, берегись!

Затем они прошли залы Совета, Тронный зал, Каральный зал, гостиную Людовика XIII. Высокие окна без занавесок лили белый свет; от пыли слегка потускнели ручки дверей, оконные задвижки, медные ножки у столиков; чехлы из грубого холста покрывали мебель; над дверью висели картины времен Людовика XV с сюжетами из охотничьей жизни, на гобеленах были изображены олимпийские боги, Психея, битвы Александра Великого.

Когда она проходила мимо зеркал, Розанета останавливалась на минуту и поправляла волосы.

Осмотрев башенный двор и капеллу св. Сантурина, они вошли в парадный зал.

Великолепие потолка поразило их. Он был разбит на восьмиугольники, разукрашен золотом и серебром и отделан как драгоценность. Поразило их и обилие картин на стенах—все, начиная с гигантского каминного герба Франции, окруженным полумесяцами и колчанами, и кончая эстрадой для музыкантов, построенной в ширину на другом конце зала. Десять сводчатых окон были открыты настежь, картины блеснули от солнца, голубое небо как бы продолжалось в бесконечном пространстве лазоревый тон оконных сводов. Из глубины лесов, дымчатые верхушки которых вслонули горизонт, как бы долетало эхо охотничьих рогов из слоновой кости и отзвук мифологических балетов, разыгрываемых под сенью развесистых деревьев принцессами и вельможами в костюмах нимф и фавнов. Воскресала эпоха простодушного знания, сильных страстей, роскошного искусства, когда идеалы стремились перенести мир в сады Гесперид, и когда любовницы королей приравнивались к звездам. Самая прекрасная из этих знаменитых женщин

приказала написать себя на правой стене в виде Дианы-Охотницы и даже Адской Дианы, вероятно для того, чтобы утвердить свое могущество и за гробом. Все эти символы говорили об ее славе, так явственно, словно здесь еще осталось что-то от нее, не то неясный звук ее голоса, не то лучи ее сияния.

Фредерик был охвачен тоской невыразимого вожделения. Чтобы отвлечь себя от этого наводнения, он с нежностью посмотрел на Розанету и спросил ее, хотела ли бы она быть этой женщиной.

— Какой женщиной?

— Дианой де-Пуатье.

Он повторил:

— Дианой де-Пуатье, любовницей Генриха II.

Она произнесла: — а! — и замолчала.

Ее безучастие так ясно доказывало, что она ничего не знает, ничего не понимает, что он из снисходительности спросил ее:

— Ты, может быть, соскучилась?

— Нет, нет, напротив!

И с поднятым подбородком, окидывая неопределенным взглядом залу, она бросила такую фразу:

— Это вызывает воспоминания.

Однако по выражению ее лица было заметно, что она силится что-то понять, проявить благоговение... Серьезность делала ее красивее. И Фредерик готов был простить ей ее неведение.

Пруд с карпами показался ей увлекательнее. Она четверть часа бросала кусочки хлеба, чтобы видеть, как на них набрасываются рыбы.

Фредерик присел подле нее, под липами. Он размышлял о всех тех, кто перебивал в этих стенах: Карл Пятый, короли из династии Валуа, Генрих IV, Петр Великий, Жан-Жак Руссо «с прелестными плакальщицами из лож первого яруса», Вольтер, Наполеон, Пий VII, Луи-Филипп; ему стало казаться, что все эти покойники шумно обступили, теснили его, и от такого смещения образов у него закружилась голова; но все же это не мешало ему.

Наконец, они спустились к цветнику. Можно оки-

нуть одним взглядом этот огромный прямоугольник, с его желтыми широкими дорожками, квадратными газонами, рядами буксов, пирамидальными тисами, низко растущей листвой, продолговатыми клумбами, где широко рассаженные цветы пятнами выделяются на сероватой земле. Понемногу сад переходит в парк, который длинный канал прорезывает из конца в конец.

Королевские жилища и вообще отличены какой-то особенною грустью, которая происходит, повидимому, от несоответствия их слишком обширных размеров с малым числом обитателей, от той тишины, которую с удивлением застаешь там после стольких трубных звуков, от их неподвижной роскоши, изобличающей своею ветхостью скоротечность династий, неизменную тщету всего. И это дыхание веков, дурманящее и зловещее, как запах мумий, ощутимо даже для самых наивных людей. Розанета неистово зевала. Они вернулись в гостиницу.

После завтрака им подали открытый экипаж. Они выехали из Фонтенебло, через большую круглую площадку, потом стали шагом подниматься по песчаной дорожке в низкорослый сосновый бор. Мало-по-малу деревья стали становиться все выше. Кучер время от времени говорил: «Вот это Сиамские близнецы, это Фарамон, это Королевский букет», — не пропустив ни одного из знаменитых видов, иногда даже останавливаясь, чтобы дать им возможность полюбоваться.

Вехали в высокий, Франшарский лес. Экипаж скользил по траве, как сани; слышно было воркование невидимых голубей; вдруг откуда-то появился слуга из кофейни, и они остановились у садовой ограды, где были расставлены круглые столики.

Потом, оставив влево стены заброшенного аббатства, они пробираясь по крупным камням, вскоре очутились в ложине.

Один из слонов ее, песчаный, был покрыт можжевельником, другой, почти голый, спускался в овраг, где среди цветущего вереска вилась палевой лентой тропинка; впереди виднелась вершина горы в форме усеченного конуса, а за ней телеграфная башенка

Через полчаса они еще раз вышли из экипажа, чтобы взобраться на высоты Апремона.

Тут дорога вьется зигзагами между коренастыми со- снами, под скалами с угловатыми очертаниями. Этот уго- лок леса, загложший, немного дикий, благоговейно уеди- ненный; тут думаешь об отшельниках, живших в обще- стве величавых оленей с огненными крестами между ро- гов и с отеческими улыбками принимавших добрых французских королей, преклонявших колени у входа в их пещеры.

Теплый воздух был напоен смолистым запахом, корни деревьев переплетались, точно жилы. Розанета часто спо- тыкалась о них, приходила в отчаяние, готова была рас- плакаться.

Но на вершине горы веселость вернулась к ней: она увидела что-то в роде кабачка под навесом из ветвей, где продавались вещи, вырезанные из дерева. Она выпила бутылку лимонаду, купила себе острolistовую палку, и не взглянув ни разу на открывшуюся с плоскогория панораму, вошла в «Разбойничью пещеру» вслед за маль- чиком, который нес факел.

Экипаж ожидал их в Ба-Брео.

Художник в синей блузе писал под дубом, держа на коленях ящик с красками. Он поднял голову и проводил их взглядом.

На косогоре Шальи неожиданно хлынул ливень, при- шлось поднять верх. Но почти тотчас же дождь перестал; мостовая блестела на солнце, когда они в'ехали в город.

Вновь прибывшие из Парижа сообщили им об ужас- ном кровопролитии, совершившемся там. Это особенно не взволновало ни Розанету, ни ее любовника. Все вскоре раз'ехались, гостиница снова погрузилась в покой, по- тасили газ, и они заснули под журчание фонтана во дворе.

На второй день отправились осматривать «Волчье ущелье», «Озеро фей», «Длинный Утес», «Марлотту», а на третий—они колесили без всякой цели, где хотелось извозчику, не справляясь о том, где они находятся, и за- частую пренебрегая знаменитыми местами.

Им было так хорошо в этом старом ландо, мягком, как

софа, обитом холстом с выгоревшими полосками. Рвы, за- росшие кустарником, медленно и непрерывно проходили перед их глазами. Белые лучи, как стрелы, пронизывали высокие папоротники, иногда попадалась заброшенная прямая дорога, там и сям поросшая мягкой травой. На перекрестках рогажки протягивали свои четыре руки в разные стороны; в некоторых местах столбы кривились, словно засохшие деревья; извилистая тропинка, теряясь под зеленью, возбуждала желание идти по ней; в тот же момент лошадь сворачивала на нее, и колеса вязли в грязи; глубокие колеи были кое-где окаймлены мохом.

Им казалось, что они совсем одни, вдали ото всех. Но вдруг попался лесник с ружьем или встречалась толпа женщин в лохмотьях, тащивших на спине вязанки хвороста.

Когда экипаж останавливался, наступала полная ти- шина; только слышалось дыхание лошади или слабый птичий писк.

Местами опушка леса была ярко освещена, а в чаще стоял мрак; или же на первом плане все тонуло в сумер- ках, а вдалеке маячили фиолетовые пары и белый блеск. В полдень солнечные лучи, отвесно падая на широколист- ную зелень, осыпали ее брызгами, сверкали в серебри- стых капельках на кончиках ветвей, проводили по траве изумрудные дорожки, рассеивали золото по слоям опав- ших листьев. Закинув голову, можно было разглядеть ме- жду вершинами деревьев небо. Некоторые деревья непо- мерной высоты казались патриархами, императорами или, касаясь друг друга верхушками, образовывали длинными стволами триумфальные арки; другие от самого корня росли вкось и были похожи на колонны, готовые упасть.

Но эта толпа толстых отвесных линий расступилась. И бесконечные зеленые волны растлались неравными выпуклостями до поверхности долин, над которыми вы- ступал гребень других холмов, господствовавший над палевыми равнинами, которые терялись в бледной, не- ясной дали.

Стоя друг подле друга на какой-нибудь возвышенно- сти и вдыхая ветер, они чувствовали, что в их душу как

бы входит гордое сознание более свободной жизни, избыток сил, беспричинная радость.

Разнообразие деревьев оживляло пейзаж. Буки с белой и гладкой корой переплетались своими кронами; ясени мягко изгибали свои сине-зеленые ветви; среди грабов топорщились остролисты, точно вылитые из бронзы; за ними шел ряд тонких березок, склоненных в эстетических позах; сосны поднимались симметрично, подобно органам трубам; они беспрерывно покачивались и, казалось, пели. Были здесь и громадные шероховатые дубы; судорожно изгибаясь, они вытягивались из почвы, обнимались друг с другом; стояли крепко, напоминая торсы, и, простирая свои обнаженные руки, выражали отчаянные призывы, яростные угрозы, подобно группе титанов, застывших в гневе. Над озерами, поверхность которых вырисовывалась среди кустов терновника, среди колючих кустарников, носилось веяние еще более тяжкое, какое-то лихорадочное томление. К их берегам, покрытым лишайником цвета серы, точно обожженным ступнями ведьм, прибегают на водопой волки: беспрерывное кваканье лягушек отвечало карканью кружащихся ворон. Затем дорога потянулась по однообразным просекам, усаженным местами молодыми деревьями. Послышались крепкие и частые удары молота: это на склоне холма артель рабочих ломала в скалах камень. Скалы попадались все чаще и, наконец, заполнили весь пейзаж—и кубические, как дома, и плоские, как плиты; они громоздились друг на друга, подобно каким-то чудовищным развалинам исчезнувшего города. Но самая безмерность этого хаоса, вызывала скорее мысли о вулканах, потопах, грандиозных доисторических катаклизмах. Фредерик говорил ей, что все это было от начала мира и неизбежно пребудет до скончания его. Розанета отворачивалась, уверяла, что «это сведет ее с ума» и шла рвать вереск. Его мелкие, но скученные фиолетовые цветочки образовывали неровные пятна, а земля, осыпавшаяся из-под них, окаймляла черной бахромой песчаный грунт, усыпанный блестками слюды.

Однажды им случилось взобраться до половины песчаного холма. Его нетронутая ни единым следом поверх-

вость была исполосована симметричными балками; то там, то сям, подобно мысам на высохшем ложе океана, выступали скалы, имевшие некоторое сходство с животными,— черепахами с вытянутыми головами, ползающими тюленями, бегемотами и медведями. И ни души вокруг, ни единого звука! Пески, накаленные солнцем, ослепительно блестя; и вдруг—в трепетном свете, им почудилось, что эти звери задвигались. Они быстро повернули назад, они испытывали чувство, близкое к страху, головы у них кружились.

Величие леса покорило их; они по целым часам хранили молчание, покачиваясь на рессорах; точно убаюканные каким-то безбурным опьянением. Обняв Розанету за талию, Фредерик слушал ее голос под щебетание птичек, разглядывал черный виноград на ее шляпе и вместе ягоды можжевельника, складки ее вуали и завитки облаков, а наклоняясь к ней, чувствовал свежесть ее кожи, смешанную с запахом леса. Все забавляло их. Они указывали друг другу, как на редкость, на тонкие нити паутины, висевшие на кустах, каменные выбоины, наполненные водой, белку на ветвях, полет двух бабочек; иногда шагах в двадцати от них тихо проходила среди деревьев благородная и кроткая лань, а рядом с ней трусил ее детеныш. Розанете хотелось догнать и поцеловать его.

Раз она сильно испугалась: перед ними точно из земли вырос какой-то человек и стал показывать ей ящик с тремя гадюками. Она крепко прижалась к Фредерику; и он был счастлив тем, что она так слаба, а он так силен, что может защитить ее.

В этот день они пообедали в ресторане на берегу Сены. Столик их стоял у окна. Розанета сидела против Фредерика; он любовался ее тонким белым носиком, оттопыренными губками; ясными глазами, взбитыми каштановыми волосами, изящным овалом лица. Ее суровое фулярное платье плотно облетало ее немного покатые плечи; ее ручки в совершенно гладких манжетах разрезали, наливали, двигались над скатертью. Им подали цыпленка, тушеных угрей в глиняной чашке, терпкого вина, черствого хлеба, зазубренные ножи. Все это увеличивало их доволь-

ство, творило иллюзию. Им казалось, что они путешествуют по Италии в свой медовый месяц.

Перед тем как двинуться дальше, они отправились гулять по берегу реки.

Нежно-голубой, округлый купол неба упирался на горизонте в зубчатое очертание лесов. Прямо, в конце луга, возвышалась сельская колокольня; дальше, налево крыша дома отражалась красным пятном в реке, казавшейся неподвижной на всем протяжении своей змеящейся поверхности. Камыши, однако, покачивались, а вода слегка гнула жерди, воткнутые на берегу и поддерживавшие сети. Ивовая верша, две или три старых лодки стояли тут же. У постоянного двора служанка в соломенной шляпе вытягивала ведро из колодца; всякий раз, когда оно поднималось, Фредерик с невыразимым наслаждением слушал скрип цепи.

Он не сомневался, что теперь он будет счастлив до конца дней своих: это счастье казалось ему естественным, неотъемлемо связанным с его жизнью и с личностью этой женщины. У него явилась потребность говорить ей слова нежности. Она отвечала ему милыми словечками, легкими похлопываниями по плечу, ласками, очаровывавшими его своею неожиданностью. Он открыл в ней совершенно новую красоту, которая, может быть, была лишь отражением окружающего или возникала из его воздействия.

Когда они отдыхали среди поля, он, растянувшись, клал голову на ее колени, под тенью ее зонтика; или же они ложились ничком на траву друг против друга, вглядываясь в самую глубину зрачков, жажда друг друга, и, утолив свою страсть, прикрывали глаза и не произносили ни единого слова.

Иногда издали доносился барабанный бой. Это били тревогу по деревням, призывая народ на защиту Парижа.

— Ах, опять восстание! — говорил Фредерик с презрительной жалостью: все эти волнения казались ему такими ничтожными по сравнению с их любовью и вечной природой.

И о чем только не заходила у них речь! Они говорили о том, что и без того хорошо знали, о людях, совершенно для них неинтересных, о тысяче пустяков. Она рассказы-

вала ему о своей горничной, о своем парикмахере. Однажды, забывшись, она проговорила о своем возрасте: ей двадцать девять лет; она начинает стареть.

Незаметно для себя она сообщила ему многие подробности своей жизни. Она была продавщицей в магазине, ездила в Англию, начинала учиться, чтоб поступить на сцену: все это сообщалось ею без всякой связи, и он не мог представить себе ее жизнь в целом. Раз, когда они сидели под платаном, на пригорке, она принялась рассказывать более подробно. Внизу, на краю дороги, босоногая девочка пасла корову. Увидев их, она сейчас же подошла и попросила милостыню, поддерживая одной ручкой изодранную юбочку, а другой почесывая свои черные волосы, похожие на парик времен Людовика XIV; личико ее озарялось великолепными черными глазами.

— Она будет очень красива! — сказал Фредерик.

— Хорошо, если у ней нет матери! — добавила Розанета.

— Как так? Почему?

— Да так; вот я, не будь у меня...

И она вздохнула и принялась рассказывать о своем детстве.

Родители ее бедные прядильщики, жили в Круа-Русс. Она была у отца вроде подмастерья. Бедный старик работал, не покладая рук, а жена только ругала его и все тащила из дому, лишь бы напиться.

Розанета как на яву видела их комнату: расставленные вдоль окон станки, суповый чугунок на печке, кровать под красное дерево, против нее шкаф, наверху каморка, где она спала до пятнадцати лет... И вот явился жирный господин с бурным цветом лица, с манерами ханжи, одетый во все черное. Он переговорил о чем-то с матерью, а через три дня... Розанета остановилась и со взглядом, полным бесстыдства и горечи, добавила:

— Все было кончено!

Потом, отвечая на безмолвный вопрос Фредерика, продолжала:

— Он был женатый и потому боялся, что как бы не

узнали дома; меня привели в кабинет какого-то ресторана, сказав, что я буду счастлива и получу хороший подарок. При входе туда меня более всего поразил вызолоченный канделябр на столе, накрытом на два прибора. Они отражались в зеркале на потолке, стены были обтянуты голубым шелком, вся комната была похожа на альков. Я растерялась от изумления. Понимаешь—бедный ребенок, ничего никогда не выдавший! Несмотря на весь этот блеск, я испугалась; мне захотелось убежать. Однако, я осталась. Перед столом стоял один только диван. Он мягко опустился подо мной. Из отдушины калорифера, за ковром, несло теплом, и я сидела, ни до чего не дотрогиваясь. Официант, стоявший передо мной, приглашал меня покушать. Он первым делом налил мне стакан вина; у меня закружилась голова, я хотела растворить окно. Но он сказал мне:—«нет, барышня, это запрещено»—и оставил меня одну. На столе было множество вещей, о которых я не имела никакого понятия. Кушанья мне не понравились. Тогда я набросилась на вазочку с вареньем и все ждала. Почему-то он запоздал. Было уже поздно, около полуночи, усталость брала свое; чтобы устроиться поудобнее, я приподняла подушку, и вдруг под руку мне попало что-то вроде альбома, тетрадки с непристойными картинками... Я спала на них, когда он вошел.

Она опустила голову и задумалась.

Вверху шептались листья, над густой травой покачивался высокий наперстник, все было залито светом; тишину нарушала только мерным жеванием корова, пасшаяся по близости.

Розанета, погруженная в воспоминания, пристально смотрела в одну точку перед собою, поздри ее трепетали. Фредерик взял ее руку.

— Сколько ты выстрадала, бедняжка!

— Да,—ответила она,—больше, чем ты предполагаешь. Столько, что хотела покончить с собою,—меня вытащили из воды.

— Как так?

— Да нет, довольно об этом. Я люблю тебя, я счастлива, поцелуй меня.—И она стала отдирать репья от подола.

А Фредерика особенно занимало то, о чем она умолчала. По каким ступеням ей пришлось подыматься из нищеты? Какому любовнику она обязана своим воспитанием? Как протекала ее жизнь до того момента, когда он впервые пришел к ней? Но ее последнее признание зажало ему рот. Он только спросил ее, каким образом она познакомилась с Арну.

— Через Ватназ.

— Не тебя ли я видел как-то в театре Палэ-Рояль, с ними обоими?

Он точно припомнил число. Она напрягала память.

— Да, верно... В те времена не до веселья мне было!

Но Арну показал себя с наилучшей стороны. Фредерик не сомневался в этом, хотя их друг и престранный человек, со множеством недостатков... И он не упустил случая перечислить их. Она согласилась, но прибавила.

— И всетаки невольно любишь этого олуха!

— Как, до сих пор?—спросил Фредерик.

Она вспыхнула и полу-шутя, полу-сердито, прибавила:

— Ах, нет, это древняя история! Я ничего от тебя не скрываю. А если бы даже это и было, то он совсем другое дело. Однако, не скажу, чтобы ты был милостив к твоей жертве!

— К моей жертве?

Розанета взяла его за подбородок.

— Ну, конечно!

И сюсюкая, как делают кормилицы, она продолжала:

— Мы не всегда бывали пайныки! Мы спали в постельке с его женой!

— Я? Никогда в жизни!

Розанета улыбнулась. Это оскорбило его, показавшись доказательством ее равнодушия. Но она кротко стала расспрашивать его, глазами умоляя его не говорить правды.

— В самом деле?

— Разумеется!

Фредерик дал честное слово, что он никогда и не думал о г-же Арну, он был слишком влюблен в другую.

— В кого же?

— В вас, моя красота!

— Ах, не издевайся надо мной! Ты раздражаешь меня!

Но он выдумал целую историю о каком-то своем небывалом увлечении. Он изобретал самые обстоятельные подробности. К тому же эта особа будто бы делала его очень несчастным!

— Тебе решительно не везет!—сказала Розанета.

— О, о, кто знает!—воскликнул Фредерик, желая этим намекнуть ей на многие свои любовные удачи и возвыситься в ее глазах, подобно тому, как не называла всех своих любовников и всех своих любовных историй и Розанета, желая вызвать большее уважение к себе: так и вообще в интимных признаниях всегда остается кое-что недосказанное—или из-за ложного стыда, или из-за деликатности, или из-за жалости. Открываешь в другом или в самом себе такие бездны, такую грязь, которые мешают продолжать; чувствуешь, кроме того, что не будешь понят по настоящему: трудно найти слова, которыми можно было бы выразить точно что бы то ни было и редко поэтому полное слияние душ!

Бедная Маршал лучшего никогда не испытала. Часто, когда она смотрела на Фредерика, слезы навертывались у нее на ресницах; и она подымала глаза или же устремляла их к горизонту, словно узрела какую-то дивную зарю, целую будущность безграничного счастья. Наконец, она созналась, что ей хотелось бы заказать молебен «чтобы это принесло счастье нашей любви».

Отчего же она так долго не отдавалась ему? Это ей самой было непонятно. Он несколько раз задавал ей этот вопрос; и она отвечала, сжимая его в объятиях:

— Это оттого, что я боялась слишком сильно полюбить тебя, мой дружок!

В воскресенье утром Фредерик, читая газету, увидал в списке раненых имя Дюссардь. Он вскрикнул и, показав газету Розанете, объявил, что немедленно уезжает.

— Это зачем?

— Да затем, чтоб видеть его, ухаживать за ним.

— А меня ты, ведь, не оставишь одну, я надеюсь?

— Едем вместе.

— Чтобы попасть в эту передрагу? Ну, нет, покорно благодарю!

— Однако, я же не могу...

— Та, та, та! Как будто мало фельдшеров в госпиталях! К тому же, какое ему было дело до всего этого? Каждый должен о себе думать.

Фредерика возмутил ее эгоизм; он упрекал себя за то, что он не там, с друзьями. В подобном равнодушии к бедам отечества было что-то мещанское, мелкое. Внезапно любовь к этой женщине стала тяготить его, как преступление. Целый час они дулись друг на друга.

Потом она стала умолять его подождать, не подвергать себя опасности.

— А если вдруг тебя убьют?

— Ну так что же! Я, по крайней мере, исполню свой долг.

Розанета так и рванулась к нему. Прежде всего его долг—любить ее. Очевидно, она ему уже не нужна. Уехать туда—полнейшая бессмыслица. Какой вздор, Боже мой!

Фредерик позвонил и потребовал счет. Но вернуться в Париж было не легко. Почтовая карета Лелуара только что уехала, коляски Леконта не ходили, бурбонский дилижанс должен был проехать только поздно ночью, и очень возможно, что в нем не будет ни одного места. На все эти справки у Фредерика ушло много времени; пока он решил нанять почтовых лошадей. Но почтмейстер отказал в них, так как у Фредерика не было паспорта. Наконец, он нанял коляску (ту самую, в которой они катались) и к пяти часам вечера они добрались до «Коммерческой гостиницы» в Мелэне.

На базарной площади стояли ружья, поставленные в козлы. Префект запретил национальным гвардейцам идти в Париж. Те, кто были не из его департамента, хотели продолжать путь. Все кричали. В гостинице было шумно.

Розанета, охваченная ужасом, заявила, что ни в каком случае не поедет дальше, и снова стала умолять его остаться. Трактирщик и его жена поддакивали ей. Один из обдающих вмешался в их пререкания и сказал, что сражение кончится скоро, но что каждый все-таки должен испол-

нить свой долг. Маршал зарыдала еще сильнее. Фредерик пришел в бешенство. Он отдал ей свой кошелек и, наскоро поцеловав, исчез.

Приехав в Корбейль, он узнал на вокзале, что местами полотно железной дороги разобрано повстанцами; извозчик отказался везти его далее, сославшись на то, что лошади выбились из сил.

Впрочем, по его протекции, Фредерик достал скверный кабриолет, в котором за шестьдесят франков, не считая чаевых, его согласились довести до Итальянской заставы. Но, не доехав шагов ста до заставы, возница заставил его сойти, а сам поворотил назад. Фредерик пошел по дороге, как вдруг часовой преградил ему путь штыком. Четыре человека с ревом схватили его:

— Это один из них! Попался! Обыскать его! Разбойник! Каналья!

И его изумление было так велико, что он, не оказав никакого сопротивления, позволил отвести себя в караульню у заставы, на площади, где сходятся бульвары Гоблен и Госпитальный и улицы Годфруа и Муффетар.

Четыре баррикады закупоривали каждую из улиц громадными грудами булыжника; там и сям трещали факелы; несмотря на клубящуюся пыль, Фредерик различил пехотинцев и национальных гвардейцев с черными свирепыми лицами, в изодранных одеждах. Только что заняв площадь, они расстреляли нескольких мятежников; гнев их еще не прошел. Фредерик сказал, что он прибыл из Фонтенебло на помощь одному раненому товарищу, квартирующему на улице Больфон; сперва никто не хотел ему верить; осмотрели его руки, понюхали даже ухо, чтобы удостовериться, что от него не пахнет порохом.

Но благодаря тому, что он повторял одно и то же, кончилось тем, что капитан уступил и приказал двум фузилерам отвести его к посту у Ботанического сада.

Они пошли по Госпитальному бульвару. Дул сильный ветер. Это оживило Фредерика.

Затем повернули на конный рынок. Зоологический сад выделялся справа большой темной массой: слева весь фасад госпиталя «Милосердие», залитый огнями, пылал как на пожаре; за его окнами мелькали тени.

Сопровождавшие Фредерика пошли назад. До Политехнической школы его вел другой. На улице Сен-Виктор было совершенно темно: ни одного газового рожка, ни одного огонька в домах. Через каждые десять минут слышалось:

— Часовой! Слушай!

И этот крик, раздававшийся в тишине, перекачивался, как эхо от камня, падающего в пропасть.

По временам слышался топот приближающихся шагов. Эго проходил патруль, по крайней мере, человек в сто; из этой нестройной массы доносился шопот, бряцание железа; удаляясь, она, мерно колеблясь, исчезала в темноте.

На каждом перекрестке неподвижно стоял конный драгун. По временам вскачь проносился курьер, потом снова наступала тишина. Вдали везли пушки и слышался грозный глухой грохот; от этих необычных звуков сжималось сердце. Казалось даже, что они увеличивали это безмолвие — глубокое, полное, зловещее. Люди в белых блузах подходили к солдатам, говорили им что-то и исчезали, как призраки.

Пост в Политехнической школе был переполнен народом. Женщины толпились у порога, требуя свидания со своими сыновьями и мужьями. Их отсылали в Пантеон, обращенный в мертвецкую, а Фредерика даже слушать не хотели. Тот настаивал, клялся, что его ждет друг, Дюссардь, что он при смерти. Наконец, ему дали капрала, чтобы тот проводил его на улицу Сен-Жак, в мэрию XII округа.

Площадь Пантеона была запружена солдатами, спавшими на соломе. Заря занималась. Бивуачные огни погасали.

В этом квартале восстание оставило ужасающие следы. Улицы были изрыты из конца в конец. На развалившихся баррикадах лежали омнибусы, газовые трубы, тележные колеса; местами виднелись небольшие темные лужи, должно быть, крови. Дома были пробиты огнестрельными снарядами, drank глядела из-под осыпавшейся штукатурки. Шторы, державшиеся на одном гвозде, болтались точно лохмотья. Лестницы были разрушены, двери зияли пустотой. Внутри зданий видны были комнаты

с ободранными обоями; кое-где уцелели самые хрупкие вещи. Фредерик заметил часы, жердочку для попугая, гравюры.

Когда он вошел в мэрию, национальные гвардейцы толковали о смерти Бреа и Негриэ, депутата Шарбонеля и архиепископа Парижского. Говорили, что герцог Омальский высадился в Булони, Барбес скрылся из Венсена, что из Буржа прибыла артиллерия, а из провинции стекаются подкрепления. К трем часам кто-то принес добрую весть: парламентарии восставших приняты председателем Национального Собрания.

Все воспрянули духом; так как у Фредерика еще осталось в кармане двенадцать франков, то он послал за дюжиной пива, надеясь этим ускорить свое освобождение. Вдруг им показалось, что они слышат перестрелку. Выпивка прекратилась; все подозрительно посмотрели на незнакомца; может быть, это Генрих V?

Чтобы снять с себя всякую ответственность, переправили Фредерика в мэрию XI округа, откуда его не выпускают до девяти часов утра.

Он стремглав бросился на набережную Вольтера. У открытого окна какой-то старик в одном жилете плакал с поднятыми вверх глазами. Мирно текла Сена. Небо было синее, синее; на деревьях Тюльери щебетали птицы.

Фредерик пересекал Карусельную площадь когда ему навстречу попались носилки. На гауптвахте взяли на караул, а офицер, приложив руку к киверу, произнес:

— Честь и слава мужеству побежденных!

Эти слова стали почти обязательными; тот, кто произносил их, казался всегда торжественно растроганным. Группа разъяренных людей сопровождала носилки, крича:

— Мы отомстим! Мы отомстим!

По бульвару сновали экипажи, женщины, сидя у дверей, щипали корпию. Между тем, восстание было подавлено, или почти подавлено: только что прибитая к стене прокламация Кавеньяка возвещала об этом. На улице Виьен появился взвод «мобилей» *). Горожане испускали восторженные крики; они махали шляпами, рукоплескали,

танцевали, готовы были обнимать их, предлагали им выпить, и цветы, бросаемые дамами, сыпались на них с балконов.

Наконец, в десять часов вечера, уже когда в предместье Сент-Антуан грохотали пушки, Фредерик добрался до квартиры Дюссардь. Он застал его дома, в мансарде, лежащим на спине и спящим. Из смежной комнаты неслышными шагами вышла женщина; это была Ватназ.

Она отвела Фредерика в сторону и рассказала ему, каким образом Дюссардь был ранен.

В субботу, на баррикаде на улице Лафайет, мальчишка, завернувшись в трехцветное знамя, кричал национальным гвардейцам: «Вы будете стрелять в своих братьев!» Так как гвардейцы наступали, то Дюссардь, отбросив ружье и растолкав всех, взобрался на баррикаду и одним ударом сбил с ног инсургента и сорвал с него знамя. Его отыскивали потом под развалинами баррикады, с пробитым бедром. Пришлось сделать разрез, чтобы вынуть пулю. Ватназ в тот же день явилась к нему и уже не оставляла его.

С полным знанием дела она приготавливала все, что было нужно для перевязок, поила его, исполняла его малейшие желания, носилась легче мухи и смотрела на него нежными глазами.

Фредерик, в течение двух недель навещая его, не пропустил ни одного утра. Однажды, когда он говорил о добrote Ватназ, Дюссардь пожал плечами.

— Ах, ничего подобного! Это все из корысти.

— Ты думаешь?

Он отвечал:

— Я уверен в этом!—и замолк, не желая пояснять своих слов.

Между тем она была предупредительна к нему до того, что приносила ему газеты, где восхваляли его отвагу. Подобные похвалы, повидимому, докучали ему. Он даже сознался Фредерику в том, что его мучит совесть:

— Может быть, ему следовало встать на сторону блузников,—ведь им столько наобещали и ничего не дали. Их победители ненавидят Республику; к тому же, с ними поступили очень жестоко. Они, конечно, неправы, да и то

*) Опозначенная часть.

не совсем; и честный малый мучился мыслью, что он, может быть, боролся против справедливости.

Сенекаль, запертый в Тюльерийском подземелье, был чужд подобных сомнений.

Там было их человек девятьсот, черных от пороха и запекшейся крови, трясущихся в лихорадке, кричащих от ярости; от них не убрали даже умерших. Временами, при каком-нибудь внезапном шуме, им казалось, что их всех сейчас расстреляют; тогда они бросались к стене, потом снова падали на прежнее место; они столь обезумели от мучений, что жили точно среди кошмара, под наводнением смерти. Лампа, спускавшаяся со свода, казалась кровавым пятном; в воздухе маячили маленькие зеленые и желтые огоньки, возникавшие из испарений этого склепа. Убоясь эпидемии, созвали комиссию. Но ее председатель, едва войдя, кинулся назад, ужаснувшись зловония трупов и нечистот. Если заключенные приближались к отдушникам, национальные гвардейцы, стоявшие на карауле, опасаясь, что они выломают решетку, совали в них штыками на удачу.

Вообще они показали себя безжалостными. Те, кто не участвовал в боях, хотели отличиться. Это был какой-то разгул трусости. Мстили сразу за все: и за газеты, и за клубы, и за сборища, и за доктрины,—за все, что вызывало ярость уже три месяца; несмотря на победу, равенство (точно в наказание своим защитникам и в насмешку над своими врагами) торжествовало,—это было равенство в зверстве, одинаковая степень кровожадной подлости, так как фанатизм богатых шел рука об руку с неистовством бедных; аристократия не уступала в бешенстве улице, обывательский ночной колпак—красной шапке. Общественный разум помутился, как это бывает после великих переворотов в природе. Некоторые умные люди так и остались пришибленными на всю жизнь.

Старик Рок сделался очень храбрым, едва ли не слишком отважным. Прибыв в Париж 26-го с ножанцами, он, вместо того, чтобы возвратиться домой вместе с ними, примкнул к национальной гвардии, расположившейся лагерем в Тюльери. Он был очень доволен, что стоял на часах у подземелья на берегу реки. По крайней мере, эти раз-

бойники были теперь в его власти! Он радовался их поражению, их беде, и не мог воздержаться от поношения их.

Один из них, юноша с длинными белокурыми волосами, принял лицом к решетке, прося хлеба. Рок приказал ему молчать. Но молодой человек повторял жалобным голосом:

— Хлеба! Хлеба!

— Откуда я тебе его возьму?

Другие заключенные показались в окне, с всклоченными бородами, горящими глазами; толкая друг друга, они ревели:

— Хлеба! Хлеба!

Отец Рок возмущился, что его не слушают. Чтобы пугнуть их, он взял на прицел; юноша, поднятый давившей на него толпой до самого свода, закинул голову и крикнул еще раз:

— Хлеба!

— Вот тебе, получай!—сказал старик Рок, спустив курок.

Раздался отчаянный рев, потом наступила тишина. На краю лохани осталось что-то белое.

После этого Рок вернулся к себе; на улице Сен-Мартен у него был собственный дом, где он держал на случай приезда маленькую квартирку; во время восстания фасад дома немного пострадал, от этого-то он и был особенно свиреп. Но, возвратясь домой, он увидел, что преувеличил свои убытки. Только что совершенный поступок успокоил его, словно покрытие убытка.

Дочь отперла ему дверь. Она тотчас же сказала, что его слишком долгое отсутствие встревожило ее; она испугалась какого-нибудь несчастья, боялась, что его ранили.

Такое проявление дочерней любви растрогало Рока. Он удивился, что она приехала без Катерины.

— Я послала ее по делу,—ответила Луиза.

Она осведомилась об его здоровье и о том, о сем; потом с равнодушным видом спросила, не встретил ли он случайно Фредерика?

— Нет, нигде не встречал.

А она предприняла эту поездку только ради него.

Чьи-то шаги послышались в коридоре.

— Ах, извини...

И она исчезла.

Катерина не застала Фредерика. Он был в отсутствии уже давно, а его ближайший друг, Дэлорье, жил в провинции.

Луиза воротилась к отцу, вся дрожа; она не могла говорить слова, опиралась на мебель, чтобы не упасть.

— Что с тобой? Что с тобой?—вскричал отец.

Она знаком объяснила, что это пустяки, и, сделав над собой огромное усилие, поборолла слабость.

Из ресторана напротив принесли суп. Но Рок перенес слишком сильное волнение. Ему кусок становился поперек горла. И за десертом ему сделалось дурно. Мигот послали за врачом, который и прописал микстуру. Потом, лежа в постели, Рок попросил укрыть его потеплее, чтобы вызвать испарину. Он охал, стонал.

— Спасибо тебе, моя добрая Катерина!—Поцелуй твоего бедного папу, моя цыпочка! Ах, уж эти революции!

Дочь корила его за то, что он занемог от волнения за нее. Он ответил:

— Да, ты права! Но это выше моих сил! Я слишком чувствителен.

II.

Г-жа Дамбрез, сидя у себя в будуаре, между племянницей и мисс Джон, слушала, что рассказывал Рок о своих великих трудах. Она страдальчески кусала губы.

— О, ничего, все это обойдется.

И с любезным видом сказала:

— У нас сегодня обедает один из ваших знакомых, г. Моро.

Луиза вздрогнула.

— Потом всего лишь несколько наших близких знакомых, между прочим, Альфред де-Сизи.

Она стала восхвалять его манеры, наружность и особенно нравственность.

В словах г-жи Дамбрез было больше правды, чем она сама полагала; виконт мечтал о женитьбе. Он признался Мартинону, что уверен, что нравится Сесиль, и что его родные согласятся на этот брак.

Чтобы отважиться на такое признание, он должен был располагать самыми благоприятными сведениями насчет ее приданого. Мартинон же давно подозревал, что Сесиль была побочной дочерью Дамбреза, а потому просить ее руки на всякий случай было бы ловким шагом; но такая смелость представляла некоторую опасность, и он боялся попасть впросак; кроме того, он не знал, как отделаться от тетушки. Признание Сизи побудило его решиться; он сделал предложение банкиру, и тот, не видя препятствий для этого брака, только что сообщил об этом своей жене.

Появился Сизи. Она поднялась, говоря:

— Вы совсем забыли нас... Сесиль, shake hands! *)

И когда он захотел присесть, она бросила ему: «Нет, здесь!»—указывая на кресло рядом с племянницей.

В ту же минуту вошел Фредерик.

— А, наконец-то вы отыскались!—вскричал Рок.— Мы с Луизой уже три раза были у вас на этой неделе.

Фредерик все время старательно избегал их. Он сослался на то, что все дни проводил у раненого товарища. Да и вообще он уже давно по горло завален делами. И он стал придумывать разные небылицы. К счастью, приглашенные все прибывали: первым приехал Поль де-Гремонвиль, тот дипломат, которого Фредерик уже видел здесь мельком на балу; потом Фюмишон, промышленник, консервативные убеждения которого привели когда-то Фредерика в такое негодование; вслед за ними вошла старая герцогиня де-Монтрель-Нантуа.

Из передней слышались два голоса:

— Я уверена в этом,—говорил женский голос.

— Дорогая, очаровательная!—отвечал мужской,—ради Бога успокойтесь.

Это были де-Нонанкур, старик-щеголь с лицом мумии, намазанный кольд-кремом, и г-жа Лярсилуа, жена префекта при Луи-Филиппе.

Она вся дрожала, так как только что слышала, как играли на шарманке польку, которая, как говорили, была сигналом для повстанцев. Тогда многие буржуа верили

*) Поздоровайся с гостем (буквально, по английски: пожми руку).

подобным выдумкам, верили, что мятежники, забравшись в катакомбы, вворвут предместье Сен-Жермен; в погребках им чудились какие-то странные звуки, за окнами какие-то подозрительные вещи.

Однако, все постарались успокоить г-жу де-Ларсилуа. Порядок восстановлен, больше нечего бояться! «Кавеньяк спас нас!» И несмотря на все действительные ужасы восстания, их еще преувеличили. На стороне социалистов было по меньшей мере двадцать три тысячи каторжан!

Все слепо верили, что провизия отравлялась, что мобилей распиливают между двух досок, что на знаменах революционеров были начертаны привывы к грабежу и поджогам.

— И еще кой к чему похуже! — прибавила супруга бывшего префекта.

— Ах, дорогая! — остановила ее из стыдливости г-жа Дамбрез, указывая взглядом на трех молоденьких девушек.

Дамбрез вышел из кабинета с Мартиноном. Она отвернулась и ответила на поклон вошедшего Пеллерена. Художник с беспокойством осматривал стены.

Банкир отвел его в сторону и объяснил ему, что на время пришлось спрятать его революционную картину.

— Разумеется, разумеется, — сказал Пеллерен. Провал в «Клубе Интеллигенции» изменил его воззрения.

Дамбрез очень тонко дал понять, что скоро сделает ему еще несколько заказов.

— Но виноват... Ах, дорогой мой, какое счастье!

Арну с женой очутились перед Фредериком.

У него помутилось в голове. Розанета весь этот день восхищалась солдатами и чрезвычайно надоела ему. Старая любовь пробудилась в нем.

Дворецкий возвестил, что кушать подано. Хозяйка взглядом приказала виконту предложить руку Сесиль и тихо сказала Мартинону: «негодяй!» засим все направились в столовую.

Под зелеными листьями ананаса, по середине стола, стояла рыба, касаясь головой жаркого из оленя, а хвостом блюда раков. Винные ягоды, огромные вишни, груши и

виноград (новинки парижских теплиц) пирамидами высились в корзинах из старинного саксонского фарфора, большие букеты цветов сочетались с блеском серебра; белые шелковые шторы пропускали в комнату смягченный свет; воздух освежался двумя бассейнами, где плавали кусочки льда; прислуживали высокие лакеи в коротких панталонах. Все это казалось еще лучше после волнений минувших дней. Все радостно ощущали обладание тем, чего так боялись лишиться. Нонанкур выразил общее настроение словами:

— Ах, будем надеяться, что господа республиканцы позволят нам пообедать!

— Несмотря на их братство! — остроумно прибавил старик Рок.

Этих почетных гостей посадили по правую и левую руку г-жи Дамбрез, сидевшей против мужа, находившегося между г-жей де-Ларсилуа с дипломатом и старой герцогиней с Фюмишоном. Дальше разместились: художник, фабрикант фаянсовой посуды и Луиза; Фредерик очутился рядом с г-жей Арну, благодаря тому, что Мартинон перебил у него место около Сесиль.

На ней было черное баржевое платье, золотой браслет на руке, и так же, как в первый раз, когда он обедал у нее, что-то краснело в волосах—ветка фуксии обвивала шиньон. Он не мог удержаться, чтобы не сказать ей:

— Как давно мы не видались!

— Да, — ответила она холодно.

Он продолжал, вкрадчивым тоном смягчая дерзость своего вопроса:

— Вы иногда думали обо мне?

— Почему же я должна была думать о вас?

Фредерик был задет таким ответом.

— В конце концов, вы, может быть, и правы.

Но, быстро спохватившись, он стал клясться, что не прожил ни одного дня без того, чтобы его не обуревали воспоминания о ней.

— Я этому совершенно не верю.

— Но вы же знаете, что я люблю вас.

Г-жа Арну ничего не отвечала.

— Вы же знаете, что я люблю вас, — повторил он.

Она продолжала молчать.

— Ну и проваливай на все четыре стороны,—подумал Фредерик.

И, подняв глаза, увидел на противоположном конце стола Луизу Рок.

Она думала, что ей будет к лицу одеться во все зеленое, а этот цвет совершенно не шел к рыжему тону ее волос. Пряжка ее пояса прихдилась слишком высоко, воротник душил ее; вероятно, такое отсутствие вкуса и стало причиной холодности Фредерика. Она внимательно следила за ним издали; Арну, сидевший с ней, как ни рассыпался в любезностях, не смог вытянуть у ней и двух слов и, отказавшись от мысли понравиться ей, прислушался к общему разговору, коснувшемуся в этот момент ананасного пюрэ, приготовляемого в Люксембурге.

Луи Блан, по словам Фюмишона, имел особняк на улице Сен-Доминик и не пожелал отдать его внаймы рабочим.

— Я нахожу всего забавнее то, — сказал Нонанкур, — что Ледрю-Роллен охотится в королевских угодьях.

— Он должен двадцать тысяч франков одному золотых дел мастеру, — прибавил Сизи, — и даже утверждают...

Г-жа Дамбрез остановила его.

— А, как это нехорошо горячиться из-за политики; а еще молодой человек! Займитесь лучше вашей соседкой!

Затем люди положительные напали на газеты.

Арну взял их под свою защиту; Фредерик вмешался, заявил, что издатели их — такие же купцы, как и всякие другие, а сотрудники, в общем, или болваны или вралы; он делал вид, что хорошо знает их, и с язвительностью отражал великодушные возражения своего приятеля. Г-жа Арну не понимала, что это была своего рода месть ей.

Между тем, виконт тщетно напрягал свой ум, чтобы пленить Сесиль. Сначала он выказал свой художественный вкус, порицая форму графинчиков, гравировку на ножках. Потом повел речь о своей конюшне, о своем портном, о своем поставщике белья; под конец коснулся религии и сумел дать ей понять, что исполняет все обязанности христианина.

Мартинон принялся за дело искуснее. Монотонным голосом, не отрывая от нее глаз, он превозносил ее птичий профиль, ее безжизненные белокурые волосы, ее слишком короткие руки. Дурнушка млела от этого потока сладких речей. Расслышать их никто не мог, все говорили громко. Рок хотел, чтобы Франция управлялась железной рукой. Нонанкур стал даже жалеть, что отменена смертная казнь за политические преступления. Этих негодяев следует всех расстрелять!

— Все это тусы! — сказал Фюмишон. — Не вижу большой отваги в том, чтобы прятаться за баррикадами!

— Кстати, расскажите нам о Дюссардье,—сказал Дамбрез, обратившись к Фредерику.

Храбрый приказчик был теперь героем, вроде Саллеса, братьев Жансон, жены Пекилье и прочих.

Фредерик не заставил себя упрашивать и рассказал о подвигах своего друга; отблеск его славы падал и на него.

Естественно перешли к рассказам о различных проявлениях храбрости. Дипломат сказал, что не трудно победить страх смерти и привел в доказательство дуэли.

— Об этом надо спросить виконта, — сказал Мартинон.

Виконт залился румянцем.

Обедающие обратили на него свои взоры; Луиза, удивившись более всех, пробормотала:

— Почему?

— Он спасовал перед Фредериком, — тихо пояснил Арну.

— Вам что-нибудь известно об этом, мадемуазель? — тотчас же спросил ее Нонанкур, и мгновенно передал ее ответ г-же Дамбрез, которая, немного наклонившись, стала смотреть на Фредерика.

Мартинон не стал ждать вопроса со стороны Сесили. Он сообщил ей, что дело связано с одной недостойной особой. Молодая девушка легонько отодвинулась, точно хотела избежать прикосновения этого развратника.

Общий разговор возобновился. Были обнесены тонкие бордосские вина, все оживилось. Пеллерен сердился на революцию за то, что бесповоротно погиб музей с карти-

нами испанской школы: это более всего огорчало его, как художника. При этих словах г. Рок перебил его.

— Не вы ли автор одной замечательной картины?

— Может быть. Но какой?

— На ней изображена дама в костюме, правда... немного... легком, с кошельком и павлином позади.

Фредерик в свою очередь вспыхнул.

Пеллерен сделал вид, что не расслышал.

— Между тем она ведь ваша. Внизу ваше имя, а на раме надпись, что это собственность г. Моро.

Однажды Рок с дочерью ожидали Фредерика у него на квартире и обратили внимание на портрет Маршала. Простодушный провинциал принял его даже за «картину в готическом стиле».

— Нет, — резко проговорил Пеллерен, — это просто портрет одной женщины.

Мартинон прибавил:

— Женщины и поныне здравствующей. Не правда ли, Сизи?

— Мне почем знать!..

— А я полагал, что вы с ней знакомы. Но раз вам это неприятно, то простите, ради Бога.

Сизи опустил глаза, и своим смущением подтвердил, что он, очевидно, играл жалкую роль в истории этого портрета. Что до Фредерика, то все мгновенно поняли, что модель была его любовницей, — лица присутствующих ясно говорили об этом.

— Как он мне лгал! — сказала про себя г-жа Арну.

— Вот для кого он меня покинул! — подумала Луиза.

Фредерику показалось, что эти две истории могут его скомпрометировать, и, когда все вышли в сад, он стал упрекать Мартинона.

Жених Сесили рассмеялся ему прямо в лицо.

— Что ты! Как раз напротив! Это послужит тебе на пользу! Не падай духом!

Что он этим хотел сказать? Откуда такая доброжелательность, столь ему несвойственная? Ничего не объяснив, Мартинон направился в глубину сада, где расположились дамы. Мужчины стояли. Пеллерен развивал свои идеи. Самым благоприятным для искусства образом пра-

вления, он, разумеется, считает монархию. Новейшие времена ему противны, «чего стоит одна национальная гвардия!» Он сожалел о средних веках, о Людовике XIV; Рок очень сочувственно отнесся к его взглядам и признался даже, что они разрушают все его предубеждения против художников. Но почти сейчас же отошел, отвлеченный голосом Фюмишона. Арну старался доказать, что существует два социализма: один — хороший, другой — дурной. Промышленник не находил в них разницы: у него голова кружилась от гнева при одном только слове «собственность».

— Это право начертано самой природой. Дети дергаются за свои игрушки; все народы согласны со мной в этом, все животные; сам лев, если бы мог говорить, объявил бы себя собственником. Возьмите, господа, меня: я начал с капитала в пятнадцать тысяч. В продолжении целых тридцати лет я вставал в четыре часа утра! Чего стоило мне нажить состояние! И вдруг придут и станут уверять меня, что я у себя не хозяин, что мои деньги — не мои деньги, что собственность есть кража!

— Но Прудон...

— Оставьте меня в покое с вашим Прудоном! Если бы он был здесь я, кажется, задушил бы его собственными руками.

И, действительно, он задушил бы. В особенности после ликерв. Фюмишон был вне себя; его апоплексическое лицо, казалось, готово было разорваться, как бомба.

— Здравствуй, Арну, — сказал вошедший Гюссонэ.

Он принес г. Дамбресу первый оттиск брошюры под заглавием «Гидра», в которой недавний участник богемы отстаивал интересы реакционного круга, и как человека с такими взглядами хозяин представил его своим гостям.

Гюссонэ позабавил общество: сначала уверял, что торговцы салом наняли триста девяносто двух мальчишек, чтобы они кричали каждый вечер: «плошки! плошки!» Потом поиздевался над принципами 89 года, над освобождением негров, над левыми ораторами и дошел до того, что изобразил «Прудона на баррикаде» — может быть,

просто из зависти к этим хорошо пообедавшим буржуа *). Но эта выходка не имела успеха. Лица у всех вытянулись.

Впрочем, вообще было не до шуток, как заметил Нонанкур, вспомнив о смерти архиепископа Аффра и генерала Бреа. Об этих убийствах неизменно вспоминали, на них строили доказательства. Рок заявил, что «не было ничего величественнее» кончины архиепископа; Фюмишон отдавал пальму первенства генералу; вместо того, чтобы просто пожалеть убитых, заспорили о том, которое из этих убийств должно вызывать наиболее сильное негодование. Вслед затем принялись проводить параллель между Ляморисиером и Кавеньяком; Дамбрез восторгался Кавеньяком, а Нонанкур—Ляморисиером. Никто из присутствующих, исключая Арну, не мог видеть их в деле. Но все высказывали об их действиях непреложные суждения. Один Фредерик воздержался, признавшись, что он не брался за оружие. Дипломат и Дамбрез кивнули ему в знак одобрения. В самом деле, подавлять восстание—значит тем самым защищать республику. Исход борьбы, более чем благоприятный, только укреплял ее; и теперь освободившись от побежденных, хотели отделаться и от победителей.

Сойдя в сад, г-жа Дамбрез взяла под руку Сизи и пожурила его за ненаходчивость; увидав Мартинона, она отпустила Сизи и спросила у своего будущего племянника, почему он насмеялся над виконтом.

— Да так.

— Все как будто для того, чтобы в выгодном свете выставить Моро. С какой целью?

— Безо всякой цели! Фредерик чудесный малый, он очень нравится мне!

— И мне также! Пусть он подойдет ко мне! Отыщите его.

После двух или трех банальных фраз, она начала слегка высмеивать своих гостей, чем и дала понять, что ставит его выше прочих. Он не преминул покриковать присутствующим дамам,—ловкий способ сделать ей комплимент. Но время от времени она оставляла его: был прием-

ный день, приезжали дамы; потом она опять возвращалась на свое место; совершенно случайное расположение кресел позволяло им говорить, не боясь быть услышанными.

Она была то игрива, то серьезна, то грустна, то рассудительна. Повседневные заботы занимали ее мало; ведь существует целый мир чувств более возвышенных. Она сетовала на поэтов, искажающих действительность, а затем, подняв глаза к небу, спросила у него название какой-то звезды.

На деревья было повешано несколько китайских фонарей; ветер раскачивал их; цветные лучи дрожали на ее белом платье. Она, по обыкновению, сидела, немного откинувшись на спинку кресла, со скамеечкой под ногами, так что был виден черный носок ее атласного башмачка; по временам, она произносила какое-нибудь слово громче других, иногда смеялась.

Это кокетство не трогало Мартинона, занятого Сесиль, но зато било прямо по Луизе Рок; она разговаривала с г-жей Арну, которая, как ей казалось, одна из всех этих женщин относилась к ней без пренебрежения. Она подошла и села рядом с ней, и, уступая потребности излить душу, сказала:

— Не правда ли, как хорошо говорит Фредерик Моро?

— Вы с ним знакомы?

— О, давно!—Мы—соседи, он играл со мной, когда я была совсем маленькая!

Г-жа Арну посмотрела на нее долгим взглядом, означавшим: «вы не любите его, я полагаю?»

Не смущаясь, молодая девушка взглядом же ответила ей: «Нет, люблю!»

— Значит, вы видите с ним часто?

— О, нет, только тогда, когда он приезжает к своей матери. А он вот уже десять месяцев, как не был у нее. Хотя и обещал ездить почаще.

— Не нужно слишком верить обещаниям мужчин, дитя мое!

— Но он никогда не обманывал меня!

— Как других.

*) „Прюдом“—собирательный тип французского обывателя, созданный писателем, художником и актером Анри Моннье.

Луиза вздрогнула: «не обещал ли он и этой чего-нибудь?»—и лицо ее исказилось от подозрения и ненависти.

Г-жа Арну почти испугалась; ей хотелось бы вернуть сказанное! Обе замолчали.

Фредерик сидел напротив, на складном стуле, а они смотрели на него: одна, из приличия, искоса, другая прямо, разинув рот, так что г-жа Дамбрез сказала ему:

— Повернитесь же, чтобы она вас видела!

— Кто она?

— Да дочь Рока.

И она стала подшучивать над любовью этой юной провинциалки. Фредерик защищался, силясь смеяться.

— Да разве это возможно! Помилуйте! Она так дурна!

Между тем, все совершавшееся чрезвычайно льстило ему. Он вспомнил другой вечер, тот, когда уходил отсюда таким униженным; теперь ему дышалось легко; он чувствовал себя в своей сфере, почти как дома, точно все это, в том числе и особняк г. Дамбреза, принадлежало ему. Дамы, сидевшие полукругом, слушали его, а он, желая блеснуть, высказался за восстановление развода, который должен быть на столько легким, чтобы можно было расходиться и опять сходитьсь бесконечное число раз, сколько вздумается. Некоторые протестовали, другие стали шептаться; в темноте, около стены, увитой кирказаном, слышны были легкие возгласы. Все это напоминало кудахтанье кур, а Фредерик продолжал развивать свою теорию с апломбом человека, который уверен в своем успехе. Лакей принес в беседку поднос с мороженым. Подошли мужчины. Они говорили об арестах. Тут Фредерик отомстил виконту, уверив его, что, весьма вероятно, его будут преследовать как легитимиста. Тот клялся, что не выходил из своей комнаты, а противник все более запугивал его, к великой забаве Дамбреза и де-Гремонвиля. Они наговорили Фредерику комплиментов, выразив сожаление, что он не применяет своих способностей на защиту порядка; при прощании они дружески жали ему руку: отныне он может рассчитывать

на них. Наконец, когда все ушли, виконт очень низко поклонился Сесиль:

— Честь имею пожелать вам спокойной ночи!

Она сухо ответила:

— Спокойной ночи.

Мартинону же была послана улыбка.

Рок, желая еще поговорить с Арну, предложил ему «проводить его с супругой»: им было по дороге.

Луиза и Фредерик пошли вперед. Она схватила его под руку и, как только они отделились от остальной компании, воскликнула:

— Ах, наконец-то! Как я страдала весь этот вечер! Как эти женщины злы! Какой у них высокомерный вид!

Фредерик пытался заступиться за них.

— Прежде всего почему ты не поговорил со мной, как только вошел, ведь мы уже год как не видались!

— Года еще нет, — возразил Фредерик, обрадовавшись тому, что можно препираться из-за мелочей и уклониться от главного.

— Ну пусть будет по твоему! Это время показалось мне вечностью, вот и все. За этим отвратительным обедом мне казалось, что ты стыдишься меня. Ах, я понимаю,—я не умею нравиться, как они!

— Ты ошибаешься,—возразил Фредерик.

— Правда? Поклянись, что ты никого из них не любишь!

Он поклялся.

— Ты только одну меня любишь?

— Одну тебя!

Это уверение развеселило ее. У нее явилось желание заблудиться, чтобы пробродить всю ночь вместе с ним.

— Дома я так волновалась! Только и говорили, что о баррикадах! Я все видела тебя лежащим навзничь, в крови. Твоя мать в постели, у ней ревматизм. Она ничего не знает. Мне приходилось молчать. Я не выдержала, взяла с собой Катерину и приехала.

И она рассказала о своем отъезде, о пути и о том, как обманула отца.

— Он увезет меня через два дня домой. Приходи

завтра вечером, как будто невзначай, и воспользуйся случаем, чтобы попросить моей руки.

Никогда Фредерик не был так далек от женитьбы. К тому же Луиза Рок казалась ему в достаточной мере смешной. То ли дело такая женщина, как г-жа Дамбрез! Ему предстоит иная будущность. Сегодня он убедился в этом, так что теперь совсем было не время связывать себя, давать волю сердечному порыву. Настала пора быть рассудительным; сверх того, он опять встретил г-жу Арну. Но прямо Луиза ставила его в затруднительное положение. Он спросил:

— Хорошо ли ты обдумала этот шаг?

— Как?—вскричала она, похолодев от удивления и негодования.

Тогда он сказал, что жениться в настоящее время—безумие.

— Значит, я тебе больше не нужна?

— Да нет, ты не поняла меня!

И он пустился длинно и очень путано объяснять ей, какие важные соображения удерживают его в настоящее время от брака: дела его еще не закончены, состояние пошатнулось (Луиза на все давала решительный ответ). Да наконец, мешают и политические обстоятельства. Словом, самое разумное потерпеть немного. Все, конечно, устроится, он, по крайней мере, надеется на это; и, истощив все доводы, Фредерик притворился, что внезапно вспомнил о Дюссардьё, у которого ему нужно было быть уже часа два тому назад.

Раскланявшись с остальными, он повернул на улицу Отвиль, обогнув театр Жимназ, снова вернулся на бульвар и вбежал на четвертый этаж к Розанете.

Супруги Арну расстались с отцом и дочерью Рок на углу улицы Сен-Дени. Они молча, возвращались домой; он был утомлен собственной болтовней, она чувствовала сильнейшую усталость и даже опиралась на его руку. Он был единственным человеком, высказывавшим за весь вечер честные убеждения. Она исполнилась к нему снисходительности. Он был слегка раздражен против Фредерика.

— Видела ли ты его лицо, когда зашел разговор о

портрете? Говорил я тебе, что он ее любовник! Ты не хотела мне верить.

— Да, да, я была неправа.

Арну, довольный успехом, настаивал:

— Я даже готов держать пари, что он нас бросил для того, чтобы отправиться к ней. Он, будь уверена, сейчас там! Ночует у нее.

Г-жа Арну куталась в свою тальму.

— Но ты дрожишь!

— Мне так холодно,—ответила она.

Как только отец уснул, Луиза вошла в комнату Катерины и стала трясти ее за плечо.

— Вставай, живее! Позови мне извозчика!

Катерина возразила, что теперь уже поздно и извозчика не найти.

— Тогда ты проводишь меня туда?

— Куда?

— К Фредерику.

— Это невозможно! Зачем тебе к нему?

Ей нужно поговорить с ним. Ждать она не в состоянии. Она сейчас же хочет его видеть.

— Да что с тобой! Явиться в дом к мужчине, ночью! Да ведь он спит теперь.

— Я разбужу его.

— Но это неприлично для барышни.

— Я не барышня! Я жена его! Я люблю его! Идем, накинь свою шаль!

Катерина в раздумьи стояла у ее постели. Наконец, она сказала:

— Нет, не хочу!

— Что-ж, оставайся! Я пойду одна.

Луиза, как ящерица, скользнула по лестнице. Катерина бросилась за ней и догнала ее на тротуаре. Уговоры были напрасны, и она бежала за ней, на ходу застегивая свою кофту. Дорога показалась ей необыкновенно длинной. Она все жаловалась на свои старые ноги:

— Да и то сказать, мне уже не до любовных чувств.

Но затем она растрогалась:

— Бедное сердечко! Только и есть у тебя, что твоя Като!

По временам она начинала беспокоиться:

— Ну, и хороши мои дела. Что, если отец прогнется! Господи, помилуй! Лишь бы чего не приключилось.

У театра Варьетэ их задержал патруль национальных гвардейцев. Луиза тотчас же придумала, что она с нянькой идет за врачом на улицу Рюмфор. Их пропустили.

На углу площади Мадлен они наткнулись на второй патруль, и Луиза заявила то же самое. Но один из граждан, отозвался.

— Это десятимесячная болезнь, моя кошечка.

— Гужибо!—крикнул капитан,—в строю не дурачатся!—Сударыня, проходите!

Но несмотря на это внушение, остроты так и сыпались.

— Желаем получить удовольствие!

— Привет доктору!

— Не попадитесь в лапы волку!

— Любят позубоскалить!—громко заметила Катерина.—Все молодость!

Наконец, они добрались до квартиры Фредерика. Луиза несколько раз с силой рванула звонок. Дверь приотворилась, и привратник ответил на ее вопрос:

— Нет дома.

— Он, наверное, спит?

— Говорят вам, нет дома. Вот уже месяца три не почувет.

И окошечко в каморке привратника хлопнуло, точно гильотина. Они оставались в темноте, под воротами. Гневный голос крикнул им.

— Выходите же!

Дверь опять отворилась, они вышли. Луиза принуждена была присесть на тумбу; опустив голову на руки, она заплакала безудержно, от всего сердца. Рассветало, гремели телеги.

Катерина повела ее домой, поддерживая, целуя. Она приводила ей всякие утешения, почерпнутые из собственного опыта. Не нужно так убиваться из-за мужчин. Изменит один, найдутся другие!

III.

Когда энтузиазм Розанеты к гвардейцам несколько остыл, она сделалась еще очаровательней, чем прежде, и Фредерик незаметно для самого себя стал проводить у нее жизнь.

Самым лучшим временем было для них утро на террасе. В батистовом халатике и в туфлях на босу ногу она сновала вокруг него, чистила клетку чижей, мыла воду золотым рыбкам и разрыхляла каминной лопаткой землю в ящике, откуда трельяжем поднимались по стене капуцины. Потом, облокотившись на перила балкона, они разглядывали экипажи, прохожих, грелись на солнце, строя планы на вечер. Он отлучался часа на два, не более, затем они ехали в какой-нибудь театр, брали литерную ложу; Розанета, с пышным букетом в руках, слушала оркестр, тогда как Фредерик, склонясь к ее уху, рассказывал ей забавные истории или нашептывал любезности. Иной раз они брали коляску и ехали в Булонский лес; они катались долго, до глубокой ночи. Наконец, они возвращались домой через Триумфальную арку, по большому проспекту, вдыхая свежий воздух; над их головами блистали звезды, а впереди, до самого конца перспективы, газовые рожки тянулись точно двойная нить светящихся жемчужин.

Фредерику всегда приходилось дожидаться ее, когда они выезжали; она очень долго завязывала у подбородка ленты своей шляпки; стоя перед зеркальным шкапом, она улыбалась самой себе. Взяв его под руку, она заставляла его смотреться в зеркало с ней:

— Смотри, какая из нас получается прекрасная пара! Ах, душечка, так и взяла бы да и с'ела тебя!

Теперь он был ее вещью, ее собственностью. От этого лицо ее постоянно сияло; в то же время ее движения сделались более томными, формы более округлыми; он находил, что она изменилась, хотя не мог объяснить, в чем именно.

Однажды она сообщила ему, как очень важную новость, что Арну открыл магазин белья для своей бывшей

заводской работницы: «он бывает у нее каждый вечер, тратит на нее массу денег и не далее, как на прошлой неделе подарил ей даже палисандровую мебель».

— Откуда ты это знаешь?—спросил Фредерик.

— О, мне это доподлинно известно!

Дельфина, по ее приказанию, навела справки.

Значит, она еще любит Арну, если так сильно интересуется им! Но он удовольствовался тем, что заметил:

— Какое тебе дело до всего этого?

Розанету, видимо, удивил этот вопрос.

— Но эта каналья должен мне. Разве не противно, что он содержит какую-то шваль!

Потом торжествуя и злорадно прибавила:

— Впрочем, она здорово издевается над ним. У нее кроме него еще трое. И прекрасно! Пусть она оберет его до последней нитки, я буду очень довольна.

Арну, действительно, позволял со всей снисходительностью старческой влюбленности Бордоске эксплуатировать себя.

Работа на его заводе стояла; дела находились в плачевном состоянии; сначала, чтобы поправить их, он придумал открыть кафэ-шантан, где пелись бы лишь патристические песни. Если бы министр дал согласие на субсидию, это предприятие могло бы сразу послужить очагом пропаганды и источником доходов. Но, с переменой правительственного курса, это стало невозможным. Теперь он мечтал о большой мастерской военных головных уборов. Но у него не было денег для почина.

Он был не более счастлив и в семейном кругу. Г-жа Арну становилась все менее и менее снисходительной к чему и подчас даже бывала немного жестокой. Марта всегда была на стороне отца. Это увеличивало рознь, и домашний быт стал невыносим. Часто он уходил с самого утра, коротая день, совершая длинные прогулки, чтобы забыться, потом обедал в загородном кабачке, предаваясь размышлениям.

Продолжительное отсутствие Фредерика нарушало его привычки. Он просил того о свидании. Таким-то образом, в один прекрасный день Арну явился к нему, умолял его бывать у них, как прежде, и добился согласия.

Между тем, Фредерик не смел показаться на глаза к г-же Арну. Ему казалось, что он изменил ей. Но не пойти было явной трусостью. Ему нечем было отговориться. Нужно было положить этому конец, и однажды вечером он отправился в путь.

Шел дождь; он укрылся в пассаже Жуффруа и, при свете из окон магазинов, увидел толстого человечка в фуражке, который и подошел к нему. Фредерик сразу узнал в нем Компэна, оратора, предложение которого вызвало такой взрыв смеха в клубе. Он опирался на руку какого-то человека в нахлобученной зуавской шапке, с длинной верхней губой, с оранжевым цветом лица и с эспаньолкой, который восторженно смотрел на него большими блестящими глазами.

Компэн, очевидно, гордился им, ибо он произнес:

— Позвольте представить вам этого молодца: мой друг, сапожник и патриот. Не выпить ли нам чего-нибудь?

Фредерик отказался, поблагодарив его; тогда тот немедленно разразился речью против предложения Рато, говоря, что это проделка аристократов: нужно повторить 93 год! Потом он осведомился о Режембаре и о некоторых других, столь же знаменитых гражданах, как-то: о Масселэне, Сансоне, Лекорню, Марешале и о некоем Дэлорье, скомпрометированном в деле о перехваченных в Труа карабинах.

Все это было новостью для Фредерика, да и Компэн знал не более того. Прощаясь, он сказал:

— До скорого свидания, не правда ли! Ведь и вы принимаете участие?

— В чем?

— В телячьей голове?

— В какой телячьей голове?

— Ах, шутник! — возразил Компэн, потрепав его по животу.

И оба террориста вошли в кафэ.

Через десять минут Фредерик уже забыл о Дэлорье. Он остановился перед домом на улице Паради и смотрел во второй этаж, где за занавесками светилась лампа.

Наконец поднялся по лестнице.

— Арну дома?

Горничная ответила:

— Нет. Но все равно, пожалуйста.

И, быстро распахнув дверь, доложила:

— Барыня, г. Моро.

Она поднялась, бледная, как ее воротничек. Она вся дрожала.

— Чему я обязана честью... столь неожиданного визита?

— Ничему, кроме удовольствия повидать старых друзей.

И, усаживаясь, он спросил:

— Как поживает милейший Арну?

— Прекрасно. Его нет дома.

— А, понимаю, старая привычка развлекаться по вечерам!

— А почему бы ему и не развлекаться? После целого дня вычислений голове нужно отдохнуть.

Она даже стала расхваливать мужа, как труженика. Эта похвала раздражала Фредерика; заметив у нее на коленях кусок черного сукна, который она отделявала голубым суташом, он спросил:

— Что вы делаете?

— Кофточку для дочери.

— Кстати, я не вижу ее, где же она?

— В пансионе, — ответила г-жа Арну.

Слезы навернулись у нее на глазах; она сдерживалась, чтобы не расплакаться, быстро втыкая иглу, чтобы побороть неловкость. Он взял номер «Illustration», лежавший на столе возле нее.

— Не правда ли, как забавны эти карикатуры Хама?

— Да.

Потом оба замолчали.

Порыв ветра внезапно потряс раму.

— Что за погода, — произнес Фредерик.

— В самом деле, как это любезно с вашей стороны прийти в такой дождь!

— О, это пустяки! Я не из тех, кому дождь мешает приходить на свидание.

— На какое свидание? — спросила она наивно.

— Вы не помните?

Дрожь охватила ее, она опустила голову. Тогда он мягко положил свою руку на ее плечо.

— Уверю вас, что вы причинили мне большое страдание.

Она возразила с какой-то жалостью в голосе:

— Но я так боялась за моего ребенка!

Она рассказала ему о болезни маленького Эжен и обо всех ужасах того дня.

— Благодарю, благодарю вас! Я не сомневаюсь больше! Я люблю вас, как всегда!

— Ах, нет! это не правда!

— Почему?

Она холодно посмотрела на него:

— Вы забыли о другой. О той, с кем вы были на скачках. О женщине, портрет которой находится у вас, о вашей любовнице.

— Что же, это правда! — вскричал Фредерик. — Я ничего не отрицаю. Я — подлец. Но послушайте меня.

Если он и сошелся с ней, то только от отчаяния; он как бы совершил самоубийство. Впрочем, он сделал ее счастливой, чтобы отомстить ей за свой собственный позор.

— Ведь это пытка! Неужели вы не понимаете?

Г-жа Арну обратила к нему свое прекрасное лицо и протянула ему руку, и они сомкнули глаза, погружаясь в опьянение, похожее на сладкое и бесконечное баюканье. Потом они долго сидели, созерцая друг друга, лицом к лицу, друг подле друга.

— Разве вы могли верить, что я не люблю вас больше?

Она тихо ответила голосом, полным ласки:

— Нет! вопреки всему, я чувствовала в глубине сердца, что это невозможно и что в один прекрасный день преграда между нами падет.

— И я тоже! А как смертельно хотелось мне снова увидеть вас!

— Однажды, — продолжала она, — в Палэ-Рояле, я прошла мимо вас.

— Правда?

Он заговорил о том, какое счастье было для него встретиться с ней у Дамбрес.

— Но как я ненавижу вас, уходя оттуда!

— Бедный.

— Моя жизнь так печальна!

— А моя... Если были бы только горести, тревоги, унижения, словом, все, что я выношу, как жена и мать, — все равно, все мы умрем, — я не жаловалась бы; но что ужасно, так это мое одиночество, ведь у меня никого нет!

— Но теперь я с вами!

— О, да!

Она поднялась с рыданием нежности, раскрыла объятия, и они, стоя, слились в долгом поцелуе.

Раздался скрип паркета. Около них стояла женщина — Розанета. Г-жа Арну узнала ее; широко раскрытыми глазами она воззрилась на нее, исполненная удивления и негодования. Наконец, Розанета сказала ей:

— Я пришла переговорить по делу с г. Арну.

— Его нет дома, вы видите.

— Ах! так это правда, — ответила Маршал, — значит, ваша прислуга не солгала. Извините.

Затем она обратилась к Фредерику:

— Ах, и ты здесь?

Это «ты», сказанное в ее присутствии, заставило г-жу Арну покраснеть, как от пощечины.

— Его нет, я повторяю вам.

Тогда Маршал, оглядевшись кругом, спокойно сказала:

— Что же, мы едем? Меня ждет извозчик.

Он притворился, что не слышит.

— Ну, идем же!

— Ах, да! Воспользуйтесь случаем! Поезжайте, поезжайте! — сказала г-жа Арну.

Они вышли. Она перегнулась через перила, чтобы увидеть их еще раз, и пронзительный, раздирающий хохот раздался над ними. Фредерик толкнул Розанету в экипаж, сел напротив и за весь путь не произнес ни слова.

Позор, которому он подвергся, произошел по соб-

ственной его вине! Он испытывал сразу и подавляющий стыд унижения, и сожаление об утраченном счастье; когда он чуть было не овладел им, наконец, оно погибло для него, погибло из-за нее, этой развратной, этой девки! Ему хотелось задушить ее; он задышался. Поднявшись к себе, он швырнул шляпу на кресло, сорвал с себя галстук.

— Ну и выкинула ты штуку!

Она встала перед ним с вызывающим видом:

— А что-ж, большой беды не вижу!

— Так ты шпионишь за мной!

— Разве я виновата, что ты ходишь развлекаться к честным женщинам.

— Это тебя не касается. Я не хочу, чтобы ты оскорбляла их.

— Чем же я оскорбила ее?

Ему нечего было ответить; и с еще большей ненавистью в голосе он сказал:

— А в тот раз на Марсовом поле...

— Ах, как ты надоел мне с твоими прежними...

— Негодная!

Он занес кулак.

— Не убивай меня! Я беременна!

Фредерик попятился.

— Ты лжешь!

— Но взгляни на меня!

Она взяла подсвечник и осветила свое лицо

— Неужто ты не видишь?

Крохотные желтые пятнышки покрывали ее кожу, странно припухшую. Фредерик не стал отрицать очевидности. Он распахнул окно, прошелся несколько раз взад и вперед, потом опустился в кресло.

Это событие было ужасно, прежде всего уже потому, что отдаляло их разрыв, а тем самым разрушало все его планы. Кроме того, мысль быть отцом казалась ему дикой, недопустимой. Хотя... Если бы вместо Маршала... И его мечты погрузились в такую глубину, что стали подобны галлюцинации. Он видел на ковре, у камина, маленькую девочку. Она была похожа на г-жу Арну и

немного на него самого; брюнетка, но беленькая, с черными глазами, с очень длинными бровями и с розовой ленточкой во вьющихся волосах. О, как бы он любил ее! И ему казалось, что он слышит ее голос: «папа! папа».

Рованета, успевшая раздеться, подошла к нему, заметила слезу на его ресницах и торжественно поцеловала его в лоб. Он поднялся, говоря:

— Что же, не душить же этого мальчика!

Тогда она дала волю словам. Родится мальчик,— непременно. Его будут звать Фредериком. Пора начать готовить для него приданое. Видя ее столь счастливой, Фредерик почувствовал к ней жалость. Он не испытывал более злобы, и ему захотелось узнать о причине только что совершенного ею поступка. Оказалось, что Ватназ предъявила давно уже просроченный вексель; она и побежала к Арну, чтобы достать денег.

— Я дал бы их тебе,—сказал Фредерик.

— Но еще проще было взять у Арну то, что он мне должен, и отдать той ее тысячу франков.

— Это все, что ты ей должна?

Она ответила:

— Разумеется.

На другой день в девять часов вечера (время, указанное привратником) Фредерик отправился к г-же Ватназ.

В прихожей он наткнулся на груды мебели. На шум голосов и музыки он пробрался к двери и, открыв ее, очутился на рауте. Стоя около пианино, за которым сидела девица в очках, Дельмар, серьезный, как первосвященник, декламировал чувствительное стихотворение о проституции, и его замогильный голос переливался под музыку. Женщины расположились вдоль стены; почти все они были одеты в темные платья, без воротничков и манжет. Пять или шесть мужчин—все мыслители—сидели там и сям на стульях. В кресле покоился старый баснописец, совершенная развалина. Острый запах двух ламп смешивался с ароматом шоколада, налитого в чашки, уставленные на ломберном столе.

Ватназ, с восточным шарфом вокруг бедер, сидела в углу у камина. Дюссардые помещался в другом напротив;

вид у него был немного смущенный—он видимо чувствовал неловкость своего положения. Кроме того и артистическая среда стесняла его.

Покончила ли Ватназ с Дельмаром? Может быть и нет. Однако, повидимому, она ревновала бравого приказчика. Когда Фредерик дал ей понять, что ему надо сказать ей пару слов, она сделала знак, чтобы и Дюссардые шел с ними в спальню, где они были отражены от назойливости дам. Получив тысячу франков, она потребовала еще проценты.

— Не стоит, — заметил Дюссардые.

— Это не твоё дело.

Такое малодушие со стороны человека, столь отважного, было приятно Фредерику, как оправдание его собственной слабости. Он возвратил Розанете вексель и ни разу не заговаривал больше о скандале в доме г-жи Арну. Но с этих пор для него стали особенно заметны недостатки Маршала.

У нее был неисправимо дурной вкус, необъяснимая лень, невежество дикарки, доходящее до того, что она смотрела на доктора Дэрожи, как на большую знаменитость; она гордилась, что он бывает у нее со своей супругой, так как они «женатые люди». Она с педантичным видом преподавала советы некоей Ирме, несчастному существу, обладающему небольшим голоском; у нее был покровитель, «очень приличный» господин, бывший таможенный чиновник, умевший ловко показывать фокусы с картами; Розанета звала его «мой толстый пупсик»; Фредерик не мог выносить точно также вечного повторения иных ее пошлых фраз. Она сама сметала со своих безделушек пыль, надевая старые белые перчатки и упорствовала в этом. Но особенно возмущало его, как она обращалась с прислугой: жалованье постоянно задерживалось и у нее даже бралось взаймы. В дни, когда сводились счета, барыня и служанка ругались, как торговки, потом мирились, обнимались. Наедине с Розанетой Фредерик начал томиться скукой. Большим утешением было для него возобновление вечеров у г-жи Дамбрез.

Та, по крайней мере, занимала его. Ей были известны все светские интриги, все будущие назначения посланников, достоинства портних; если и случалось, что она говорила общие места, то она облекала их в столь условную форму, что ее фраза могла сойти или за выражение почтительности, или за иронию. Нужно было видеть, как она держалась в кругу двадцати гостей, ни на секунду не забывая ни о ком, добиваясь желательных для нее ответов, избегая рискованных тем. Всякий пустяк, сказанный ею, казался дружеским признанием; малейшая улыбка ее вызывала мечты; словом, ее обаяние, подобно ее любимым тонким духам, было сложно и неизъяснимо. Фредерик всякий раз испытывал в ее обществе удовольствие новизны; и в то же время он находил ее всегда одинаково ясной, как зеркальность прозрачных вод. Но почему в обращении с племянницей она проявляла такую холодность? Иногда она даже бросала на нее весьма странные взгляды.

Как только поднялся вопрос о ее замужестве, она указала мужу на слабое здоровье «дорогого ребенка», и увезла племянницу на воды в Баларюк. По возвращении оттуда возникли новые препятствия: у молодого человека не было никакого положения, его любовь, повидимому, не серьезна, вернее будет пообождать. Мартинон ответил, что он подождет. Его поведение было поразительно. Он восхвалял Фредерика. Мало того: он учил его, как понравиться г-же Дамбрез, и даже давал понять, что он знает через племянницу о чувствах тетки к нему.

Что до г. Дамбрез, то он далек был от ревности, а напротив, окружил вниманием своего молодого друга, даже заболтался о его будущности и однажды, когда говорили о старике Роке, сказал Фредерику на ухо с лукавым видом:

— Вы хорошо сделали!

Сесиль, мисс Джон, прислуга, привратник—все в доме относились к Фредерику с большой симпатией. Он бывал там каждый вечер, оставляя Розанету в одиночестве. Предстоящее материнство делало ее серьезнее; она стала даже слегка печальна, точно что-то заботило ее. На все вопросы она отвечала:

— Ты ошибаешься! Я чувствую себя хорошо.

В свое время она выдала пять векселей и, не смея сойтись в этом Фредерику после того, как он оплатил один из них, опять обратилась к Арну, который и обещал в письменной форме третью часть прибыли с выгодного предприятия—освещение газом городов Лангедока, но просил ее не предъявлять этого документа ранее собрания акционеров; собрание же все откладывалось с недели на неделю.

Между тем Маршалу деньги были необходимы. Но она скорее умерла бы, чем попросила бы у Фредерика. Она ни за что не хотела брать их у него. Это могло принизить их любовь. Он оплачивал расходы по хозяйству; но карета, нанятая ежемесячно, и другие необходимые траты, связанные с частым посещением Дамбрезов, не позволяли ему уделять большую сумму своей любовнице. Два или три раза, придя к ней в неурочное время, он видел, казалось, мужские спины, исчезающие за дверью; часто она уходила, упорно не говоря куда. Да Фредерик и не пытался вникнуть во все эти мелочи. Вскоре ему предстояло принять окончательное решение. Он мечтал о другой жизни, которая была бы увлекательнее и благородней, и эта мечта делала его снисходительным к дому Дамбрезов.

То было филиальное отделение дома на улице Пуатье. Там Фредерик встречал великого А., знаменитого Б., глубокомысленного В., красноречивого Г., всеобъемлющего Д., словом, старых запевал левого центра, палатников правого, зубров центра и всех вечных статистов этой комедии. Он был поражен их отвратительными речами, мелочностью, злопамятством, вероломством: все эти люди, голосовавшие за конституцию, силились ее уничтожить; все они много кипятились, выпускали воззвания, памфлеты, биографии; биографии Фюмишона, составленная Гюссонэ, была шедевром. Нонанкур занимался пропагандой по деревням, де-Гремонвиль обрабатывал духовенство, Мартинон объединял вокруг себя молодых буржуа. Каждый трудился по мере сил, даже Сиви. Теперь он стал серьезен и по целым дням разъезжал в кабриолете по делам партии.

Г. Дамбрез, как барометр, неизменно выражал все политические колебания. Теперь уже не говорили о Ламартине без того, чтобы не процитировать слов, сказанных каким-то простолюдином: «довольно лир». Кавеньяк, в его глазах, был не более как предатель. Президент, которым он восхищался в течение трех месяцев, начал терять его уважение, — он не находил в нем «необходимой энергии»; так как ему всегда нужен был какой-нибудь спаситель, то он, после событий возле Консерватории, чувствовал признательность к Шангарнье: «Слава Богу, Шангарнье... Будем надеяться, что Шангарнье... Чего опасаться, раз Шангарнье»...

Выше всех превозносили теперь Тьера за его книгу против социализма, где он проявил себя не только писателем, но и мыслителем. Безмерно потешались над Пьером Леру, который постоянно приводил в Палате выдержки из философов. Изощрялись в остроумии над фаланстерами. Ходили в театр на «Ярмарку идей» и горячо аплодировали, сравнивая авторов с Аристофаном. Фредерик, вместе с другими, тоже побывал там.

Политическое пустословие и хороший стол притупляли его нравственное чувство. Какими бы посредственными ни казались ему эти люди, он все же гордился, что знаком с ними, и в душе желал достигнуть буржуазного почета. Такая любовница, как г-жа Дамбрез, могла сразу поставить его на надлежащую высоту.

Он принялся делать все, что было для этого нужно.

Он всегда бывал там, где она гуляла, в театрах не упускал случая войти в ее ложу, чтобы засвидетельствовать ей свое почтение; он знал, в какие часы она ходит в церковь, и становился там у колонны, в меланхолической позе. Между ними установился непрерывный обмен записок по поводу различных новинок, концертов, прочтенных книг и журналов. Кроме обычного вечернего посещения, он иногда бывал у нее и днем; он испытывал возрастающее удовольствие, въезжая в ворота, проезжая по двору, входя в переднюю, проходя гостиной и, наконец, попадая в ее будуар, молчаливый, как гробница, теплый, как альков, где он то и дело наткался на шелковую стеганую мебель, расставленную среди всевоз-

можных вещей: шифоньерок, экранов, чаш и подносов, лакированных, малахитовых, черепаховых или слоновой кости, дорогих безделушек, которые то и дело менялись. Были там и простые вещи: три голыша из Этрета, заменяющие пресс-папье, фламандский чепчик, висевший на китайских ширмочках; все эти предметы, однако, гармонично сочетались. Общее впечатление было даже запечатлено благородством, происходило ли это от высоты потолка, от роскошных портьер и от длинной шелковой бахромы, спускавшейся с золоченых табуреток.

Она почти всегда сидела на одном и том же маленьком диване, около жардиньерки, заполнявшей амбразуру окна, а он присаживался на большой пуф на колесиках; он говорил ей комплименты, по возможности близкие к истине; а она смотрела на него, склонив немного на бок голову, с улыбкой на устах.

Он читал ей стихи и в чтение вкладывал всю душу, желая тронуть ее, произвести на нее впечатление. Она останавливала его каким-нибудь неблагоприятным замечанием или практическим указанием, и разговор беспрестанно возвращался к вечному вопросу о любви. Они спрашивали друг друга, что вызывает ее, тоньше ли чувствуют женщины, чем мужчины, и в чем разница в их чувствах. Фредерик высказывал свое мнение, избегая в одно и то же время и грубости, и приторности. Между ними возникла как бы борьба, минутами приятная, но по временам томительная и пустая.

Он не испытывал рядом с ней ни того восхищения, которое он питал к г-же Арну, ни той беспорядочной веселости, которую вызывала в нем раньше Розанета. Но он жаждал ее, потому что она была необыкновенна и недоступна, потому что она была родовита, богата, набожна. Он воображал, что она обладает утонченностью чувств, столь же редкой, как ее кружева, что она носит ладанки на голом теле и стыдлива в своей развращенности.

Старая любовь сослужила ему службу. Он высказал ей все то, что некогда перечувствовал благодаря г-же Арну, будто бы это было внушено ему ею; все свои томления, смутные опасения и мечты. Она принимала все

это, как женщина, привыкшая к подобным признаниям, не отталкивая его, но и не уступая ему ни в чем, и ему так же мало удавалось соблазнить ее, как Мартинону жениться. Чтобы разрушить эту свадьбу, г-жа Дамбрез обвинила его в том, что он женится из-за денег, и попросила мужа испытать его. Г. Дамбрез объявил молодому человеку, что Сесиль сирота, дочь бедных родителей, что она бесприданница, что в будущем у нее нет никаких «надежд».

Не поверил ли Мартинон этому, или уже слишком далеко зашел, или действовал из идиотского упрямства, которое граничит с гениальностью, но только он ответил, что отцовское состояние, дающее ему в год пятнадцать тысяч ливров, будет для них вполне достаточно. Такое неожиданное бескорыстие растрогало банкира. Он обещал внести за него залог, нужный для того, чтобы получить место сборщика податей, и выхлопотать это место. И в мае 1850 года Мартинон обвенчался с Сесиль. Бала не давали. Молодые в вечер своей свадьбы уехали в Италию. Фредерик на следующий день посетил г-жу Дамбрез. Она показалась ему бледнее обыкновенного. Она резко оборвала его по поводу двух или трех незначущих вопросов. Впрочем, все мужчины эгоисты!

Однако, среди них бывают и преданные,—хотя бы он...

— Ах, ну вас! И вы такой же, как и все!

Веки у нее были красны; видно было, что она плакала. Потом, сияясь улыбнуться, она прибавила:

— Извините меня. Я не права! Мне пришли на ум грустные мысли.

Он ничего не понимал.

— Она не так сильна, как я полагал,—подумал он.

Она позвонила и приказала подать воды; сделав глоток, она отдала стакан, потом начала жаловаться на прислугу. Чтобы развлечь ее, он предложил себя в качестве слуги, уверяя, что он умеет подавать на стол, обметать мебель, докладывать о гостях,—словом, может быть хорошим лакеем или скорее егерем, хотя на них уже прошла мода. Он желал бы ездить у нее на запятках в шляпе с петушиными перьями.

— Как бы я величественно выступал за вами, неся на руках собаченку.

— Да вы превеселый! — сказала г-жа Дамбрез.

— А не безумие ли смотреть на все серьезно! И без того довольно всяких неприятностей, чтобы еще создавать их! Ничто в мире не достойно печали.

Г-жа Дамбрез подняла брови с видом неопределенного одобрения.

Такое совпадение во взглядах подвигло Фредерика на большую смелость; прежние неудачи научили его правильно учитывать положение.

— Наши деды жили лучше. Нужно повиноваться инстинкту. Любовь, в конце концов, вовсе уж не столь важная вещь!

— Но то, что вы говорите—безнравственно!

Она вновь присела на диван, он поместился с краю, почти у ее ног.

— Разве вы не видите, что я лгу? Для того, чтобы нравиться женщинам, нужно выказывать беззаботность шута или ярость трагика. Они насмеются над нами, когда мы просто говорим, что любим их. Я же нахожу гиперболы, которые их так забавляют, профанацией истинной любви; так что я не знаю, в конце концов, как выразить ее, особенно для тех, которые... очень умны.

Она внимательно смотрела на него, прищурив глаза. Он понижал голос, наклонившись к ее лицу.

— Ах, вы пугаете меня! Я оскорбляю вас, может быть... Простите... Не моя вина, что я не мог смолчать. Вы так прекрасны.

Г-жа Дамбрез совсем закрыла глаза, и он был удивлен легкостью своей победы. Деревья в саду, мягко шелестевшие, замерли. Недвижные облака испещряли небо длинными красными полосами; мгновенно вся жизнь приостановилась. И ему смутно вспомнились другие подобные вечера с такой же тишиной... Где это было?

Он опустился на колени, взял ее руку и поклялся в вечной любви. Когда он уходил, она знаком подозвала его и сказала:

— Возвращайтесь к обеду. Мы будем одни.

Фредерику казалось, когда он спускался по лестнице,

что он сделался другим человеком, что его окружает душевное благоухание теплицы, и что он вошел в высший свет, в мир патрицианских интриг и великосветского адюльтера. Чтобы занять там первое место, достаточно иметь связь с подобной женщиной. Она, конечно, жаждет деятельности и власти; выйдя замуж за человека посредственного, она бесконечно много сделала для него, теперь же захотела, чтобы кто-нибудь более сильный стал руководить им. Теперь нет ничего невозможного! Он чувствовал себя способным проехать верхом миль двести, без усталости работать несколько ночей кряду; сердце его было переполнено тщеславием.

По тротуару впереди него шел человек в старом пальто, с опущенной головой и с таким измученным лицом, что Фредерик повернулся, чтобы посмотреть на него. Прохожий поднял голову. Это был Дэлорье. Он колебался. Фредерик бросился к нему на шею.

— Ах, мой бедный друг! Да ты ли это?

И он повел его к себе, забрасывая бессвязными вопросами.

Бывший комиссар Ледрю-Роллена сперва рассказал о всех превратностях, какие ему пришлось испытать. Он проповедывал братство консерваторам и уважение к законам социалистам, и за это одни стреляли в него, другие приносили веревки, чтобы его повесить. После июньских дней его в грубой форме отрешили от должности. Он принял участие в заговоре: заготовке оружия, захваченного в Труа. Его арестовали, но за недостатком улик выпустили. После этого он был послан в Лондон революционным комитетом и там подрался со своими товарищами на банкете. По возвращении в Париж...

— Почему ты не пришел ко мне?

— Ты никогда не бывал дома. Твой швейцар принимал таинственный вид, я не знал, что и подумать; впрочем, мне и не хотелось показываться тебе в качестве победжденного.

Он стучался в двери Демократии, предлагая служить ей пером, словом, делами; но отовсюду его отвергали, никто не доверял ему; он уже продал свои часы, книги, белье.

— Лучше бы уж околевать на каторге в Бельиле вместе с Сенекалем!

Фредерик, завязывавший в эту минуту галстук, не выразил большого волнения при этом известии.

— А он таки сослан, наш милейший Сенекаль?

Дэлорье, с завистью оглядев стены, проговорил:

— Не всем так повезло, как тебе!

— Извини меня, — сказал Фредерик, делая вид, что не заметил намека, — сегодня я приглашен на обед. Я распоряжусь, чтобы тебе дали поесть. Заказывай, что хочешь. Спать ложись на мою постель.

Перед таким искренним радушием у Дэлорье исчезла горечь.

— На твою постель? Но ведь это стеснит тебя?

— Нисколько. У меня есть другие.

— Ну вот и отлично, — продолжал адвокат, смеясь...

Где же ты обедаешь?

— У г-жи Дамбрез.

— Не то ли... чего доброго...

— Ты слишком любопытен, — сказал Фредерик с улыбкой, подтверждавшей его предположение.

Потом, взглянув на часы, он снова сел.

— Так вот как! И не нужно отчаиваться, старый защитник народа!

— Боже сохрани, пусть другие этим занимаются!

Адвокат ненавидел теперь рабочих, слишком он уже натерпелся от них у себя в провинции, в каменноугольном округе. Каждая шахта имела свое временное правительство и давала ему приказания.

— Впрочем, они везде отличились: в Лионе, Лилле, Гавре, Париже. По примеру фабрикантов, которые хотели уничтожить ввоз иностранных товаров, эти господа требовали изгнания рабочих английской, немецкой, бельгийской и савойской национальностей. Что касается их умственного развития, то лучшее доказательство его — их знаменитые общества подмастерьев времен Реставрации. В 1830 г. они вступили в национальную гвардию, но даже и там не сумели занять господствующего положения. Разве на другой день после революции 48 г. ремесленные цехи не восстали из мертвых со своими знаменами? Они

требовали депутатов из своей среды, которые отстаивали бы только их собственные интересы, вроде представителей свеклосахарной промышленности, которые только и заботятся, что о свекле. Ах, с меня достаточно этих голубчиков, падающих ниц то перед эшафотом Робеспьера, то перед сапогом императора, то перед зонтиком Луи-Филиппа; этот подлый народ вечно пресмыкается перед тем, кто затыкает ему глотку куском хлеба! Все кричат по сей день о продажности Талейрана и Мирабо; но возьми хоть посыльного на углу; поверь, что он продаст отечество за пятьдесят сантимов, если ему пообещают повысить таксу за конец до трех франков. Ах, какое заблуждение! Следовало бы поджечь Европу со всех четырех концов!

Фредерик возразил:

— Не доставало искры! Вы были просто мелкими буржуа, и даже лучшие из вас—педантами. Что до рабочих, то они могут жаловаться: ведь, если исключить миллион, оставшийся от гражданского листа, который был им поднесен с самой низкой лестью, они ничего, кроме фраз, с вас не получили. Расчетные книжки остались в руках хозяев, и таким образом тот, кто получает жалованье, даже перед судом остается всегда в зависимости от своего хозяина: его словам не придают веры. Вообще республика кажется мне устаревшей формой правления. Может быть, прогресс осуществим только для аристократии или даже для одного человека! Инициатива идет всегда сверху. Народ несовершеннолетний, что бы там ни утверждали!

— Это, может быть, и верно!—сказал Дэлорье.

По мнению Фредерика, большинство граждан мечтало лишь о покое (он кое-чему научился в доме Дамбрезов) и все шансы были на стороне консерваторов. Между тем, этой партии не достает свежих людей.

— Если бы ты выставил свою кандидатуру, то я уверен...

Он не закончил. Дэлорье понял, провел обеими руками по лбу; потом вдруг сказал:

— Ну а ты? Тебе кто же мешает быть депутатом!

По случаю дополнительных выборов, в Обском департаменте освобождается кандидатура. Г. Дамбрез прошел в законодательное собрание по другому округу.

— Хочешь, я примусь за это дело?

У него большое знакомство среди кабатчиков, учителей, врачей, клерков, нотариусов.

— Крестьян же можно уверить в чем угодно.

Фредерик чувствовал, как вновь загорается в нем честолюбие.

Дэлорье прибавил:

— А тебе следует приискать мне место в Париже.

— О, это будет не трудно через Дамбрез!

— Раз что мы говорили о каменноугольной промышленности,—продолжал адвокат,—в каком положении эти предприятия? Вот подходящее для меня занятие! Я был бы и им полезен, и сохранил бы вместе с тем свою независимость.

Фредерик обещал познакомить его с банкиром в ближайшие дни.

Обед наедине с г-жей Дамбрез был восхитителен. Она посылала ему улыбки, сидя на противоположном конце стола, через корзинку цветов, при свете висячей лампы; окно было открыто, видны были звезды. При слугах они говорили очень мало из предосторожности, но как только те исчезали, посылали друг другу воздушные поцелуи. Он сообщил ей о своем желании баллотироваться в Палату. Она одобрила это намерение, взялась даже уговорить мужа посодействовать ему.

Вечером собралось несколько друзей, чтобы поздравить ее и посоветовать ей: должно быть ей очень грустно было лишиться племянницы? Но все-таки правы новобрачные, отправившись путешествовать: в будущем это сделать будет труднее, пойдут хлопоты, дети! Правда, Италия не отвечает тому представлению, какое о ней составляешь заранее. Впрочем, они ведь в возрасте иллюзий, а медовый месяц все скрасит! Двое пересидели всех—де Гремонвиль и Фредерик. Дипломат долго не хотел уходить. Наконец, в полночь он поднялся. Г-жа Дамбрез сделала знак Фредерику, чтобы он ушел вместе с ним, и поблагодарила его за это повиновение таким пожатием руки, которое было сладостнее всего остального.

Маршал вскрикнула от радости, увидев его. Она ждала его уже пять часов. Он оправдался тем, что, в интересах

Дэлорье, ему пришлось предпринять необходимые визиты. Его лицо имело победный вид, оно было словно окружено сиянием, так что Розанета была ослеплена.

— Может быть, к тебе так идет фрак? Но я еще никогда не видала тебя таким красивым! Как ты красив!

В порыве нежности она поклялась в душе никогда не принадлежать никому другому, хотя бы ей пришлось содохнуть с голоду.

Ее красивые влажные глаза сверкали такой могучей страстью, что Фредерик привлек ее к себе на колени и подумал: «ах, какой я негодяй!»—весьма, однако, удовлетворенный собственной испорченностью.

IV.

Когда Дэлорье явился к Дамбрезу, тот как раз размышлял о том, как оживить свое огромное каменноугольное предприятие. На слияние всех компаний в одну смотрели косо; кричали, что это будет монополия, как будто для подобных начинаний не требовалось огромных капиталов.

Дэлорье только что умышленно прочел сочинение Гобэ и статьи Шаппа в „*Journal des Mines*“, а потому был прекрасно осведомлен по этому вопросу. Он указал на то, что закон 1810 г. установил для концессионеров неотъемлемые права. Впрочем, ведь можно придать предприятию демократический оттенок; мешать же объединению каменноугольных компаний—это покушение против самого принципа ассоциаций.

Дамбрез доверил ему свои заметки для составления докладной записки. Что до способа оплаты работы, то Дамбрез дал столь же щедрые, сколь и неопределенные обещания.

Дэлорье возвратился к Фредерику и сообщил ему о своих переговорах с Дамбрезом. Кроме того, когда он уходил, он встретил в под'езде г-жу Дамбрез.

— Могу поздравить тебя, чорт возьми!

Потом заговорили о выборах. Нужно было предпринять что-нибудь особенное.

Через три дня Дэлорье явился со статьей, предназначенной для газеты и написанной в форме частного письма Дамбреза, одобряющего кандидатуру их друга. Поддерживаемая консерватором и восхваляемая красным, эта кандидатура должна иметь успех. Но как мог капиталист подписаться под подобной статьей? Адвокат без малейшего стеснения показал ее г-же Дамбрез, которая нашла ее превосходной и все дальнейшее взяла на себя.

Этот поступок удивил Фредерика. Однако, он одобрил его; потом, узнав, что Дэлорье придется снести с г. Роком, рассказал ему о своих отношениях с Луизой.

— Говори им все, что хочешь: скажи, что мои дела запутаны, что я привожу их в порядок; она так еще молода, что может подождать.

Дэлорье уехал; а Фредерик стал смотреть на себя, как на человека очень ловкого. Да и вообще, он испытывал удовлетворение, глубокое довольство. Радость обладания богатой женщиной ничем не нарушалась; его чувство к ней приятно сочеталось с окружающей средой. Отныне жизнь доставляла ему одну лишь отраду.

Может быть, самая изысканная из этих радостей состояла в том, чтобы созерцать г-жу Дамбрез в ее гостинной, среди многолюдного общества. Строгая сдержанность ее манер вызвала в нем воспоминание о ливных ее позах; пока она говорила холодным тоном, ему вспоминался ее любовный лепет; уважение, оказываемое ее добродетели, услаждало его, точно оно относилось и к нему; иногда ему хотелось крикнуть: «Да, я знаю ее лучше вас! Она—моя!»

Их связь не замедлила стать известной, принятой всеми, как должное. Г-жа Дамбрез всю зиму вывозила Фредерика в свет.

Почти всегда он приезжал раньше ее; он видел, как она входила с обнаженными плечами, с веером в руке, с жемчугом в волосах. Она останавливалась на пороге, словно в раме, делала легкое нерешительное движение, прищуривая глаза, чтобы удостовериться, здесь ли он. Позже она увозила его в своем экипаже; дождь хлестал в окна кареты: пешеходы, как тени, шлепали по грязи; а они, прижавшись друг к другу, лишь мельком с прене-

брежительным равнодушием взирали на все это. Под разными предлогами, он оставался еще добрый час в ее комнате.

Она отдалась ему, главным образом, от скуки. Но этот последний опыт не должен был быть напрасным. Ей хотелось великой любви, сильной страсти и она принялась осыпать его ласками.

Она посылала ему цветы, вышила кресло, подарила портсигар, чернильницу, тысячу мелких вещей для ежедневного употребления, чтобы всякое его действие было связано с воспоминанием о ней. Эта предупредительность, очаровательная вначале, быстро ему приелась.

Она садилась на извозчика, останавливала его у какого-нибудь проезда, входила в него и выходила с другого конца; потом, скользя вдоль стен, с двойной вуалью на лице, она пробиралась до улицы, где Фредерик, поджидавший ее, быстро брал со двора ее под руку и вел к себе. Прислуга отпускаясь со двора, швейцару давалось какое-нибудь поручение; она оглядывалась вокруг: бояться было нечего!—и она облегченно вздыхала, подобно изгнаннику, снова увидевшему свое отечество. Удача придавала им смелости. Их свидания участились. Однажды вечером она неожиданно явилась в балльном туалете. Такие сюрпризы могли быть опасны; он пожурил ее за неосторожность; к тому же она не понравилась ему: открытый лиф слишком обнажал ее худую грудь.

Он, наконец, признал то, что так долго скрывал от себя: чувственное разочарование в ней. Тем не менее он притворялся страстно влюбленным; но для этого ему нужно было вызывать в памяти образы Розанеты или г-жи Арну.

Благодаря этому отмиранию чувства, мысль его оставалась ясна, и более, чем когда-нибудь, он жаждал занять высокое положение в свете. Имея подобную опору, он должен, по крайней мере, извлечь из нее пользу.

Около середины января, в одно утро к нему в кабинет вошел Сенекаль; на удивленное восклицание Фредерика он ответил, что он секретарь Дэлорье и привез ему письмо от него. В письме были хорошие вести, хотя

Дэлорье и бранил Фредерика за небрежность, и писал, что ему следовало бы приехать в Ножан самому.

Будущий депутат сказал, что он выедет послезавтра.

Сенекаль не высказал своего мнения на счет этой кандидатуры. Он говорил о собственной особе и о делах отечества.

Чем хуже, тем лучше: это верный путь к коммунизму. Прежде всего, сама власть ведет к этому, так как ежедневно правительство что-нибудь да забирает в свои руки. Что до собственности, то конституция 48 года, несмотря на все свои недостатки, не пощадила ее; во имя общественной пользы, государство отныне было в праве присваивать все, что оно сочтет подходящим. Сенекаль заявил, что он—сторонник правительства; а Фредерик усмотрел в его речах только преувеличенный отголосок мнений, которые он сам развил перед Дэлорье. Республиканец разразился громовой речью против бездарности масс.

— Робеспьер, защищая права меньшинства, привел Людовика XVI в Конвент и тем спас народ. Исход дела оправдывает его. Диктатура в иных случаях необходима. Да здравствует тирания, лишь бы тиран творил благо!

Спор затянулся. Перед уходом Сенекаль признался (может, это и было целью его прихода), что Дэлорье очень беспокоит молчание Дамбреза.

Но Дамбрез был болен. Фредерик бывал у него ежедневно; на правах близкого человека, его допускали к нему.

Отрешение от должности генерала Шангарнье взволновало капиталиста до чрезвычайности. В тот же вечер он почувствовал сильный жар в груди; появилась одышка, не позволявшая ему лежать. После пиявок ему стало лучше. Сухой кашель прошел, дыхание стало спокойнее; спустя неделю, плотая бульон, он сказал:

— Вот мне и лучше! Но я чуть было не сделал скачка в неизвестность!

— Без меня, никогда,—воскликнула г-жа Дамбрез,

давая тем самым понять, что она не в состоянии перенести его.

Вместо ответа он взглянул на нее и на ее любовника со странной усмешкой, заключающей покорность, и снисходительность, и иронию, и даже как будто скрытую веселость.

Фредерик хотел уехать в Ножан, г-жа Дамбрез встала против этого; и он то укладывался, то разбирал вещи, в зависимости от течения болезни банкира.

Неожиданно у Дамбреза появилось сильное кровотечение из горла. Консилиум «светил науки» не пришел ни к какому новому заключению. Ноги больного распухли, слабость увеличилась. Он много раз выражал желание видеть Сесиль, которая находилась на другом конце Франции со своим мужем, назначенным месяц тому назад сборщиком податей. Он требовал, чтобы ее вызвали. Г-жа Дамбрез написала три письма и показала их ему.

Не доверяя даже сестре милосердия, она ни на секунду не оставляла его и даже ночью не ложилась спать. Знакомые, расписывающиеся у швейцара, говорили о ней с восхищением; а прохожие испытывали почтение при виде множества соломы, которой была устлана улица под его окнами.

12 февраля, в 5 часов дня, открылось ужасающее кровоизлияние. Дежурный врач указал на опасность положения. Второпях послали за священником.

Во время совершения таинства, жена издала с любопытством следила за Дамбрезом. Потом молодой врач поставил ему мушку и стал ожидать последствий.

Свет от лампы, заслоненной мебелью, неровно освещал комнату; Фредерик и г-жа Дамбрез, стоя в ногах постели, наблюдали за умирающим. В амбразуре окна священник и врач в полголоса вели беседу; сестра милосердия, стоя на коленях, бормотала молитву.

Наконец, началось хрипение. Руки умирающего холодели, лицо начало бледнеть. Иногда он вдруг испускал глубокий вздох; вздохи эти делались все более и более редкими; два или три неясных слова вырвались

у него; он слабо вздохнул, закатил глаза, и голова его опустилась на подушку.

С минуту все стояли неподвижно.

Г-жа Дамбрез подошла и без усилия, с простотой исполняемого долга закрыла ему глаза.

Потом она развела руками, извиваясь, точно в припадке сдержанного отчаяния, и вышла из комнаты, поддерживаемая доктором и сестрой милосердия. Спустя четверть часа Фредерик вошел в ее спальню.

От изысканных вещей, наполнивших комнату, исходил какой-то неопределенный запах. На розовом покрывале постели, резко выделялось черное платье.

Г-жа Дамбрез стояла у камина. Не ожидая от нее большой скорби, Фредерик все же рассчитывал на легкую грусть и сочувственным тоном спросил:

— Тебе больно?

— Мне? Нет, нисколько.

Она повернулась, заметила платье и осмотрела его, потом сказала, чтобы он не стеснялся.

— Кури, если хочешь! Ты у меня!

И, глубоко вздохнув, добавила:

— Ах, Матерь Божия! Какое облегчение!

Фредерика удивило это восклицание. Он взял ее руку и, целуя, прибавил:

— Но ведь ты пользовалась свободой!

Этот намек на налаженность их любовных отношений, казалось, оскорбил г-жу Дамбрез.

— Ты не знаешь о тех услугах, которые я оказывала ему, и о тех муках, среди которых я жила!

— Разве?

— Ну, да! Разве я могла без тревоги видеть подле себя эту незаконнорожденную? Она была введена в дом через пять лет после свадьбы, и, если бы не я, он сделал бы из-за нее какую-нибудь глупость.

И она посвятила его в свои дела. Свободный контракт их устанавливал раздельность имуществ. Ее состояние доходило до трехсот тысяч франков. Дамбрез закрепил за ней на случай своей смерти пятнадцать тысяч годового дохода и дом. Но спустя некоторое время он напи-

сал завещание, в котором делал ее своей единственной наследницей, наследницей более трех миллионов.

Фредерик воззрился на нее.

— Для этого стоило потрудиться, не правда ли? Впрочем, я же ему помогла нажать их, так что я отстаивала свое же добро, я хлопотала для себя же. Сесиль ограбила бы меня, вопреки всякой справедливости.

— Почему она не приехала навестить отца? — спросил Фредерик.

При этом вопросе г-жа Дамбрез внимательно посмотрела на него; потом сухим тоном произнесла:

— Не знаю! Конечно, от бессердечности! О, я знаю ее! Ну, зато она не получит от меня ни полущки!

— Однако, она не была в тягость, по крайней мере, после замужества?

— Ах, это замужество! — язвительно сказала г-жа Дамбрез.

Она досадовала, что слишком хорошо относилась к этой дряни — ревнивой, корыстолюбивой и лицемерной. «Вся в папеньку!» Она все более и более нападала на него. Это был человек на редкость фальшивый, кроме того, безжалостный, жестокий, черствый, как камень, «дурной человек, дурной»!

Случается делать промахи и умным людям. Г-жа Дамбрез сделала такую ошибку, поддавшись наплыву ненависти. Фредерик, сидя против нее в кресле, молчал и возмущался.

Она встала и медленно опустилась к нему на колени:

— Ты один хороший! Только тебя я и люблю!

Она глядела на него, и сердце ее смягчилось; на глазах ее выступили слезы и она пробормотала:

— Хочешь жениться на мне?

Сперва ему показалось, что он не понял ее. Богатство ошеломило его. Она повторила громче:

— Хочешь жениться на мне?

Наконец, он сказал с улыбкой:

— А ты в этом сомневаешься?

Потом совесть заговорила и, чтобы сделать хоть что-нибудь для покойника, предложил провести ночь около

него. Но, устыдившись этого набожного порыва, он развязным тоном прибавил:

— Это, пожалуй, будет приличнее:

— Да, может быть, — сказала она, — ради прислуги.

Постель была выдвинута из алькова. Сестра милосердия стояла в ногах, в изголовьи — священник, но уже другой, высокий худощавый человек, по виду испанец и фанатик. На ночном столике, покрытом салфеткой, горели три свечи.

Фредерик взял стул и стал всматриваться в покойника.

Его лицо было желто, как солома; в углах рта обозначалась кровавая пена. На голове был фуляр, на теле вязаная фуфайка, в сложенных на груди руках — крест.

Прервалась жизнь, полная деятельности! Сколько раз он ездил в министерства, подводил итоги, затевал спекуляции, выслушивал отчеты! Сколько комедий, улыбок, низкопоклонства! Ведь он восторженно приветствовал Наполеона, казаков, Людовика XVIII, 1830 год, рабочих и каждое правительство, обожая власть такой любовью, что сам готов был платить за то, чтобы его купили.

Но он оставил имение в Ла-Фортель, три мануфактурные фабрики в Пикардии, Крансейский лес в департаменте Ионны, ферму близ Орлеана и очень ценную движимость!

Фредерик пересчитывал его богатства, думая: все это, однако, будет мое! Сначала он думал о том, «что скажут», потом о подарке матери, о своих будущих выездах, о старом кучере своей семьи, которого решил сделать швейцаром. Конечно, ливрею придется переменить. Большую гостиную он превратит в свой рабочий кабинет. Во втором этаже можно устроить картинную галерею, разобрав три стены. Внизу, пожалуй, удастся оборудовать ту рецкие бани. Что бы сделать с этой противной комнатой внизу — конторой Дамбреза?

Священник, который то и дело сморкался, сестра милосердия, мешавшая в камине угли, резко прерывали эти грезы. Но действительность подтверждала их; покойник находился тут. Его веки снова приоткрылись; зрачки хотя и были подернуты какой-то липкой пленкой, все же имели какое-то невыносимо загадочное выражение. Фредерику

казалось, что он читает в них осуждение себе и почти чувствовал угрызения совести, так как он никогда не имел повода пожаловаться на этого человека; напротив... «Ну, полно! Старый негодяй и только!» — И, чтобы ободриться, он всматривался в него, мысленно восклицая:

— Ну, что же? Разве я убил тебя?

Между тем, священник читал свой требник; сестра милосердия дремала в неподвижной позе; пламя трех свечей удлинялось.

В продолжение целых двух часов доносился глухой грохот повозок, двигавшихся на рынок. Стекла побелели, проехал извозчик, потом по мостовой простучало копытами стадо ослиц; стали доноситься удары молотка, крики разносчиков, почтовые рожки; все уже тонуло в оглушающем гуле просыпающегося Парижа.

Фредерик отправился по делам. Прежде всего он поехал в мэрию, чтобы сделать заявление о смерти; потом, получив от участкового врача удостоверение, опять заехал в мэрию, чтобы сообщить, какое кладбище выбрано семьей для погребения, потом направился в бюро похоронных процессий.

Служащий показал рисунок и программу; на первом были показаны различные разряды погребения, во второй давалось подробное их описание. Угодно колесница со ступеньками вокруг или же колесница с балдахином? Со шнурками ли должны быть лошади? С султанами ли гробовщики? Инициалы или герб? Нужны ли погребальные факелы, человек, чтобы нести орден, и сколько потребно карет? Фредерик заказывал все на широкую ногу. Г-жа Дамбрез решила не считаться с расходом.

Затем, Фредерик поехал в церковь.

Приходский викарий начал бранить похоронное бюро: к чему понадобилось отдельное лицо для несения орденов? Оно совсем не нужно. Лучше заказать побольше свечей! Условились, что заупокойная обедня будет с музыкой, Фредерик расписался под условием, обязуясь уплатить все сполна.

Затем он отправился в ратушу, для покупки могилы. Концессия два метра в длину и один в ширину стоила пятьсот франков.

— На пятьдесят лет или же на вечные времена приобретается место?

— На вечные! — сказал Фредерик.

Он взялся за дело серьезно и не жалел труда. Во дворе дома его ждал монументчик и показал ему планы памятников в греческом, египетском и мавританском стилях; но домашний архитектор уже совещался по этому поводу с самой вдовой; в вестибюле на столе лежали всевозможные объявления: — о чистке тюфиков, о дезинфекции комнат, о различных способах бальзамирования.

После обеда он поехал к портному заказывать траур для прислуги, но пришлось съездить туда во второй раз, потому что он заказал замшевые перчатки, тогда как нужны были шелковые.

Когда на следующий день он приехал в десять часов утра, большая гостиная была полна народом, и почти все, подходя друг к другу, говорили с печальным видом:

— Подумать, что еще месяца не прошло, как я видел его! Боже мой! Это наша общая участь!

— Да, но сделаем все, чтобы это случилось как можно позже!

И слегка посмеиваясь от удовольствия, затевали разговоры, совершенно не касающиеся смерти. Наконец, распорядитель похорон, в черном французском фраке и коротких панталонах, в плаще и плерезах, с перевязью и с треуголком под мышкой, с поклоном явственно произнес обычные слова:

— Господа, если угодно, пожалуйста!

Все двинулись.

То был день цветочного базара на площади Мадлен. Было ясно и тепло; ветерок слегка колебал парусину на тамбурах, надувал громадное черное сукно над главным порталом. Герб г. Дамбреза повторялся на нем три раза, заключенный в бархатные квадраты; он представлял на черном поле золотую шуйцу в серебряной перчатке, с графской короной и девизом: «Всеми путями».

Гробовщики внесли по ступеням в церковь тяжелый гроб, за ними вошли прочие.

Шесть приделов, полукруг за алтарем и стулья, все было обтянуто черным. Только катафалк под хорами,

при свете больших восковых свечей, выделялся желтым пятном. По углам в канделябрах горел спирт.

Люди знатные сели ближе к алтарю, остальные в нефе; богослужение началось.

За исключением нескольких лиц, неведение в религиозных обрядах было так глубоко, что распорядителю похорон приходилось делать, время от времени, знаки молящимся, чтобы они встали, опустились на колени или снова сели. Орган и два контрабаса чередовались с пением; в промежутках было слышно бормотание священника у алтаря, потом опять возобновлялись музыка и пение.

Матовый свет лился из трех куполов; через открытую дверь врвался горизонтальной полосой целый поток белого света, озарявшего обнаженные головы; в воздухе, на половине высоты церкви, повисла тень, пронизанная отблесками золота на ребрах сводов и листьях капителей.

Фредерик, чтобы рассеяться, прислушивался к *Dies irae* *); внимательно рассматривал присутствующих, стараясь разглядеть живопись, расположенную слишком высоко и изображающую жизнь Магдалины. К счастью, Пеллерен подсел к нему и тотчас же завел длинные рассуждения о фресках. Ударил колокол. Процессия стала выходить из церкви.

Траурные дроги, задрапированные свешивающимися сукнами и высокими перьями, направились к Пэр-Лашэз **), влекомые четырьмя вороньими лошадьми со шнурами в гривах, с султанами на головах и в длинных черных пополах, вышитых серебром. Кучер был в ботфортах, в треуголке с длинным ниспадающим крепом. За шнуры колесницы держалось четверо: квестор палаты депутатов, член обского общинного совета, делегат от каменноугольной компании и Фюмишон, в качестве друга. Коляска покойного и двенадцать траурных карет следовали сзади. Провожавшие шли по середине бульвара.

Прохожие останавливались, чтобы посмотреть на процессию; женщины с ребятишками на руках взбирались

*) «День гнева» — католическая молитва.

**) Кладбище.

на стулья; мужчины, сидевшие за кружкой пива в кафе, подходили к окнам с киями в руках.

Путь был длинен, и, как на торжественных обедах, где сначала сдерживаются, а потом делаются развязнее, так и здесь, общая натиануться скоро исчезла. Все говорили лишь о том, что Палата Депутатов отказалась утвердить содержание президента, что Пискатори проявил слишком большую резкость, что Монталамбер «по обыкновению великолепен», что гг. Шамболь, Пиду, Кретон и вся вообще комиссия сделали бы лучше, если бы присоединились к мнению гг. Кантен-Бошара и Дюфура.

Такие разговоры продолжались и на улице Рокетт, на которой такое множество ларьков с цепочками из цветного стекла и черными кружками, покрытыми рисунками и золотыми буквами, что делает их похожими на сталактитовые пещеры или посудные лавки. Но у ворот кладбища все сразу смолкли.

Среди деревьев высились памятники: усеченные колонны, пирамиды, часовни, дольмены, обелиски, этрусские склепы с бронзовыми дверями. Некоторые из них представляли нечто вроде могильных будuarов, с садовыми креслами и складными стульями. Паутина лохмотьями висела на цепочках урн; пыль покрывала атласные банты букетов и распятия. У решеток могил всюду виднелись венки иммортелей, подсвечники, вазы, цветы, черные диски с золотыми буквами, гипсовые статуи: мальчики, девочки или ангелочки висели в воздухе на латунной проволоке; у многих были даже цинковые колпачки над головами. Толстые канаты из литого стекла, черного, белого и лазоревое, спускались в виде столбов от вершины памятников до плит, и своими длинными изгибами походили на удавов. Они играли на солнце между черными деревянными крестами. Дроги медленно подвигались по главной дороге, вымощенной, как городские улицы. Иногда поскрипывали оси. Женщины, стоя на коленях, в платьях, расстилавшихся по траве, тихо беседовали с покойниками. Беловатый дым показывался из-за зелени тиссовых деревьев. То сжигали остатки, обломки брошенных без призора приношений.

Могила Дамбреза находилась недалеко от могил Мэ-

нюэля и Бенжамена Констана. В этом месте почва образует обрыв. Под ногами—открываются зеленые купы деревьев, за ними трубы паровых насосов, еще дальше весь огромный город.

Фредерик мог любоваться видом все время, пока произносились речи.

Первым говорил народный представитель, вторым член обского общинного совета, третьим депутат от каменноугольной компании Соны и Луары, четвертая речь была произнесена от имени ионского агрономического общества, пятая—от благотворительного общества. Наконец, когда уже начали расходиться, какой-то неизвестный господин стал читать речь от лица амьенского археологического общества.

И все воспользовались случаем, чтобы громить социалистов, жертвою которых сделался покойный. Зрелище анархии и беззаветная преданность порядку сократили его дни. Восхваляли его просвещенность, честность, щедрость и даже безгласность в Палате Депутатов, потому что он если и не был оратором, то обладал зато солидными качествами, в тысячу раз более ценными, чем и т. д., словом, было сказано все, что полагается: «Безвременная кончина... незаменимая утрата... небесная отчизна... прощай, нет, вернее, до свиданья!»

Посыпалась земля, перемешанная с камешками, и он перестал существовать для этого мира.

Еще немного поговорили о нем, возвращаясь по кладбищу, и уже не стеснялись в оценке его. Гюссонэ, которому нужно было написать в газетах о речах, представил их в карикатурном виде: ведь нужно же сознаться, что покойничек был одним из особо выдающихся лиходателей последнего царствования! Потом траурные кареты развезли буржуа по их конторам; вся церемония продлилась недолго, и все были рады этому.

Фредерик, утомленный, вернулся домой.

Когда он на следующий день приехал к г-же Дамбрез, ему сказали, что барыня занимается внизу, в конторе. Все папки, ящики были открыты и перерыты, там и сям валялись счетные книги, сверток бумаг с подписью: «безнадежные долги», лежал на полу; он чуть было не упал,

споткнувшись, и, поднял его. Г-жи Дамбрез, сидевшей в глубоком кресле, почти не было видно.

— Где вы тут? Что случилось?

Она мгновенно вскочила.

— Что случилось? Я разорена, разорена! Понимаешь?

Г. Адольф Ланглуа, нотариус, вызвал ее к себе и сообщил ей о завещании, написанном ранее их свадьбы. В нем наследницей всего состояния была признана Сесиль; а другое завещание было утеряно. Фредерик побледнел. Наверное, она плохо искала?

— Смотри сам!—сказала она, указывая на комнату.

Оба нестерпимых шкапа были отперты, взломаны: она перевернула вверх дном письменный стол, перерыла все шкапы, вытряхнула соломенный подовик и вдруг, пронзительно вскрикнув, бросилась в угол, где только что заметила шкатулку с медным замком и открыла ее: она была пуста.

— А, негодяй! Это мне-то, которая заботилась о нем с такой преданностью!

И она разрыдалась.

— Может быть, оно спрятано в другом месте?—сказал Фредерик.

— Ах, нет! Оно было тут! В этом нестерпимом ящике! Я недавно видела его. Он сжег его! В этом я уверена!

Однажды в начале болезни Дамбрез приходил сюда, чтобы подписать что-то. Вот тогда-то он все и проделал.

Она в изнеможении упала на стул.

Ни одна мать, потерявшая ребенка, не выражает такого отчаяния около пустой колыбели, в какое пришла г-жа Дамбрез перед зияющими нестерпимыми шкапами. Ее горе, несмотря на низменность побуждения, было столь глубоко, что Фредерик из всех сил старался утешить ее, говоря, что все же она не впадает в нищету.

— Но разве это не нищета, если я не могу предложить тебе большого состояния?

У нее оставалось лишь тридцать тысяч франков годового дохода, не считая дома, приносящего в год от восемнадцати до двадцати тысяч.

Хотя на взгляд Фредерика и это было «большим состоянием», все же он почувствовал разочарование. Прощай мечты о широкой жизни! Однако, чувство чести заставляло его жениться на г-же Дамбрез. Она с минуту колебалась, потом нежным голосом произнес:

— Ты во всяком случае будешь моей.

Она упала в его объятия; он прижал ее к своей груди с нежностью, в которой была доля самолюбования. Г-жа Дамбрез, слезы которой уже высохли, подняла лицо, сияющее от счастья, и, взяв его за руку, сказала:

— Ах, я никогда не сомневалась в тебе! Я была уверена в этом.

Такая предварительная уверенность в том, что он считал великодушным порывом, резнула молодого человека.

Она увела его в свою спальню, и они стали строить планы будущего. Фредерик должен теперь подумать о своей карьере. Она даже преподала ему несколько удивительно полезных советов насчет его кандидатуры.

Прежде всего следует знать две-три фразы из политической экономии. Затем нужно избрать себе какую-нибудь специальность, например, коннозаводство; написать несколько статей о местных нуждах, иметь в своем распоряжении почтовые или табачные конторы, оказывать множество мелких услуг. В этом отношении Дамбрез может служить образцом. Так, однажды в деревне он остановил линейку, в которой вез друзей, перед лавочкой сапожника и купил для них двенадцать пар обуви, а для себя ужасные сапоги—и имел геройство проносить их целых две недели. Это воспоминание развеселило их. Она рассказала и о многих других случаях, грациозно, живо, молодо и остроумно.

Она одобрила его мысль о немедленной поездке в Ножан. Простились они нежно; на пороге она шепнула ему еще раз:

— Ты любишь меня, да?

— Навсегда!—ответил он.

Но дома ждал его посыльный с запиской карандашом: его извещали, что у Розанеты начались роды. По-

следние дни он был так занят, что совсем позабыл о ней. Она сама поехала в специальное заведение в Шальо.

Фредерик нанял извозчика и отправился туда. На углу улицы Марбеф он прочел на доске: «Приют для родильниц и выздоравливающих. Г-жа Алессандри, повивальная бабка первого разряда, окончившая институт материнства, автор различных трудов» и т. д. По середине улицы, над калиткой, была вторая вывеска, без упоминания об акушерстве: «Приют для выздоравливающих г-жи Алессандри» и следовали все ее титулы.

Фредерик постучал молотком.

Горничная с повадкой субретки провела его в гостиную, где расставлены были: стол красного дерева, кресла, обитые гранатовым бархатом, и часы под стеклянным колпаком.

Почти сейчас же вышла хозяйка. Это была высокая брюнетка лет сорока с тонкой талией, красивыми глазами, светским обхождением. Она сообщила Фредерику о благополучном разрешении от бремени и повела его во второй этаж в комнату Розанеты.

Она просияла несказанной улыбкой; и под наплывом любви, от которой она почти задохнулась, она проговорила слабым голосом:

— Мальчик... вон там, там!—и указала на колясочку около постели.

Фредерик раздвинул полог и увидел среди белья нечто желтовато-красное, сморщенное, неприятно пахнущее и кричащее.

— Поцелуй его!

Желая скрыть отвращение, он возразил:

— Но я боюсь сделать ему больно?

— Нет, нет!

Тогда он, едва прикасаясь к нему губами, поцеловал своего ребенка.

— Как он похож на тебя!

И она своими слабыми руками обняла его за шею с такою полнотою чувства, какой он никогда прежде не видал.

Он вспомнил о г-же Дамбрез. Он упрекнул себя как за чудовищный поступок, за измену этому слабому су-

рик бормотал: «бедное дитя!» и его сердце переполнилось невыразимой печалью.

Часто они пропускали последний поезд. Тогда г-жа Дамбрез бранила его за неаккуратность. Он выворачивался, как умел.

Надо было оправдываться и перед Розанетой. Она не понимала, где он проводит все вечера; когда бы она ни послала к нему, его никогда не было дома! Однажды, когда он все-таки был дома, они почти в одно время явились к нему. Он спровадил Маршала и спрятал г-жу Дамбрез, уверив их, что сейчас придет его мать.

Скоро эта ложь стала забавлять его; он повторял одной клятвы любви, только что произнесенные для другой, посылал им одинаковые букеты, писал одновременно обоим, сравнивал их; но в его воображении вечно жила третья. В невозможности обладать ею он находил оправдание своему вероломству. Оно обостряло его наслаждения, внося в них постоянную смену. И чем больше он обманывал каждую из них, тем больше они проявляли к нему любви, как будто она разжигалась от соревнования, как будто каждой хотелось, чтобы он ради нее заблуждался.

— Оцени мое доверие,—сказала ему однажды г-жа Дамбрез, развертывая письмо, где ее предупреждали, что г. Моро живет с некоей Розой Брон.—Не та ли это особа, с которой ты был на скачках?

— Что за нелепость!—возразил он.—Дай я прочту!

Письмо было написано печатными буквами, подписи не было. Г-жа Дамбрез в начале их связи терпела эту любовницу,—она помогала скрывать их отношения. Но страсть ее все усиливалась, и теперь она требовала полного разрыва, который, если верить Фредерику, давно и произошел. Когда он истощил весь запас доводов, она, прищурив глаза, пронизывавшие подобно острiu сгнелета под кисеи, сказала:

— Ну, а с другой?

— С какой другой?

— Женой посудного фабриканта?

Он презрительно пожал плечами. Она не настаивала. Но, спустя месяц, когда речь зашла о чести и верности,

и он стал хвастаться этими качествами (вскользь, предосторожности ради), она сказала:

— Это правда, ты честен, ты больше там не бываешь.

Фредерик подумал, что она подразумевает Маршала, и пробормотал:

— Где?

— У г-жи Арну.

Он упрямился, где почерпнула она эти сведения. Она созналась, что знает это от своей второй портнихи, г-жи Режембар.

Таким образом, ей известна его жизнь, а он ничего не знает о ней!

Впрочем, он наткнулся в ее уборной на миниатюрный портрет господина с длинными усами: не тот ли это, о самоубийстве которого он некогда слышал какие-то смутные толки. Но не было никакого способа узнать всю правду! Да и к чему? Женские сердца подобны шкафчикам с секретным затвором, с массой ящичков, вставленных один в другой; открываешь их с трудом, ломаешь ногти, а на дне ничего не оказывается, кроме засохшего цветка, безделицы, превращенной в прах, или пустоты. Впрочем, может быть, он даже и боялся узнать слишком много.

По ее настоянию он отказывался от приглашений в те дома, где она не могла бывать вместе с ним; она не отпускала его от себя, боясь потерять его; и несмотря на то, что с каждым днем они все более и более сближались, он чувствовал, что между ними образовывается пропасть из-за каждого пустяка, из-за оценки человека, произведений искусства.

На рояле она играла правильно, но туше у нее было жесткое. Ее спиритуалистическое мировоззрение (г-жа Дамбрез верила в переселение душ на звезды) не мешало ей держать кассу в образцовом порядке. С прислугой она обращалась высокомерно; бедность не трогала ее. Ее безоблачный эгоизм прорывался в обычных восклицаниях: «что мне за дело! вот еще! меня это не касается!» и в тысяче мелких, не поддающихся анализу, но отталкивающих поступков. Она способна была подслушивать у

дверей, лгать на исповеди. Из деспотизма она требовала, чтобы Фредерик сопровождал ее по воскресеньям в церковь. Он повиновался и носил за ней молитвенник.

Лишение наследства сильно изменило ее. Грусть, которую приписывали смерти Дамбреза, делала ее интересной; по-прежнему она принимала у себя много народу. После неудачи на выборах она притязала для Фредерика и себя на посольство где-нибудь в Германии; поэтому приходилось прежде всего подделываться к господствующим мнениям.

Одни желали империи, другие—восстановления Орлеанской династии, третьи—графа Шамбора, но все сходилось на том, что децентрализация необходима; не мало предлагалось проектов, примерно, в следующем роде: разбить Париж на множество больших улиц и устроить на них деревни; все управление перевести в Версаль, учебные заведения—в Бурж; библиотеки упразднить; управление передать дивизионным генералам; восторгались деревней, находили, что у неграмотного от природы больше здравого смысла, чем у всех остальных. Ненависть царил повсюду: ненавидели учителей народных школ, виноторговцев, курсы философии, лекции по истории, романы, красные жилеты, длинные бороды, всякую независимость, всякое проявление личности, ибо необходимо было восстановить принцип власти, во имя чего бы она ни проявлялась, откуда бы она ни исходила, лишь бы это была сила, авторитет! Консерваторы говорили теперь то же, что и Сенекаль. Фредерик перестал понимать; в квартире своей старой любовницы он слышал такие же речи, произносимые теми же самыми людьми.

Салоны кокоток (с этих пор они и стали играть роль) были нейтральной почвой, где встречались реакционеры всех оттенков. Гюссонэ, который развенчивал современных знаменитостей (хорошая вещь для восстановления порядка!), внушил Розанете желание устраивать вечера, как у других; он обещал давать о них отчеты; первым он привел с собой человека почтенного, Фюмишона; потом появились Нонанкур, г. де-Гремонвиль, г. де-Ларсилуа, бывший префект, и, наконец, Сизи, ставший уже сель-

ским хозяином в нижней Бретани и еще более религиозным.

Затем появились и прежние любовники Маршала: барон де-Комэн, граф де-Жомильяк и некоторые другие; вольность их обращения оскорбляла Фредерика.

Чтобы проявить себя хозяином, он поставил дом на более широкую ногу: нанял грума, переменил квартиру и меблировал ее заново. Эти расходы были полезны: брак его мог показаться более отвечающим его состоянию, которое таяло с необыкновенной быстротой; а Розанета ничего не могла понять! Отщепенка мещанской среды, она обожала семейную жизнь, мирный домашний очаг. Однако, ей нравилось, что у нее «приемный день», и она говорила о подобных себе: «эти женщины!». Ей хотелось быть «светской дамой», и ей казалось, что она такова. Она просила не курить в гостиной, ради хорошего тона попыталась заставить Фредерика есть постное.

С своей роли она сбилась, стала серьезной, а перед тем, как ложиться спать, всегда была немного грустна, что было похоже на кипарисы, насажденные перед кабаком.

Он понял причину всего этого; она мечтала выйти замуж,—да, и она туда же! Это раздражало Фредерика в высшей степени. Мало того, он не забыл ее появления у г-жи Арну и затаил злобу за ее долгое сопротивление.

Все же он пытался узнать от нее, кто были ее любовники. Она отрицала всех. Тогда своего рода ревность овладела им. Его возмущали подарки, которые она получала, которые она продолжала получать; и по мере того, как существо ее природы все более и более раздражало его, чувственное влечение, алчное и звериное, все сильнее толкало его к ней; но за минутным наслаждением наступала ненависть.

Голос, улыбка—все стало ему в ней противно, а особенно ее взгляд, эти женские глаза, необыкновенно ясные и бессмысленные. Он иногда чувствовал себя настолько выведенным из себя, что не содрогнулся бы, увидев ее мертвой. Но как порвать с ней? Она была безнадежно коротка.

Дэлорье приехал и объяснил свое пребывание в Но-

жане тем, что он приторговывался там к одной адвокатской конторе; Фредерик был очень рад видеть его; все-таки он настоящий человек! И он ввел его к Розанете.

Иногда адвокат обедал у них и, когда возникали разногласия между ними, брал всегда сторону Розанеты, так что Фредерик как-то сказал ему:

— Ах, да путайся с ней, если желаешь!—так хотелось ему каким-нибудь случайным способом избавиться от нее.

В середине июня она получила исполнительный лист, в котором г. Атаназ Готро, судебный пристав, требовал немедленной уплаты долга в четыре тысячи франков г-же Клеманс Ватназ, грозя в противном случае на другой же день назначить опись ее имущества.

И правда, из четырех векселей, некогда выданных ею, только один был оплачен; после этого у нее несколько раз бывали на руках деньги, но они шли на другое.

Она бросилась к Арну. Оказалось, что он живет теперь в предместье Сен-Жермен, но привратник не знал, на какой улице. Она обращалась ко многим друзьям, но никого не заставала дома и в отчаянии возвращалась домой. Фредерику она ничего не хотела говорить, боясь, как бы эта новая история не явилась помехой для ее замужества.

На следующее утро метр Атаназ Готро явился с двумя понятыми; один был бледный, с невзрачной наружностью, с завистливым выражением лица, другой в воротничке, с туго натянутыми стрипками, с черной шелковой тряпичей вокруг указательного пальца; у обоих был неряшливый вид, пальто с сальными воротниками и короткими рукавами.

Их патрон,—наоборот, весьма представительный мужчина,—начал с извинений за свой тяжелый долг, потом оглядел квартиру, полную, «честное слово», красивых вещей, не считая тех, на которые нельзя наложить запрещения—и сделал знак, чтобы понятые ушли.

После этого его комплименты удвоились. Возможно-ли поверить, чтобы столь очаровательная особа... не имела истинного друга! А ведь аукцион—настоящее несчастье! От этого никогда не оправиться! Ему захотелось запугать ее, но, видя, что она взволновалась, он принял отеческий тон. Он знает людей, ему приходилось иметь дело со всеми

этими дамами; он перечислял их, продолжая рассматривать картины на стенах. Все это были подарки Арну: эскизы Сомбаза, акварели Бюрье, три пейзажа Дитмера. Розанета, очевидно, и не подозревала их ценности. Метр Готро обернулся к ней:

— Послушайте! Чтобы доказать, что я добрый малый, сделаем вот что: уступите мне всех этих Дитмеров, и я за все уплачу. Идет?

В этот момент Фредерик, которого в передней предупредила обо всем Дельфина и который только что встретился с понятыми, вошел, не снимая шляпы, с сердитым видом. Г. Готро мгновенно принял подобающее выражение; дверь была открыта, и он громко сказал:

— Ну-с, господа, пишите. Во второй комнате дубовый стол, с двумя откидными досками, два буфета...

Фредерик остановил его, спросив, нет ли способа приостановить опись?

— О, разумеется, есть! Кто платил за обстановку?

— Я.

— Ну, вот и подайте встречный иск. во всяком случае, вы выиграете время.

И метр Готро быстро закончил свои записи и, составив протокол об отсрочке взыскания, удалился.

Фредерик не сделал ни единого упрека Розанете. Он смотрел на ковер, на грязные следы сапог и пробормотал себе под нос:

— Нужно добывать денег!

— Ах, Боже мой, какая же я дура! — воскликнула Маршал.

Она порылась в столе, отыскала какое-то письмо и кинулась в общество освещения провинциальных городов Лангедока, намереваясь продать свои акции.

Через час она вернулась домой. Акции были проданы другому лицу. Служащий объяснил ей, рассмотрев ее бумаги, письменное обещание Арну: «это обязательство не имеет никакой цены, компания не признает его». Короче сказать, ей отказали. Она задыхалась от гнева и требовала, чтобы Фредерик тотчас же отправился к Арну за разъяснениями.

Но Арну может подумать, что он пришел косвенным

образом напомнить о пятнадцати тысячах, которые он ему должен под обещанную закладную; кроме того, требование денег от бывшего любовника его возлюбленной показалось ему мерзким. Избрав, наконец, средний путь, он поехал к г-же Дамбрез, узнал там адрес г-жи Режембар, послал к ней посыльного и узнал, таким образом, в каком кафе бывает теперь Гражданин.

То было маленькое кафе на площади Бастилии; он просиживал там по целым дням в правом углу, у задней стены, так неподвижно, что казался частью обстановки.

Пропустив маленькую чашечку кофе, стакан грогу, рюмку бишофа, подогретого вина и даже воды, подкрашенной вином, он, наконец, перешел к пиву и через каждые полчаса бросал: «пива!», сократив свое словопотребление до минимума. Фредерик спросил его, видается ли он с Арну?

— Нет!

— А почему?

— Идиот!

Может быть, они разошлись в политических убеждениях? И Фредерик счел не лишним справиться о Компэне.

— Вот скотина!

— Как так?

— А телячья голова?

— Ах, да расскажите, пожалуйста, что такое эта телячья голова?

Режембар презрительно улыбнулся.

— Одна глупость!

Фредерик, помолчав немного, спросил:

— Так, стало быть, он переменил квартиру?

— Кто это?

— Арну.

— Да. Улица Флерюс.

— А номер?

— Стану я водиться с иезуитами!

— Как с иезуитами?

Гражданин в ярости ответил:

— На деньги одного патриота, с которым я познакомил его, эта свинья открыла магазин четок!

— Не может быть!

— Пойдите да посмотрите!

Это была сущая правда; Арну после апоплексического удара обратился к религии; ведь он «был всегда склонен к ней», и теперь, с той смесью искренности и торгашества, которая была его основной чертой, одновременно желая спастись и поправить свои дела, завел торговлю церковными предметами.

Фредерик без труда отыскал его магазин, на вывеске которого было начертано: «Готическое искусство, церковные украшения, разноцветные изваяния, ладан трех волхвов и т. п.».

По углам витрины стояли деревянные статуи, вызолоченные, выкрашенные в красную и голубую краску: Иоанн Креститель, св. Женеви́ева с розами, в фартуке и с прялкой под мышкой; потом несколько гипсовых групп: монахиня, дающая урок девочке, мать, коленопреклоненная у кровати, трое школьников перед причастием. Всего красивей была хижина с яслями, быком, ослом и младенцем Иисусом на соломе. Этажерки были завалены медалями, четками всех родов, кропильницами в форме раковин и портретами знаменитых духовных лиц, среди которых первое место занимал архиепископ Аффр и святейший отец, оба улыбающиеся.

Арну дремал за своим прилавком, опустив голову. Он сильно постарел, на висках у него были прыщи, на которые падал сверху отблеск от золотых крестов, освещенных солнцем.

Фредерику при виде подобного упадка сделалось грустно. Но, из преданности к Маршалу, он решился войти; из глубины магазина поднялась навстречу ему г-жа Арну; он повернулся и вышел.

— Я не нашел его,—сказал он, возвратясь домой.

И несмотря на то, что он обещал безотлагательно написать о деньгах своему нотариусу в Гавр, Розанета рассердилась. Никогда она не видела еще такого слабохарактерного человека, такую тряпку! В то время, когда ей приходится лишать себя всего, другие живут себе припеваючи!

Фредерик думал о бедной г-же Арну, воображая

удручающую скудость ее жизненной обстановки. Он сел за письменный стол, но так как пронзительный визг Розанеты не прекращался, то он крикнул:

— Ах, да замолчи же ты, ради Бога!

— Не хочешь ли ты еще защищать их?

— Ну, а если бы и так?—вскричал он, — откуда у тебя такая ненависть?

— А почему ты ни за что не хочешь, чтобы они платили? Тебе не хочется огорчить свою прежнюю? Признавайся.

Ему захотелось размозжить ей голову столовыми ча-сами; он не находил слов и промолчал. Розанета, продолжая ходить по комнате, прибавила:

— Я буду судиться с твоим Арну! Ты мне не нужен, не беспокойся!

И, кусая губы, проговорила:

— Я обращусь за советом к юристу!

Дня через три влетела Дельфина:

— Барыня, барыня, меня напугал какой-то человек с банкой клея!

Розанета увидела пропойцу с рябым лицом, с рукой, разбитой параличем, едва стоявшего на ногах и что-то бормотавшего.

Это был рассыльный г. Готро. В встречном иске Фредерику суд отказал, и тем самым продажа с аукциона должна была состояться.

За то, что он потрудился подняться по лестнице, он прежде всего потребовал стаканчик винца; потом стал выпрашивать билет в театр, полагая, что хозяйка актриса. С минуту он занимался непонятным подмигиванием; наконец, объяснил, что за сорок су он оборвет края у объявления о продаже, наклеенного внизу чз двери. В этом объявлении было полностью пропечатано имя Розанеты, мера исключительная, — месть Ватназ, указывающая на ее лютую ненависть к ней.

Когда-то она была чувствительной особой и даже, в час одной из своих сердечных тревог, написала Беранже, прося у него совета. Но жизненные невзгоды озлобили ее: ей приходилось то давать уроки музыки, то держать столовую, то сотрудничать в журналах мод, то сдавать

комнаты, то продавать кружева женщинам легкого поведения, благодаря чему она могла оказывать услуги многим лицам: как, например, Арну. Одно время она служила в магазине. Ее обязанность заключалась в раздаче жалованья; у каждой мастерицы было по две расчетных книжки, и одна из них всегда оставалась у нее. Дюссардье, хранивший из любезности книжку одной из девиц, по имени Гортензии Баслен, однажды пришел в кассу в тот момент, когда Ватназ принесла счет этой девицы в 1682 франка, которые кассир тотчас же и отчитал ей. А между тем, накануне, Дюссардье вписал в книжку Баслен только 1082 франка. Он попросил под каким-то предлогом эту книжку и затем, желая навсегда покончить с этой воровской историей, сказал, что она у него пропала. Баслен простодушно объяснила это Ватназ, а та, чтобы узнать правду, с невинным видом завела речь об этом с честным приказчиком. Он коротко сказал: «я сжег ее». Вскоре она ушла из магазина, не веря, что книжка уничтожена, и предполагая, что Дюссардье прятал ее на всякий случай.

При известии об его ране, она прибежала к нему с целью отобрать ее. Но, несмотря на самый тщательный обыск, книжка не нашлась, и она почуствовала сначала уважение, а потом и любовь к этому юноше, столь честному, кроткому, такому герою и силачу. Найти подобное счастье в ее возрасте было неожиданностью. Она с прозорливостью людоедки накинулась на него; ради этого она бросила литературу, социализм, «утешительные учения и великодушные утопии», «чтение курса о раскрепощении женщин», — словом, все, даже самого Дельмара; наконец, она предложила Дюссардье повенчаться с ней.

Хотя она была его любовницей, он не любил ее. Прежде всего он не мог забыть ее воровства. Кроме того, она была для него слишком богата. Он отказался. Но она со слезами на глазах поведала ему свои мечты: вместе открыть магазин готового платья. На озаведение у нее были деньги, кроме того, она должна получить на будущей неделе еще четыре тысячи франков; и она рассказала об иске, предъявленном к Маршалу.

Дюссардье был огорчен за своего друга, он помнил

портсигар, отданный ему на гауптвахте, вечера на набережной Наполеона, душевные беседы, книги, которые он получал от Фредерика, и тысячи других любезностей с его стороны.

И он попросил Ватназ прекратить дело. Она подняла его на смех за простоту и проявила к Розанете непонятное озлобление: ведь она и жизни-то обеспеченной желала только для того, чтобы в будущем убить Розанету своим экипажем.

Такая бездна душевной гнусности ужаснула Дюссардь; как только он точно выяснил день продажи, он вышел из дому. Рано утром на следующий день он вошел к Фредерику со смущенным видом:

— Я очень извиняюсь перед вами.

— В чем это?

— Вы должны теперь считать меня неблагодарным, меня, которого она...

И он пробормотал:

— О, я не увижу ее более, я не буду ее сообщником!

Фредерик посмотрел на него с удивлением.

— Разве вы не знаете, что через три дня назначен аукцион у вашей любовницы?

— Кто вам это сказал?

— Сама Ватназ. Но я боюсь обидеть вас...

— Не бойтесь, дорогой друг!

— Ах, правда, вы так добры!

И он робко сунул ему бумажник из грубой кожи.

Там лежали четыре тысячи франков, все его сбережения.

— Что вы! Бог с вами! Не надо, не надо!

— Я так и знал, что оскорблю вас! — со слезами на глазах воскликнул Дюссардь.

Фредерик пожал ему руку; а честный малый умоляюще повторил:

— Примите их! Сделайте мне это одолжение! Я в таком отчаянии! К тому же разве не всему конец? Я верил, когда настала революция, что все будут счастливы. Вы ведь помните, как все было прекрасно! Как легко дышалось! А теперь мы еще в худшем положении, чем прежде.

И, уставив глаза в пол, он продолжал:

— Они убивают нашу республику, как некогда убили другую, римскую! А разве Венеция не несчастна! Бедная Польша! Бедная Венгрия! Что за отвратительное время! Сначала срубили деревья свободы; потом ограничили выборы, закрыли клубы, учредили цензуру и передали духовенству дело народного просвещения! Не достает только инквизиции! И я не удивился бы ей! Ведь мечтают же консерваторы о казаках! За статьи против смертной казни закрывают газеты. Париж полон штыками, шестнадцать департаментов в осадном положении, амнистия еще раз отвергнута!

Он схватился за голову обеими руками; потом развел ими, как бы в приступе великой муки:

— Если бы попытаться еще? Если бы побольше добросовестности, ведь можно было бы столкнуться! Но нет! Рабочие не лучше буржуа! На днях в Эльбефе случился пожар, они отказались тушить его. Мерзавцы называют Барбеса аристократом! Чтобы поиздеваться над народом, они хотят избрать президентом каменщика! Вы подумайте! И ничего не поделаешь! Нет средства, нет лечения! Все против нас! Я, ведь, никому не делал зла; однако, это тяготит меня, точно тяжесть в груди. Я сойду с ума, если так будет продолжаться. Пусть лучше меня убьют! Я повторяю, деньги не нужны мне! Ну, вы отдадите мне их, чорт возьми! Я даю их вам взаимы!

Фредерик, будучи в стесненном положении, кончил тем, что взял его четыре тысячи франков. Таким образом меры Ватназ не тревожили их больше.

Но Розанета, проиграв процесс против Арну, из упрямства хотела перенести дело во вторую инстанцию.

Дэлорье выбивался из сил, чтобы заставить ее понять, что обещание Арну не является ни даром, ни формальной передачей; она не стала и слушать, находя, что закон несправедлив, что, впрочем, и понятно: ведь она женщина, а мужчины всегда поддерживают друг друга. Однако, в конце концов, она послушалась его.

Он совершенно не стеснялся у них, даже несколько раз приводил к ней обедать Сенекаля. Такая бесцеремонность не нравилась Фредерику, который и без того давал ему

деньги, одевал его у своего портного; адвокат отдавал свои старые сюртуки социалисту, но на какие средства жил тот, никто не знал.

Между тем Дэлорье хотелось услужить Розанете. Однажды, когда она показала ему двенадцать акций компании по добыванию фарфоровой глины, того самого предприятия, из-за которого Арну был приговорен к уплате 30.000 франков, он сказал ей:

— Э, тут дело не чисто! Это чудесно!

Она имеет право подать на него в суд за невыполнение обязательств. Она может доказать, что в силу круговой поруки он обязан отвечать своим имуществом за все долги компании; кроме того, можно доказать, что он утаил несколько акций, что он провел свои личные долги под видом компании.

— Все это дает возможность обвинить его в злостном банкротстве, согласно статьям 586 и 587 торгового уложения; теперь-то мы его упрячем, будьте уверены в этом.

Розанета бросилась ему на шею. Он передал это дело на следующий же день своему бывшему патрону, лишенный возможности вести его лично, так как ему необходимо было ехать в Ножан, куда, в случае надобности, Сенекаль должен был написать ему.

Переговоры о покупке конторы были лишь предлогом. Он все время проводил у Рока, где в начале не только расхваливал своего друга, но даже подражал ему в манерах и говоре; насколько это ему удавалось, чем и добился доверия со стороны Луизы; отца же он покорял тем, что громил Ледрю-Роллена.

По его словам, Фредерик не возвращается в Ножан, потому что поглощен великосветской жизнью; мало-помалу Дэлорье дал им понять, что он кого-то любит, что у него есть ребенок и содержанка.

Луиза была в безграничном отчаянии, негодование г-жи Моро не имело границ. Она видела своего сына летящим в пропасть; она была оскорблена в своей религии приличий; она принимала все это, как личное бесчестие. Но вдруг все поведение ее изменилось. Когда ее спрашивали о Фредерике, она с лукавым видом отвечала:

— Прекрасно, благодарю вас!

Она узнала о его предполагаемой женитьбе на г-же Дамбрез. Был уже назначен день свадьбы, и Фредерик стал подумывать, как сообщить об этом Розанете.

В середине осени Розанета выиграла дело против Арну. Фредерик узнал об этом от Сенекалья, столкнувшись с ним у под'езда, когда тот возвращался из суда.

Арну признали соучастником в подлогах; у бывшего репетитора был такой радостный вид, что Фредерик отговаривал его идти к Розанете, сказав, что он сам передаст ей об этом, и вошел к ней с раздраженным видом.

— Ну, радуйся!

Но она не обратила на эти слова никакого внимания.

— Посмотри лучше.

И она указала ему на ребенка, спавшего в люльке у камина. Она застала его сегодня утром в столь плохом состоянии, что увезла его от кормилицы в Париж.

Ручки и ножки его чрезвычайно исхудали, губки были в белых точках, а во рту что-то похожее на свернувшееся молоко.

— Что сказал доктор?

— Ах, доктор! Он уверяет, что от переезда у него увеличилось... Я забыла название болезни... что-то на ит... словом, у него молочница... Ты не знаешь, что это такое?

Фредерик, не колеблясь, ответил, что это пустяки.

Но вечером его испугал жалкий вид ребенка: белые пятнышки увеличились, стали похожи на плесень, как будто жизнь уже покинула это маленькое бедное тельце, оставив только материю, по которой проступала эта растительность. Рученки его похолодели; он не мог глотать; кормилица, уже другая, нанятая привратником через контору, все повторяла:

— Мне кажется, он очень плох.

Утром она пришла за Фредериком.

— Встань, посмотри, он больше не шевелится.

Действительно, ребенок умер. Она схватила его на руки, трясла, прижимала к груди, называя его самыми ласковыми именами, покрывала его поцелуями, рыдала, билась, как помешанная, рвала на себе волосы, выпускала крики и, наконец, повалилась на диван, где и оста-

лась, с открытым ртом, обливаясь слезами, с остановившимися глазами. Потом на нее напало оцепенение, и в комнате наступила тишина. Стулья были опрокинуты. Две или три салфетки валялись на полу. Пробыло шесть часов. Ночник погас.

Фредерик, смотря на все это, думал: не сон ли это? Сердце его сжималось от тоски; ему казалось, что эта смерть только начало, что за ней притаилось несчастье более тяжкое.

Вдруг Розанета нежным голосом сказала:

— Мы сохраним его, неправда ли?

Ей хотелось его набальзамировать. Но возникало множество препятствий. Самым веским, по его мнению, было то, что бальзамирование не применяется к таким маленьким детям. Лучше заказать его портрет. Она согласилась на это предложение. Он написал несколько строк Пеллерену. Дельфина помчалась с запиской.

Пеллерен явился скоро, желая загладить своим усердием воспоминание о прежнем своем поведении. Он начал с того, что воскликнул:

— Бедный ангелочек! Боже мой! Какое горе!

Но понемногу в нем проснулся артист, он заявил, что трудно что-либо сделать с этими впавшими глазами, с этим посиневшим личиком; чтобы написать такой натур-морт, нужно много таланта, и он пробормотал:

— Это не легко, очень не легко!

— Только бы вышло похоже, — заметила Розанета.

— Ах, какое мне дело до сходства! К чорту реализм! Дух надо передать! Оставьте меня. Я постараюсь придумать то, что нужно.

Он стал обдумывать, приложив левую руку ко лбу, упершись локтем в правую, и через некоторое время воскликнул:

— Вот мысль! Пастель! С полутонами и едва намеченными контурами, можно добиться прекрасной лепки.

Он послал служанку за ящиком. Потом, поставив скамейку под ноги и кресло рядом, начал набрасывать рисунок так же спокойно, как если бы он рисовал с гипса. Он хвалил маленьких Иоаннов Крестителей Корреджио, Инфанту Розу Веласкеса, молочные тела Рейнольдса,

изящество Лауренса и главным образом того мальчика с длинными волосами, который сидит на коленях у леди Глоуер.

— Впрочем, что может быть очаровательнее этих ребятешек! Высший тип красоты (Рафаэль доказал это своими мадоннами)—мать с младенцем!

Розанета, задыхаясь от слез, вышла. Пеллерен тотчас же сказал:

— Каков Арну! Вы знаете, что случилось?

— Нет? Что такое?

— Этого, впрочем, надо было ожидать...

— Да что такое?

— Может быть, он уже теперь... Виноват!

И художник встал, чтобы приподнять головку трупики.

— Вы говорили?—спросил Фредерик.

И Пеллерен, продолжая прищуривать глаз, чтобы лучше схватить пропорцию, продолжал:

— Я говорю, что наш Арну уже, быть может, под замком.

Потом довольным тоном сказал:

— Взгляните: каково?

— Да, очень хорошо. Так как же Арну?

Пеллерен положил карандаш.

— Поскольку мне удалось понять, его преследует некий Миньо, друг Режембара. Тоже хорош, болван! Вообразите: однажды...

— Ах, что мне за дело до Режембара!

— И то правда. Так вот Арну вчера вечером должен был непременно найти двенадцать тысяч; в противном случае он пропал.

— Может быть, вы преувеличиваете?

— Ни на волос. Дело серьезно, очень серьезно.

В этот момент вошла Розанета с красными веками, настолько воспаленными, что они казались подкрашенными. Она остановилась перед рисунком и стала смотреть. Пеллерен сделал ему знак, чтобы он больше не спрашивал при Розанете. Но Фредерик, не обращая внимания ни на что, продолжал:

— Однако, я не могу поверить...

— А я говорю вам, что я встретил его вчера,—сказал художник,—в семь часов вечера на улице Жакоб. У него даже паспорт был наготове; он сказал, что в Гавре он сядет на пароход вместе со своей семьей и со всеми своими домочадцами.

— Как, и с женой?

— Конечно. Он слишком хороший семьянин, чтобы жить в одиночку.

— И вы уверены?..

— Конечно. Где же ему найти двенадцать тысяч франков?

Фредерик несколько раз прошелся по комнате. Он задыхался, кусал губы, потом взялся за шляпу.

— Куда ты?—спросила Розанета.

Он не ответил и вышел.

V.

Необходимо было достать двенадцать тысяч франков, иначе он никогда не увидит г-жу Арну; до этой минуты непобедимая надежда еще не покинула его. Разве она не составляла сущности его сердца, сокровенного смысла его жизни? Он несколько минут ходил по тротуару в мучительном томлении, но счастливый тем, что ушел от той, другой.

Где достать денег? Фредерик знал, как трудно добыть их сразу, за какие бы то ни было проценты. Единственное лицо могло бы помочь ему, это—г-жа Дамбрез. У ней всегда лежало в письменном столе несколько банковых билетов. Он пошел к ней и смелым тоном сказал:

— Нет ли у тебя двенадцати тысяч взаймы?

— Зачем?

Это чужая тайна. Она хотела узнать ее. Он не сдавался. Оба уперлись. Наконец, она объявила, что ничего не даст, пока не узнает, для какой цели нужны деньги. Фредерик залился краской. Один из его товарищей проворовался. Сумма должна быть возмещена сегодня же.

— Ты назовешь его фамилию? Как его фамилия?

— Дюссардые.

Он бросился на колени, умоляя ее ничего об этом не говорить.

— Какого ты обо мне мнения?—возразила г-жа Дамбрез.—Можно подумать, что ты сам это сделал. Оставь трагический тон. На, вот они, и дай Бог, чтобы все уладилось.

Он помчался к Арну. В магазине его не было. Но он жил на улице Паради, у него было две квартиры.

На улице Паради привратник уверил его, что Арну не было дома со вчерашнего дня; а что до барыни, то он ничего не может сказать; Фредерик, как стрела, взлетел по лестнице, приложил ухо к замочной скважине. Наконец, ему открыли. Барыня уехала вместе с барином! Служанка не знала, когда они вернутся; ее рассчитали и она уходит.

Вдруг послышался скрип двери.

— Но тут кто-то есть?

— О, нет, сударь! Это ветер!

И он ушел. Что бы там ни было, но такое поспешное исчезновение является чем-то необъяснимым!

Режембар, будучи близким другом Миньо, вероятно, сможет пролить свет на все это. И Фредерик поехал к нему на Монмартр, на улицу Императора.

Перед его белым домом, с крылечком в три ступеньки, был палисадник, обнесенный решеткой с чугунной калиткой; заглядывая в окна, можно было видеть, в нижнем этаже две комнаты, из которых одна была гостиной, с разложенными на всех стульях платьями, а вторая мастерской, где шили мастерицы г-жи Режембар.

Все они были уверены, что у ее мужа были серьезные дела, большие связи, что это выходящий из ряда человек. Когда он проходил по корридору в шляпе с приподнятыми полями, с длинным серьезным лицом, в зеленом сюртуке, они прерывали свою работу даже. К тому же он никогда не упускал случая сказать им приветливое слово, какую-нибудь любезность под видом сентенции; позднее, в замужестве, они чувствовали себя несчастными, так как смотрели на него, как на идеал.

Никто, однако, не любил его так, как г-жа Режембар, маленькая умная особа, которая содержала его своим трудом.

Как только Моро назвал себя, она тотчас же поспешила выйти и принять его, зная через прислугу об его отношениях к г-же Дамбрез. Ее муж «сейчас придет»; Фредерик, идя за ней, удивлялся опрятности жизни и обилию клеенок на полу. Ему пришлось подождать несколько минут в комнате, похожей на контору, куда Гражданин удалялся для размышлений. Он встретил Фредерика любезнее обычного.

Он рассказал историю Арну. Бывший фабрикант фаясовых изделий обошел одного патриота, Миньо, у которого было сто акций в газете „Siècle“, он доказал ему, что с точки зрения демократа нужно переизбрать правление и редакцию газеты; для того, чтобы одержать верх в ближайшем собрании акционеров, он попросил пятьдесят акций, уверив его, что раздаст их надежным друзьям, которые обяжутся поддерживать его; Миньо не принимал на себя никакой ответственности, не рисковал ни с кем поспорить; если они достигнут успеха, тот предоставит ему хорошее место в правлении с окладом в пять-шесть тысяч в год по меньшей мере. Но, получив акции, Арну тотчас продал их, а на деньги, вырученные за них, вошел в товарищество с торговцем церковными предметами. Затем начались требования Миньо и увиливания Арну; наконец, патриот пригрозил ему судом за мошенничество, если он не вернет ему акций или соответственной суммы: пятидесяти тысяч франков.

Лицо Фредерика выразило безнадежность.

— Это еще не все, — сказал Гражданин. — Миньо, как человек добрый, уменьшил долг вчетверо. Разумеется, последовали новые обещания со стороны того, новые штуки. Короче, третьего дня утром Миньо объявил, что если он не возвратит ему в течение двадцати четырех часов двенадцати тысяч в счет покрытия долга, то он подает на него в суд.

— Но они у меня есть, — сказал Фредерик.

Гражданин медленно повернулся:

— Шутник!

— Извините! Они у меня в кармане. Я затем и пришел.

— Как, вы уже слетали туда? Вот это так! Впрочем, уже поздно: жалоба подана, а Арну уехал.

— Один?

— Нет, с женой. Их видели на Гаврском вокзале.

Фредерик побледнел, как смерть.

Г-жа Режембар думала, что он потеряет сознание. Но он пришел в себя и даже имел силу задать еще два или три вопроса по поводу случившегося. Режембар был весьма опечален всем этим, — в общем все это вредит демократии. Арну всегда был беспутен и беспорядочен.

— Он жег свечу с обоих концов! Его погубили юбки. Мне не его жаль, а его бедную жену (Гражданин восхищался добродетельными женщинами и очень ценил г-жу Арну). Она должна сильно страдать!

Фредерик был благодарен ему за такое сочувствие, как будто тот оказывал ему услугу. Он с чувством пожал ему руку.

— Ты обо всем распорядился? — спросила Розанета, увидя его.

Он ответил, что у него не хватило решимости, что он прошатался по улицам безо всякой цели, лишь бы завестись.

В восемь часов они прошли в столовую, молча сидели друг против друга, время от времени глубоко вздыхая и не прикасаясь к тарелкам. Фредерик выпил водки. Он чувствовал себя совсем разбитым, раздавленным, уничтоженным и ничего не сознавал, кроме крайней усталости.

Розанета принесла портрет. Яркие, красные, желтые, зеленые, синие пятна рябили и производили впечатление чего-то отталкивающего, точно сделанного в насмешку.

Да и маленький трупик был уже неузнаваем. Фиолетовый ротик усиливал бледность лица; ноздри сделались еще тоньше; глаза ввалились; головка его покоилась на подушке из голубой тафты, среди лепестков камелий, осенних роз и фиалок: это было сделано по совету служанки. Обе женщины с набожным чувством убрали его. На камине, покрытом гипюровой накидкой, стояли золо-

ченные подсвечники между букетами окропленного святой водой буксуса; по углам, в двух вазах, горели курительные свечи; все это, вместе с колыбелью, производило впечатление алтаря; Фредерик вспомнил ночь, проведенную около тела Дамбреза.

Примерно каждую четверть часа Розанета открывала полог колыбели и созерцала своего ребенка. Она представляла каким бы он был через несколько месяцев, когда начал бы ходить; потом — в коллегии посреди двора играющим в городки; потом молодым человеком лет двадцати; каждый из этих образов, которые она вызывала воображением, становился как бы новой утратой; безмерная скорбь углубляла в ней чувство материнства.

Фредерик, неподвижно сидя в кресле, думал о г-же Арну.

Вот она едет в поезде, лицо ее обращено к окну вагона, она смотрит на поля, убегающие к Парижу; или же она сидит на палубе парохода, как в тот раз, когда он впервые увидел ее; но теперь она уезжает навсегда, туда, откуда более не вернется. Потом он увидел ее в номере гостиницы с чемоданами на полу, с лоскутьями разодранных обоев, с дверью, стучащей от ветра. А потом? что с нею станет? Будет ли она учительницей, компаньонкой, а то и горничной? Она предоставлена теперь всем случайностям нищеты. Неизвестность ее судьбы терзала его. Он должен был воспрепятствовать ее бегству или же последовать за ней. Разве он не был ее настоящим мужем? Ему казалось, что он никогда не найдет ее, что все кончено, и она безвозвратно утрачена; он чувствовал, как все его существо разрывается на части; слезы, сдерживаемые с самого утра, потекли из его глаз.

Розанета заметила это:

— Ах, и ты плачешь! Тебе тоже больно?

— Да, да, очень больно...

Он прижал ее к груди, и оба, обнявшись, рыдали.

Г-жа Дамбрез тоже плакала, лежа в постели, уткнувшись в подушку, сжав голову руками.

Олимпия Режембар, придя вечером примерить ей первое светлое платье, рассказала о посещении Фреде-

рика, и даже о том, что у него были наготове двенадцать тысяч франков, предназначенных для Арну.

Так, значит, эти деньги, ее собственные деньги, были нужны для того, чтобы помешать уехать другой, чтобы сохранить ему любовницу!

Сначала она почувствовала приступ бешенства: она решила прогнать его, как лакея. Обильно пролитые слезы успокоили ее. Лучше всего было сдержаться, не говорить ему ни о чем.

Фредерик на следующий день принес обратно двенадцать тысяч франков. Она попросила сохранить их на случай надобности для своего друга и стала подробно расспрашивать его об этом господине. Кто же толкнул его на такой поступок? Вероятно, женщина. Ведь женщины толкают вас на всякие преступления.

Этот насмешливый тон смутил Фредерика. Он испытывал укоры совести из-за возведенной на друга клеветы. Успокаивало его то, что г-жа Дамбрез не могла узнать правды.

Но она упорствовала; на другой день она опять справилась об его товарище, потом спросила о другом, о Дэлорье.

— А этот человек надежный и смысленный?

Фредерик расхвалил его.

— Попроси его зайти ко мне на этих днях утром; мне нужно посоветоваться с ним об одном деле.

Она нашла сверток бумаг с векселями Арну, опротестованными по всем правилам и с подписями г-жи Арну. Это из-за них приходил Фредерик как-то утром к Дамбрезу; хотя капиталист и обещал не предъявлять их ко взысканию, он все же добился в Коммерческом суде приговора не только над Арну, но также и над его женой, которая ни о чем не знала, так как ее муж считал за благо скрыть это от нее.

Вот что могло служить оружием! Г-жа Дамбрез не сомневалась в этом. Но ее нотариус, вероятно, посоветует ей отказаться от преследования; поэтому она предпочитала передать дело кому-нибудь другому; она вспомнила об этом долговязом парне, с наглым видом, который предлагал ей свои услуги.

Фредерик, ничего не подозревая, исполнил ее поручение.

Адвокат был в восторге, что вступал в сношения с такой важной дамой.

Он не замедлил явиться.

Она объявила ему, что все наследство принадлежит ее племяннице; но так как она заботится о благосостоянии супругов Мартинон, ей особенно хотелось бы получить по всем этим обязательствам, чтобы рассчитаться.

Дэлорье понял, что здесь кроется какая-то тайна, и он пытался разгадать ее, разглядывая векселя. Имя г-жи Арну, подписанное ею собственноручно, вызвало в его памяти ее образ и оскорбление, которое она нанесла ему. Если представляется случай отомстить, почему им не воспользоваться?

Он посоветовал г-же Дамбрез продать с молотка эти безнадежные векселя, оставшиеся после покойника. Подставное лицо перекупит их и представит их ко взысканию. Он беретса достать подходящего человека.

В конце ноября Фредерик, проходя по улице, где жила г-жа Арну, поднял глаза к ее окнам и увидел на двери объявление, где крупными буквами было напечатано:

«Продается богатая обстановка, состоящая из кухонной посуды, носильного и столового белья, рубашек, кружев, юбок, панталон, французских и индийских шалей, рояля Эрара, двух дубовых шкапиков в стиле Возрождения, венецианских зеркал, китайского и японского фарфора».

— Это ведь их обстановка! — воскликнул Фредерик, и привратник подтвердил его предположение.

Кто именно довел дело до аукциона, он не знал. Но аукционист, метр Бартельмо, вероятно, мог дать какие-нибудь разъяснения.

Тот сначала не хотел назвать кредитора. Фредерик настаивал. Оказалось, что это Сенекаль, поверенный, и Бартельмо довел свою любезность до того, что подарил Фредерику свой номер „Petites Affiches“ *).

*) Листы объявлений.

Фредерик, придя к Розанете, развернул его и бросил на стол.

— Почитай-ка!

— Ну так что? — сказала она с таким спокойным видом, что его взорвало.

— А, невинность разыгрываешь!

— Я ничего не понимаю!

— Это ты пустила с молотка имущество г-жи Арну?

Она перечитала объявление.

— А где же ее имя?

— Да ведь это ее имущество! И ты знаешь это лучше меня.

— Какое мне дело до всего этого? — сказала Розанета, пожимая плечами.

— Что тебе за дело? Но ведь ты мстишь ей! Ты продолжаешь преследовать ее. Мало ты оскорбляла ее! Ты даже являлась к ней на дом! Ты, девка, к ней, к женщине святой, очаровательной, лучшей в мире! Ты поклялась что ли разорить ее?

— Ты ошибаешься, уверяю тебя.

— Полно! Разве не ты пустила в ход Сенекаля!

— Что за глупости!

Тогда он пришел в ярость.

— Ты лжешь, ты лжешь, подлая! Ты ревнуешь к ней! У тебя есть исполнительный лист на ее мужа. Сенекаль уже впутывался в твои дела. Он возненавидел Арну, и ваши две ненависти столкнулись. Я видел его радость, когда ты выиграла процесс из-за фарфоровой глины. Не станешь ли ты и от этого отпираться?

— Я даю тебе честное слово...

— О, я знаю твоё слово!

И Фредерик стал напоминать ей о ее любовниках, перечисляя их по именам, приводя точные подробности. Розанета, побледнев, отступила.

— А, это удивляет тебя! Ты думала, что я слеп, раз я смотрел на все сквозь пальцы! Но сегодня я прозрел. Не умирают от измен таких женщин! Когда они начинают вести себя слишком чудовищно, то их просто бросают, наказывая же их — значит унижаться.

Она ломала руки.

- Боже мой, что это такое, его точно подменили!
 — Никто, кроме тебя, не виноват в этом!
 — И все это из-за г-жи Арну! — вскричала она с плачем.

Он холодно возразил:

- Да, я люблю и любил только ее одну.

При такой обиде слезы ее иссякли.

— Это доказывает лишь твой вкус. Особа зрелого возраста, с лакричным цветом лица, с толстой талией, с глазами, огромными, как отдушины подвала, и такими же пустыми... Раз это тебе так нравится, отправляйся к ней.

- Я только этого и ждал! Большое спасибо!

Розанета окаменела, ошеломленная таким странным обращением. Она даже не помешала ему закрыть за собой дверь; но потом быстро выскочила, поймала его в передней и, обняв его, воскликнула:

- Да ты полоумный! Ты полоумный! Ведь это нелепость! Я люблю тебя!

Она умоляла его:

- Во имя Бога, ради нашего малютки!

— Признайся, что это дело твоих рук, — сказал Фредерик.

Она опять стала уверять его в своей невинности.

- Ты не хочешь сознаться?

- Нет!

- В таком случае прощай! И навсегда!

- Выслушай меня!

Фредерик повернулся.

— Если бы ты знала меня лучше, ты знала бы, что мое решение непоколебимо.

- О, о, ты еще вернешься ко мне!

- Никогда в жизни!

И он с силой захлопнул дверь.

Розанета написала Дэлорье, что ей необходимо его видеть сию же минуту.

Он пришел к ней вечером через пять дней; когда она рассказала ему о своем разрыве с Фредериком, он воскликнул:

- Только-то! Подумаешь, какое несчастье!

Первое время она думала, что Дэлорье вернет ей

Фредерика; теперь она увидела, что все потеряно. Она узнала от его пригратника о предстоящей свадьбе его с г-жей Дамбрез.

Дэлорье прочел ей наставление, прикинулся особенно ласковым, шутил и, так как было очень поздно, попросил позволения провести ночь у нее в кресле.

На следующее утро он опять уехал в Ножан, сказав ей, что не знает, когда они увидятся; быть может, в его жизни произойдет большая перемена.

Через два дня после его возвращения Ножан был в большом волнении. Говорили, что Фредерик женится на г-же Дамбрез.

Три барышни Оже не выдержали и отправились к г-же Моро, которая с гордостью подтвердила это известие. Старик Рок заболел с досады, Луиза заперлась. Пронесся даже слух, что она сошла с ума.

Между тем Фредерик не мог скрыть своей грусти. Г-жа Дамбрез, вероятно, для того, чтобы рассеять его, удвоила внимание к нему. Каждый день она ездила с ним кататься в своем экипаже.

Однажды, когда они проезжали по площади Биржи, ей вздумалось зайти в аукционный зал, ради любопытства.

Было первое декабря, день, когда должна была состояться продажа вещей г-жи Арну. Он вспомнил про это и стал отказываться, утверждая, что там будет невыносимо из-за толпы и шума. Она хотела только взглянуть. Карета остановилась. Волей неволей ему пришлось последовать за ней.

На дворе они увидели умывальники без тазов, кресла без подушек, старые корзинки, фарфоровые черепки, пустые бутылки, тюфяки; люди, в блузах или засаленных сюртуках, совершенно серые от пыли, с гнусными лицами, некоторые с холщевыми мешками за плечами, разговаривали отдельными группами или беспорядочно перекликались.

Фредерик заметил, что далее идти неудобно.

- Ну вот еще!

И она стала подниматься по лестнице.

В первой комнате направо какие-то господа с ката-

логами в руках рассматривали картины; в другой продавалась коллекция китайского оружия. Г-жа Дамбрез хотела опуститься. Она смотрела на номера над дверями и повлекла его в конец коридора, к комнате, паполненной людьми.

Он сразу узнал две этажерки из «Художественной Промышленности»; ее рабочий столик, всю ее мебель. Расставленная у задней стены, она образовала широкую покатость от окон до пола; а по другим стенам висели ковры и занавески; внизу были ступеньки, на которых дремали какие-то старики. Налево возвышалось нечто вроде эстрады с конторкой, за которой аукционист в белом галстуке помахивал молоточком. Около него сидел молодой человек и писал, а ниже здоровый малый, похожий на коммивояжера или на театрального барышника, выкрикивал предназначенные к продаже вещи. Трое служителей клали их на стол, за которым сидели в ряд старьевщицы и маклаки. Позади сновала толпа.

Когда вошел Фредерик, продавались юбки, косынки, носовые платки и все, до рубашек, переходило из рук в руки и обратно; иногда ими перекидывались издали, и белые пятна так и мелькали в воздухе. Затем стали распродавать ее платья, одну из ее шляп, сломанное перо которой свешивалось набок, потом ее меха, потом три пары ботинок; во всех этих вещах ему чудились очертания ее тела, и публичное надругательство над этими реликвиями ему казалось жестокостью, как если бы вороны на его глазах раздирали ее труп. Воздух был спертый, у него закружилась голова.

Г-жа Дамбрез дала ему понюхать свой флакон с солями; она же, по ее словам, забавлялась отлично.

Наступил черед мебели из спальни.

Метр Бартельмо назначал цену, машатай тотчас повторял ее еще громче, а три артельщика спокойно ждали удара молоточком; потом вещи уносились в смежную комнату. Так исчезли друг за другом большой, усеянный камелиями ковер, который попирали ее маленькие ножки, когда она шла к нему навстречу, вышитое кресло, где он всегда сидел против нее, когда они бывали вдвоем, два каминных экрана, слоновая кость которых казалась неж-

нее от прикосновения ее рук, бархатная подушечка с еще вколотыми в нее булавками. Ему казалось, что вместе с этими вещами отрываются куски его сердца; монотонные звуки голосов, однообразные жесты истомили его, погрузили его в смертельный столбняк, все в нем словно обрушилось.

Шелест шелка прошумел над его ухом.

То Розанета коснулась его.

Она узнала об этой продаже от него самого. Печаль ее прошла, ей просто захотелось купить что-нибудь по случаю. И она приехала в белом атласном жилете с перламутровыми пуговицами, в платье с оборками, в тесных перчатках, с победоносным видом.

Фредерик поблел от гнева. Она взглянула на женщину, с которой он был.

Г-жа Дамбрез узнала ее; с минуту они вглядывались друг в друга, осматривая одна другую с головы до ног, стараясь найти недостаток, порок,—одна, вероятно, завидовала молодости, другую раздражала выдержанность, аристократическая простота соперницы.

Наконец, г-жа Дамбрез, отвернувшись с невыразимо заносчивой усмешкой.

Глашатай открыл рояль, ее рояль. Продолжая стоять, он правой рукой проиграл гамму и объявил, что инструмент оценивается в тысячу двести франков, потом стал спускать; сначала назначил тысячу, потом восемьсот и, наконец, семьсот франков.

Г-жа Дамбрез игривым тоном издевалась над этой «деревяшкой».

Перед маклаками поставили шкатулку с медальонами, с серебряными уголками и застешками, ту самую, которую он увидел впервые на первом обеде в улице Шуазель, и которая, затем, очутилась у Розанеты, а потом опять вернулась к г-же Арну; часто во время их бесед его глаза останавливались на ней; она связана была с самыми дорогими воспоминаниями; и душа его едва не вышла нежностью, как вдруг г-жа Дамбрез сказала ему:

— Я покупаю это.

— Но в ней нет ничего замечательного, — возразил он.

Она, напротив, находила шкатулку очень красивой; и глашатай, восхваляя ее изящество, провозгласил:

— Вещица в стиле Возрождения! Восемьсот франков! Господа! Почти вся серебряная; потрите ее мелом, и она вся заблестит.

Г-жа Дамбрез стала протискиваться вперед.

— Что за нелепая затея! — воскликнул Фредерик.

— Вас это сердит?

— Нисколько, но на что эта безделушка?

— Кто знает? — можно прятать в нее любовные письма.

Она так посмотрела на него, что он отлично понял намеки.

— Тем более: не нужно проникать в тайны умерших.

— Я не считаю ее настолько умершей.

И она отчетливо произнесла: восемьсот восемьдесят франков.

— То, что вы делаете, дурно, — прошептал Фредерик. Она засмеялась.

— Но, дорогая, ведь это первое, о чем я вас прошу.

— Знаете, вы будете совсем не любезным мужем.

Кто-то набавил цену, — она подняла руку:

— Девятьсот франков!

— Девятьсот франков, — повторил Бартельмо.

— Девятьсот десять... пятнадцать... двадцать... тридцать! — кричал глашатай, обегая взглядом присугствующих и не переставая кивать головой.

— Докажите, что жена у меня будет рассудительная, — сказал Фредерик.

И медленно повлек ее к выходу.

Аукционист продолжал:

— Ну что же, господа, девятьсот тридцать! Кто покупает за девятьсот тридцать франков?

Г-жа Дамбрез, дойдя до порога комнаты, остановилась и громко крикнула:

— Тысяча франков!

Толпа встрепенулась, потом наступило молчание.

— Тысяча франков, господа, тысяча франков! Кто больше? За вами!

Молоточек из слоновой кости упал.

Она послала свою визитную карточку, ей принесли шкатулку. Она спрятала ее в муфту.

Фредерик почувствовал холод в сердце.

Г-жа Дамбрез держала его под руку; она не решалась взглянуть на него до самой улицы, где ждал их экипаж.

Она кинулась в него, точно спасающийся от преследователей вор, и, сев, обернулась к Фредерику. Он стоял со шляпой в руке.

— Вы не сядете?

— Нет, сударыня!

И, холодно поклонившись, он захлопнул дверцу, потом сделал знак кучеру, чтобы тот трогал.

Прежде всего он испытал чувство радости и возвращенной независимости. Он был горд, что отомстил за г-жу Арну и принес ей в жертву свое благосостояние; потом он стал удивляться своему поступку и почувствовал безмерную усталость.

На следующее утро слуга сообщил ему новости. Осадное положение было объявлено, Палата распущена и часть народных представителей арестована и заключена в Мазас. Но общественные дела его трогали мало, настолько он был поглощен личными.

Он написал поставщикам, что отказывается от ряда заказов, сделанных для его предстоящей свадьбы, казавшейся ему теперь неблагородной спекуляцией; он клял г-жу Дамбрез за то, что из-за нее чуть было не совершил низости. Он забыл о Маршале, перестал даже беспокоиться и о г-же Арну, думая только о себе, о себе одном, — погрузился в обломки своих мечтаний, большой, полный горя и безверия; он возненавидел искусственную среду, где столько выстрадал, и его стало тянуть к свежей траве, к провинциальной тишине, к безмятежной жизни, протекающей под сенью родной кровли среди преданных сердец.

Только в среду вечером он вышел на улицу.

Большие толпы народа скоплялись на бульваре. Время от времени патруль рассеивал их, но как только он удалялся, они снова собирались. Говорили свободно, войскам кидали шутки, бранные слова, но и только.

— Как? разве не будут драться? — спросил Фредерик у одного рабочего.

Блузник ответил ему:

— Не так то мы глупы, чтобы позволять себя убивать ради буржуа. Пусть выпутываются сами.

А один господин проворчал, покосившись на жителя предместья:

— Каналья, социалист! Хорошо было бы на этот раз всех их истребить!

Фредерик терялся во всей этой злобе и глупости. Его отвращение к Парижу еще более усилилось; на следующий день он уехал в Ножан с первым поездом.

Дома скоро исчезли, потянулись поля. Сидя один в вагоне, Фредерик положил ноги на лавку и переживал события последних дней, все свое прошлое. Воспоминание о Луизе опять осенило его.

— Вот она действительно меня любит. Я упустил счастье... Но не нужно думать об этом.

Потом, через пять минут, он подумал:

— Кто знает, однако?.. Может в будущем... почему бы и нет?

Его мечты так же, как и глаза, устремились в неясные горизонты.

Она простодушна, провинциальна, почти дика, но так добра!

Чем ближе под'езжал он к Ножану, тем ближе становилась она ему. Когда поезд пересекал Сурденские луга, он вспомнил, как она бегала под тополями и ломала камыш по берегу заводи. Приехали, он вышел.

Потом он облокотился на перила моста, чтобы взглянуть вновь на остров и сад, где они гуляли однажды в солнечный день; ошеломленный переездом и деревенским воздухом, ослабленный недавними переживаниями, он сказал себе, охваченный своего рода возбуждением:

— Может быть, теперь она вышла из дому; что если бы встретиться!

В церкви св. Лаврентия прозвучал колокол; на площади перед церковью стояли нищие и коляска, единственная на весь округ, та, которую нанимали для новобрачных. Вдруг под порталом, среди обывателей в белых галстуках, появились и сами новобрачные.

Фредерику показалось, что он галлюцинирует. Но нет,

это она, Луиза! В белой фате, ниспадающей от рыжих волос до пят, а с нею Дэлорье—в синем сюртуке, шитом серебром, в мундире префекта! Как все это случилось?

Фредерик спрятался за угол, чтобы пропустить свадебный кортеж.

Пристыженный, побежденный, раздавленный, он вернулся на вокзал и поехал в Париж.

Извозчик, везший его с вокзала, уверял, что баррикады, воздвигнутые от Шато-д'О до театра Жимназ, загородили весь путь, и повез его через предместье Св. Мартен; на углу улицы Прованс Фредерик отпустил экипаж и пошел пешком к бульварам.

Было пять часов; моросил мелкий дождь. Буржуа толпились на тротуаре, со стороны Оперы. Дома на противоположной стороне были заперты. У окон не было никого. Во всю ширину бульваров неслись полным карьером, пригнувшись к шеям коней, драгуны с обнаженными саблями; султаны касок и белые плащи развевались по ветру, мелькали при свете газовых рожков, колеблющихся от ветра среди тумана. Толпа смотрела на них в молчаливом ужасе.

За отрядами кавалерии появлялись взводы полицейских, разгонявшие толпу.

На ступеньках Тортони стоял человек—Дюссардь; он издали бросался в глаза, благодаря своему огромному росту, и стоял неподвижно, как кариатида.

Один из полицейских, в надвинутой на глаза треуголке, погрозил ему шпагой.

Тогда Дюссардь сделал шаг вперед и закричал:

— Да здравствует республика!

И упал навзничь, сведя руки крестом.

Вопль ужаса пронесся по толпе. Полицейский оглянулся и вокруг него образовалась пустота; Фредерик оцепенел—он узнал в нем Сенекаля.

VI.

Фредерик уехал путешествовать.

Он познал меланхолию морских плаваний, холод утреннего пробуждения в палатке, незабываемые впечат-

ления от пейзажей и развалин, горечь разлуки с полюбившимися людьми.

Вернувшись, он стал бывать в свете; были у него и новые любовные связи; но неотступное воспоминание о первой любви делало их пресными; кроме того, самый пыл страсти, свежесть чувства были уже утрачены. Точно также уменьшилось и его духовное честолюбие. Годы шли; а он все еще томился праздностью ума и косностью сердца.

В конце марта 1867-го года под вечер он сидел один у себя в кабинете, как вдруг вошла женщина.

— Г-жа Арну!

— Фредерик!

Она взяла его за руки, с нежностью подвела к окну и, рассматривая, все повторяла:

— Это он! Он!

В сумерках он мог разглядеть лишь ее глаза под черной кружевной вуалью, скрывающей лицо.

Она положила на каминную полочку небольшой бархатный бумажник гранатового цвета и села. Оба молчали, не в силах вымолвить слово, улыбаясь друг другу.

Наконец, он задал ей несколько вопросов о ней самой, об ее муже.

Они поселились в глуши Бретани, где вели скромный образ жизни, выплачивая долги. Арну почти всегда болен и кажется теперь стариком. Дочь живет с мужем в Бордо, а сын служит в гарнизоне в Мостаганеме. Она подняла голову и сказала:

— Но я опять вижу вас! Как я счастлива!

Он не преминул сказать ей, что, при известии об их несчастье, он сейчас же побежал к ним.

— Я знаю.

— Каким образом?

Она видела, как он подходил, и спряталась.

— Почему?

Дрожащим голосом и с большими перерывами между словами она пояснила:

— Я боялась. Да... боялась за вас... за себя.

При этом признании словно дрожь сладострастия пробежала по нем. Сердце его сильно стучало. Она продолжала:

— Простите, что я не пришла раньше!

И, указывая на маленький гранатовый портфель с золотыми пальмовыми листьями, прибавила:

— Я вышила его сама для вас. В нем сполна вся та сумма, за которую была заложена земля в Бельвиле.

Фредерик поблагодарил за подарок, пожурив ее за то, что она побеспокоилась.

— Нет, я пришла не для этого. Я побуду у вас, а потом снова уеду... туда.

И она рассказала ему о месте, где они живут.

Дом у них низенький, одноэтажный, с садом, где растут огромные буксы, где есть каштановые аллеи, идущие до вершины холма, откуда открывается вид на море.

— Я хожу туда посидеть на скамейке, которую я назвала скамейкой Фредерика.

Потом она стала жадно рассматривать мебель, безделушки, рамки, стараясь все запомнить. Портрет Маршала был наполовину скрыт занавеской. Но золото и белые пятна даже в темноте привлекли ее внимание.

— Кажется, я знаю эту женщину.

— Не может быть!—возразил Фредерик,—это старая итальянская картина.

Она призналась, что ей хотелось бы под руку с ним пройти по улицам.

Они вышли.

Свет магазинов время от времени освещал ее бледный профиль; потом мрак снова окутывал ее, и среди грохота экипажей, шума толпы, они шли, не отвлекаемые ничем друг от друга, ничего не слыша, как те, что гуляют вместе в лесу, по опавшим листьям.

Они рассказывали друг другу о прежних днях, об обедах времен «Художественной Промышленности», об увлечениях Арну, об его манере отгибать кончики воротничков, о том, какие он употреблял косметические средства для усов, и, наконец, о других, более важных и интимных вещах. Какое восхищение испытал он в первый раз, слушая ее пение! Как она была хороша в день своих именин в Сен-Клу! Он напомнил ей маленький сад в Отейле, ве-

вчера, проведенные вместе в театре, встречу на бульваре, ее старых слуг, ее негритянку.

Она удивлялась его памяти. Однако, она сказала:

— Иногда ваши слова доносятся до меня, как отдаленное эхо, как звон колокола, доносимый ветром, а когда я читаю в книгах страницы любви, мне кажется, что вы возле меня.

— Все, что осуждают в романах как преувеличение, все заставили вы меня переувеличивать, — сказал Фредерик. — Я понимаю Вертера, которому нравились даже ломти хлеба, нарезанного Шарлотой.

— Бедный, дорогой друг!

Она вздохнула и, после продолжительного молчания, сказала:

— Все равно, мы по настоящему любили друг друга!

— Не принадлежа, однако, друг другу!

— Может быть, так было лучше, — возразила она.

— Нет, нет! Какое счастье мы бы пережили!

— О, в этом я не сомневаюсь! С такой любовью, как ваша!

Она должна быть очень сильна, раз пережила такую долгую разлуку.

Фредерик спросил, как она о ней догадалась.

— Однажды вечером вы поцеловали мне руку между перчаткой и манжеткой. Я подумала: «Да ведь он любит меня... он любит меня». Однако, я боялась убедиться в этом. Ваша сдержанность была так очаровательна, что я наслаждалась ею, как произвольной и непрерывной данью уважения ко мне.

Он ни о чем теперь не сожалел. Она вознаградила его за все страдания прошлых лет.

Когда они вернулись, г-жа Арну сняла шляпу. Лампа, стоявшая на консоле, осветила ее седые волосы. Его точно что-то ударило в грудь.

Чтобы скрыть от нее свое разочарование, он опустился на пол у ее ног и, взяв ее руку, заговорил нежно:

— Вся вы, ваши малейшие движения имели для меня сверхъестественную важность. Мое сердце, как пыль, поднималось вслед за вашими шагами. Вы производили на меня впечатление лунного света в летнюю ночь, когда все

благоухает, всюду мягкие тени, белые пятна. Все наслаждения тела и души заключались для меня в вашем имени, которое я повторял, стараясь целовать его на собственных устах. Превыше этого для меня не было ничего. Я любил вас именно такой, какой вы были: с двумя детьми, нежной, серьезной, ослепительно прекрасной и такой доброй! Этот образ вытеснял все другие. Ведь я только о нем и думал: в самой глубине души носил я музыку вашего голоса и блеск ваших глаз.

Она с восхищением слушала выражение такого преклонения перед женщиной, которой она более не была. Фредерик, опьяненный своими словами, начинал верить тому, что говорил. Г-жа Арну, обратившись спиной к свету, склонилась над ним. Он чувствовал на лбу ласку ее дыхания, а сквозь одежду неясное очертание ее тела. Они крепко сжали друг другу руки: кончик ее ботинка несколько выступал из-под платья; он сказал, почти изнемогая:

— Вид вашей ноги волнует меня.

Чувство стыдливости заставило ее подняться. Потом, недвижная, она произнесла голосом сомнамбулы:

— В мои годы... он... Фредерик!.. Никого никогда так не любили, как меня! Нет, нет! Зачем мне быть молодой? Я презираю их, всех, кто бывает здесь!

— О, здесь никто не бывает, — чутко возразил он.

Она просияла и спросила, не собирается ли он жениться.

Он поклялся, что нет.

— Правда? Но почему?

— Из-за вас, — сказал Фредерик, сжимая ее в своих объятиях.

Она замерла, откинувшись назад, полуоткрыв рот, подняв глаза. Вдруг она оттолкнула его с видом отчаяния. Он стал умолять ее сказать, в чем дело. Она, опустив голову, проговорила:

— Мне хотелось бы сделать вас счастливым.

Фредерик подумал, что она пришла с тем, чтобы отдалась ему; он почувствовал вожделение, такое сильное, яростное, бешеное, какого не испытывал никогда. Но в то же время он ощущал что-то невыразимое, какое-то оттал-

кивание, точно ужас кровосмешения. И вдруг страх оставил его, страх отращения в будущем. Да и что бы из всего этого вышло? И движимый столь же осторожностью, сколько боязнью запятнать свой идеал, он повернулся на каблуках и стал вертеть папироску.

Она смотрела на него с восхищением.

— Какой вы чуткий! Вы единственный!

Пробило одиннадцать часов.

— Уже,—сказала она,—через четверть часа я уйду.

Она снова села; но все наблюдала за часами, а он продолжал ходить и курить. Оба не знали, что еще сказать друг другу. Есть момент при разлуке, когда любимый человек уже не с нами.

Наконец, стрелка показала двадцать пять минут двенадцатого; она медленно взяла шляпу за ленты.

— Прощайте, мой друг, мой дорогой друг! Я никогда больше вас не увижу. Это мой последний шаг, как женщины. Моя душа никогда не покинет вас. Пусть все благословения неба пребывают над вами.

И она поцеловала его в лоб, как мать.

Потом оглянулась, словно искала чего-то, и попросила пожницы.

Она вынула гребень, и ее седые волосы упали ей на плечи.

Она решительным движением отрезала под самый корень длинную прядь.

— Берегите ее! Прощайте!

Когда она вышла, Фредерик открыл окно. Г-жа Арну знаком позвала извозчика, схавшего мимо. Она села. Карета исчезла.

И это было все.

В конце той же зимы Фредерик и Дэлорье беседовали у камина. Их вновь примирила та роковая особенность их натур; которая заставляла их тянуться друг к другу и подерживала их привязанность.

Один вкратце рассказал о своем разрыве с г-жей Дамбрез, которая вторично вышла замуж за англичанина.

Другой, не объясняя, каким образом он женился на Луизе Рок, сообщил, что в один прекрасный день супруга его сбежала с певцом. Чтобы выйти из смешного положе-

ния, он переусердствовал в своей префектуре, и ему пришлось подать в отставку. Затем он был заведующим колонизацией в Алжире, секретарем какого-то паши, заведующим газетой, маклером по объявлениям, чтоб, в конце концов, стать юрисконсультom в одном промышленном предприятии.

Что касается Фредерика, то он прожил две трети своего состояния и жил мелким буржуа.

Потом они осведомились друг у друга об общих друзьях.

Мартинон—теперь сенатор.

Гюссонэ занимал высокое положение, от него зависели все театры и вся пресса.

Сизи, погруженный в набожность, отец восьмерых детей, жил в родовом замке.

Пеллерен, отдав дань фурьеризму, гомеопатии, столочерчению, готическому искусству и гуманитарной живописи, занялся фотографией, и на всех стенах Парижа красовалось его изображение в черном фраке, с крохотным телом и большой головой.

— А твой друг Сенекаль?—спросил Фредерик.

— Исчез, не знаю куда! А где твоя великая страсть, г-жа Арну?

— Она должна быть в Риме с сыном, лейтенантом.

— А ее муж?

— Умер прошлым летом.

— Вот как!—сказал адвокат.

— Потом, ударив себя по лбу, добавил:

— А кстати, как-то в магазине я встретил эту добрую Маршал с маленьким мальчиком, которого она усыновила. Теперь она вдова некоего г. Удри, очень толста, прямо огромна. Какое печальное превращение! Она, у которой была такая прекрасная фигура!

Дэлорье не скрыл, что воспользовался ее отчаянием, чтобы самому убедиться в этом.

— Впрочем, ты сам позволил мне это.

Это признание было вознаграждением за то молчание, которое хранил он о своем покушении на г-жу Арну. И напрасно, Фредерик простил бы ему и это, раз оно все равно не удалось.

Но, несмотря на то, что его слегка задело это открытие, он прикинулся, что ему смешно; при мысли о Маршале он вспомнил Ватназ.

Дэлорье никогда не видал ее, так же как многих других, бывавших у Арну; но Режембара он помнил отлично.

— Жив ли он еще?

— Едва-едва. Каждый вечер он аккуратно волочит ноги с улицы Граммон до улицы Монмартр и шатается по всем кафэ, обессиленный, сторбленный, с бессмысленным видом, точно привидение.

— Ну, а Компэн?

Фредерик радостно вскрикнул и попросил бывшего представителя Временного Правительства объяснить ему, что такое «телячья голова».

— Это все английские выдумки. Желая пародировать церемонию, которую роялисты проделывают 30 января, независимые устраивают ежегодно банкет, на котором едят телячью голову и пьют красное вино из телячьих черепов, провозглашая тосты за истребление Стюартов. После термидора террористы организовали совершенно такое же братство, что доказывает, что глупость плодovitа.

— Повидимому, ты стал равнодушнее к политике?

— Годы! — сказал адвокат.

И они стали подводить итоги своей жизни.

У обоих она прошла бесплодно, — и у того, кто грезил о любви, и у того, кто мечтал о власти. Чем объяснить это?

— Может быть, отсутствием твердой линии поведения? — сказал Фредерик.

— У тебя, может быть. Я же, напротив, грешил излишней прямолинейностью, не считаясь с тысячью второстепенных вещей, более могущественных, чем все остальное. У меня был избыток логики, а у тебя чувства.

Потом они стали винить случай, обстоятельства, эпоху, в которую они родились.

Фредерик продолжал:

— Случилось не то, о чем мы мечтали в Сенском коллеже, когда ты хотел писать критическую историю Философии, а я большой средневековой роман о Ножане, сю-

жет которого я нашел у Фруассара: о том, каким образом господин Брокер де-Фенестранж и епископ Труа убили господина Эсташа д'Амбресикур. Помнишь?

И, воскрешая молодость, они к каждой фразе прибавляли:

— Помнишь?

Они представляли себе двор коллегии, капеллу, приемную, фехтовальный зал под лестницей, лица надзирателей и учеников, Аниселмара из Версаля, который выкраивал себе штрипки из старых сапог, г. Мирбаля с его рыжими бакенбардами, обоих учителей черчения и рисования, Воро и Сюрирэ, вечно ссорившихся, наконец, поляка, соотечественника Коперника, с его планетной системой из картона, странствующего астронома, которому заплатили за урок обедом в столовой, потом ужасную попойку во время прогулки, первую выкуренную трубку, раздачу наград, радость каникул.

Как раз во время вакансий в 1837 г. они побывали у «Турчанки».

Так звали женщину, настоящее имя которой было Зо-ранда Тюрк; многие считали ее действительно мусульманкой, турчанкой, что увеличивало поэтическое обаяние ее заведения, расположенного на берегу реки, за валом; даже в жаркое лето вокруг этого дома была прохлада; его легко было признать по стеклянному сосуду с рыбками, рядом с горшком резеды на окне. Девуцы в белых кофтах с румянами на щеках и длинными серьгами стучали в окна, когда кто-нибудь проходил, а по вечерам у порога тихонько напевали хриплыми голосами.

Это злчное место отбрасывало на всю округу фантастическую тень. О нем говорили обиняками: «Знакомое вам место, — известная улица, — под мостами». Окрестные фермерши трепетали за своих мужей, горожанки за своих служанок, ибо там застали однажды кухарку суб-префекта; разумеется, то было тайное наведение всей молодежи.

Однажды во время вечерни, Фредерик с Дэлорье, залившись и нарвавши цветов в саду г-жи Моро, вышли через полевою калитку и, сделав большой круг по виноград-

никам, возвратились через Рыболовную тоню и проскользнули к «Турчанке», держа по большому букету.

Фредерик поднес ей свой, как влюбленный невесте. Но от духоты, страха неизведанного, угрызений совести, наконец, от самого удовольствия видеть сразу столько женщин в своем распоряжении, он взволновался так сильно, что побледнел, как полотно, и стоял, не двигаясь, не произнося ни слова. Все смеялись, потешаясь над его смущением; он подумал, что над ним издеваются и убежал; а так как деньги были у него, Дэлорье принужден был последовать за ним. Кто-то видел, как они выходили. Толки об этом не улеглись три года.

Они рассказывали друг другу эту историю, весьма пространно, каждый пополнял воспоминания другого и, когда припомнили все, Фредерик промолвил:

— Вот это и было лучшее, что у нас было в жизни.

— А что ж, пожалуй! Это лучшее, что у нас было в жизни,—сказал Дэлорье



ОГЛАВЛЕНИЕ.

СТР

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава	I	7—17
"	II	17—24
"	III	24—32
"	IV	32—57
"	V	58—100
"	VI	100—110

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава	I	111—139
"	II	139—183
"	III	183—217
"	IV	217—263
"	V	263—273
"	VI	274—306

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава	I	307—364
"	II	364—378
"	III	379—398
"	IV	398—432
"	V	432—447
"	VI	447—456

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

Состоящее при Народном Комиссариате по Просвещению издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“ ставит своей задачей дать в переводе на русский язык все наиболее выдающиеся произведения мировой художественной литературы, начиная с конца XVIII века и до наших дней.

С этой целью Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“ выпускает в свет две серии книг: основную и народную библиотеку.

Основная библиотека включает в себе собрание сочинений европейских, американских и колониальных писателей, избранных с таким расчетом, чтобы книги этой серии по окончании издания составили систематически подобранную библиотеку, могущую служить не только материалом для чтения, но также пособием к изучению истории мировой литературы во всем разнообразии ее национальных оттенков, литературных школ, течений и художественных форм изложения.

Составляя неразрывные части единого целого, книги основной библиотеки будут по техническим условиям выходить вне порядка, указанного в каталоге, а в зависимости от времени их напечатания.

Общее количество книг основной библиотеки — около 1500 томов. Средний размер тома — около 20 печатных листов (320 стр.).

Народная библиотека состоит из небольших по объему книг, доступных пониманию и восприятию самых широких масс русской демократии.

Пользуясь художественной литературой, как могучим средством культурного воздействия и международного единения, народная библиотека имеет целью познакомить читателя с наиболее интересными особенностями исторических судеб, культуры, быта и психики европейских наций, а главное — с теми скоровищами веками накопленных знаний и культурных навыков, которые, являясь достоянием всего человечества, служат надежным залогом братства всех людей — залогом грядущего Интернационала.

Количество книг народной библиотеки — около 2500 томов. Размер отдельного тома — около 4 печ. листов (64 стр.).

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

Книги обеих библиотек снабжены необходимыми пояснениями и вступительными статьями как историко-литературного, так и общеобразовательного содержания.

В первую очередь выйдут в свет переводы с французского, английского, немецкого, итальянского, испанского, португальского, шведского, норвежского, датского и голландского языков. Вторую очередь составляет литература западных славян, мадьяр, а также отдельная обширная серия литератур и словесности Востока.

Забедующие Издательством: М. ГОРЬКИЙ, З. И. ГРЖЕБИН, И. П. ЛАДЫЖНИКОВ, А. Н. ТИХОНОВ.

Редакционная Коллегия экспертов: Ф. Д. БАТЮШКОВ, А. А. БЛОК, Ф. А. БРАУН, А. Л. ВОЛЫНСКИЙ, М. ГОРЬКИЙ, Н. ГУМИЛЕВ, Е. И. ЗАМЯТИН, А. Я. ЛЕВИНСОН, Г. Л. ЛОЗИНСКИЙ, А. Н. ТИХОНОВ, К. ЧУКОВСКИЙ.

В редакционной работе принимают участие: Е. А. АДАМОВ, В. А. АЗОВ, Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД, А. В. АМФИТЕАТРОВ, А. М. АНИЧКОВА, Ю. К. БАЛТРУШАЙТИС, К. Д. БАЛЬМОНТ, А. Н. БЕНУА, Е. М. БРАУДО, В. А. БРИМ, А. А. БРОК, В. Я. БРЮСОВ, З. А. ВЕНГЕРОВА, А. В. ГАНЗЕН, М. О. ГЕРШЕНЗОН, А. А. ГИЗЕТТИ, З. Н. ГИППИУС, П. П. ГНЕДИЧ, И. М. ГРЕВС, Р. Г. ГРИГОРЬЕВ, Б. А. ГРИФЦОВ, П. К. ГУБЕР, А. Ф. ДАМАНСКАЯ, Ю. Н. ДАНЗАС, О. А. ДОВИАШ, М. А. ЖИРМУНСКИЙ, Б. Я. ЖУХОВЕЦКИЙ, С. М. ЗАРУДНЫЙ, Ф. Ф. ЗЕЛИНСКИЙ, ВЯЧ. ИВАНОВ, В. П. ИЗМАЛКОВА, ВЛ. КАРЕНИН, Л. П. КАРСАВИН, П. С. КОГАН, А. Ф. КОНИ, М. А. КУЗМИН, А. И. КУПРИН, М. Е. ЛЕВБЕРГ, Н. О. ЛЕРНЕР, Е. П. ЛЕТКОВА, М. Л. ЛОЗИНСКИЙ, А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ, Е. Г. ЛУНДБЕРГ, Т. И. МАНУХИНА, П. П. МУРАТОВ, С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГ, П. П. ПЕРЦОВ, С. А. ПОЛЯКОВ, Н. И. ПОТАПЕНКО, С. Э. РАДЛОВ, Э. Л. РАДЛОВ, А. М. РЕМИЗОВ, А. Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ, А. Н. СЕРЕБРОВ, Б. П. СИЛЬВЕРСВАН, Ф. К. СОЛОГУБ, В. В. СТРУВЕ, П. ТУТЕНДХОЛЬД, Г. П. ФЕДОТОВ, В. Ф. ХОДАСЕВИЧ, М. ЦВЕТАЕВА, А. Н. ЧЕБОТАРЕВСКАЯ, В. А. ЧУДОВСКИЙ, Н. Л. ШАПЕР, С. В. ШТЕЙН, С. И. ШТЕЙН, Б. М. ЭЙХЕНБАУМ и др.

ОБЪЕДИНЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
И. К. П.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

ВЫШЛИ В СВЕТ И ПРОДАЮТСЯ.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- | | |
|----------------|------------------------|
| А. ЛЕСАЖ | — Хромой бес. Тюркаре. |
| Г. ДЕ-МОПАССАН | — Милый друг. |
| | — Сильна как смерть. |
| А. ФРАНС | — Остров Пингвинов. |
| ЛИЛИ БРАУН | — Письма маркизы. |

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- | | | |
|----|-----------------|---------------------------|
| №№ | | |
| 1. | О. МИРБО | — Деревенские рассказы. |
| 2. | МУЛЬТАТУЛИ | — Рассказы. |
| 3. | МАРК ТВЭН | — Приключения Тома. |
| 4. | Г. Д'АННУНЦИО | — Пескарские рассказы. |
| 5. | А. ШАМИССО | — Петер Шлемиль. |
| 6. | А. ФРАНС | — Дело уличного торговца. |
| 7. | Г. АВ-ГЕЙЕРСТАМ | — Любовь и др. рассказы. |
| 8. | РОБИН ГУД | — Баллады. |

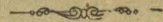
ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ.

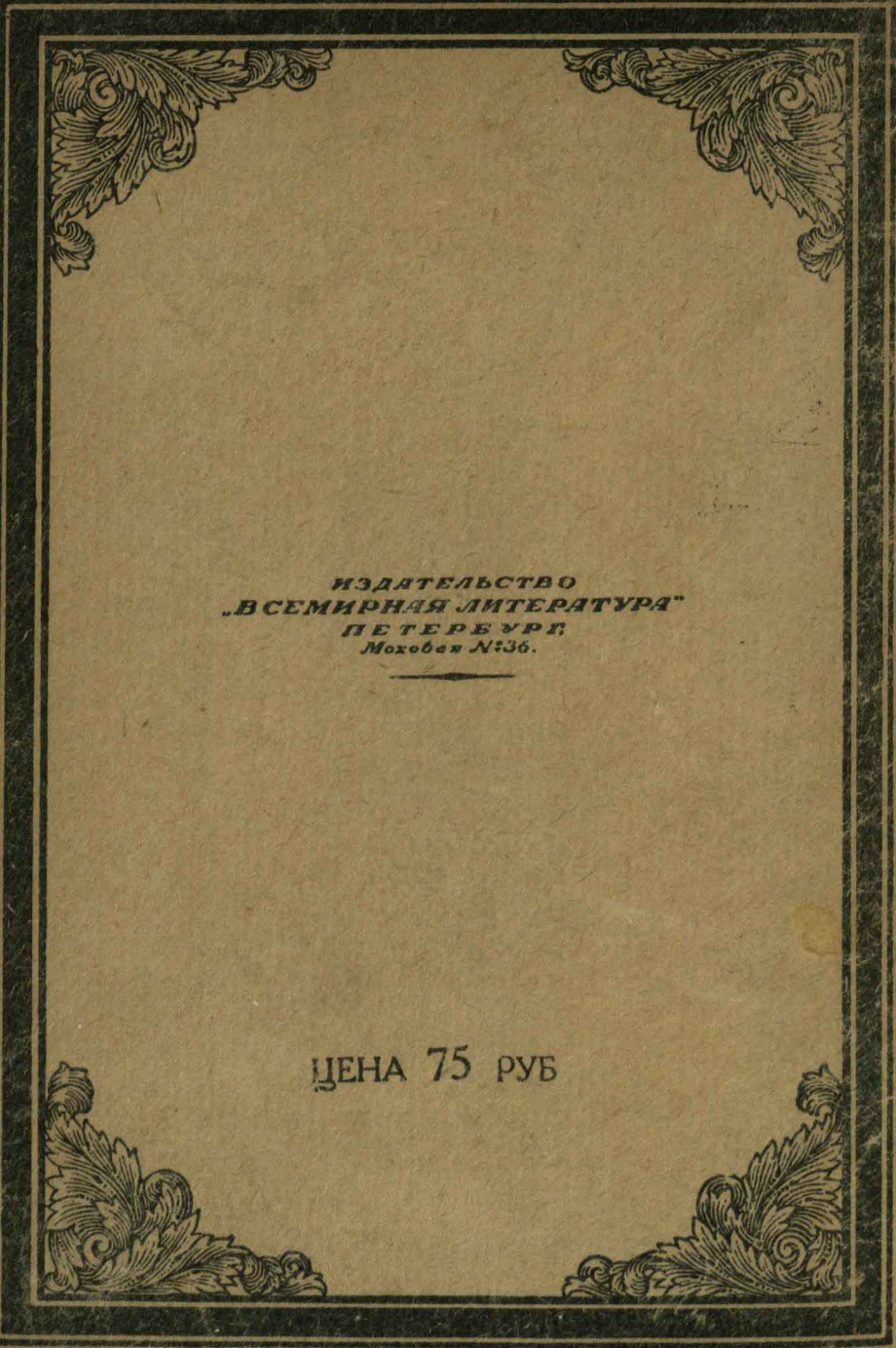
ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- | | |
|---------------|---|
| ГОНКУР | — Братья Земганно. |
| Б. ИБАНЬЕС | — Власть мертвых. |
| | — Проклятый хутор. |
| А. ФРАНС | — Восстание ангелов. |
| Г. ФЛОБЕР | — Саламбо. |
| Ч. ДИККЕНС | — Повесть о двух городах. |
| " " | — Наш общий друг. |
| " " | — Большие ожидания. |
| " " | — Жизнь и приключения Николы Никкльби. |
| " " | — Жизнь и приключения Мартина Чеззльвита. |
| ВАЛЬТЕР СКОТТ | — Домби и сын. |
| | — Уэверли. |
| | — Роб-Рой. |
| А. ЛЕСАЖ | — Жиль Блаз. |

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- | | |
|----------------|----------------------------|
| Г. УЭЛЛС | — Спящий пробуждается. |
| „ „ | — Машина времени. |
| „ „ | — Невидимка. |
| „ „ | — Борьба миров. |
| Г. ДЕЛЕДДА | — Сардинские рассказы. |
| ВОЛЬТЕР | — Задиг. |
| „ „ | — Кандид. |
| „ „ | — Повести. |
| „ „ | — Принцесса Вавилонская. |
| „ „ | — Белый бык. |
| С. Т. КОЛЬРИДЖ | — Поэма о старом моряке. |
| Б. ИБАНЬЕС | — Валенсиянские рассказы. |
| Г. Р. ХАГГАРД | — Копи царя Соломона. |
| О. УАЙЛЬД | — Сказки. |
| „ „ | — Гранатовый дом. |
| „ „ | — Рассказы. |
| МАРК ТВЭН | — Принц и нищий. |
| ВАЛЬТЕР СКОТТ | — Черный карлик. |
| ШИЛЛЕР | — Разбойники. |
| А. ФРАНС | — Чудо св. Николая. |
| „ „ | — Сказка о сорочке. |
| М. СЬЕРРА | — Благословенная весна. |
| Л. НОРДСТРЕМ | — Обыватели. |
| ДЖ. М. БАРИ | — Белая птичка. |
| Ю. ЮРГЕНСОН | — Африканские рассказы. |
| О. ГОЛЬДСМИТ | — Векфильдский священник. |
| Г. ФЕДЕРЕР | — Прометей и др. рассказы. |
| Д. ЛОНДОН | — Сын волка. |
| Г. БАНГ | — Четыре дьявола. |
| И. ИЕНСЕН | — Гиммерландские рассказы. |





ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ПЕТЕРБУРГ.
Моховая №36.

ЦЕНА 75 РУБ